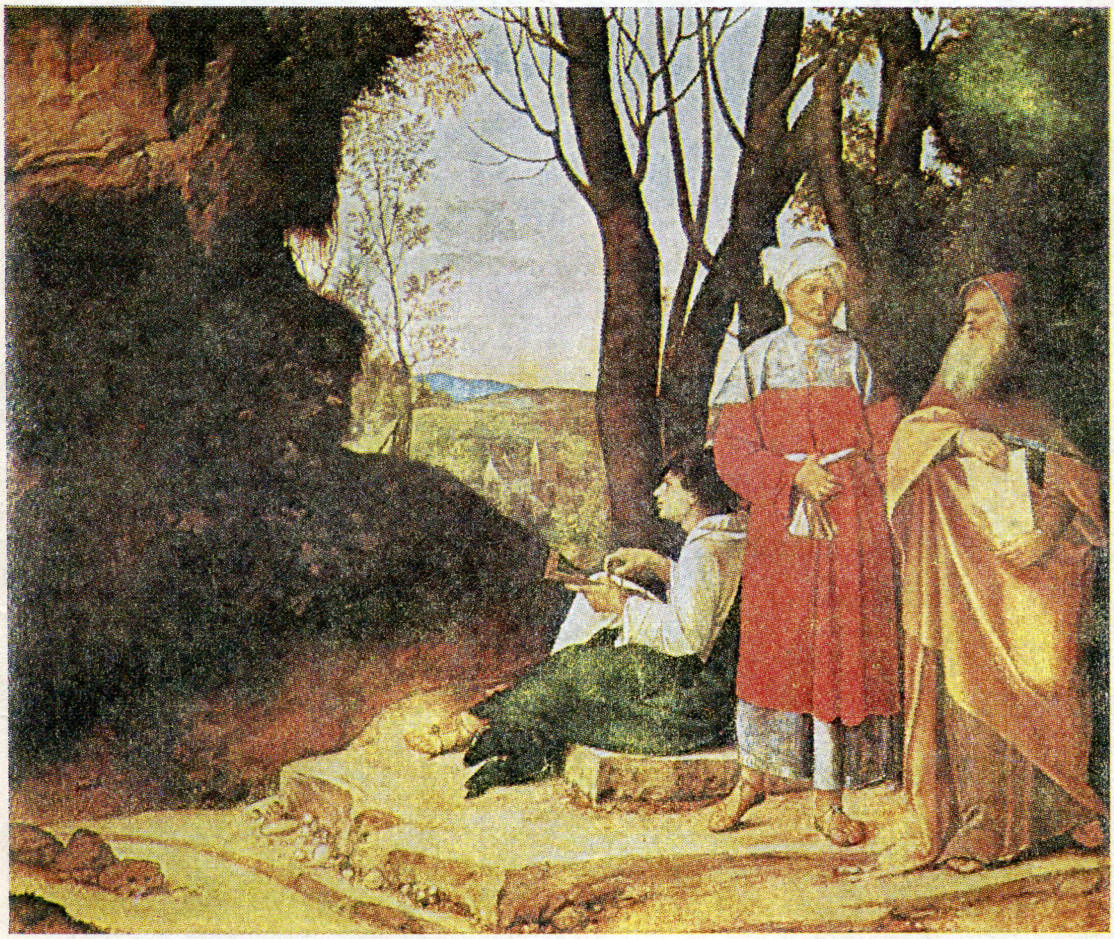
7.1977

Иностранная литература



На цветных иллюстрациях номера
фрагменты картины Джорджоне (1477–1510 гг.)
«Три философа»

Иностранная литература

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА.

1977

7

ИЮЛЬ

Содержание

Из румынской поэзии

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ. ВАСИЛЕ НИКОЛЕСКУ. ШТЕФАН БЭНУЛЕСКУ. ГРИГОРЕ ХАДЖИУ. ТОМА ДЖОРДЖЕ МАЙОРЕСКУ *(Переводы Л. Беринского и Кирилла Ковальджи)* 3

СРЕТЕН АСАНОВИЧ — Рассказы *(Перевод с сербско-хорватского Александра Романенко)* 11

ГОР ВИДАЛ — Бэрр *(Роман. Перевод с английского А. Файнгара и М. Брука под редакцией Е. Суриц)* 22

ДАМДИНЦООГИЙН СОДНОМДОРЖ — Стихи *(Перевод с монгольского и вступление Г. Ярославцева)* 71

КРИСТИАН БАРНАРД И ЗИГФРИД СТЭНДЕР — Нежелательные элементы *(Роман. Продолжение. Перевод с английского А. Клышко)* 76

ДОРИС ЛЕССИНГ — Лето перед закатом *(Роман. Окончание. Перевод с английского И. Якушиной)* 119

Критика

А. САРУХАНЯН — «Каменистое поле» ирландской поэзии 182

Г. ЗЛОБИН — Куски ковра, или Мосты Торнтона Уайлдера *(Окончание)* 188

Заметки писателя

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС — Культура в борьбе за право существовать *(Перевод с испанского Т. Коробкиной)* 196

Литературные портреты

Д. ЗАТОНСКИЙ — Мартин Вальзер. Штрихи незавершенного портрета 201

Культура и современность

Заметки на полях

В. И.— «Свобода, которую они имеют в виду» ✦ С. Прожогина — Кривое зеркало «Монд» 212

Публицистика

К 60-летию Великого Октября

Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе: ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ. ФРИДРИХ ВОЛЬФ. ЖАН-РИШАР БЛОК. ПЬЕР КУРТАД. БРУНО ФРЕЙ *(Продолжение)* 219

Антирубрика

Дела библиотечные... ЭДМУНД ПИРСОН. БАРБАРА ХАДЖИНС. ДОНАЛД РЕНЗ *(Перевод с английского М. Лорие)* 242

ПЕТЕР ХАКС. История моей оперы (Фантастический фельетон. *Перевод с немецкого Эллы Венгеровой)* 249

Наши гости

Г. Вержховская — Фернандо Намора. Мария Велью да Кошта (Португалия) ✦ И. Кузнецова — Антонина Майе. Мари-Клер Бле (Канада) 257

К нашим иллюстрациям

Л. ДЬЯКОВ — К 500-летию Джорджоне 262

Среди книг

Издано в СССР

Владимир Гусев — Накануне событий века ✦ Иоаким Бэр — Фланнери О'Коннор на русском языке ✦ Н. Ржевская — Снова о структурализме 264

Издано за рубежом

Г. Знаменская — Книга о Генрихе Манне. ✦ Андре Ремакль — Самая обыкновенная история. ✦ Хуан Антонио Сальседа — Аргентина: лучший роман года? 270

Из месяца в месяц 275

Авторы этого номера 286

На обложке: картина ДЖОРДЖОНЕ (Италия) «Три мудреца».

© «Иностранная литература», 1977 г.

Из румынской поэзии

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ

Ответ

Нет, точка под вопросом — еще не знак ответа.
Да нам еще и рано тот самый ставить знак.
И я не однозначна, как зной в разгаре лета,
Как белой ночи бледность, полярной ночи мрак.

Уж за полночь. И тихо. И больно саднит веки.
Усну. И тут же буду опять пробуждена
Рассветом — тем же светом, что вызволил навеки
Прапрадедов из глины, из тьмы земного Сна.

В моей душе сомкнулись и дерзкий дух вопроса,
И дух успокоенья, ласкающий впотьмах,
И древний дух страданья, что может быть распознан
В молитвах наших предков, роптаньях и псалмах.

Нет, я не однозначна, как зной в разгаре лета,
И мошкарой над лампой кружит вопросов рой,
И звездочкою дальней, как точкою ответа,
За веком век мерцает рассвет перед зарей.

■ ■ ■

Под куполом немых высот полярных
Гляжу: вдали остался порт родной
С его дымками, мглой платформ товарных,
Гульбой, моряцкой песней озорной.

Так мой корабль погиб в волнах коварных?
А там, в кораллах, блещет компас мой?
Да я ли это? Крылья за спиной
И притяженье высей планетарных.

Мне холодно. Мне холод кости точит.
Безмолвие бездонной белой ночи,
Где леденеет крик среди миров.

Два крылышка — как два кристалла соли,
Да высота, да под ногами зори,
Где в гейзерах окаменела кровь.

Перевод Л. БЕРИНСКОГО

ВАСИЛЕ НИКОЛЕСКУ

Весенняя песня

Все расцветет — в густой росе потонут
цветы с их влажной тяжестью бутонов,
под утренним дождем, под мокрым солнцем,
когда оно улыбкой губ коснется,
все расцветет под легкой синей сенью,
под каждой крышей, обданной сиренью,
под суетой садов многоголосой,
все расцветет надеждой, светлой грезой,
взлетающей под купол небосвода,
как голубая песенка, свобода...

Античное

Справедливости ради Эдипу пришлось Сфинкса убить
и вырвать ближних своих из его когтей;
справедливости ради потом пришлось ему выколоть
себе глаза
и солнце в них погасить.

Музыка, ноябрьский туман

Что случилось? — мечется листва.
Что случилось? — птица птицу мучит.
Что случилось? — слышатся слова,
Музыку закрывшие, как тучи.

Что случилось? — шепот с облаков.
Что случилось? — стонет буря в море.
И земля в пятьсот колоколов
Бьет в ночи, вопросу глухо вторя.

Перевод Л. БЕРИНСКОГО

Черной чертой

Еще один поцелуй. И еще.
В гривы елей яро вгрызаются тучи,
Невозмутимо испаряются камни.
Еще поцелуй во имя звезды, что взошла как слеза.

Еще один поцелуй. И еще.
Небеса поглощают звезду за звездою.
Еще один поцелуй во имя травы, и ветра,
И моря с мятежным прибоем.

Еще один поцелуй. И еще.
Сердце в ветках застывших стучит,
Черной чертой итожит его перестуки.
Еще поцелуй во имя земли, что нас поглотит.

Перевод КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

ШТЕФАН БЭНУЛЕСКУ

Баллада об Андрее Мертвом

Андрей Мертвый, молвит сказ,
Молод был и синеглаз,
И за это Андрей Мертвый
Был убит в четвертый раз.

В первый раз его убили
Ночью на груди у милой.
Схоронить его хотела,
Глядь — куда ж девалось тело?
Лишь нашла кровавый след
И во что он был одет.
Одежонку схоронила —
Крест стоит с пустой могилой.

Жил Андрей в бору дремучем,
Был он голодом измучен,
Появился под горой
С деревянною ногой.
К ветряку он завернул,
Горстку зерен зачерпнул —
Стали бить, и били тяжко,
А в руках — лишь деревяшка...

Спит в могиле на века
Деревянная нога.

Вышел снова он однажды,
Погибающий от жажды,
В летний зной зашел на ток,
Захотел воды глоток.
Без руки он был, без уха,
Попросил напиться глухо —
И в зачет былых обид
Снова был Андрей убит.

Зря кружится воронье,
Весть о гибели — вранье.
Свет его несытых глаз
Трижды гас, да не погас,
И однажды Андрей Мертвый
Вышел в мир в четвертый раз.

Поседела голова,
В башмаках росла трава,
И болтались рукава,
Но лучились добротой
Очи с той же синевой.
На краю села бродил,
Сказки детям говорил.
И под вечер у ракит
Был в последний раз убит.

Камень, или Песня старика из Добруджи

Кто меня заклятью предал —
Оглянуться напоследок?
Оглянулся я на молодость —
Стынет вся скалой расколотой,
Битым камнем среди дня,
Камнем, что старей меня.
Обернулся камнем колокол,
Как и молодость — расколотый,
Он под градом не звенит,
Каменный звонарь висит,
Ливень льет, не ливень — град,
Брызги острые летят...
Кира, Кира-дьяволица,
Девка и навек вдовица,

Без венца стоишь, невеста,
У колодца — и ни с места,
Держишь днем и под луною
Ведро с каменной водою,
Держишь до скончанья мира,
Кира, каменная Кира,
По лицу стекают капли,
Дождь последний, плач из камня.

Перевод КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

ГРИГОРЕ ХАДЖИУ

Гравитация света

Спокойное движение Стожар
мне говорит, что на исходе лета
пора унять души и крови жар.
Стожары — это осени примета.

Отныне новый драгоценный дар
плодов осенних светит мне — и это
след гравитационной силы света.
Так тяжелеет в каплях легкий пар.

Круговорот времен не удержать.
Все медленней и глуше взмах крылами
осенних птиц, упрямых непосед.

О, если бы когда-нибудь собрать
зерно, что тихо сеет вечерами
над бороздами моря лунный свет!

Отцы

За чертой теряя черту,
их фигуры вдали видны
на качающемся мосту
необъятной голубизны.

Путь их прям — не свернуть на ходу,
все дороги в одну сведены,
в абсолютную пустоту
нарастающей вышины.

Словно легкий и тихий флот,
вскинув тонкие мачты, плывет —
исчезают они вдали.

Уплывают, опять и опять
проверяя за пядью пядь
дно далекой круглой земли.

В полночь нежного тяготения

Ты оставь меня наедине
с моей позабытой душою
которую вспомнил я снова
под этим косым дождем накренившихся ив

где старый певец еще кажется слушает
костью височной
крик летящих по небу
свистящих как змеи крылатых семей —
возвращение диких гусей

хрупкий зубчатый мир
окаймленный зеленым и красным
четко выкован на свинцовой
наковальне ночей —

легкий кров
посреди облаков
среди белых лиловых лугов

я чувствую что я дальний родственник липы
отягченной цветами
отраженной в зеркальной воде
я вдыхаю ночной аромат — навеки знакомый
мне сегодняшнему и тому кто снова придет

и тем кто родится сейчас
в полночь нежного тяготения
кому вырастать выше нас
ближе к дальней звезде...

по-над самой землей
ходит ветер
и прячется в травах
и курганы раскрылись
в плодородных полях тишины

и во мне
в каждой косточке
давнее светится детство —
погруженный в море аэропорт
не погасивший огней

Август

Август, лучезарный месяц злаков,
ранних звезд, роняющих огни,
зорь, тревожных от орлиных взмахов,
август, август мой, повремени...

Родины, любви моей пространство,
август, август, юность не ушла,
как родник, струится постоянством
и неиссякаема душа.

К новым исчислениям стремиться
учит август тех, в ком есть талант,
август — жизни, времени страница,
драгоценный жемчуг-диамант.

Хлеб да соль тебе под небом южным,
звездами глядящий на меня
август, вечер с зернышком жемчужным
завтрашнего, будущего дня.

Перевод Л. БЕРИНСКОГО

ТОМА ДЖОРДЖЕ МАЙОРЕСКУ

Как на экране

На плечах моих друзей
вырос город
их ладони взвешивали каждый кирпич
их ступни месили глину
их спины сгибались под тяжестью мешков с цементом
только кончики пальцев поглаживали
гладкость каждой стены
потому что глаза на ней видели
как на экране
простые события
которые вспоминая сегодня
мы называем
самым естественным образом:
ИСТОРИЯ

В лесах на горе Семеник

В лесах на горе Семеник
у каждого дерева есть свое имя
и каждая ветка — певчая птица

Под взглядом твоим
расстилаются ночи смущенно
под улыбкой твоей
птицы немеют внимая

В лесах на горе Семеник
имена растеряли деревья
и каждая ветка томится тебя ожидая

Молчание

Прости меня
за пустоту между словами
словно провал
словно луг без цветов
словно страна без людей
Прости меня за молчание что пролегло между нами
словно пустырь
словно прерванный путь
словно пропасть
Я знал что одно только слово
могло меня сделать творцом
я знал что без этого слова
навек потеряю тебя
Прости меня за молчание простертое между нами
словно белая скатерть без яств
словно саван
Прости меня за молчание замкнувшееся как врата
Прости меня за это мгновение правды

Перевод КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

■

СРЕТЕН АСАНОВИЧ

Рассказы

■

Перевод с сербско-хорватского АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

Мертвый лес

Она упорно старалась думать о чем-нибудь радостном. Но ей это не удавалось.

Были мысли о лесе, по которому она шла и который был глух даже к самому сильному страданию, о лесе, окутанном туманной мглой и дымом, оседавшим между деревьями, о костях, на которых еще сохранились остатки плоти, она думала о дороге, что вела сквозь эту омертвевшую чащу, где у веток не было даже силы поранить усталое лицо человека, думала о клочьях тумана, повисших над лесом металлической птицей, думала о редких облаках, посеревших от копоти, точно пережженные тигли, о солнце, маленьком и растерянном, чуть ли не оробевшем и уставшем, подобно ей, думала о тех, кого ей надо было догнать, догнать непременно, но кого она, вероятно, никогда не догонит.

Санда шла по их следу. Она не ощущала усталости и в то же время не знала, сможет ли она все это долго выдержать.

Кругом ни живой души, прежде это бы встревожило ее, напугало; прежде.

Путь у нее не близкий, хоть бы попалось что-нибудь впереди и отвлекло бы от этих мыслей, вырвало бы из оцепенения. Но ничего не попадалось; волки не выходили навстречу, ухо не улавливало шума птичьих крыльев, муравей не пересекал дороги.

А звуки, где те звуки, на которые обычно вовсе не обращаешь внимания, как без них теперь пусто; ведь этот лес такой же, как любой другой, где же все это, силой отторгнутое?

Санда вдруг остановилась. Ей показалось, что за нею следят. Она оглянулась, на дороге позади нее не было даже тени. Наверное, мертвый лес глумится надо мною, подумала Санда и медленно, как в похоронной процессии, пошла дальше.

Протерла глаза: солнце стало еще меньше. И тут вдруг на дороге, на фоне этого зажженного светильника возникло какое-то существо. Возникло там, где, она знала, начинается другой лес.

Санда не верила своим глазам.

Навстречу ей медленно шла старуха, что-то шепча про себя, то ли читала молитву, то ли бранилась.

Санда хотела спросить ее о чем-то, но губы не слушались; она только обняла ее и заплакала.

— Несчастные дети! — прошептала старуха.

Санда снова хотела о чем-то спросить ее, но опять так и не произнесла ни слова.

— Не сумели от смерти уйти,— шептала старуха.

— Неужели все?..— отзвук надежды прозвучал в голосе Санды.

— Все, дочь моя.

Санда пошла дальше.

Старуха смотрела ей вслед, беззвучно шевеля губами.

Теперь Санда шла быстрее, увереннее, словно хорошо знала, куда ведет дорога. Словно какая-то музыка коснулась ее уха.

Она поняла: братья уже ни о чем больше не думают, они крепко спят, погубленные людьми в чужих касках. Долго ли они стояли, глядя на вскинутые винтовки; простились ли взглядом друг с другом?

Она шла, всматриваясь в какую-то далекую линию впереди, спотыкаясь о срезанные ветки и куски железа, не видя ничего вокруг, кроме той линии. А там, вдали,— пламя (вот и небо вспыхнуло!) и безмолвная поляна смерти, там ждут ее, ждут ее рук, которые придут на помощь, ждут ее голоса, который утешит, скажет ласковое слово. «Зачем это все? — шептала она.— Неужели меня могут ждать, кому я нужна?»

Дорога становилась все уже, теперь это была вовсе не дорога, даже не козья тропа; здесь прошли воины, протоптали, проложили след — осталась пустота за ними. И солнце отступило, скрылось где-то впереди, наверняка оно ранено, туманы его уморили. Только один лес остался, но и он теперь какой-то другой. Ночь, без малейшего звука, медленно поднималась над ней.

Передохнуть негде, да и нет силы садиться, потому что тогда уже не встанешь, а Санде не хотелось умереть у дороги. Идти долго, но темнота не пугала ее, ничто больше не застигнет ее врасплох.

Ноги ее не слушались, каждый сделанный шаг — преодоленное препятствие. Может, это препятствие — кости тех, кто раньше, много месяцев назад прошел этим лесом, тех, кого она знала, а также и тех, кого не хотела знать.

Тишина поглощала ее шаги, и Санда не была уверена, продолжает ли она идти или уже остановилась.

«Зачем они взяли Йошу? Помощи от него не так уж много. Могли бы отправить его с донесением. Чтоб сохранить ему жизнь. Конечно, если б он сам на это согласился».

Перед нею, устремленный куда-то вверх, возник тонкий луч света.

Санда напряглась изо всех сил, стараясь понять, откуда он появился.

Может, дом впереди?

Но лицо ее угасло.

Это ведь лес, которым войско прошло. И свет исчез, точно его не было.

Тьма, как и тишина, поглощала ее шаги. Голова падала на грудь, но глаза по-прежнему смотрели вперед, туда, где угас свет, и ей казалось, что стоит только чуть повернуть голову и дорога свернет в сторону, оборвется, исчезнет.

Вдали показалась маленькая тонкая фигурка, и Санда поняла, что это Йошо, которого все-таки отправили с донесением, она встрепенулась и протянула руки ему навстречу. Она уже нашла слово, что скажет ему, и подготовила себя для любой вести, которую суждено будет от него услышать, а глаза ее обожгла давно позабытая жаркая влага.

Йошо быстро приближался. Он как будто бы даже ускорил шаг, спешил ей навстречу, как и она понимая, что один из них вот-вот может упасть от изнеможения или волнения. Санда увидела, что его руки, широко раскинутые, вдруг стали вытягиваться, стремительно уходить вверх, ей показалось это странным, она испугалась, как бы он не упал, как бы ему не изменили силы. Спотыкаясь, она кинулась ему навстречу, но он вдруг замер и превратился в дерево. Объятие осталось безответным, и она совсем пала духом, словно разом состарилась. Но продолжала идти.

Дважды до наступления дня показывался ей Йошко и сразу же исчезал за деревьями.

Прояснился холодный утренний воздух. Лес остался у нее за спиной. По склонам тянулась мелкая поросль бересклета и терновника.

Где-то там за горами пламенел горизонт и вчерашний дым словно растворялся, только здесь — рукой можно коснуться — оставалось небольшое облачко.

Она ощутила странный запах и опустила глаза.

Повсюду вокруг мирно лежали трупы, чуть прикрытые ветками, точно в какой-то детской игре.

Внешне спокойно, уже не надеясь найти своих, сошла она к обожженным камням.

И стала тупо озираться вокруг, равнодушная ко всему окружающему, даже к этим телам.

Какую-то похожую картину она уже видела раньше, при выходе из какого-то другого леса. Командир, которого сразило в грудь, лежал на боку, она узнала его и не удивилась. Впечатления медленно проникали в ее мозг, у нее не хватало силы осознать их.

Так она и стояла с оцепенелым взором возле полуразрушенной стены и лишь в глубине души ощущала боль оттого, что она опоздала.

«Хоть бы кто-нибудь приковал меня сейчас к этим камням, мне было бы спокойнее тут со своими».

...Из-за старой стены медленно вышла фигура в зеленом мундире. Санду это не испугало. «Неужели здесь могут быть живые?» Отсутствующим взглядом смотрела она на солдата, а тот привычно и неторопливо достал пистолет и прицелился. «Вот и хорошо: сейчас это произойдет,— подумала она.— Но и твоя могила, чужой, будет неподалеку от моей».

Она стояла, повернувшись лицом к солдату, не шевелясь, как будто даже не обращая на него внимания. И тут ей показалось, что взгляд его дрогнул, а глаза затянула мутная пелена. Его рука медленно опустилась и вложила пистолет в кобуру. Солдат исчез за стеной. Словно его и не было.

«Увидел смерть в моих глазах и испугался? Значит, это тоже может быть оружием?»

Санда усмехнулась, теперь уже совсем иначе, и направилась к опушке леса, туда, к солнечным склонам, где, может быть, кто-то еще ждал ее, кто-то нуждался в ее помощи.

Игра

Голая равнина от Дайбабы до Кокоту. Пусто на бесплодной и обнаженной каменистой земле, хотя равнину и опоясывают две реки; одна — полноводная, звонкая, стремительная, другая — иссякшая, ее рано выпивает солнце, и русло становится зияющим и алчущим после первых же засушливых дней.

Тишина закипает в поле.

Солнце поджаривает разметанную гальку; зной отдает запахом гари. Отдаленные горы в туманной дымке не пропускают вести далеких миров.

Стадо ползет к реке, обходя опаленный редкий кустарник.

Почти теряя сознание, идет за овцами истомленный жаждой мальчик. Зной пляшет у него перед глазами, ему мерещатся разные странные фигуры, которые то отрывают его от земли, то вновь возвращают на землю, маленького, одинокого.

Сухой воздух обжигает ему легкие, пот стекает с лица, оставляя блестящие черные дорожки на скулах.

Если он не сумеет вскоре добраться до воды, солнце изжарит его, испепелит. Никого больше нет на этом поле. Ни одной живой души до самых гор, у подножия которых бьют студеные родники и созревают сочные крупные финики. Никого нет на этом солнцепеке, на потрескавшемся поле, в маленькой песчаной пустыне с огненными тенями. А там, в предгорьях — финики. Холодные, медовые, с ароматными листьями, которым солнце дает жизнь, с источниками у самых корней деревьев.

В горах снег пока еще не растаял, и хорошо было бы, если б кто-нибудь ночью принес оттуда на эту раскаленную землю побольше снега. Там и травы растут обильно, мягкие и сочные травы, дающие много молока и сыра, того самого горного сыра, что пахнет лугами.

Мальчик поднял свою палку к солнцу. Измерил, сколько еще остается до реки, которая остудит его сбитые подошвы и напоит истомленное стадо. Овцы сгрудились, прижались друг к другу ребрами, пыхтят, топчутся на месте и почти не продвигаются вперед.

Солнце кружится как медный диск, не желая опускаться, уходить, не желая даже спрятаться за лоскутом облачка, если бы оно появилось на этом небе, будь оно другом.

Легкий свежий ветерок возвещает о близости речки. Теперь и дышится иначе.

Мальчик уже почти добрался до воды; спустился по склону и идет по речной гальке, бог знает с каких пор омываемой проливными дождями.

Мальчик побежал к воде, обгоняя стадо, не выпуская палки из рук, и потом замер на самой быстрине.

Здесь ветер, и река, и солнце, а там, наверху, обжигающий пепел и все почернело от солнца.

Он вылез из живительной водной струи и растянулся на песке у самого берега. Рядом часто дышали овцы, с жадностью глотая воду.

Издали донесся приглушенный взрыв.

Мальчик не испугался. Может быть, где-нибудь выше по течению бросили в реку динамит, подумал он. Значит, будет рыба.

И он стал мечтать о рыбе, которую принесет сюда стремнина, всю ее сразу, конечно, не удастся подобрать. Река быстрая: все увлекает за собою, по пути оделяя других. В ней полно форели, самой лучшей рыбы. Он поймает одну рыбину — не обязательно самую большую, но все-таки крупную — и отнесет домой, вот будет славный ужин. Все будут есть. Только сам он к ней не притронется, потому что не след есть охотнику, сумевшему доставить радость голодным. Сам он не станет есть, а его отец, хоть он и старый, потом поймает другую рыбину и даст ему бóльшую часть за то, что вчера он отказался есть, уступил улов домашним, и вот тогда он наестся досыта, будет есть, пока не устанет, пока не сморит его сон.

Вялая, полная тайн в глубинах, река двигалась к нему. Но у самых его ног становилась стремительной и неуловимой, гибкой, как форель, которую он поджидал. Там, выше, за первым поворотом, бросили ди-

намит. Будь это поближе, он бы оставил овец и прыгнул в воду, ухватил бы много рыбин, нанизал их на прутик и убежал, чтоб его не поймали. Потому что, если поймают, до смерти изобьют, отнимут добычу, а самого швырнут в омут, барахтайся сколько угодно, плачь, умоляй о спасении. Но он не стал бы умолять, ну и утонул бы — подумаешь! Или нет, он нырнул бы и выплыл уже у противоположного берега; или сам бы спихнул тех, других, в омут и палкой бил бы их по головам, пока не раздуются, как жабы. Пусть тогда они умоляют его, пусть, но он не станет их слушать, просто-напросто отнесет рыбу к себе домой, и будет у них еда на обед и на ужин, на завтра и на послезавтра.

Он поднял голову, чтоб не упустить большую рыбину, или не очень большую; но зато получше, какую нельзя упустить...

Вон они! Вон они! Плывут...

Полумертвые, оглушенные рыбины белели на солнце, их было много, целый косяк; они медленно приближались, поблескивая брюшками, и он понял, что на этот раз у него будет хорошая добыча для себя и для всех, кто голоден.

Он не различал рыбу на быстрине (да и ловить ее здесь неудобно, она может проскользнуть у самых ног) и направился к более глубокому месту, где вода была ему по пояс.

А может, лучше все-таки стоять на мелководье, подумал он. Ведь рыба пойдет мимо, а здесь на глубине он не сможет добивать ее палкой. Он сделал шаг, другой, туда, где пили овцы, и вот первые рыбины, белые и толстые, уже закружились возле его ног. Но нет ни одной мертвой. Размахнувшись, он стал колотить по ним. Бил изо всех сил, но рыбы не сдавались. Они метались по кругу, усиленно работали хвостами, уклонялись от его ударов, а он колотил палкой все чаще, все с большим остервенением.

Мальчик испугался, что ни одной рыбины не сумеет поймать — они, скользкие и быстрые, вырываются из рук, их так много, не знаешь, какую же выбрать. Хоть бы одну поймать, подумал он и наметил белую, не самую крупную, но наберняка самую лучшую рыбину, какую ему доводилось когда-либо видеть. Он бросился к ней, хотел ударить палкой по голове; она закружилась на месте, он не отступал. Все другие рыбины уплыли. Это было ему на руку, ничто не помешает биться с ней один на один, и вот наконец он увидел кровь. Готово. Он поднял ее над водой и вынес на песок.

И ощутил тяжкую усталость. Ноги были как ватные, он не мог больше сделать ни шага. А жара вгрызалась в щеки. Он поднял глаза: все небо было залито кровью. Испугался, кинулся к реке, окунул голову в воду, потер ее руками. Снова посмотрел наверх — крови на небе стало меньше. Он еще раз намочил голову, и наваждение прошло.

Дрожа как в лихорадке, он подошел к мертвой белой рыбине на песке.

— Как? Я...

У его ног на песке лежал окровавленный мертвый ягненок.

— Да нет, это рыба... я...— шептал мальчик.— Это рыба, которую я вытащил из воды.

И снова вгляделся в нее, нет — ягненок.

Какой-то незнакомый звук и звон колокольчиков уходящего стада заставили его оглянуться.

Солнце выжигало гальку, опаляя мальчика, стоявшего в оцепенении. Он глядел вдаль. На реку. На тот ее изгиб, откуда, как он ожидал, должна появиться выброшенная взрывом рыба. Рыба для тех, кто голоден в доме, для него самого, хотя он из гордости и не стал бы ее есть.

Ниже по течению, на скале, нависшей над водой, стояли два солдата. Мальчик отступил в тень. Тень тонкой ивы. Стал устраиваться под ней, словно собирался ложиться спать, однако взгляд его невольно возвращался к скале, где стояли солдаты, их ног за веткой ивы он почти не видел.

Жар, словно паривший над водой, окутывал солдат какой-то дымкой, каким-то призрачным светом, и ему казалось, будто они приплясывают на месте; что-то передают друг другу, приседают и вновь выпрямляются... Эти люди, от которых его отделяло не только расстояние метров в пятьдесят, но и многое другое, были как дети увлечены своим делом и не замечали его, а для него они становились все невыносимее; тишина рождала тревогу, и их присутствие пугало.

Так и есть, они пришли глушить рыбу динамитом. Когда-то этот способ был запрещен. Но солдатам в форме оливкового цвета здесь никто и ни в чем не может помешать — они приходят, бросают в воду кучу смертоносных колосков, и дно реки белеет, потом мертвая и пьяная рыба всплывает на поверхность, и вода медленно несет ее, точно перевернутые лодки, а солдаты поджидают где-нибудь на мелководье и собирают ее, собирают.

Его ровесники тоже иногда приходили к реке, чтобы в омутах и ямах искать добычу, ускользнувшую от солдатских глаз, ловить рыбин, которые не всплыли на поверхность, а, тяжелые и темные, оставались на дне. Мальчишки ныряли, доставали их, нанизывали на прутья, считая, что они отняли у врага то, что ему и не принадлежало. Может быть, они делали это потому, что искали приключений, потому что глубина всегда манила их, солнечные лучи там выглядели такими бледными, а то и вовсе туда не проникали; водоросли и лишайник корчили рожи с каменистых утесов, и крохотные, чуть различимые рыбки мушками мелькали перед самыми глазами. Там все было тихо и непостижимо, в том мире между двумя глотками воздуха.

Думать об этом дальше он не смог. Он ничего не услышал. Лишь увидел, как пламя на миг обхватило обе фигурки на скале и они скрылись в дыму, а потом из дыма вырвался один человек и сломя голову кинулся по направлению к городу; взгляд мальчика следил за его частыми скорыми шагами, от которых оставались облачка пыли, и за его уменьшавшейся фигуркой, у поворота реки она уже напоминала заводную детскую игрушку, которой суждено быть в движении ровно столько, сколько выдержит заведенная пружина.

Он почти забыл о том, что это бежит живой человек, он думал, что же за пружина у этой игрушки, раз он может так долго бежать, бежать изо всех сил к той самой дымке у поворота, перед которой взгляд мальчика бессилен.

Только сейчас он услыхал грохот и понял, что это результат взрыва, от которого его отделяло несколько мгновений; благодаря какому-то чуду он тогда не услышал его, а вот теперь звук докатился и до его ушей — отозвался где-то глубоко в груди и застрял меж ребер.

Он взглянул на скалу. Дым рассеялся, один человек сидел в странной позе, скрючившись и повернувшись к солнцу, опустив голову на колени, точно в молитве. Это было как продолжение недавнего сна.

Он встал и вошел в воду; переплыл быстрину и влез на скалу.

Его интересовало, что делает этот одинокий человек на солнце, тогда как другой солдат убежал, почему сидит в такой странной позе и размышляет о небесах; и он скоро оказался лицом к лицу с этим человеком, который сидел, прислонившись теперь к шероховатому камню, с раздробленными ногами и вывернутыми руками, с обожженных культяпок которых свисала бахрома почти черной крови.

Мальчик вплотную подошел к раненому и присел на корточки,

не сводя глаз с его лица; а тот, словно не обращая на мальчика никакого внимания, чуть наклонив голову, смотрел в небо. Не заметно было, чтобы боль терзала его, лицо у него приобретало лимонный цвет, и на нем выступали тени черных пятен, а мускулы напрягались — пожалуй, только они и выдавали мучительные страдания.

Мальчик подумал, что его привело к раненому то загадочное чувство, которое издалека приводит стервятника к падали. Он ощутил во рту привкус соли и металла, и ему стало не по себе оттого, что он не может сплюнуть — это нарушило бы тишину, в которой длились последние мгновения жизни врага.

Взгляд умирающего упал на мальчика, и оба словно стали взвешивать оставшиеся у каждого из них силы. Наверное, солдат думал, что мальчик радуется, видя его таким, его, который еще сегодня утром мчался по городу на мотоцикле, сея вокруг себя страх. Губы его исказила горькая усмешка, глаза ожили и сверкнули холодным блеском, в котором было презрение; он как будто стремился удержать свое превосходство над ребенком, маленьким и безоружным.

Несчастный, думал мальчик. Еще вчера этот солдат стрелял в него, в его соседа, а теперь он беспомощен, неподвижен, его даже нельзя ненавидеть, потому что у него нет ног и он не может подняться. Все это вдруг показалось мальчику смешным, он чуть не рассмеялся, но смеяться перед умирающим негоже.

А раненый никак не хотел умирать. Он упорствует из последних сил, думал мальчик и не сводил с него глаз. Смотрел на его подбородок, который чуть заметно вздрагивал. Губы раненого солдата приоткрылись, и на солнце сверкнул золотой зуб. Как странно, что у него нет ни рук, ни ног.

Умирающий словно угадал его мысли; наверное, удивился, что не вызывает ни капли сострадания. Должно быть, это и заставило его самого шевельнуться. Он опустил руку к оружию, которое продолжало висеть на ремне. Культяпка оставила лишь еще одно пятно на кожаной кобуре, и крохотный огонек ненависти в его взгляде вдруг потух. Он с усилием прикусил губу и отвел глаза в сторону.

Мальчику надоела эта игра, его охватило мучительное отвращение, от которого все смешалось перед глазами.

Он повернулся и, точно ища спасения, бросился в поле, закипавшее от зноя.

Полынь в цвету

Запах смерти смешался с запахом пота и кожаной обуви. Солдаты, которым надлежало произвести прощальный салют, отличались от других только тем, что стояли поодаль. Все остальные тоже были в военной форме, тоже были вооружены и перепоясаны ремнями, на которых висели маленькие кожаные сумки, а на ногах были сапоги или толстые ботинки.

Все женщины — в черной одежде, и она, сверкающая и раскаленная, скорее отражала, нежели притягивала, лучи солнца и тяжкую душную жару и словно на глазах выгорала, становилась старой и ветхой, редкой и прозрачной.

Густой, пропитанный пылью и зноем воздух прилипал к влажным щекам, по ним скатывались струйки пота, которые оставляли на скулах тонкую бахрому грязи, подобно тому как, отступая, вода наметами мусора отмечает достигнутый ею ранее уровень. Люди вытирали соленый пот, стекающий на глаза. Переступали с ноги на ногу, подни-

мая с потрескавшейся земли, покрытой высохшей травой, новые столбики пыли. Однако никто из них не расстегнул пуговицы, не снял что-нибудь из одежды, все они, и женщины и мужчины, надели самое лучшее, что у них было, то, что лишь в особых случаях надевают и зимою и летом, и осенью и весной. А солнце сверху било подобно косцу, отбивавшему косу.

Томану женщины не поддерживали, как повелось исстари, их даже не было поблизости, да и родня стояла поодаль. С одной стороны Томану обнимал Гойко Джюрович, с другой — кто-то из боевых товарищей Вука, с биноклем и кожаной сумкой, на груди его, перекрещенной ремнями, блестели две круглые желтые медали.

Боевые друзья Вука стояли рядом с Томаной, стиснутые толпой. Подобие улыбки застыло у нее на губах, в то время как тошнота то и дело подступала к горлу, лишая дыхания. Все слилось в неясном шуме, она тщетно старалась различить лицо Вука. Чуть приподнятую и вытянутую вперед руку пожимали бесчисленное число раз, и эти пожатия походили на поздравления с утратой всего, что у нее было. Она вытянула руку вперед, словно желала обнять и приласкать кого-то слабого, маленького, беспомощного.

Томане чудилось, будто все хотят убедить ее в том, что ее сын какой-то другой Вук, проводить которого собралось больше народу, чем в престольный праздник, и они зачем-то украшали его.

Иногда она оказывалась рядом с его лицом, рядом с лавиной прорвавшейся боли, этот шум напоминал ей знакомое пронзительное жужжанье; она повсюду ощущала его в воздухе вокруг себя, точно слово, которое вертелось на кончике языка.

Она испытывала такое чувство, будто то, что она все время пытается найти, существует где-то рядом, но достичь его не удается...

Ружейный салют не вызвал слез из глаз Томаны, не ослабил мертвый узел внутри, но словно наглухо прихлопнул ее, и звук погас, как будто выстрелили в снежный сугроб.

А потом, дома, ей было еще мучительнее и тяжелее. Она никого не видела, ничего не слышала. Сложив на груди руки, сидела неподвижная, оцепеневшая.

Душная ночь, не приносящая ни сна, ни покоя, словно оживила ее. Она подняла глаза куда-то к потолочным балкам, вздрогнула, точно о чем-то вспомнив, с усилием встала и, немного помедлив, вышла. Сначала медленно, а потом ускоряя шаг, уходила она от своего дома, точно привидение, ступая по изрытым и вытоптанным склонам и выгонам. Плетни из высохшего терновника не мешали ей.

Словно ведомая чьей-то рукой, находила она тропинку и привычные дыры в заборах.

На кладбище еще не успел растаять нечистый запах, оставленный толпой.

Как во сне, высоко подняв голову, Томана прошла по кладбищу, но не смогла приблизиться к могиле Вука, укрытой венками; и остановилась в нескольких шагах от нее, вперив взгляд в землю.

Она ждала.

Слез не было.

Томана чуть не лишилась сознания, когда вновь услыхала голоса толпы, той, что собралась сегодня днем, потом этот шум превратился в знакомый пронзительный звук, в пчелиное жужжание, и до нее донесся горький запах цветущей полыни у подножья Леперича; она увидела, как собирает полынь для топки, почувствовала, как боль, сокрушающая все преграды, пронзила ее, и она прислонилась к обломку скалы, а живот у нее разрывало на части, пока крохотная трепетная частичка ее тела не отделилась и не заплакала. Почувствовав

облегчение от того, что боль миновала, она острым камнем перерезала пуповину и завязала ее. С младенцем на руках и охапкой полыни на спине доползла она до дому. Выстрелы возвестили о рождении нового Радовича.

Теперь Томана дрожала всем телом. Слезы сами собой катились у нее по щекам, по подбородку, а стоны заставляли умолкнуть цикад.

Она заворачивала младенца в жаркую, только что содранную с овцы шкуру, чтобы у него не было чирьев, растирала его шерстью, чтоб не болел оспой, провожала мальчика в школу...

Сорвав платок с головы, Томана вцепилась в волосы, потом стала царапать ногтями лицо; разбросав венки, упала на могилу и зарыдала во весь голос.

Когда сбежались соседи и родня, они застали ее сидящей среди венков; Томана равномерно покачивалась из стороны в сторону, словно баюкая ребенка, и напевала беззвучную песню.

Горькое успокоение

Тот испуг, который охватил его нынче утром, теперь исчез, на смену ему пришла какая-то вялая сонливость, как бывает, когда минует нечто опасное и позорное одновременно. И стула у себя на спине он больше не чувствовал. Он не перекидывал его больше с одной стороны на другую. Стул теперь не давил ему на спину, почти сросся с ним, прильнул к плечам, и сиденье манило своим багряным плюшем.

Почти успокоившись, Рашко зашагал Чемовским полем. Он глядел на серый пейзаж, окружавший его, и из-за какого-то чувства, глубоко в нем запрятанного, этот пейзаж не казался ему пустынным, безжизненным.

И вдруг он замер как вкопанный, испытав внезапно тот же страх, что и сегодня утром. Он стоял на краю огромной воронки от авиабомбы. Широкая впадина с зазубренными краями поразила его не столько своей глубиной, сколько невиданными размерами. Даже самая большая бомба не оставляла в Подгорице такой дыры. К тому же в окаменевшей опаленной почве Чемовского поля, где расплавленный крупный песок, точно огромная плита, крепче любого бетона лежал под тонким безжизненным слоем земли. Его охватил ужас при одном взгляде на эту воронку, своими размерами напоминавшую пересохшее озеро. Ему вспомнилась страшная бомбардировка, когда был разрушен их дом, и этот стул, тяжесть которого он снова ощутил, вдруг был подхвачен черным облаком и упал перед самой бетонной норой, где укрылась их семья. Вот так из всего, что они имели, уцелел только стул. У него сжалось сердце при воспоминании о том, как он шел утром по разрушенному городу, как перекладывал стул с одного плеча на другое и прикрывал его своим телом, обходя воронки, огромные глыбы обтесанных камней, кучи земли и черные плиты разбитого асфальта. Пузатый стул с короткими, гнутыми ножками и овальной спинкой, видимо, оттого, что прежде всегда был накрыт белым полотняным чехлом, теперь точно назло сиял каким-то жарким порочным блеском; а Рашко торопился поскорее выйти из города, который расчищали от развалин. Чтобы не видели ни его самого, ни этого стула; на фоне белой пыли и камня стул бросался в глаза своим черным лаком и мягким сиденьем и вызывал почти бесстыдное желание сесть на него. Рашко не верилось, что он сумеет без препятствий вынести стул

из города, потому что чуть ли не на каждой груде камня развевались флаги трудовых бригад и загорелые юноши, почти дети, обнаженные до пояса, копали на трассах городских улиц, перевертывали глыбы и во все горло распевали «Америка и Англия станут пролетарскими». А стул словно продолжал увеличиваться в размерах, сверкая в лучах утреннего солнца. Рашко подумал, что ему не миновать мучительных расспросов, когда будет переходить мостик через Рибницу, куда и зачем тащит этот стул; ему стало легче, едва он увидел, что трудовые бригады прекратили работу и направились к Соколане под громкое скандирование лозунгов. Он понял, что у них сейчас будет какой-то митинг и дорога к Чемовскому полю свободна.

Он собрал все свои силы, чтобы сдвинуться с места, и теперь шел по краю воронки, стараясь не глядеть на нее. Он продолжал путь, углубляясь в Чемовское поле. Солнце поднялось, однако настоящей жары еще не было. На голой местности не видно ни деревьев, ни кустарников: одна мелкая сухая трава и камешки. Но все выглядело чистым и светлым; до самых отдаленных гор все казалось омытым: и воздух, и голубовато-серые горы вдали, и деревни, к которым он приближался.

По чахлому редкому вереску и сухому репейнику Рашко нес стул уже успокоившись, ощущая свободу. Он не завидовал своим сверстникам, которые, бросив расчистку развалин, направились к Соколане. Он знал только, что ему надо добраться до дома Чаджеповича и, не присев, идти обратно.

Он думал об этом, когда оказался перед каким-то проржавевшим кузовом автомобиля без стекол и дверей, поставленным прямо на землю.

Рашко оглянулся по сторонам, внес стул в кузов и, чуть помедлив, уселся на него. Он слышал только свое дыхание, глухо отдававшееся в выпотрошенной раковине из старой жести. Но он не успел поудобнее усесться, как тут же вскочил, будто застигнутый на месте преступления. Его охватил какой-то неясный страх. Горы, которые сквозь разбитые стекла казались фантастическими пейзажами в рамке и напоминали о забытых картинах, висевших в гостиной до бомбардировки, отступили, поплыли куда-то вдаль, все выше от земли, все ближе к небу.

Закинув стул за спину, Рашко продолжал свой путь Чемовским полем. Но это поле с каждой минутой становилось все бесконечнее. И стул он все чаще перекладывал с одного плеча на другое.

На обратном пути ему почудилось, будто Чемовское поле приобрело иной цвет, иной запах. Стало другим. Оно словно ощетинилось и потемнело, встревожилось и стало неоглядным, раздвинув горы и окутав их трепетной мглистой вуалью. И уже кругом — солнце и сушь.

Он не ощущал ни усталости, ни тяжести куска толстого белого сала, хотя у него ныли пальцы от железного крюка, на котором оно висело, завернутое в старую газету.

Он ощущал только зной и жажду. Дышалось с трудом: воздух, густой и непробиваемый, закипал как в котле, и ни капли влаги в нем, ни дуновения ветерка; воздух — тяжкий как камень, едва преодолимый, как все это поле.

Ему казалось, будто солнце сверху давит на него, пока он шагает по своей тени. Он топтал свою тень, а свободную руку время от времени прикладывал к голове, чтобы защитить макушку, чтобы короткие, стоящие торчком волосы не вспыхнули. Он чувствовал, что солнце на черном небе полыхает прямо у него над головой, однако не поднимал глаз, чтобы проверить, как низко оно опустилось и на-

сколько оно увеличилось. Липкие губы у него были открыты, чтобы вместе с потом, стекавшим по глазам, по лицу, глотнуть побольше воздуха. А воздух словно застревал у него в горле. Поле увеличилось, ничего, кроме него, не было видно. Рашко шел и наклонялся в одну сторону, потому что ему казалось, что поле упадет вместе с ним, что их придавит солнце, которое навалилось и на поле, и на него всей своей тяжестью.

Иногда Рашко мерещилось, будто он движется по кругу, хотя он хорошо знал, что идет к городу. Но и город, и каменистые холмы, окружавшие Чемовское поле, воспарили где-то вдали и теперь плыли вместе с жарою, невидимые и недостижимые. И только поле вокруг него и солнце над ним были постоянны и ощутимы, от них невозможно было ни убежать, ни скрыться.

Хоть бы одну каплю воды, намочить язык, к чему-либо холодному прикоснуться.

Рашко знал, что не упадет, не остановится. Еще немного — и солнце опустится ниже.

В трепетном зное он скорее почувствовал, чем услыхал необычный звук, который встревожил его и который словно исходил из земли. Он напоминал глухой тупой звук, так бывает, когда капли воды падают на неостывший пепел. Он не хотел выяснять, откуда идет этот звук. Он не позволял утвердиться мысли, от которой его бросило в дрожь. Он не желал остановиться и поглядеть. И только каждый раз вздрагивал от тупого зловещего звука. Почувствовав на голом колене прикосновение теплой скользкой жидкости, он остановился и посмотрел на кусок сала. Сало текло, и уже не каплями, а почти непрерывной струйкой. Оно таяло у него на глазах. На жаждущей земле ширилось темное влажное пятно, и оно шипело, как бывает, когда гасят известь.

Рашко подставил ладони под тающее сало, пытаясь хоть что-нибудь спасти, но жир продолжал вытекать у него между пальцами. Он подставил газетный лист, но капли пробили мягкую истрепанную бумагу, превратили ее в кашицу и продолжали стекать на землю.

Отшвырнув лохмотья истертой бумаги, он выпрямился и, несмотря на то что крюк скользил и давил ему на пальцы, побежал по раскаленному полю.

Жир вытекал на пересохшую землю.

Он бежал, не думая ни о чем, кроме одного: он должен сохранить сало. Он бежал и пытался прикрыть сало собой, своей тенью, но тень исчезла. Осталось только солнце на макушке и кусок, ускользающий из рук.

Из последних сил мчался он к автомобильному кузову, в укрытие. А когда вскочил туда, густой воздух раскаленной раковины обдал его, словно кипятком. Он метнулся прочь, потому что под броней этого металлического насекомого невозможно было даже дышать, а тем более остановить таяние сала. Он не хотел признаться себе в том, что ничего больше сделать нельзя.

И продолжал брести по полю в направлении города, которого он не видел, словно и того больше не существовало, раздавленного и растерзанного.

Он не чувствовал ни жары, ни жажды, ни усталости. Оцепенело глядел вперед, ступая с трудом. Он понимал, что сало исчезает.

Он боялся посмотреть на него. Крюк больше не оттягивал ему пальцы. Будто жирный нагар тлел на нем, испуская горький, тяжелый запах падали. Он знал, что крюк пустой, и шагал вперед, исполненный горького успокоения. Устремив глаза вдаль.

■

ГОР ВИДАЛ

Бэрр

РОМАН

Перевод с английского А. ФАЙНГАРА и М. БРУКА под редакцией Е. СУРИЦ

1833

I

«Экстренное сообщение для нью-йоркской «Ивнинг пост»:

Незадолго до полуночи 1 июля 1833 года полковник Аарон Бэрр, семидесяти семи лет, обвенчался с Элизой Джумел, урожденной Боуэн, пятидесяти восьми лет (более вероятно, что ей шестьдесят пять, но будьте осторожны: она может подать в суд!).

Обряд бракосочетания, состоявшийся в доме мадам Джумел на Вашингтонских холмах, был совершен доктором Богартом (имя сообщу позднее). Присутствовали также племянница мадам Джумел (по некоторым сведениям — дочь) с мужем Нелсоном Чейзом, адвокатом конторы полковника Бэрра на Рид-стрит. Это второй брак полковника; полстолетия тому назад он женился на Теодосии Прево.

В 1804 году полковник Бэрр, вице-президент Соединенных Штатов, застрелил на дуэли генерала Александра Гамильтона. Через три года после сего досадного происшествия полковник Бэрр был арестован по приказу президента Томаса Джефферсона и обвинен в измене за попытку распустить Соединенные Штаты. Суд под председательством верховного судьи Джона Маршалла признал полковника Бэрра невиновным в измене, но осудил за попытку незаконного вторжения на испанскую территорию с намерением провозгласить себя императором Мексики.

Новоиспеченная миссис Аарон Бэрр — вдова виноторговца Стивена Джумела, самая богатая женщина в Нью-Йорке — начинала свои дни не столь пышно, но, без сомнения, весело в борделе города Провиденса, штат Род-Айленд...»

■

Похоже, мне не дается верный тон, но раз уж Уильям Леггет поручил мне полковника Бэрра, я буду писать как пишется, а там уж пусть «Ивнинг пост» решает.

© by Gore Vidal, 1973. Published by arrangement with Random House Inc., New York.

В последнее время Леггет обнаружил столь же внезапный, сколь и таинственный интерес к Бэрру, хотя шеф Леггета, мистер Брайант, находит моего работодателя «непривлекательным». «Подобно многим мужчинам прошлого века, он не чтил женскую добродетель».

Поскольку я моложе мистера Брайанта, «непривлекательность» полковника Бэрра кажется мне приятным контрастом лицемерию наших дней. Мужчина восемнадцатого столетия не похож на нас, а полковник Бэрр — мужчина восемнадцатого столетия, еще полный жизни и сил, с новой женой здесь, в Гарлеме, и прежней любовницей в Джерси-сити. Он полон блеска и обаяния. Короче говоря — чудовище. Опорочить его? Очевидно, Леггет именно этого и хочет. Но хочу ли этого я?

Я сижу под сводами особняка Джумелов. Все спят — кроме новобрачных?

Этот удивительный день начался с того, что полковник Бэрр, выйдя из своего кабинета, попросил меня проводить его до гостиницы «Сити», где у него назначена встреча с другом. Как всегда, он был сама таинственность. Даже прогулка к парикмахеру выглядит у него как попытка государственного переворота. Он буквально несся вприпрыжку рядом со мной по Бродвею, будто не было и в помине удара, который наполовину парализовал его три года назад.

На углу Либерти-стрит он купил яблоко в сахаре. Торговка узнала его. Впрочем, все нью-йоркские старожилы узнают его на улице. Люди простые тепло приветствуют полковника, респектабельные норовят с ним не раскланяться. Деловые люди с Уолл-стрита, завидя его, тотчас отворачиваются и прибавляют шаг. Он же как будто не замечает производимого им эффекта.

— Чарли, у тебя вечером найдется время для небольшого приключения?

— Да, сэр. А что за приключение?

Большие черные глаза смотрят на меня лукаво.

— Весь смак в том, что это сюрприз.

Перед гостиницей остановился омнибус. Лошади ржут, мочатся, тяжело дышат. Солидные процветающие мужчины устремляются к гостинице: сумерки — время свиданий, сплетен, выпивки; потом они пешком расходятся по домам, потому что так быстрее, чем экипажем.

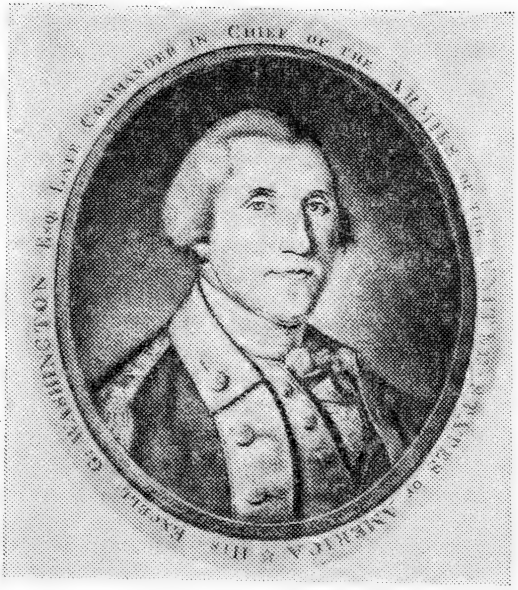
Вместо того чтобы войти в гостиницу, полковник (может, чтоб не столкнуться с компанией боссов Таммани-холла у двери) свернул к кладбищу церкви св. Троицы. Я послушно последовал за ним. Я всегда послушен. А что еще остается не слишком расторопному клерку юридической конторы? Не понимаю вообще, почему он меня держит.

— На этом прелестном кладбище у меня больше интимных друзей, чем на всем Бродвее.— Бэрр шутит по любому поводу: не то что другие. Всегда он был такой или годы ссылки в Европе сделали его столь непохожим на всех нас? Или — тоже не исключено — изменился нрав нью-йоркцев? Да, видимо, в этом дело.

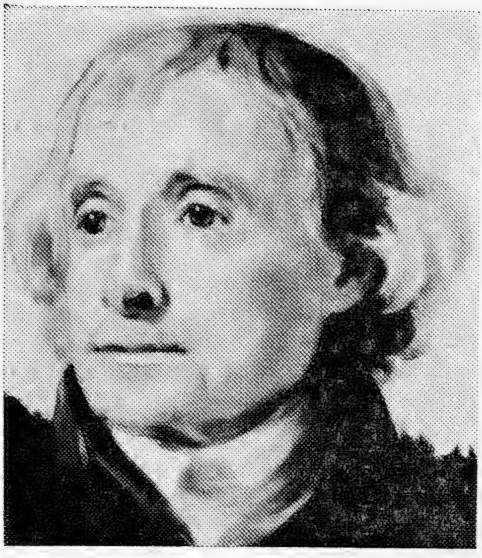
В полумраке кладбища Бэрр определенно был похож на дьявола — если, конечно, дьявол не выше пяти футов и шести дюймов (на дюйм ниже меня), с маленькими ногами (копытами?), высоким лбом с залысинами (во мраке мне чудятся рудименты рогов), волосы у него высоко взбиты, небрежно припудрены по старинной моде и удерживаются роговым гребнем. За его спиной памятник человеку, которого он убил.

— Я хотел бы, чтобы меня похоронили в Принстоне, возле колледжа. Правда, никакой спешки в этом нет.— Он посмотрел на гамильтоновское надгробие.

Аарон Бэрр

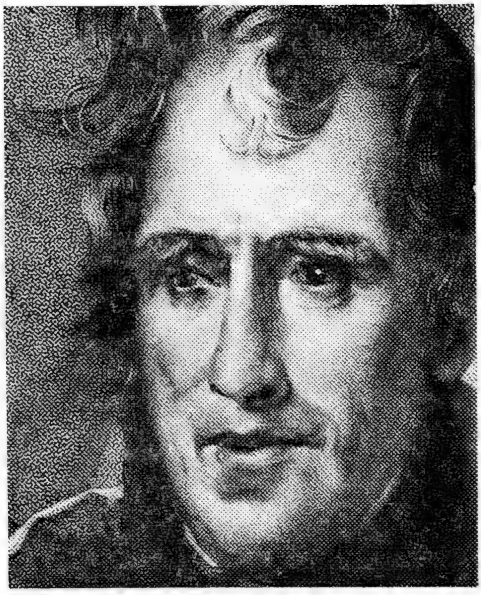


Джордж Вашингтон



Томас Джефферсон

Александр Гамильтон



Эндрю Джексон

Аарон Бэрр
в старости

Теодосия,
дочь Бэрра

Мадам Джумел

— Ты знаком с трудами сэра Томаса Брауна?[1]

— Нет, сэр. Это ваш друг?

— Нет, Чарли. И при том, как Ахилл прятался среди девушек, я тоже не присутствовал. Хотя я всегда предпочитал женщин мужчинам. Странно, не правда ли?

Тут уж я точно знаю, что он имеет в виду, и соглашаюсь. Нью-йоркские джентльмены проводят в барах и трактирах гораздо больше времени друг с другом, чем в смешанном обществе. В последнее время они даже создают клубы, куда женщинам вход запрещен.

— Я просто не могу обходиться без женского общества.

— Но вы потеряли жену...

— Еще до твоего рождения. Но впоследствии я не испытывал недостатка... в нежном участии.— Снова мимолетная усмешка: при тусклом свете он похож на задиристого подростка лет четырнадцати. Но в следующее мгновение он уже стал самим собой: — В гостинице мы встретимся с моим старым другом доктором Богартом. Он нанял экипаж. И вместе поедем на Гарлемские холмы — то есть Вашингтонские холмы, так их, кажется, теперь называют.— Уклончивая улыбка.— Может ли быть лучшее название для американских холмов, нежели Вашингтонские?

Я уже записал кое-какие высказывания Бэрра о генерале Вашингтоне. Правда, они загадочны, чаще всего не больше одной фразы, например, такой: «Кем же и быть первому американскому президенту, как не землемером?» Знает он много, но говорит мало. Что же, я решил, пока не поздно, узнать, что же он все-таки знает.

Бэрр сдвинул восьмигранные очки на лоб. Птицы щебетали среди деревьев у церкви наперекор оглушающему в этот час дня грохоту, скрипу и ржанию, доносившимся с улицы.

— Я знаю, ты пишешь о моей бурной жизни.— Я обомлел. И выдал себя. У меня все всегда на лице написано. Ничего не умею скрыть. Надо учиться этому искусству.— Я обратил внимание, что ты делаешь заметки. Не пугайся. Я не возражаю. Если бы я не был так ленив, я бы сам все записал, тем более что кое-что у меня уже набросано.

— Настоящие мемуары?

— Крохи и осколки воспоминаний. Я все еще мечтаю рассказать подлинную историю Революции, пока не поздно, хотя, наверное, уже поздно; ведь легенды тех дней уже отлиты в типографском свинце, если можно судить по школьным учебникам. Просто ужасно, сколько там вранья. Зачем ты так часто видишься с мистером Леггетом из «Ивнинг пост»?

Внезапное обвинение буквально сбило меня с ног: это его знаменитый прием в суде во время перекрестного допроса.

— Я вижусь с ним потому,— залепетал я,— что знаком с ним еще с той поры, когда учился в Колумбийском... Он часто там бывал, знаете, беседовал с нами о литературе. О журналистике. Я тогда подумывал, не заняться ли мне журналистикой, но потом выбрал юриспруденцию...

Неизвестно, что Бэрр хотел у меня выведать, но, очевидно, он своего добился, потому что по пути с кладбища к Бродвею, где уже зажигались ярко-белые шипящие уличные фонари, а прохожие отбрасывали темные, мерцающие тени, он переменил тему:

— Когда в следующий раз увидишь мистера Леггета, скажи ему, что я в восторге от его статей насчет нуллификации[2]. Я тоже сторон-

---

[1] Томас Браун (1605—1682) — английский врач и писатель. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Отказ штата признать закон, принятый конгрессом.

ник Джексона и против нуллификации.— Как же это понять? Недавно Южная Каролина заявила о своем «праве» не только не признавать федеральные законы, но и выйти, в случае необходимости, из союза штатов. Если полковник Бэрр действительно хотел отделения Западных штатов от Восточных (в чем все убеждены), он должен был бы одобрить принятый Южной Каролиной закон. Но он его не одобряет. Или говорит, что не одобряет. Он — как лабиринт. Не заблудиться бы.

Бэрр привел меня в переполненный бар гостиницы, и мы пили мадеру (ему это не свойственно: табак — его единственная слабость), пока не пришел доктор Богарт, щуплый, седенький старичок с лицом попугая и птичьими повадками.

Бэрр был в праздничном настроении. Я все еще не понимал почему.

— Святой отец, вы опоздали! Не оправдывайтесь. Мы немедленно едем! Пора, пора!

Он отставил рюмку. Я последовал его примеру, заметив, что джентльмены за соседним столиком ловят каждое его слово. Нелегкая задача: в прокуренной комнате стоял гул голосов, сопровождаемый стуком молотка, которым бармен колол лед.

— Вперед! — Бэрр устремился к двери, разметав на ходу стайку адвокатов — некоторые из них, с ужасом узнавая его, кланялись.— На Холмы, джентльмены.— Он хлопнул в ладоши.— На Холмы! Только туда!

II

Я страшусь ночных путешествий. Сидеть закупоренным в темноте экипажа — все равно что расстаться навсегда с реальным миром, уйти в небытие. А в эту ночь отвратительный белесый свет луны к тому же обесцвечивал мир, лишал поля и деревья зелени, превращая природу в нечто черно-белое, серебристое. Временами мне и в самом деле казалось, что я умер.

Да и сидевшие напротив два старика не улучшали моего мрачного настроения. Бэрр: «Тут, кажется, Вэнтворты жили, в том фермерском доме с тремя трубами?» Д-р Богарт: «Нет, полковник, тут жил голландец. Как его... Ну, тот, с лысой женой, которая утонула в Фишкилле в семьдесят втором или семьдесят третьем».

Неужели и я буду таким в их годы? Буду вспоминать ненужные подробности чьих-то смертей?

Проехали открытые ворота. Каменные? Деревянные? Не видно. Дальше — по изогнутой подъездной аллее. Высокие темные деревья. В отдалении — река. Свет на воде как потускневшее серебро (пока ничего лучше не придумал — потом еще попробую). Темная громада особняка. Огни во всех окнах. Званый вечер? Вряд ли: Бэрр предложил бы нам в таком случае соответственно одеться. Но почему такая иллюминация? Даже мадам Джумел при всем своем богатстве не станет зажигать свет во всех комнатах только для того, чтобы отпраздновать наступление полуночи.

Экипаж останавливается у подъезда. Откуда-то сбоку появляется черный лакей. Мы выходим. Ступени поднимаются к портику с колоннадой (на втором этаже — балкон). Дом громадный, на два крыла. Мои родители приезжали сюда по воскресеньям, когда дом был модной гостиницей. Затем его купил Стивен Джумел для своей новой жены и бывшей любовницы Элизы Боуэн (или как ее) из Провиденса, штат Род-Айленд.

Открывается парадная дверь. Вспыхивает ярко освещенный прямоугольник. Нас встречает громадный дворецкий. Полковник Бэрр быстро исчезает в доме. Я помогаю прихрамывающему доктору Богарту: у него слабые ноги, и он плетется как пьяный.

Теперь для истории — пишу в другом времени.

Мы вошли в холл как раз вовремя, чтобы стать свидетелями брачного танца полковника Бэрра (или мадам Джумел?).

В конце длинного зала в свете люстр стояла мадам собственной персоной; на ней было бальное платье — вероятно, парижское. Я бы сказал, чересчур роскошное. Величественная женщина с громадными глазницами и маленькими серыми глазками, маленьким ртом и квадратной челюстью. Увешена драгоценностями. Да, платье, конечно, было бальное — в провинциальном Нью-Йорке еще не знали этой моды, а может, знали, да не одобряли. Скорее первое.

— Полковник Бэрр! Я не ждала вас, сэр! — Наверное, это были первые слова, с которыми мадам к нему обратилась. Они еще отдавались эхом в зале, когда я дотащил доктора Богарта до ливрейного лакея, не обратившего на нас ни малейшего внимания: как и все мы, он не отрывал глаз от хозяйки дома, которая стояла, будто готовясь бежать — одной рукой она держалась за перила, другую прижимала к сердцу.

— Моя дорогая, тому, о чем я предупредил вас вчера, суждено свершиться.— Бэрр вприпрыжку покрыл расстояние, отделявшее его от прекрасной Элизы, которая, сделав выбор между отступлением либо в громадную гостиную за ее спиной, либо в безопасность комнат наверху, уже ступила на первую ступеньку лестницы, по-прежнему держась за перила и за сердце.

— О чем вы, полковник? Я не припоминаю, чтобы вы меня предупреждали.

— Мадам.— Полковник взял ее за руку, которая должна была защитить сердце. Она, будто нехотя, уступила.— Как и обещал, я приехал со священником. Доктором Богартом.

— Великая честь, миссис Джумел...— начал доктор Богарт.

Бэрр не дал ему договорить:

— И со свидетелем. Из моей конторы. Чарльз Скайлер...

Знатное нью-йоркское имя на мгновение отвлекло мадам:

— Скайлер?

Прежде чем я успел объяснить, что я не из *тех* Скайлеров [1],Бэрр полностью завладел положением, как и ее рукой, которую он исхитрился поднести к губам, продолжая говорить своим низким, хорошо поставленным, завораживающим голосом.

— Доктор Богарт, мой старинный друг, священнослужитель, известный всем нам во времена Революции. Патриот, человек святой и правдивый...— Доктор Богарт оцепенело внимал этому панегирику.— Близкий друг генерала Вашингтона — а ведь у него не было друзей — согласился обвенчать нас. Сегодня. Сейчас.

— Полковник Бэрр! — Мадам Джумел не уступила бы лучшим актрисам Паркового театра. Она попыталась высвободить руку, что ей не удалось, попыталась подняться выше по ступенькам — ее удержали. Она воззвала к помощи дворецкого, лакея, но верные слуги ответили нервными смешками и отвели глаза. Примерно через восемь минут, если верить часам, стоявшим в холле (подаренным ей Наполео-

[1] Скайлер — одна из старейших голландских фамилий Нью-Йорка. Филип Скайлер (1733—1804) был государственным деятелем и генералом во время Войны за независимость (американская буржуазная революция).

ном Бонапартом, сказала она нам позже), Элиза Боуэн-Джумел согласилась стать мадам Аарон Бэрр.

Теперь, изрядно раскрасневшаяся, мадам приказала подать виски себе и нам — мадеру. Затем, словно по заранее условленному сигналу, к нам присоединились Нелсон Чейз с супругой Мэри-Элизой, племянницей мадам Джумел (правда, поговаривали, будто она плод одного из прежних союзов мадам). Нелсон Чейз — толстый и глупый молодой человек; он совершенно без ума от полковника Бэрра. Больше года он связан с нашей конторой и делает вид, что занимается юриспруденцией. С Мэри-Элизой я раньше не был знаком; она приятная, некрасивая, но очаровательная. Конечно, блистательной ее не назовешь, да и может ли какая-нибудь женщина блистать в присутствии великолепной мадам Джумел?

Полковник и мадам (язык не поворачивается назвать ее мадам Бэрр) обвенчались в маленькой гостиной слева от главной залы. Нелсон все твердил: «Потрясающе, потрясающе!» Мне кажется, он нашел верное слово. За короткой церемонией последовал великолепный ужин в столовой: очевидно, повар мадам предвосхитил то, чего не предвидела его хозяйка.

Я впервые увидел полковника Бэрра «в обществе». До сих пор я видел его только в конторе — и, разумеется, в суде. Он ведет теперь не так уж много дел: некоторые судьи все еще чувствуют себя обязанными мстить за смерть Александра Гамильтона, грубя его убийце. Когда я последний раз видел полковника в суде, судья раскопал — если не сам выдумал — какой-то невразумительный закон штата. «Неужели вы не знаете этого закона, мистер Бэрр? — рычал судья.— Вы не знаете?»

Когда судья наконец умолк, Бэрр ответил сладчайшим голосом: «Нет, ваша честь, я не знаю. Но я *слышу*».

В этот вечер я впервые лицезрел того легендарного Аарона Бэрра, некогда законодателя нью-йоркских мод, близкого друга германских князей, льва лондонских салонов, человека, которого Иеремия Бентам считал верхом совершенства. Прислушиваясь к речам полковника, я понимал, как ему удалось покорить три поколения и европейцев, и американцев, как он завораживал и мужчин, и женщин подобно дьяволу — нет, скорее Фаусту, для которого все чудесное приходит, чтобы исчезнуть в полночь. О, чего бы я не отдал, только бы заглянуть в текст той сатанинской сделки и увидеть, какие пункты внес туда дьявол и принял Бэрр, зная, что они не будут иметь юридической силы. И подписал элегантным росчерком. Я не завидую дьяволу, когда он потащит Аарона Бэрра в суд.

Один тост следовал за другим. У меня до сих пор болит голова: перед сном меня чуть не вырвало, но я удержался, боясь потревожить молодоженов. Мадам умеренно накачалась виски. Нелсон был здорово пьян, чем шокировал свою жену, но никого другого.

— Я клялась, что никогда больше не выйду замуж.— Мадам нежно улыбнулась племяннице.— Правда, petite?[1]

— Разумеется, tante![2]

Тетушка и племянница провели много лет в Париже, где племянница ходила в школу.

— Когда мой дорогой Стивен...

— Истинный джентльмен, мадам.— Полковник безукоризненно отреагировал на упоминание о своем предшественнике, источнике его нынешнего богатства.— Я полагаю, он был самым достойным челове-

[1] Крошка *(франц.)*.
[2] Тетушка *(франц.)*.

ком своего поколения в этом городе.— Он вовремя остановился, едва не добавив: «в виноторговле». Мадам презирает торговлю.

Она громоподобно высморкалась.

— Никогда себе не прощу, что позволила le pauvre[1], такому старому и слабому, поехать в той колымаге. Когда он tombé — как это сказать? — свалился оттуда и его принесли ко мне, я считала moi-même[2] виноватой. Ночи напролет я просиживала у его постели, ухаживала за ним, молилась...— Мадам определенно предполагала, что до всех нас дошел слух о том, что однажды темной ночью она сорвала бинты со своего мужа и он умер от потери крови. Зловещие истории липнут к ее имени — как, впрочем, и к имени полковника.

— ... И вот, несмотря на мои клятвы, меня победил полковник Бэрр...— Резкий, со смешным акцентом голос мадам властвовал в комнате.— Мужчина, с которым я познакомилась, когда была еще молоденькой девушкой.

— Ребенком, мадам.— Бэрр посмотрел на нее, и я обнаружил нечто новое в его улыбающихся глазах: взгляд собственника, он наконец осознал, что женат на самой богатой женщине города Нью-Йорка.

Только теперь до меня дошло то, что происходило последние три месяца. Я-то удивлялся, почему полковник так часто бросал все дела и отправлялся в дальнюю дорогу на Холмы для обсуждения юридических вопросов с мадам (сейчас у нее три дела в суде). Теперь понятно, о чем полковник часами говорил с этой дубиной Нелсоном Чейзом в своем кабинете и почему оба умолкали, когда в дверь входил я или партнер Бэрра мистер Крафт. И, наконец, прояснилось все насчет денег.

У полковника хороший доход от юридической практики (по моим понятиям, так даже потрясающий!). Но почему-то к концу месяца ему никогда не хватает денег для оплаты счетов. Во-первых, у него громадные долги еще от старых времен. Во-вторых, нет человека его щедрее. На покрытом сукном столе в его кабинете норманнские замки из юридических справочников, в центре которых он складывает деньги по мере их поступления, и всем их раздает, кто ни попросит, будь то ветераны Революции, старые вдовы, юные протеже — всем и вся, кроме, разумеется, кредиторов. И хотя ему постоянно не хватает денег, он все еще мечтает об империи. В прошлом месяце он поделился со мной своим последним проектом.

— Всего за пятьдесят тысяч долларов можно купить целое княжество на территории Техас[3] и в течение года заселить его немцами, дать им только денег на проезд.— Глаза полковника расширились при мысли об этих пространствах, заселенных немцами.— Чарли, ты понимаешь, что через двадцать лет это капиталовложение превратится в миллионы? — Я не решился вставить, что через двадцать лет ему будет девяносто семь.

На прошлой неделе я подслушал, как он совершенно серьезно обсуждал свой техасский проект с банкиром, и мне показалось, что Бэрр сошел с ума: я знал, что у него не то что пятидесяти тысяч, но даже пятидесяти долларов нет. Теперь, разумеется, деньги у него есть, и, следовательно, Аарон Бэрр, который мог стать третьим президентом Соединенных Штатов или первым императором Мексики, собирается в последние годы своей жизни сделаться по меньшей мере великим князем техасским.

---

[1] Бедняге *(франц.)*.

[2] Самое себя *(франц.)*.

[3] Территориями назывались районы, еще не получившие статуса самостоятельного штата. Техас стал штатом в 1845 году.

— Рассказать им, где мы познакомились, полковник? — Мадам обмахивалась веером. Ночь была душная, и ее светлая кожа пошла пятнами от жары и виски.

Почтенные новобрачные в унисон произнесли что-то невразумительное по-французски. Я попросил Бэрра сказать мне это по буквам: «Chenelette Dusseausoir». Мадам объяснила:

— Кондитерская, прямо напротив гостиницы «Сити». В те дни все туда ходили. Я нигде не ела такой ромовой бабы, конечно, если не считать Парижа.

— В каком году это было? — Нелсон Чейз изобразил на своей свиноподобной физиономии некую гримасу, долженствующую, по его мнению, свидетельствовать о живом интересе.

— В тысяча семьсот девяносто девятом,— сказал Бэрр.

— В девяностом,— сказала мадам.

Ни один из супругов не пожелал устранить это существенное расхождение, поскольку их воспоминания двигались параллельными путями.

— Я только-только приехала в Нью-Йорк из Провиденса. Конечно, у меня были родственники. И я знала всех de la famille[1] полковника. О, это было чудесное время! Для Америки, я хочу сказать.— Это прозвучало фальшиво.— Мой настоящий дом — Франция. Не правда ли, Мэри-Элиза?

— Mais oui, tante[2].

Какая послушная девочка. И фигурка у нее прекрасная.

— Мы вернулись только из-за императора.— Мадам понеслась на всех парусах, лакей едва успевал подливать ей виски. Глаза Бэрра блестели, как у белки, ждущей орешка.

— Когда мы с милым Стивеном прибыли во Францию, в Рошфор, на нашем корабле «*Элиза*» (это в мою честь), император находился на борту своего корабля, *но* гавань блокировали anglais[3]. Что было делать? Мы строили тысячи планов. Наконец, мой муж и маршал Бертран — человек старой закалки, позвольте вам заметить, верный, достойный — решили, что император тайно поднимется на борт «Элизы», и мы под американским флагом минуем английскую эскадру и привезем его в Новый Орлеан, где он будет в безопасности, пока Франция, пока *весь мир* не призовет его вернуться на законное место! Знаете, полковник Бэрр, у него были такие же глаза, как у вас. Горящие, властные.

— Мне говорили об этом, мадам.— Бэрра нимало не смутило замечание о сходстве. В конце концов, оба были авантюристы, сначала преуспевавшие, затем потерпевшие крах. Разница заключалась только в масштабах предприятия.

— Однако les sales anglais[4] схватили его, отправили на остров Святой Елены и убили величайшего из людей, живших на земле, моего кумира.— В глазах мадам стояли слезы. Что-то локоны по обеим сторонам ее лица чересчур уж симметричны. Наверное, носит парик.

— Перед отъездом император подарил тетушке свою походную коляску и дорожный сундук.— Мэри-Элиза говорила тоном музейного экскурсовода, в сотый раз рассказывающего про зуб мамонта.— В нем среди прочего были часы.

— Вот эти часы! — Мадам показала вычурные часы с портретом

---

[1] Из семьи *(франц.)*.
[2] Да, конечно, тетя *(франц.)*.
[3] Англичане *(франц.)*.
[4] Мерзкие англичане *(франц.)*.

Наполеона под циферблатом и сделала затем беглый обзор других вещей Наполеона, лично преподнесенных ей императором.

Я не удержался от бестактного вопроса:

— Вы в самом деле видели Наполеона?

— Видела ли я его?!— отозвавшийся глубоким эхом крик. Бэрр бросил на меня стремительный взгляд, заставивший меня умолкнуть и не открывать рта до конца вечера.— Да только им я и жила! За это король Луи-Филипп и выгнал меня из Франции...

И так далее.

Потом полковник сделал мне выговор. Мы стояли на площадке второго этажа.

— У мадам живое воображение,— начал полковник.

— Извините меня, сэр.

— Ничего. Не беда. На самом деле императора она не видела, как и я, но все остальное правда. Бежать на американском корабле — это был последний шанс Наполеона. И так случилось, что этим кораблем оказалась «Элиза». Но боги от него отвернулись.

Бэрр показал мне маленькую комнату в конце короткого коридора.

— Здесь находился кабинет генерала Вашингтона в тысяча семьсот семьдесят шестом году. Он прожил в этом доме всего три месяца, но успел сдать Нью-Йорк англичанам. И, несмотря на его некомпетентность, боги его всегда поддерживали. Видимо, прав Кромвель: кто не знает, куда идет, уходит дальше всех. Талейран часто повторял мне, что великого человека вечно подстерегает случай. Сам-то он, наверное, не был великим человеком, поскольку сохранял свое положение, тщательно рассчитывая каждый шаг и никогда не показывая своих подлинных чувств. Вот поучись, Чарли. А теперь,— и он потер руки, изображая восторг,— я отправляюсь на ложе Гименея.

Мы пожелали друг другу доброй ночи, и он постучался в дверь напротив кабинета Вашингтона. Голос мадам, сипловатый от выпитого виски, ответил:

— Entrez, mon mari[1].

И полковник Бэрр исчез за дверью.

III

— Чарли, это не для «Ивнинг пост»! — Леггет посмотрел на меня, как пишут в английских романах, с довольной усмешкой.

— Слишком длинно? — Я принес ему описание свадьбы на двух страницах — все, что я успел наскоро набросать на обратном пути в Нью-Йорк. Ранним утром новобрачные в желтом экипаже мадам, запряженном шестеркой лошадей, отправились с визитом в Хартфорд, штат Коннектикут, к племяннику полковника губернатору Эдвардсу. Словом, как настоящий журналист, я стараюсь не упустить ни одной детали.

Леггет вздохнул:

— Наша цель — подорвать банк мистера Биддла, развивать свободную торговлю, отменить рабство, создать профсоюзы. Свадьба отставной шлюхи с изменником нас не интересует.

Хоть я и привычен к злобному стилю Леггета, но считаю себя обязанным защитить полковника или, по крайней мере, мою собственную трактовку бракосочетания.

---

[1] Войдите, мой супруг *(франц.)*.

— Насколько нам известно, Аарон Бэрр не изменник. Мадам Джумел не шлюха, а респектабельная и богатая вдова. И это чертовски интересно: ведь два самых известных человека в Нью-Йорке сочетались браком.

Леггет только засопел в знак отвращения. Ему всего тридцать два года (он на семь лет старше меня), но его можно принять за моего отца. Мы познакомились, когда я был еще в Колумбийском, а он писал театральные рецензии для «Миррор» и пытался стать актером. На сцене он провалился. И все же он *актер*, только сцена-то посерьезнее, чем театр на Бауэри. Он стал величиной в журналистике, признанным авторитетом в политике и литературе.

Прелюдией к неоконченной еще драме Леггета было его увольнение из флота за дуэль. Во время военно-морского трибунала он оскорбил своего командира целым каскадом цитат из Шекспира. После этого ему пришлось брать Нью-Йорк штурмом. Провалившись на сцене, он наделал много шума книгой под названием «Ружье», затем попытался издавать собственный журнал «Критик», но успеха не имел. Теперь он один из редакторов «Ивнинг пост» и пользуется большим авторитетом в городе. Его пера, не говоря уже о дуэльных пистолетах, или, точнее, малайской трости, которой он однажды отделал редактора конкурирующего издания, побаиваются все. Но, увы, он явно идет к гибели: некогда могучее здоровье было подорвано сперва желтой лихорадкой во время службы на флоте, затем чахоткой.

Когда мне было семнадцать, я боготворил Леггета. Теперь он мне немного надоел. Да и себе самому тоже. Однако я продолжаю бывать у него, а он по-прежнему поощряет меня и мне надоедает. Он знает, что я не в ладах с юриспруденцией, что я стремлюсь освободиться, заняться литературным трудом. Увы, хорошо платят только политическим обозревателям, а меня не интересует политика (хотя до недавнего времени она не занимала и Леггета). Я мечтаю о карьере Вашингтона Ирвинга, пишу мелочи, печатаюсь время от времени, но мне почти никогда ничего не платят. И вот в прошлом месяце Леггет предложил мне при случае написать что-нибудь для «Ивнинг пост». Он добавил: «Тебе стоит использовать свою близость к Аарону Бэрру».

«В каком смысле?»

Но Леггет сказал лишь: «Делай заметки. Записывай все. Изучи его пороки...»

Рассказ о свадьбе полковника Бэрра, на мой взгляд, как раз то, что нужно Леггету. Выходит, я ошибался.

— Хорошо, Чарли, я покажу это мистеру Брайанту. Пусть сам решает. Я против.

Леггет скрылся в соседней комнате. Я слышал приглушенные голоса. Но вот он вернулся, затворил за собой дверь.

— Твоя проза удостоится полного внимания мистера Брайанта.

— Спасибо, спасибо.— Я попытался воспроизвести язвительную интонацию полковника Бэрра.

Леггет положил ноги на стол, бесцеремонно сдвинув бумаги и книги. Грязным носовым платком он начал вытирать чернила со среднего пальца правой руки.

— Чарли, ты все еще ведешь беспутную жизнь?

— Я изучаю право.

— Хороший ответ. Я тебя здорово вышколил.— Он усмехнулся, потом долго и мучительно кашлял в перепачканный чернилами платок, и я отвернулся, чтобы не видеть то, что должно было появиться — яркую артериальную кровь.

В кабинет вошел мистер Брайант. Хрупкий человек с тонкими губами и узкими баками; на вид ему лет сорок; за типичной сдержанно-

стью выходца из Новой Англии не сразу заметишь, какое удовлетворение ему доставляет репутация первого поэта Америки. Однако при мне мистер Брайант никогда еще не опускался до такой тривиальной темы, как поэзия. При мне он всего лишь один из двух редакторов «Ивнинг пост» — и только, по уши погруженный в политику. Кстати, он, вероятно, единственный человек в Нью-Йорке, который все еще пишет гусиным пером. Даже полковник Бэрр предпочитает традиционному перу современную сталь.

— Чрезвычайно интересно, мистер Скайлер.— Я вскочил на ноги. Судя по тому, что Брайант не предложил мне сесть, беседа предполагалась короткая.— Разумеется, мы отметим... счастливое событие. Мы же *газета*. Но чтобы сообщить новость и угодить публике, достаточно будет одной фразы.

— Видишь? — Леггет наслаждался моим провалом.

Я был вне себя.

— Меня, очевидно, ввели в заблуждение. Я думал, что вас интересует полковник Бэрр.

— Вероятно, мистера Леггета он интересует больше, чем меня.— Редакторы неприязненно взглянули друг на друга.

Но я упорствовал:

— По предложению мистера Леггета я описал свадьбу, которая, согласитесь, не лишена интереса.

Брайант взял примирительный тон:

— Согласен, полковник Бэрр один из самых интересных людей в этом городе, в Соединенных Штатах...

— Вот если бы Чарли сумел вызвать его на откровенный разговор о его жизни, связях, особенно нынешних.

— Ну, насчет откровенности полковника я сомневаюсь.— Брайант придерживался общепринятого мнения о полковнике.

Однако у Леггета было что-то еще на уме:

— Как тебе известно, Чарли, мы поддерживаем президента Джексона. Вице-президент же Ван Бюрен — фигура загадочная...

— По-моему, ничуть,— отрезал Брайант.

— А я нахожу его странным. По-моему, он мошенник. Без принципов. И я хотел бы знать то, что хотят знать все: каковы отношения между вице-президентом и Аароном Бэрром.

— Разумеется, мистера Леггета и меня интересуют *политические* отношения.— Брайант бросил на Леггета предостерегающий взгляд, но тот сделал вид, что его не заметил.

— Нет! — вскипел Леггет.— Их отношения вообще.— Он повернулся ко мне.— Я неспроста просил тебя делать заметки, задавать полковнику вопросы. Нам важно знать, насколько они близки, эти двое.

— Полковник восхищается Ван Бюреном.— Я попытался припомнить, что вообще говорил Бэрр о вице-президенте.— Но я бы не сказал, что они «близки».

Однако Леггет стоял на своем:

— Они близки, ты просто не знаешь. Двадцать лет назад, вернувшись из Европы, Бэрр отправился прямым ходом в Олбани, именно к Ван Бюрену, и остановился у него в доме. А ведь Аарона Бэрра все еще обвиняли на Западе в предательстве. А штат Нью-Джерси обвинял его в убийстве Гамильтона.

Все это не совсем верно, но Леггета занимает общая картина, ему не до унылых частностей. Потому-то он и преуспевающий журналист.

— Надо выяснить: почему умный и осторожный Мартин Ван Бюрен водит дружбу с такой опасной, компрометирующей личностью.

— Разумеется, они всегда были близки политически.— Величественная бесстрастность Брайанта ярко контрастировала с горячностью его молодого коллеги.— Полковник Бэрр — основатель Таммани-холла. Мартин Ван Бюрен сейчас фактический хозяин Таммани. У них общие... идеалы.

— Идеалы! — Леггет широко раскинул руки, будто шел на распятие.— Идеалов у них вообще нет. Власть — только это им и надо. Бэрр, конечно, теперь уже не в счет. Он — история. Но Мэтти Ван не может нас не волновать. Эдакий колдун! Наш собственный Мерлин, который наставлял генерала Джексона в первый срок его президентства, сейчас руководит им второй срок и так же точно, как то, что в Олбани процветает взяточничество, попытается в тридцать шестом году занять его место, если мы ему не помешаем.

— А зачем нам ему мешать? Позиции, которые он занимает по большинству вопросов...

Но Брайанту не по силам тягаться с Леггетом в такую минуту, когда тот воспламенен нравственными идеалами.

— К черту позиции! Мэтти пойдет на все, чтобы стать кандидатом в президенты и победить. Он идеальный политик! На первый взгляд. Но уверяю вас, только копните этого розового голландского херувима — и за ангельской улыбкой вы обнаружите нечто непостижимое, бесчестное, бэрроподобное.

Я не мог понять, куда Леггет клонит.

— Не думаете же вы, что человек не может быть президентом только потому, что он водит дружбу с полковником Бэрром?

— Нет, вряд ли Леггет так думает. А теперь разрешите откланяться, мистер Скайлер.— И Брайант исчез.

— Чарли! — К Леггету вернулся его обычный тон школьного учителя.— Сейчас я лишу тебя невинности. Мартин Ван Бюрен — незаконный сын Аарона Бэрра.

Я на мгновение утратил дар речи.

— Я не верю. И, кстати, *откуда* это может быть известно?

— Известно, что полковник обычно останавливался в таверне Ван Бюренов в Киндерхуке, что вверх по Гудзону. И многие подозревают, что он наградил ребенком Мэри, жену хозяина, украсив превосходными рогами ее мужа Абрахама. Полковник всегда был дружен с этой семьей, а особенно с молодым Мэтти, нежным, большеглазым, высоколобым Мэтти — знакомые черты?

Что правда, то правда: они похожи.

— Но, конечно, быть может, все это только сплетни. А может, и нет. Точно известно, что в очень юном возрасте Мэтти приехал из Киндерхука в Нью-Йорк и сразу же начал работать в юридической конторе у одного человека, близкого к Бэрру...

— Предположим, что Бэрр его отец. Что из того?

Леггет снизошел до объяснения:

— Ты только подумай, что это тебе сулит. *Тебе* лично. Написать памфлет — нет, даже книгу, доказать, что Мартин Ван Бюрен — сын Аарона Бэрра. Это же принесет тебе состояние.

— Юридические доказательства...— начал я, но Леггет меня не слушал.

— А еще важнее твоего состояния, Чарли,— судьба республики. Джексон начал великие реформы. Мы начинаем двигаться в направлении демократии. Ван Бюрен повернет это движение вспять. Так давайте же помешаем ему стать президентом.

— Доказав, что он незаконнорожденный?

— Американцы — люди строгой морали. Но еще губительнее родственных — его *политические* связи с Бэрром, особенно в последние

годы. Если мы сможем доказать наличие тайных встреч, темных планов, бесчестных комбинаций — тогда, клянусь, Ван Бюрен не сядет в кресло генерала Джексона.

— Так значит, вы поддерживаете кандидатуру Генри Клея?

— Нет. Я предпочитаю другого сенатора от Кентукки. Ричарда Джонсона. Несмотря на его penchant [1] к негритянкам, Джонсон будет продолжать джексоновские реформы. А Ван Бюрен — нет.— Леггет перешел на заговорщический шепот: — Ты, должно быть, заметил наши расхождения с Брайантом. Он верит Ван Бюрену. Я не верю. Мне нравится Джонсон. Ему — нет.

Я никогда не видел Леггета таким возбужденным. Глаза блестели, щеки раскраснелись.

Я бросил пробный шар:

— Во-первых, не думаю, чтобы полковник Бэрр сгорал от желания рассказать мне всю правду...

— Ты видишь его каждый день. Он тебя любит.

— Мой отец был его другом, но вряд ли это...

— Бэрр стар. Он весь в прошлом.

— *В прошлом?* Да он как раз сейчас собирается заселить Техас немцами.

— Великий боже! — На Леггета это произвело впечатление.— Все равно, только ты можешь все узнать. Разве ты не говорил мне, что он пишет историю своей жизни?

— Полковник как-то обмолвился об этом. Но что-то не верится. Время от времени он вспоминает, что хотел диктовать мне, но...

— Так ты подтолкни его! Заведи разговор о старых временах, о Киндерхуке, о тех днях, что он провел в Ассамблее, одновременно ухлестывая за мадам Ван Бюрен...

— Боюсь, что ему куда важней рассказать «подлинную» историю Революции.

— Ты совсем не способен на хитрость?

— Вы не знаете полковника Бэрра. Предположим, я даже смогу выудить из него правду, все равно он не даст мне этим воспользоваться. Он лучший адвокат штата, а есть преступление, именуемое клеветой.

— До выборов еще целых три года. Через три года он умрет, а по законам штата Нью-Йорк невозможно оклеветать мертвого.

— А Ван Бюрен?

— Доказать, что человек незаконнорожденный — не клевета.— Леггет встал.— Чарли, похоже, мы нашли способ преградить Мэтти Вану путь в Белый дом и открыть путь демократии.

Я тоже поднялся.

— «Ивнинг пост» это напечатает?

Леггет засмеялся и тут же закашлялся.

— Конечно, нет! Но не волнуйся. Я найду тебе издателя. — Он неуклюже проковылял мимо меня к двери, шатаясь, как разболтанный скелет. — Я говорю совершенно серьезно, Чарли. — Он взял мою руку своей сухой, горячей рукой. — Разве часто бывает возможность изменить историю своей страны?

Леггет задел не ту струну. Наступила моя очередь заговорить снисходительным тоном:

— Я так и скажу полковнику Бэрру. Самим фактом своего существования он не раз переделывал жизнь многих американцев, но что-то не заметно, чтобы он этим чего-нибудь добился.

— Оставь иронию *мне*, дорогой Чарли. А *ты* делай историю.

---

[1] Пристрастие *(франц.)*.

Предаю ли я полковника? До некоторой степени — да. Могу ли я повредить ему? Нет. Да пусть кто-нибудь в анонимном памфлете изобразит его самим дьяволом, он и то не расстроится. О нем и похуже вещи писали, и отнюдь не анонимные авторы, а такие, как Джефферсон и Гамильтон. К тому же, если он последователен, он вряд ли будет возражать против того, чтоб мир узнал, что он отец Ван Бюрена. Полковник часто повторяет: «Всякий раз, когда женщина оказывает мне честь, утверждая, что я отец ее ребенка, я воспринимаю это как комплимент и отметаю любые сомнения, какие у меня могут быть на этот счет».

С другой стороны, конечно, полковник очень огорчится, если Ван Бюрен провалится на выборах из-за родства с ним. Но у меня нет выхода. Леггет предложил мне способ избавиться от тяжелой кабалы: заработать литературным трудом. Я принимаю предложение. Тем более, признаюсь, мне приятно будет провести самого ловкого пройдоху нашего времени. Мне дорог полковник, но собственная жизнь дороже.

IV

— Пришлось вернуться из Коннектикута. Дела... — Полковник утопал в клубах дыма от своей длиннющей сигары. Кабинет Бэрра. Описываю: сквозь рваные велюровые шторы и пыльные окна в комнату проникает зеленоватый свет летнего дня; посетитель попадает как бы в ад или, вернее, в подводное царство и плавает там, различая книжный шкаф, набитый юридическими справочниками, стол, накрытый суконной скатертью, портрет пышной темноволосой девушки — Теодосии, дочери полковника (согласно легенде, пираты заставили ее идти с завязанными глазами по доске, пока она не упала в море). — Я всю ночь провел в кабинете. Столько работы. — Он взглядом предложил мне сесть в кресло для посетителей.

— А мадам Бэрр?..

— Мадам на Холмах — где ж ей быть? Но она скоро приедет в город. Чарли, что ты сделал с техасскими документами?

Я достал их из шкафа.

— Сегодня мы покупаем землю! — Сияя от счастья, Бэрр разложил на столе бумаги.— Тысяча иммигрантов уже готова к отплытию из Бремена.— Он развернул карту территорий Техас и Луизиана.— Когда-то я знал там каждый уголок. — Сильным красивым указательным пальцем (у него вовсе не старческие руки) он проследил путь Миссисипи до Нового Орлеана.

— Дикая, пустующая, прекрасная земля! — Он вдруг с силой прижал палец к карте. — Вот здесь мистер Джефферсон арестовал меня. — Бэрр просиял мальчишеской улыбкой. — Он утверждал, что с отрядом в сорок пять человек я собирался отделить западную часть Соединенных Штатов от Великой Виргинии — так иногда называли союз штатов те из нас, кого не приводили в восторг мистер Джефферсон и его хунта.

— А что на самом деле вы *собирались* предпринять с теми сорока пятью?

Бэрр замкнулся. Иначе не передать выражение его лица, когда он уходит в себя.

— Вот куда мы посадим наших немцев.— Он обвел пальцем территорию к западу от реки Сабин.— Полно воды. Отличные пастбища. И документы на аренду земли в порядке.

Ну и фантазии! А впрочем, кто его знает?

— И что всего важнее, мадам готова дать деньги.— Он сдвинул очки на лоб.— Удивительная женщина, Чарли.

— Мне так неприятно, что я спросил ее про Наполеона.

— Боюсь, что к старости люди начинают верить, что прошлое было таким, как им хотелось бы.

— Вы этим не страдаете, полковник.

— Но я же и не старый, Чарли. Правда, мне особенно повезло. Или не повезло — как посмотреть. Я не только знаю, каким следовало быть моему прошлому, я знаю, каким оно было на самом деле. — Какая-то странная вдруг гримаса. Что это? Затаенная боль? Или мне показалось? Но вот он снова стал самим собой.— И кроме меня, этого не знает никто. В конечном счете оно и к лучшему.

— Почему же к лучшему — я так не думаю. Вы обязаны рассказать миру свою версию истории.— Я произнес фразу, заготовленную после разговора с Леггетом, затверженную в уме, и проклинал себя за то, что это было заметно.

Бэрр улыбнулся.

— А вдруг моя версия не самая точная? Но ты мне льстишь. И мне это приятно! — Он пнул кожаный сундук под столом.— Там у меня хранится целая история: письма, газеты, тетради, начало мемуаров. О, у меня талант по части начинаний, Чарли, настоящий талант.— В голосе его прозвучала столь несвойственная ему горечь. Но тут же он заговорил быстро, почти весело: — Впрочем, разве не лучше хорошо начать, чем не начинать вовсе? И какое начало! Я был не только сыном знаменитейшего богослова, но и внуком еще более знаменитого богослова. И меня бросало в дрожь, пока я не прочитал Вольтера, пока не понял, что человека и в этом мире ждет слава, если он не смалодушничает и смело будет добиваться своей цели. Подобно Наполеону. Вот почему я примкнул к Революции и стал героем.

Он замолчал. Раскурил потухшую сигару.

— Так начинали многие. Но кто же ее обрел, ту славу? Только не я, как известно. — Он пустил кольца дыма мне в лицо. — В конце концов лавры достались землемеру из Виргинии, который стал «отцом» своей страны. Но будем справедливы. Коль скоро генерал Вашингтон не смог ничего произвести во плоти, вполне уместно поставить ему в заслугу зачатие хоть этого союза. Мул-производитель, так сказать, чьим противоестественным потомством стали Штаты. В конечном счете не проворным досталась победа, а бесплодным [1].— Шутка показалась Бэрру забавной. Я был слегка шокирован. Как и все, я считал Вашингтона человеком скучным, но безупречным.

Бэрр вручил мне несколько пожелтевших от времени страниц.

— Недавно я наткнулся на это описание моих приключений во время Революции. Думаю, оно тебя позабавит.

Я взял рукопись, весьма польщенный доверием полковника, хотя Революция для меня далека, как Троянская война, но только еще непонятней, поскольку ее уцелевшие участники ни в чем не приходят к единогласию.

Леггет как-то предложил собрать всех, кто уверяет, будто сражался за независимость, в Воксхолл-Гарденс и расстрелять — да вот беда, они даже в громадном Воксхолле не поместятся. Каждый шестидесятилетний американец клянется, что был барабанщиком; семидесятилетний — полковником или генералом.

— Мэтт Дэвис собирается после моей смерти написать мою биографию. Но он и сам немолод.— Полковник довольно усмехнулся.

[1] Бэрр обыгрывает библейское выражение: «Не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа»... (Екклесиаст, 9, 11).

Мэттью Л. Дэвис — редактор газеты, один из вождей Таммани, стойкий бэррит, как пресса до сих пор называет изначальных республиканцев — сторонников полковника; многие употребляют это слово, но понятия не имеют о его происхождении; они бы очень удивились, узнав, что основатель рода бэрритов держит контору на Ридстрит и сам бэрритом не является, поскольку эта фракция в настоящее время находится в оппозиции к Ван Бюрену, в то время как их герой, чьим именем они нареклись, его поддерживает (потому что Ван Бюрен его сын?).

— Мэтт, конечно, напишет обо мне хорошо. Но раз я еще здесь, я нисколько не буду возражать, если ты посмотришь мои записки. Тем более что ты неисправимый бумагомаратель. Да и как знать, может быть, мы сумеем что-нибудь нацарапать вместе.

В смежной комнате хлопнула дверь, Нелсон Чейз явился на работу. Я встал, чтобы тоже приступить к своим обязанностям.

— Почему Дэвис настроен против Ван Бюрена?

— Разве?

— Но он же недавно написал...

— Полити́ка, Чарли, политика. С виду противники, а на деле часто тайные сторонники. Все равно Ван Бюрен будет избран президентом в тридцать шестом году. И Таммани его поддержит — об этом я и сообщил вице-президенту в последний раз, когда мы с ним виделись.

— Полковник Бэрр! — Дверь отворилась, и в кабинет ворвался свежий воздух, так что я даже закашлялся, настолько я привык к ужасному дыму. Унылое лицо Нелсона Чейза повисло где-то в отдалении, подобно тыквенному фонарю.— Мадам... ваша супруга... мадам Бэрр внизу в своем экипаже.

Полковник на мгновение остолбенел. Потом вскочил на ноги.

— Чарли, спустись и скажи ей, что я встречу ее, как мы *условились*, у Тонтина, в пять часов. Скажи, что сейчас я занят. Хотя не надо. Скажи лучше, что меня нет. Что я в суде.

— Сегодня нет судебных заседаний, полковник, — начал Нелсон Чейз. Но полковник Бэрр был уже на ногах, и, когда он надевал высокую черную шляпу, я заметил, как оттопыривается его камзол впереди, как раз напротив сердца. Он скрылся через заднюю дверь, и я мог уже, не кривя душой, сказать, что «полковник Бэрр только что отбыл из конторы».

Мадам смотрела на меня в окно золотой кареты.

— Куда он уехал? — Ее голос гремел по всей улице до самой водонапорной башни.

— Я точно не знаю, мадам. Кажется, он сказал, что у него назначена встреча...

— Прошу вас в карету, мистер Скайлер. Чарли. Нет, я буду звать вас Шарло. В карету. Я хочу с вами поговорить.

— Но, мадам...— При слове «карета» один из лакеев, ужасный черный верзила в ливрее, спрыгнул на землю, отворил дверцу и запихнул меня в карету как мешок с яблоками, прыгнул на козлы, и прежде чем я смог что-либо возразить, мы уже двигались в сторону Баулинг-Грина.

Мадам взяла мою руку в свои, дохнула мне в лицо выпитой за завтраком мадерой.

— Шарло, он ограбил меня!

Я ошалело посмотрел на нее, стараясь не дышать, пока она не отстранилась от меня, откинувшись на бархатные подушки.

— Я вышла замуж за вора! — Мадам прижала к груди ридикюль, как будто я посягал на одну из этих двух ценностей, и обрушилась на меня водопадом офранцуженного английского. Она объяснила, что у

нее были акции платного моста возле Хартфорда. В экстазе медового месяца в доме губернатора Эдвардса полковник уговорил ее продать эти акции. Мадам, в роли молодой жены бывшего вице-президента, была так доверчива, так полна любви и так безмятежна, что разрешила полковнику продать акции и самому получить за них деньги — около шести тысяч долларов, которые, по его настоянию, были зашиты в подкладку его камзола. «Для верности», — сказал он.

— «Ma foi! [1] — сказала я ему. — Лучше зашить деньги в *мою* нижнюю юбку». Все-таки акции-то были мои, non [2]? Мы были в нашей спальне в доме du Gouverneur [3], и я не хотела устраивать сцен. Naturellement [4]. И что же он на это сказал? Гори он синим пламенем в аду! Он сказал: «Я ваш повелитель, мадам. Ваш супруг, и по закону все ваше принадлежит мне!» По закону! — Маленькие, налитые кровью глаза взметнулись в громадных глазницах. — Знаю я этот закон вдоль и поперек, пусть только вздумает до суда довести, я найму в этом городе сотню адвокатов и побью его в любом суде! — Она приказала вознице остановиться прямо напротив Касл-Гардена.— То-то вчера после ужина он сказал, что ему нездоровится! И что он хочет лечь пораньше. А сегодня утром я поняла, что ночью он нанял фермерскую повозку и улизнул из дома. Я в город — поздно! Плакали мои денежки, и сердце мое разбито!

Возница открыл дверцу и помог мадам вылезти.

— Мы погуляем. — Она твердо взяла меня под руку и шумно втянула в себя воздух.

Люблю Бэттери в разгар лета: пышная зелень, розы в цвету, парусники скользят по серой глади реки, и бледные муслиновые платья девушек развеваются, как флаги, а воздух напоен ароматом цветов и моря.

Мы двинулись по направлению к круглому красно-кирпичному пирожному — Касл-Гардену, старому форту, откуда несколько недель назад я лицезрел прибывшего на корабле самого президента. Худой, тщедушный, с гривой белых спутанных волос, генерал Джексон сошел по трапу на берег; он шел медленно, опираясь то на чью-то руку, то на плечо — что подвернется. Говорят, он не дотянет до конца своего срока.

Полковник Бэрр стоял рядом со мной в начале Бродвея; вокруг орала пьяная толпа — и десятой ее доли хватило бы на праздник Четвертого июля [5].

«Даже Вашингтону не устраивали такого приема», — заметил полковник.

«Что сделал бы президент, если бы знал, что вы здесь?» — спросил я.

«Наверное, перекрестился бы от дурного глаза,— засмеялся Бэрр. — Как-никак я олицетворяю его сомнительное прошлое. Он хотел мне помочь покорить Мексику. А теперь посмотри на него!» — Бэрр говорил дружелюбно, без ожесточения, как о взрослом, отдалившемся сыне. Затем, когда президент скрылся в толпе, мы не без злорадства увидели, как рухнул перекидной мостик и несколько знатных особ очутились в реке.

Мадам попросила меня купить мороженого у ирландки.

---

[1] Честное слово! *(франц.).*

[2] Разве нет? *(франц.).*

[3] Губернатора *(франц.).*

[4] Естественно *(франц.).*

[5] Четвертое июля — национальный праздник США, день принятия Декларации независимости.

— Я многим обязана полковнику.— Мадам прогуливалась под вязами. Гуляющие шарахались от нее в сторону: женщина-фрегат среди моря цветов и зелени Бэттери. — В свое время он мне очень помог: я ведь не всегда была — как это сказать по-английски bienvenue? [1]

— Когда вы познакомились с полковником? — Выудить такую мелочь, как факт, у этих реликвий прошлого почти невозможно.

— Такой красавец! — Она причмокнула: мороженое слегка окрасило едва различимые усики над неестественно красной верхней губой. — Я впервые *увидела* его, когда генерала Вашингтона приводили к присяге. На Брод-стрит. На балконе. Так и вижу генерала на этом балконе. Такая благородная, властная фигура, чуть-чуть, правда, широковатая derrière [2].

Мадам хихикнула при воспоминании о чем-то явно не связанном с инаугурацией. Да, но как она там оказалась? Вашингтон стал президентом в 1789 году. Если ей сейчас пятьдесят восемь, тогда ей было тринадцать. Что ж, возможно.

— Полковник Бэрр был на приеме, и я с ним танцевала. Затем сразу после него — о, l'ironie, о ирония судьбы! — я танцевала с Гамильтоном. Как это странно, однако, если вдуматься. Я обожала их обоих, но оба были небольшого росточка, а я всегда была неравнодушна к высоким мужчинам.

Мадам окинула взглядом мою отнюдь не внушительную фигуру. Она кокетливо улыбнулась.

— Правда, свою страсть, adoration [3] я всегда приберегала для людей невысокого роста, но выдающихся качеств, comme l'Empereur. Vive Napoleone! [4] — вскричала она вдруг, и от нее шарахнулась группа квакеров из северной части штата.

Мадам облизнула губы, слизала мороженое.

— Мы виделись все эти годы. Но не часто. Полковник Бэрр был занят политикой и юриспруденцией, у меня были свои дела. Но как же мы все опечалились, когда он позволил этому противному Джефферсону занять президентский пост, законно принадлежавший полковнику. У полковника были голоса, но он не мог нарушить слово. Он был слишком честен...— Мадам насупилась, вспомнив, как честный Бэрр украл ее деньги.— Нет! Не честен! Слаб! Почему мужчины так слабы? А женщины так сильны?

Мадам швырнула меня на скамейку, затем сама шумно села, словно рухнул праздничный шатер. Красные птички над нами засуетились в ветках.

— Шарло, вы должны быть моим другом.

— Но я и так ваш друг...

— Полковник вас обожает, считает умницей.

— Ну что вы...

— А с виду про вас не скажешь, что вы умница. У вас слишком широко расставлены глаза. Вы гораздо умнее Нелсона Чейза, который женился на моей adorable [5] племяннице, наврав, что у него есть деньги. Но это давняя история. Если он, правда, сделает ее счастливой, я готова платить.

Мы смотрели, как английские моряки с ленточками и их покладистые подружки шли враскачку по зеленой набережной Бэттери.

---

[1] Желанной гостьей *(франц.)*. Здесь: хорошо принята.
[2] Сзади *(франц.)*.
[3] Обожание *(франц.)*.
[4] Как император. Да здравствует Наполеон! *(франц.)*.
[5] Обожаемой *(франц.)*.

— Шарло, полковник хочет меня разорить.— Мадам даже не дала мне ответить.— Нет, нет. Это не жестокость. Он не способен на низость. Но у него мания величия. Он запустит руки в мое маленькое состояние.— Маленькое состояние! — И он разорит меня, он вышвырнет мои деньги на заселение Техаса немцами. А я ненавижу немцев, и мне плевать на Техас.

— Полковник часто действует сгоряча.

— Вы должны поговорить с ним. Я знаю, вас он слушает. Он сказал мне, что вы пишете его biographie [1]. Желаю вам удачи, mon petit! [2] Не хотела бы я копаться в его жизни.— Она схватила меня за руку.— Убедите его, что гусыня только тогда несет золотые яйца, когда с ней обращаются прилично. Отговорите его от техасского капиталовложения. Скажите, пусть вернет деньги, я не потребую процентов. Я даже что-нибудь ему подарю. Например, новое помещение для его конторы. Je redoute [3] Рид-стрит. Я безрассудно щедра, когда со мной обращаются по-хорошему. Вы должны быть моим союзником, Шарло.

Я обещал ей помочь. Пока я клялся в верности, одна из прелестных красных птичек оставила зеленоватое пятно на плече мадам. Не ведая о таком благословении, она направилась вместе со мной к своей золотой карете.

Когда мы садились в карету, я понял, каково быть президентом: на нас все пялили глаза.

— Я думаю,— сказала мадам, упиваясь тем эффектом, который производила карета,— может, нарисовать на дверцах вице-президентскую печать? А есть печать у вице-президента?

Я ответил, что вряд ли бывшему вице-президенту позволят пользоваться эмблемой его бывшей должности. Но мадам меня не слушала:

— Он галантен, что и говорить.

— Конечно, он преклоняется перед вами, мадам.— Почему бы им не помириться, подумал я. Птичкин след высох на ее шелковом плече.

Мадам — то есть Элиза Боуэн — хмыкнула:

— Он ни перед кем не преклоняется, Чарли. И никого не любит. И никогда не любил. Кроме Теодосии...

— Первой жены?

— Нет, не той пожилой женщины, которую рак свел в могилу. Я про *молоденькую* Теодосию. Он любил только свою дочь — и никого больше!

Мадам неожиданно помрачнела, на лице ее появилось выражение ужаса и недоумения.

— Странная это история, Аарон Бэрр и его дочь, но не нашего ума дело. В конце концов, что было, того уж не вернешь. Бедный Аарон, мне иногда кажется, что он утонул с ней вместе и то, что осталось — и что досталось нам,— только призрак, выброшенный волной на берег.

V

В полночь у Пяти Углов светло как днем. Каждую неделю я зарекаюсь туда ходить и вот — все равно хожу. Правда, на этот раз меня сюда привела серьезная цель. Розанна Таунсенд родилась в до-

[1] Биографию *(франц.)*.
[2] Малыш *(франц.)*.
[3] Терпеть не могу *(франц.)*.

лине Гудзона неподалеку от Киндерхука. И могла кое-что знать про полковника Бэрра и Ван Бюрена.

Там, где сходятся пять улиц, можно лицезреть худших обитателей этого мира — пьяниц, шлюх, жуликов, завсегдатаев игорных домов, наемных убийц. Вряд ли еще в каком-нибудь городе на земле есть такой отвратительный район. Правда, других городов я не видел, если не считать Олбани.

В полночь я подошел к дому 41 по Томас-стрит.

Я постучался. Тишина. Потом из глубины дома послышался женский голос. Дверь отворилась. На меня смотрело черное лицо.

— О, это вы.

Я проскользнул в парадное. Негритянка захлопнула дверь и задвинула засов.

— Миссис Таунсенд свободна?

— Вы не хотите сразу подняться наверх и посмотреть, что у нас припасено?

Конечно, я хотел, да еще как. Но меня влекла особая миссия. Не одно сластолюбие было у меня на уме. Теперь-то со всем этим покончено, никогда больше ноги моей не будет в доме 41 по Томас-стрит. Торжественно клянусь.

Негритянка провела меня в гостиную, где миссис Таунсенд удобно расположилась в кресле-качалке рядом со своим неизменным чайником. Она беспрерывно пьет чай.

Миссис Таунсенд пригласила меня сесть рядом в кресло с высокой прямой спинкой, как раз напротив газового фонаря. У нее аристократическая внешность: длинный нос, вечно удивленное лицо. Волосы выкрашены в неестественно рыжий цвет — дань профессии, которой она не стыдится и не гордится.

Она предложила мне чаю. Я отказался. Она налила себе.

— Вам нужно жениться, мистер Скайлер. Вы слишком молоды — или стары — для подобных развлечений.— И она мрачно ткнула пальцем в потолок.

— Когда же и ходить сюда, как не в двадцать пять?

Она покачала головой:

— В двадцать пять — самое время жениться. Мое заведение хорошо для почтенных мужей или же для тренировки молоденьких мальчиков. Для молодого человека в расцвете лет это совсем не подходящее место — ему следует обзаводиться семьей, так сказать, строить корабль зрелости.

Я переменил тему. Спросил, нет ли на Томас-стрит новеньких. Есть, оказывается.

— Из Коннектикута на меня свалилось прямо сокровище. Там хорошенькие девушки растут, как лук на грядке. Не знаю почему.

— Вы представите меня этой вашей коннектикутской луковке?

Мадам Таунсенд назначила цену. Я предложил свою. Мы поторговались. Мы с ней всегда торгуемся, когда у нее есть что-то особенное.

Сойдясь в цене и заплатив, я, к ее изумлению, не бросился наверх.

— Идите же, мистер Скайлер. Ее зовут Элен Джьюет. Последняя комната слева по коридору. Или вы хотите, чтобы я вас официально предствавила?

К ее вящему изумлению, я спросил чаю. Пока она наливала, я поинтересовался, знакома ли она с полковником Бэрром (она понятия не имеет, где я работаю и чем занимаюсь). Улыбка обнажила подлинную слоновую кость искусственных зубов.

— Полковник Бэрр! Какой мужчина! Наверное, в дни моей молодости другого такого красавца у нас в городе не было. Такие черные

глаза! А как любил женщин! Поистине любил. Что вы, он беседовал с ними часами — при его-то занятости. Не то что генерал Гамильтон — у того никогда не было времени поговорить с простыми смертными. Он был тоже очень красивый, генерал Гамильтон, но настоящий *лис*. Понимаете? У него были какие-то оранжевые волосы и веснушки, а это не каждому нравится. Мне, например, не нравится.— Ее красивые ноздри на мгновение раздулись.— И от него всегда жутко пахло лисицей, меня просто тошнило.

— Так вы знали обоих? А мадам Джумел?

— Элизу Боуэн? — Красивая голова затряслась от негодования.— Терпеть не могла эту шлюху. Она долго жила с морским капитаном на Уильям-стрит и притворялась, будто знать не знает, что бывают женщины вроде меня, но мы-то все про нее знали. Но Лиза, говорят, далеко пошла. Всегда, всегда любила деньги и хотела стать знатной дамой. Деньги она заполучила. А вот насчет положения в обществе — это еще не известно. За деньги не все можно купить, даже в Нью-Йорке.

Я попытался снова навести ее на разговор про полковника Бэрра. Но она его очень давно не видела.

— Я не вылезаю с Томас-стрит, а он к нам не ходит.

— Вы сами-то из Киндерхука?

Лицо у мадам Таунсенд стало еще более удивленным, чем обычно.

— Я вам об этом говорила? Нет, из Клаверака. Это недалеко.

— А семью Ван Бюренов вы знали?

Она явно пыталась найти связующую нить, но не желала унижаться до расспросов. Она предпочитает отвечать.

— Была раза два в их таверне. Но сына не помню. Скорее всего, он уже был в Нью-Йорке. Потом, в семнадцать лет, я тоже приехала в этот город в надежде найти свое место в этом содоме и гоморре.

— Вы слышали, что полковник Бэрр приходится отцом Мартину Ван Бюрену?

— Мало ли что услышишь. Но стоит ли верить? Я знаю, вообще-то у полковника есть сын, рожденный, как говорится, под розовым кустом. Он серебряных дел мастер, живет в Бауэри— Аарон Колумб Бэрр.

Я пишу эти заметки в конторе; сейчас утро, и я должен засвидетельствовать, что никогда еще не испытывал такого удовольствия.

Выйдя из комнаты наверху и направившись к лестнице, я услышал кашель. Распахнулась дверь, и я увидел Леггета — он обеими руками прикрывал рот, сзади, в постели, была напуганная голая девица.

Служанка в сердцах захлопнула за ним дверь.

Леггет в последний раз громоподобно кашлянул, вытер губы тыльной стороной руки, открыл глаза, увидел меня и сказал:

— Выброшенные деньги. Я чуть не умер, и отнюдь не от нежной страсти. Тут такая пылища.

Пошатываясь, он взял меня под руку, и мы спустились по лестнице. Дверь в гостиную была закрыта.

Мы с Леггетом окунулись в теплую ночь — вернее, утро—и зашагали к Пяти Углам в таверну на Кросс-стрит.

Когда мы вошли, бармен, к удовольствию посетителей, гонялся за свиньей по засыпанному опилками полу.

Леггета немедленно узнали. Рабочий люд так же его боготворит, как богачи — ненавидят. Пока мы пробирались к нашему столику в

конце зала, его швыряло из стороны в сторону от дружеских похлопываний по плечу.

Леггет заказал два пива, вытащил из кармана гранки и начал править редакционную статью, между делом расспрашивая меня про новую девушку из Коннектикута. Я отвечал невразумительно, чтобы он не соблазнился. Он кивал, кашлял, читал, делал пометки в гранках и тем выводил меня из себя.

— Что нового о полковнике Бэрре?

Я рассказал Леггету про разговор с мадам и добавил:

— Собираю материал.— На самом-то деле я только занес в свою тетрадь кое-какие факты, разбавив их многочисленными личными отступлениями. Но я верю, что если фиксировать все, что я знаю о полковнике Бэрре, то в конце концов я заставлю загадочного Сфинкса привстать и показать, мужчина он или женщина, зверь, или человек, или неведомый гибрид, лежащий на моем пути. Кто он, Аарон Бэрр, и почему он меня так занимает?

— Ты знаешь, что меня интересует, Чарли? Связи с Ван Бюреном.

— Не могу же я в лоб спросить об этом полковника.

— Конечно нет. Но есть люди, которые знают.

— Кто? Мэттью Дэвис?

Леггет скорчил гримасу.

— Он должен знать, но сомневаюсь, чтобы он сказал.

Да, но о чем еще мы говорили с Леггетом?

— Если с Мэттью Дэвисом не выйдет, я прощупаю Сэма Суортвута.

Леггет не проявил энтузиазма:

— Им выгодно замалчивать эту связь и незачем ее открывать. Сэм недолюбливает Ван Бюрена, но не настолько, чтобы предать Бэрра и тем более — президента. Конечно, он много знает о приключениях Бэрра на Западе.

Пора было уходить. Выйдя из бара, мы увидели, как двое мужчин сцепились около деревянной водокачки.

Однако надо, наконец, открыть рукопись, которую вручил мне полковник Бэрр.

Сверху на первом листе надпись:

«Отчет о военной службе подполковника Аарона Бэрра во времена Славной Революции». Слово «Славной» явно было вписано уже потом.

«В соответствии с этим отчетом, а также прилагаемыми показаниями еще живых свидетелей подполковник Аарон Бэрр почтительнейше просит конгресс, сообразно с недавним законодательством (документы прилагаются), возместить расходы, понесенные им во время справедливой войны против британской тирании.

Совершено в Нью-Йорке, января 1, 1825».

Ищу, где же приложения. Их нет.

На полях нацарапано: «Чарли, петиция в конгресс не очень-то искренняя. Когда три года назад я лежал, прикованный к постели, я перечитал эту геройскую сказку и решил, что надо рассказать *подлинную* историю тех дней. Правда не повредит, как говорится. Разумеется, это неверно: именно правда и поражает нас, как гром, ниспосланный богом.

Пусть тебя позабавят эти рассказы о событиях прошлого. Сам-то я немало позабавился, когда писал все это, будучи в сенате и на короткое время получив доступ к нашим военным архивам».

Переписываю текст целиком, с некоторыми примечаниями и отступлениями.

Кембридж, Квебек.

«Я был девятнадцатилетним студентом юридической школы Тэппинга Рива в городе Литчфилд, штат Коннектикут, в тот день, когда американские колонисты впервые сошлись с английскими солдатами в битве при Лексингтоне. На следующий день (20 апреля 1775 года) в Литчфилде звонили «победные» колокола. Долгожданная битва за независимость Америки началась, и я был готов к ней.

Вообще-то я был готов только к приключениям. В отличие от Гамильтона я не принимал участия во всевозможных дебатах, которые предшествовали Революции — этим неточным словом люди называют политическое отделение американских колоний от британской короны.

Пока не начались настоящие бои, я отдавал все свое время юриспруденции и некой Долли Куинси из Фэйрфилда. Обручившись с Джоном Хэнкоком, делегатом Континентального конгресса от Массачусетса, Долли осталась моей доброй подругой и весьма тактично играла роль Зрелой Женщины, которая должна держать на почтительном расстоянии пылкого юнца.

Мы с Долли стояли в небольшой толпе возле литчфилдской таверны и слушали ножовщика, который бежал из занятого англичанами Бостона. Он уверял, что был при Лексингтоне. Конечно, он привел множество кровавых подробностей, но я уже не помню ни слова.

В июле благодаря посредничеству друга (Долли) я получил письмо от Джона Хэнкока, теперь уже президента Континентального конгресса. Он рекомендовал моего друга Матиаса Огдена и меня вниманию только что назначенного главнокомандующего континентальной армии генерала Джорджа Вашингтона из Виргинии.

Должен заметить, что Долли поразилась, когда узнала, что выбор пал на Вашингтона:

«Командовать армией должен был Хэнкок. Ничего не понимаю».

Но тогда никто не понимал, как удалось Вашингтону и его виргинским конфедератам сразу прибрать к рукам всю, в сущности, армию Новой Англии. Действуя сообща, в полном согласии, и всегда проявляя редкую преданность друг другу, виргинцы оттерли не только Джона Хэнкока, но и таких талантливых командиров, как Гейтс, Ли и Артемас Уорд. А Джон Адамс так и вовсе предал своего земляка из Новой Англии Джона Хэнкока. Выходцам из Новой Англии и Нью-Йорка не хватало преданности друг другу, настоящей политической линии, и они с самого начала отдали американскую республику виргинской хунте, и та со вкусом правила нами едва ли не полстолетия подряд.

В июле, через неделю после того, как генерал Вашингтон принял командование, Мэтт Огден и я прибыли в Кембридж, полный офицеров и претендентов на офицерские должности.

Письмо Джона Хэнкока было, как положено, вручено генерал-адъютанту Гэйтсу, тот был приветлив, однако нервничал. Он обещал мне свидание с генералом Вашингтоном, но я ни разу не поговорил с ним за те два месяца, что провел в Кембридже. Мэтта Огдена, однако, немедленно произвели в офицеры.

Вечерами я торчал в кабаках, заводя знакомства с офицерами, а днем — в лагере, наблюдал, как 17 000 будущих солдат располагались на берегу реки Чарльз. Особенно поражали меня парни с границы — из тех лесных областей, что считались тогда Западом. На них были обтрепанные охотничьи куртки, и жили они как дикие звери, под открытым небом.

Ну, а тем, кто предпочитал крышу над головой, приходилось изобретать себе жилище. Несколько офицеров раздобыли настоящие палатки, даже английского производства. Другие сооружали дома из парусины, из наскоро сбитых досок, из торфа. Получился хаос, какой бывает после стихийного бедствия, и, как всегда после катастроф, многие находили утешение в варварстве — пьянстве, воровстве, драках.

Однажды, в конце июля, я наблюдал, как муштруют роту нью-йоркских оборванцев, когда верхом на вороном коне подъехал генерал Вашингтон. Впервые я видел его вблизи. На нем была недавно утвержденная сине-желтая армейская форма, бледно-голубая лента на груди символизировала его положение командующего, генералы ниже рангом носили пурпурные ленты, штабные офицеры — зеленые.

Когда генерал проезжал мимо, я отдал ему честь. Я все еще был в гражданском платье, но тогда многие в армии так ходили.

Генерал ответил на приветствие, а я разглядывал его лицо: желтая, изъеденная оспой кожа слегка припудрена, серые глаза тонули в глазницах и казались безжизненными, выражение лица было мрачное и как будто отсутствующее. Он показался мне старым, как господь бог. А ведь ему было только сорок три!

Генерал медленно подъехал к парусиновой палатке, у входа в которую двое пьяных пытались убить друг друга, к удовольствию множества столь же пьяных зрителей.

Я последовал за генералом, мне было интересно, что он предпримет. Другой бы отвернулся и проехал мимо. С американским солдатом и с трезвым-то не сладить, а пьяный он просто страшен.

«Прекратить!» — Глубокий голос гремел как гром. На мгновение среди зрителей пробежал шепоток смутного пьяного интереса. Затем взоры всех снова обратились к дерущимся. Один пьяный, вопя, пытался задушить другого, а тот, похоже, откусил у своего врага чуть ли не половину уха.

Вашингтон сперва застыл, как одна из тех конных статуй, что ныне украшают проспекты республики. Но вот стало ясно, что приказ не выполняется. Тогда он величественно спешился и, точно во главе торжественной процессии, приблизился к рычащим, барахтающимся в грязи драчунам. У него были женские бедра, ягодицы и бюст, но двигался он с поразительной быстротой. Он навалился на обоих. Одной громадной ручищей схватил за глотку душителя, другой вцепился в патлы людоеда. Рывком поставил обоих на ноги, приподнял и встряхнул, будто двух крыс. Его широкое желтое лицо стало кирпично-красным под слоем пудры, и он, не переставая, сыпал страшными ругательствами. Адъютанты поспешили на помощь командующему. Сержант посадил ошеломленных драчунов под арест. Гуляки попытались даже встать по стойке «смирно», когда Вашингтон садился в седло с величественностью истинно поразительной, и только те, кто стоял рядом, вроде меня, видели, как дрожит на поводьях его рука. Ведь в общем-то у него не было опыта ведения войны, а подвиги в стычках с индейцами существовали лишь в легендах, которые он сам неустанно распространял вместе с виргинцами.

Президент конгресса Хэнкок забавно описал мне первое появление Вашингтона в Филадельфии. Делегат от Виргинии на только что созванном конгрессе упорно щеголял в сине-красной форме, которую носил во время стычек с индейцами лет двенадцать назад,— это был явный намек. Но, несмотря на его отличную военную выправку, кое-кто из делегатов заметил, что из-за склонности к полноте он стал несколько великоват для своей формы.

«Мы все ждали,— рассказывал Хэнкок,— что вот-вот лопнут швы, когда он после обеда в кабачке Барнса, покачиваясь, направлялся к своей многострадальной лошади».

Хэнкок сошел в могилу, не перенеся того, что Вашингтона, а не его назначили командующим континентальной армией. Обидно, когда славу выхватывают у тебя из-под носа, а в то лето она была так близка. При Лексингтоне и Банкер-хилле мы устояли против лучшей армии в мире. Правда, англичане находились за 3000 миль от дома и были вынуждены воевать на пересеченной местности, где главное их достижение — четкий строй — оказалось неприменимо против самой страшной для них стратегии: снайперского огня невидимых стрелков.

Несмотря на нашу простодушную самоуверенность в Кембридже, сам Вашингтон, должно быть, сомневался, можно ли создать армию из столь неподходящего человеческого материала. На берегах реки Чарльз собрались воры, головорезы, одичавшие лесные бродяги, убийцы, негры, сбежавшие от своих хозяев на Юге, европейские авантюристы... сброд, а не солдаты.

До Англии никому не было дела. Большинство завербовалось ради денег, а их платили сразу. От бескорыстных патриотов Вашингтону тоже было мало проку, особенно от выходцев из Новой Англии, они все до единого мнили себя генералами и не хотели служить рядовыми. Но мы рассчитывали на короткую войну.

Когда Вашингтон отъехал, ко мне повернулся крепко сбитый молодой человек и что-то сказал относительно языка его превосходительства. Мы оба засмеялись и вместе пошли к реке.

«Я капитан Джеймс Уилкинсон из Мэриленда»,— представился он. Я сгорал от зависти. Я — многоопытный девятнадцатилетний мужчина, а этот восемнадцатилетний мальчишка со щеками, еще не знавшими бритвы,— капитан! Джеймс вступил в армию в Джорджтауне, а до того учился на врача.

У нас сразу установились дружеские отношения, и Джейми всегда говорил, что в тот день он нашел самого лучшего друга. Но лучше бы мне стать тогда его врагом!

На мосту через реку Чарльз мы увидели генерала Вашингтона с адъютантом. Генерал смотрел на противоположный берег, где купались голые солдаты. Они весело гоготали и выставлялись напоказ любопытным кембриджским дамам.

«Не создать ему армии из этого сброда»,— Уилкинсон полагал, что анархический сброд пересилит Вашингтона. Но Уилкинсон ошибался. В считанные минуты купальщиков под дулами мушкетов доставили с противоположного берега. На следующий день разжаловали одного полковника и пятерых капитанов. Еще через день в центре лагеря поставили хитроумное сооружение — «козлы»: к ним привязывали нарушителей дисциплины и пороли. Вашингтон прибирал армию к рукам.

На следующей неделе в лагере вспыхнула эпидемия оспы и дизентерии. Вашингтон считал, что дизентерия вызвана свежим сидром. Но сидр продолжали пить, и продолжали мучительно умирать от кровавых кишечных спазм.

Я слег на две недели в лихорадке. Мэтт и Джейми выхаживали меня, как могли; я чувствовал себя невероятно несчастным. Я сбежал из дому, чтобы воевать, а из этого ничего не получалось.

«Это все из-за твоего роста.— Мэтт кормил меня капустным супом.— На вид ты десятилетний мальчик!» — Он преувеличивал, но я и вправду казался моложе других офицеров, в том числе Джейми, который выглядел солидней благодаря раннему брюшку. И все равно чем я не воин? Я отлично стрелял, умел обращаться с лошадьми и —

я был уверен — с солдатами сумею тоже. К тому же наверняка у меня был прирожденный педагогический дар. И потом — я жаждал славы, а это, что ни говорите, возвеличивает и самых тщедушных.

Нам казалось странным, что Вашингтон занят только муштрой и нужниками. А ведь мы каждый день видели из нашего лагеря, как строится в Бостоне английская армия — грозные алые игрушечные солдатики в зеленой дали.

Мы не знали, что Вашингтон медлил потому, что у него было мало пороха, совсем не было артиллерии, а войска были не обучены. Вашингтон смотрел на войну просто и всегда одинаково: ничего не предпринимать, пока не будешь сильнее противника вдвое. Вот он и ждал, когда конгресс пришлет ему людей и боеприпасы. Англичане находились далеко от дома; в колониях же в то время насчитывалось около двух миллионов американцев, так что мы должны были их непременно победить. Но Вашингтона вечно преследовала проблема обеспечения армии. Богачи придерживались проанглийской ориентации, а беднякам было безразлично, платят американские купцы налоги далекому острову или нет. Честно говоря, кроме горстки честолюбивых адвокатов, «патриотов» в 1775 году было очень мало. К тому времени, когда долгая смертоубийственная война подошла к концу, их и вовсе не осталось. Лучшие погибли, другие устали.

Но сейчас, по крайней мере, кое для кого хоть скучное время миновало. Со свечой в руке Мэтт присел на край моей взмокшей от пота койки и сообщил:

«Мы идем походом на Канаду».

Я удивился:

«Почему не на Бостон? Это гораздо ближе, и там большая часть английской армии».

«Вашингтон опасается, что англичане выступят из Канады и отрежут Новую Англию от других колоний. Вот он и хочет их предупредить. Требуется батальон добровольцев и по крайней мере три роты стрелков».

В ту ночь мою лихорадку как рукой сняло. Шестого сентября я записался в роту подполковника Кристофера Грина. Тринадцатого сентября отряд подполковника Грина вышел из Кембриджа на Ньюбери-порт. Новоиспеченный ретивый солдат, я шел пешком. Мэтт благоразумно воспользовался повозкой.

Шестнадцатого сентября наш отряд в количестве тысячи ста человек — главным образом виргинцы и кентуккцы, а также рота ньюйоркцев (как обычно, потребовавших платы вперед) — был построен по стойке «смирно» перед своим командиром, полковником Бенедиктом Арнольдом, первым героем Революции.

Как сейчас помню Арнольда в тот день, его высокую, могучую фигуру на фоне ясного неба. Черные как смоль волосы; лицо странно темное, точно смазанное ореховым маслом; удивительные глаза, как у зверя или доисторической птицы — светлые, точно лед, немигающие: индейцы прозвали его Черным Орлом. Не знающий усталости, храбрый, мудрый лишь на поле боя, он был неотразим и вздорен.

Арнольд сказал нам несколько слов. Затем представил офицеров. Среди них был Дэн Морган из Виргинии, в куртке с бахромой, гроза индейцев; сорокалетний Морган оказался старшим из офицеров. Его уважали, но он не вызывал трепета, как Вашингтон. Сам Арнольд был как атлет среди подростков, первый актер среди статистов, а больше ни у кого из наших офицеров не было военной выправки, кроме подполковника Роджера Иноса, из-за которого мы потеряли Канаду.

До мая 1775 года Бенедикт Арнольд держал аптеку в Нью-Хэйвене. Когда до него дошла весть о битве при Лексингтоне, он закрыл аптеку, собрал роту солдат и предоставил себя в распоряжение штата Массачусетс. Он начал с того, что предложил захватить у англичан форт Тикондерога, чтобы открыть дорогу в Канаду. Он овладел Тикондерогой, но ему пришлось разделить лавры с Итеном Алленом (скандалистом, который потом попал в английский плен, к вящему облегчению для американского командования). Аллен и Арнольд сразу не поладили. К тому же массачусетская ассамблея заявила, что ее не интересует Канада: видимо, Тикондерогу захватили только для того, чтобы добыть столь необходимую артиллерию. Арнольд объявил, что его не хотят использовать и предают, и в августе сложил полномочия в городке Уотертаун. Вашингтон немедленно произвел его в полковники, а далее—«Его превосходительство оказал мне честь, приняв мой план завоевания Канады».

Арнольд обратился к своим офицерам с амвона церкви в Ньюбери-порте: «Надеюсь, что наше промедление ничего не испортило. Я хотел идти сразу на Канаду, после того как взял Тикондерогу». Мэтт Огден и я переглянулись. То было наше первое соприкосновение с героем войны. Выходит, герой войны в одиночку стирает с лица земли города и творит историю. «Но это оказалось невозможным». У Арнольда хватило ума не клеймить перед офицерами владык Массачусетса, которые его остановили.

Штабной капитан извлек карту Канады и водрузил ее на амвон. Мы подались вперед на жестких скамьях, и Арнольд объяснил нам дорогу. На следующий день нам предстояло погрузиться на одиннадцать грузовых судов и плыть в устье реки Кеннебек в Гардиньерстаун. Там нас должны ожидать двадцать четыре плоскодонки.

«На этих плоскодонках мы пойдем вверх по Кеннебеку.— Толстый палец показывал путь по карте.— У истоков мы пройдем двенадцать миль по суше до Мертвой реки. Другой отряд под командованием генерала Скайлера двинется из форта Тикондерога через форт Сент-Джон к Монреалю. Завладев Монреалем, генерал Скайлер присоединится к нам в Квебеке. Мои лучшие разведчики заверили меня, что во всей Канаде только семьсот английских солдат и никакого флота. Не позже пятнадцатого октября я начну осаду Квебека».

Я извлекаю эту речь из недр памяти, чтобы дать понятие о тщеславии иных наших командиров в первые дни сражений. И все же надо сказать, что Арнольду удалось убедить нас в том, что еще до первого снега мы станем освободителями Канады. Могли ли мы потерпеть поражение? Сами канадцы на нашей стороне. Франция только двенадцать лет назад уступила Канаду Англии, к великому огорчению (так нам говорили) французских колонистов, которые с нетерпением ожидали нашего прихода и «свободы». Боюсь, все мы поверили в эту чепуху.

Как выяснилось, французские колонисты любили нас гораздо меньше, чем англичан, которых они предпочитали своим продажным французским губернаторам. А главное, они отлично знали, как американцы ненавидят их церковь. Действительно, даже странно, как вообще мог Вашингтон надеяться на добрые чувства французских канадцев, когда буквально дня не проходило без того, чтобы наша пресса или конгресс не обрушивались на римскую католическую церковь и ее коварные замыслы против нашей чистой протестантской веры и наших утопающих в зелени деревень.

В Гардиньерстауне нас ждали пресловутые плоскодонки. Сколоченные в великой спешке из сырой сосны, они шли камнем ко дну,

едва их грузили. С большим трудом мы кое-как их подправили. И вот ясным сентябрьским утром отплыли на завоевание Канады.

Подобно Наполеону Бонапарту, Бенедикт Арнольд был слишком велик, чтобы обращать внимание на погоду. Оба они отказывались понимать, что за осенью непременно следует зима, а в таких северных краях, как Россия и Канада, зима неодолима. Никто не думал о том, что нас ждет впереди,— как кузнечик из басни, мы радовались теплым сентябрьским денечкам и мечтали о славе, озаренной северным сиянием.

Вскоре выяснилось, что у Арнольда неточная карта. Река Кеннебек оказалась куда своенравней и быстрей, чем мы полагали. Раз тридцать нам приходилось вылезать на берег и углубляться в леса, волоча на спинах проклятые плоскодонки. Состояние нашего духа падало. Ночи стояли холодные. Выли волки. Мы нигде не встречали людей — только в форте Уэстерне, мрачном пограничном пункте (теперь это Огаста в штате Мэн).

Огромный медведь сидел на цепи у частокола форта Уэстерна. Цепи стерли ему лапы до крови. Это зрелище осталось в моей памяти. И еще помню запах сырой хвои и черной земли. И блеск слюды на серых скалах. И ругань солдат, спасающих пороховницы на переправах и от холодных дождей.

По суше я обычно шел рядом с молодым Джонатаном Дэйтоном (будущим спикером палаты представителей и сенатором от Нью-Джерси); мы делили с ним пищу, по ночам спали рядом у костра. Мэтт находился в роте, которая шла впереди.

По воде полковник Арнольд плыл с удобствами в собственном челноке, управляемом двумя индейцами. Сначала все добродушно подшучивали над тем, как ловко наш командир всегда находит хижину поселенца для ночлега и избегает удовольствия спать с нами вместе al fresco [1]. Но когда разразилась беда, шутки сменились проклятиями, и лишь сила, исходившая от этой незаурядной личности, удержала людей от мятежа.

Восьмого октября мы достигли истоков реки Кеннебек. Мы были измучены, но знали, что должны спешить, чтобы достичь обжитой земли, потому что огненно-красные и ярко-желтые листья уже бурели и опадали и в северном ветре слышался запах снега.

У нас ушло восемь дней, чтобы посуху добраться до Мертвой реки, вполне заслужившей свое название. Угрюмая, глубокая, стремительная черная река извивалась в первобытном лесу, который, вероятно, не изменился от сотворения мира. Река была глубокая, отталкиваться шестами стало невозможно, и мы тащили плоскодонки канатами, впрягаясь в них, как лошади. Нью-йоркцы поговаривали о том, что через десять недель Новый год — конец срока их вербовки.

В ночь на двадцать четвертое октября Мертвая река разлилась. Мы потеряли половину провианта и плоскодонок, а заодно почти все свое мужество. Я провел ночь с Джонатаном Дэйтоном на дереве. На рассвете мы с удивлением увидели громадное озеро, разлившееся во все стороны среди темного хвойного леса. Когда вода начала спадать, мы слезли в жидкую грязь и стали размышлять о масштабах постигшего нас бедствия. Как только явился полковник Арнольд, повалил снег. Арнольд созвал совет прямо под деревьями. «Я предоставляю вам выбор — идти вперед или возвращаться»,— сказал он.

Мы стали жарко спорить, едва различая друг друга сквозь белую завесу метели. Однако Арнольд умело направлял спор и вынудил тех, кто стоял за возвращение, признать, что вряд ли кому из нас

[1] На свежем воздухе *(исп.)*.

удастся вернуться живым, когда потеряна половина провианта, плоскодонки разбросаны по лесу, а землю прямо на глазах устилает все более плотный снежный покров. Решено было идти вперед.

Тридцатого числа Арнольд отправился за провиантом в Сартиган, деревню, расположенную неподалеку, если верить злополучной карте.

«Больше мы его не увидим». Дэйтон был убежден, что нас бросили на произвол судьбы. Еда кончилась. Люди уже съели собак, а теперь жевали ремни, мокасины, даже мыло. К счастью, из передового отряда прибыл Мэтт и привез остатки провианта: полфунта свинины и пять фунтов муки на человека до того, как падет Квебек или полковник Арнольд достанет продовольствие.

Через три дня из мифического Сартигана прибыло продовольствие. То-то было радости. Даже снегопад прекратился по такому случаю.

А потом пришли плохие вести. Проводник-индеец сообщил, что наш арьергард под командованием подполковника Иноса повернул назад, в Массачусетс, так что у нас осталось всего пятьсот боеспособных солдат.

Между седьмым и тринадцатым ноября наша «армия» стянулась в Пойнт-Левис на реке св. Лаврентия напротив Квебека. Наконец-то мы оказались на цивилизованной земле; но положение было по-прежнему тревожное. Два британских корабля патрулировали реку, а в квебекской цитадели засело больше пятисот английских солдат под защитой фрегата и сторожевого корабля, насчитывавших вместе сорок два орудия. «Лучшие» разведчики Арнольда оказались не надежней его карты.

Ночью тринадцатого ноября англичане подожгли наши уцелевшие плоскодонки. Как ни странно, сырое дерево хорошо горело.

Мы заняли Волчью бухту под стенами Квебека. И здесь один охотник рассказал нам, что сменивший Скайлера генерал Монтгомери захватил английские форты Чэмбли и Сент-Джон. Теперь Монтгомери наступал на Монреаль. Арнольд на радостях отправил Мэтта под белым флагом в цитадель потребовать немедленной капитуляции Квебека:

«Скажите английскому командующему, что мы будем всемерно великодушны, если они сдадутся немедленно. И беспощадны — повторяю: *беспощадны,* если они не признают наш суверенитет над Канадой». Я не верил своим ушам. Бедняга Мэтт отправился выполнять приказ.

Мы смотрели, как Мэтт приближался к воротам цитадели, маленькая фигурка с грязной белой рубашкой на палке. Арнольд был вне себя от бешенства, а я забавлялся (увидев, что Мэтт не пострадал), когда англичане дали залп картечью и Мэтт скатился с холма к нам в Волчью бухту.

«Я преподам этим мерзавцам такой урок, что они его никогда не забудут!» Темное лицо Арнольда почернело от гнева; зеленовато-желтые глаза сверкали, как у кота ночью. Он тут же приказал Мэтту отправиться вниз по реке в Монреаль, разыскать Монтгомери, где бы он ни был, и «сказать ему, что он должен с нами соединиться. *Сейчас же!* Для совместной осады. Нам не нужен Монреаль. Нам нужен Квебек». Мэтт отбыл в тот же час.

Девятнадцатого ноября мы перебазировались миль на двадцать к западу в Пуэнт-о-Трамбль и разбили лагерь. На следующий день пришел английский сторожевой корабль из Монреаля: на борту находился губернатор Канады сэр Гай Карлтон. Монреаль сдался Монтгомери! Мы ликовали.

«Лучше бы мы служили у Монтгомери». Дэйтон пребывал в мрачном состоянии духа. Как большинство молодых офицеров, он во всем винил Арнольда. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что Арнольд составил неплохой план завоевания Канады. Такие удары умел мастерски наносить Бонапарт. Арнольд, разумеется, Бонапартом не был, но это был изобретательный и смелый генерал. К несчастью, ему не сопутствовало sine qua non [1] подлинно великого генерала — удача. К тому же он, как я уже говорил, не принял в расчет необычайно суровую канадскую зиму.

Утром тридцатого ноября, не получая никаких известий из Монреаля, Арнольд вручил мне письмо для генерала Монтгомери и приказал доставить его по реке. Я обрадовался.

Я отбыл из Пуэнт-о-Трамбля на каноэ с проводником-индейцем. Английский корабль «Хорней» для порядка дал в нашу сторону один или два залпа, но в остальном мы беспрепятственно прошли вверх по течению мимо высокого скалистого обрыва, на котором расположен город Квебек. Даже холод казался приятным в то белесое утро; стояла тишина, только волны мягко били о березовый каркас каноэ.

Должен заметить, что я вовсе не переодевался французским монахом, чтобы добраться до Монреаля.

Понятия не имею, откуда пошла эта небылица, но ее напечатали, как и множество прочей чепухи. Не было и трагической любовной связи с индейской принцессой, которая будто бы имела место в форте Уэстерне: она якобы была моей верной возлюбленной, пока не погибла, спасая мою жизнь во время штурма Квебека. Видимо, мне суждено быть героем всяческих выдумок, по большей части отвратительных. Я их не опровергаю. Люди верят тому, чему хотят верить. Просто мое имя каким-то мистическим способом похитил у меня и присвоил герою нескончаемого трехтомного романа сумасшедший автор, чье воображение никогда не спит, зато спит читатель, в тысячный раз перечитывая, как коварный Аарон Бэрр замыслил в одиночку расчленить Соединенные Штаты; думаю, слетать на Луну было бы и проще, и забавнее.

Мы находились всего в трех часах пути от Пуэнт-о-Трамбля, когда увидели на горизонте американскую флотилию, идущую с запада. На восходе солнца я лично вручил Ричарду Монтгомери послание Бенедикта Арнольда, в котором тот рекомендовал меня (без этого тогда не обходилось) как сына покойного ректора колледжа Нью-Джерси.

«Я послал полковнику Арнольду припасы. Верно, они уже доставлены». Монтгомери отличался высоким ростом и благородной осанкой; на его красивом лице, правда, было какое-то глуповатое выражение — из-за низкого лба, убегающего назад от носа, как у тех английских собак, которых так долго тренировали на скорость, что они растеряли весь свой собачий ум.

Я слишком мало знал Монтгомери, чтобы основательно судить о его уме, но его обаяние и храбрость не вызывали сомнения, и у нас сразу же сложились прекрасные отношения. Кстати, он немедленно произвел меня в капитаны своего штаба. Так я стал офицером.

После прибытия Монтгомери и трехсот солдат у нас оказалось в общей сложности около восьмисот боеспособных воинов для штурма самой укрепленной крепости в Северной Америке.

В течение декабря мне удалось убедить генерала Монтгомери, что нам лучше всего дождаться снежной бури (снег валил каждый третий день) и взобраться по лестницам на мыс Даймонд, самую

[1] Непременное условие, качество *(лат.)*.

высокую, а потому и наименее укрепленную точку цитадели. Три других отряда в это время должны атаковать форт, чтобы отвлечь на себя его защитников. С мыса Даймонд мы сможем проникнуть в цитадель и открыть ворота.

Две недели я обучал пятьдесят солдат искусству подъема по лестницам на высоченную стену. Увы, генерала Монтгомери переубедили два дружественных нам канадца; они уверяли, что если мы захватим берег со складами, то купеческие дома Квебека заставят сэра Гая капитулировать, чтобы только не потерять свои мастерские, склады, корабли. Я не одобрял этого плана, и он действительно провалился.

Монтгомери назначил штурм на последний день года. У него не было выбора. На следующий день несколько сот нью-йоркцев, у которых кончался срок вербовки, собирались домой.

Арнольд атаковал с востока, Монтгомери — с запада. Отряды должны были соединиться в нижней части города и двинуться к цитадели. Сначала все нам благоприятствовало. Была полная луна. Английский гарнизон перепился по случаю Нового года. Но как только мы пошли в наступление, северный ветер принес метель, она полностью скрыла цитадель и набросила белый саван на равнину Абрахама. Возвращаться было поздно, и мы шли вперед, утешая себя мыслью, что если мы не видим врага, то и он нас не видит.

Я медленно продвигался рядом с Монтгомери по кромке берега. В двух шагах ничего не было видно. Снег залеплял глаза. Мы достигли первого ряда деревянных заграждений. Преодолели его. Затем — второй. Мы прорвались и очутились перед первым блокгаузом. За ним прятались моряки. При виде нас они пустились наутек, бросив двенадцатифунтовую пушку.

Теперь мы находились в глубокой лощине, ведущей к нижней части города.

Монтгомери радовался. «Снег наш союзник»,— прошептал он и вдруг остановился как вкопанный. Он наткнулся на ледяные глыбы замерзшей реки.

«Убрать лед!» — скомандовал Монтгомери. Он сам вместе с нами разбивал лед, расчищая тропу. Затем отряд построился колонной. Впереди были Монтгомери, я и французский проводник. «Вперед, смельчаки! — крикнул Монтгомери.— Квебек наш!»

Высясь темной фигурой на фоне зловещей белизны, Монтгомери повернулся ко мне и крикнул: «Через две минуты будем в крепости».

Помню, у меня мелькнула мысль: нельзя искушать судьбу. Но не успел я ему ответить, как ноги мои оторвались от земли и меня завертело в снежном буране. Я уткнулся в плотный снег и услышал запоздалый грохот двенадцатифунтовой пушки: один из моряков, бросивших блогкауз, вернулся, увидел впереди наши силуэты и выстрелил.

Я пришел в себя, поднялся на ноги, проверяя, не ранен ли, гадая, сумею ли я разглядеть кровь в этом бесцветном мире. Выяснив, что я цел и невредим, я поспешил к генералу Монтгомери. Он лежал в снегу с разбитой головой. Я попытался его поднять и не смог — он был мертв. Рядом лежали два его адъютанта и сержант — тоже мертвые. Француз-проводник исчез. Я повернулся к отряду.

«Вперед! — крикнул я.— Город наш!» Но в этот самый момент некий офицер по фамилии Кэмпбелл настоял на проведении одного из тех диспутов, что столь дороги сердцу американского солдата. А как же? Когда ему демократически дают право выбора, американский солдат неизменно выбирает отступление.

Тщетны были мои мольбы, проклятия, угрозы. Я остался один в лощине возле тяжеленного тела моего командира — на снегу чернела, застывая, его кровь. Я совсем потерял голову и решил перенести останки Монтгомери на нашу сторону. Глупец, я, верно, надеялся его оживить. Но я не оттащил его и на дюжину ярдов, как угодил под огонь из блокгауза.

Я оставил тело врагам (не так давно они вернули его в Нью-Йорк для торжественного захоронения, на которое меня не пригласили). Кстати, на последней и заслуженно нашумевшей картине Трамбелла, запечатлевшей смерть генерала Монтгомери, меня нет и в помине, зато несколько офицеров, которые были тогда весьма далеко от этой ужасающей сцены, на полотне тут как тут, ибо они стали, что называется, вездесущи.

Если бы люди пошли за мной и соединились с отрядом Арнольда (а он ждал нас в нижней части города), Канада сегодня входила бы в состав Соединенных Штатов (как тебе повезло, Канада!). Но из-за безвременной гибели Монтгомери, трусости Кэмпбелла, дезертирства Иноса мы потерпели поражение. В 1812 году мы снова попытались захватить Канаду — и снова неудачно. Тут уж не зима была виновата, а наш собственный командир Джеймс Уилкинсон. Бедняга Джейми для канадцев дороже десятка буранов.

Двести наших солдат погибли во время этого несчастного штурма и триста попали в плен. Остальные чуть не все были ранены, в том числе и полковник Арнольд, у которого была серьезно повреждена нога.

Меня произвели в майоры, и в колониях шла молва о моих подвигах. Мое имя даже упоминали в конгрессе, а Мэтт Огден счел нужным расхвалить меня самому Вашингтону, и тот, оценив мое юное дарование, предложил мне место в своем штабе.

Я стал героем, а мне было всего двадцать лет. Примитивная гравюра на дереве изображает, как молодой Аарон Бэрр несет сквозь снежную бурю тело генерала Монтгомери,— когда-то она поучала и вдохновляла целое поколение американских школьников. Погибни я тогда под Квебеком, кто бы меня помнил? Вероятно, никто».

VI

Я говорю полковнику Бэрру, что мне очень понравился его рассказ о вторжении в Канаду, но он смотрит на меня с недоумением и ворошит угли на каминной решетке (да, да, в разгар лета он часто греется у камина). «Мне всегда холодно,— любит он повторять.— Это все из-за генерала Вашингтона. Он недолюбливал меня и вечно гонял по болотам».

И наконец:

— Ах, да. Мои экзерсисы о днях минувших. Время от времени я и сейчас пописываю. Бессмысленное занятие. Никто не любит правды. К примеру, теперь нам говорят, что Бенедикт Арнольд был плохой генерал потому, что он был плохой человек. А ведь он был одним из лучших наших командиров. Получше Вашингтона, во всяком случае.

— Вот уж не сказал бы, прочтя ваши воспоминания.

Бэрр удивлен:

— Разве? Арнольд действовал блестяще!

Нас прерывает Нелсон Чейз: у него послание от мадам. Полковник берет записку и хмурится. Полковник вообще расстроен послед-

ние дни. Дела в особняке идут не блестяще. Он обещал мне показать свои заметки о Вашингтоне, но всякий раз, когда я ему об этом напоминаю, говорит, что не помнит, куда их девал.

VII

Я совсем обленился из-за жары. Август подходит к концу. Полковника Бэрра не бывает в конторе по нескольку дней кряду. Иногда он в особняке. Иногда в Джерси-сити. Один раз, по крайней мере, он ездил в Принстонский колледж (его отец был ректором колледжа, когда он еще назывался Колледж штата Нью-Джерси).

Хотя полковник теперь особенно скрытничает, я думаю, что из аренды земель в Техасе ничего не вышло, и если это так, то он потерял все свои (вернее — супругины) денежки.

Нелсон Чейз рассказывает, что «на Холмах черт-те что творится!» Он все пытается выведать у меня что-нибудь о личной жизни полковника — тема неприличная, учитывая, что полковник недавно женился на тетушке Чейза или кем она там ему доводится. Я отмалчиваюсь. Да я *ничего* и не знаю, кроме того, что мне пришлось отправить несколько писем Бэрра некоей Джейн Макманус в Джерси-сити. Но honni soit qui mal y pense[1].

Вчера Бэрр провел весь вечер с миссис Томпкинс и пятилетней девочкой, явно его дочерью, хотя вряд ли, думается мне, от пожилой миссис Томпкинс.

Сегодня в пять часов вечера я, наконец, получил записки полковника о Джордже Вашингтоне.

■

Джордж Вашингтон

«Ранней весной 1776 года я окончательно уверился в том, что полковник Арнольд сошел с ума. Дни напролет он гонял наше потрепанное воинство взад и вперед под стенами Квебека. Время от времени он развлекал англичан, требуя капитуляции. Я наотрез отказался доставить одно из таких требований.

Когда я собрался уезжать, Арнольд решительно воспротивился. Я сказал, что он может меня удержать только силой. Этого он делать не стал.

В середине июня я прибыл в штаб генерала Вашингтона в доме Мортира в Ричмонд-хилле, милях в двух к северу от Нью-Йорка.

Я никогда еще не видел такого красивого дома.

На балкончике над парадной дверью сидела мадам Вашингтон с вязаньем на коленях. У нее была кроткая, но какая-то застывшая улыбка и спокойные манеры. Лицо заурядное — во всяком случае его нижняя часть, верхнюю она всегда прятала под широкими шляпками, как правило, старомодными. Она была самой богатой вдовой Виргинии, когда на ней женился бедный, но честолюбивый сквайр Вашингтон.

Входя в высокий главный зал, я и не думал — хотя нет, на мгновение *вообразил*,— что в один прекрасный день стану хозяином «Ричмонд-хилла».

Штабной капитан провел меня в боковую гостиную, где офицеры ожидали приема у генерала, который, как всегда по утрам, держал совет у себя в спальне наверху (я потом превратил ее в библиотеку, изгнав оттуда по возможности унылое привидение).

[1] Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает *(франц.)*.

Среди незнакомых мне офицеров в гостиной находился капитан Александр Гамильтон из нью-йоркской артиллерии. В общем-то мы так и не познакомились до конца июня. «Но я сразу узнал вас,— сказал он мне позже.— Мы все вас узнали. Как же я вам завидовал! — Когда хотел, Гамильтон умел быть необычайно любезным.— Передо мной был юный герой Квебека, с виду мальчик, а я — самый обычный офицер». В юности Гамильтон отличался необыкновенной привлекательностью: золотисто-рыжие волосы, яркие, хоть и водянистые голубые глаза, небольшое, но сильное тело. И такая уж горькая — или славная! — наша судьба, что самой природой нам было назначено соперничать. Правда, сначала мы друг другу понравились. Мы были как братья (да, Каин и Авель сразу приходят на память, с той только разницей, что каждый из нас был в равной степени и Каином и Авелем). Я раскусил Гамильтона с первой же встречи. Подозреваю, что и он меня раскусил и не мог примириться с мыслью, что из нас двоих только у меня был талант и возможность [1] получить вожделенное президентство. Он возненавидел меня за мой дар и мои преимущества. И все же мне иной раз любопытно, предвидел ли он мой провал, разглядел ли во мне — как я в нем — слабину. Праздные рассуждения. Мы были как братья, да, но так непохожи. Он был завистлив. Я — нет. Неудовлетворенное честолюбие не озлобило меня. Странно подумать, ведь не будь мы оба молодыми героями на заре новой нации, мы бы наверняка подружились. Но каждый сознавал, что наверху есть место только для одного. В итоге ни одному не суждено было занять верхнюю ступеньку. Я столкнул Гамильтона с горы, но и сам покатился вниз.

Когда я вошел, генерал Вашингтон стоял у письменного стола. В ответ на мое приветствие он обратил на меня строжайший взгляд. Он обожал торжественность.

«Майор Бэрр, мы рады принять вас в этом доме, пока вы не подыщете себе приличное жилье».

«Спасибо, генерал, почту за честь...»

«Все о вас прекрасно отзываются, майор Бэрр. За исключением полковника Арнольда».

«Мы лишь в одном разошлись с полковником Арнольдом. Мне казалось бессмысленным направлять оскорбительные послания английскому губернатору, не имея возможности нанести ему ущерб».

«Почему мы не взяли Квебек?»

«Мы потерпели поражение, генерал, потому что не последовали моему плану».

«Вашему плану, сэр?» — Унылые глазки в громадных глазницах смотрели на меня с удивлением.

Я подробно рассказал о своем замысле штурма мыса Даймонд при помощи лестниц. Это не произвело впечатления.

«Как вы, однако, уверены, майор, в своих военных талантах».

«Нет, сэр. Но ведь другая стратегия привела к катастрофе. Я надеялся лишь повторить прием короля Фридриха при осаде Дрездена». Молодой, самоуверенный, я пытался произвести впечатление на командующего не только своими военными способностями, но и обширными познаниями в современном военном искусстве.

Генерал Вашингтон, однако, книг не читал; он знал о Фридрихе не больше, чем я о выращивании табака — занятии, в котором он недавно провалился. Несмотря на богатство жены, Вашингтон испытывал финансовые затруднения в те дни, когда приступил к командованию армией. Фермерское дело ему не давалось: не помогла ни теория

[1] По конституции президентом может быть избран только уроженец США. Александр Гамильтон родился в Вест-Индии.

о том, что речная глина якобы лучшее удобрение, ни изобретение особого плуга, который оказался таким тяжелым, что двум лошадям было не под силу его тащить даже по влажной земле.

Хотя Вашингтону вечно не хватало денег, он жил на широкую ногу. Некоторое время спустя мы все удивились (но и позабавились), когда его мать заявила, что сын Джордж начисто ее ограбил, и, оставшись, мол, без средств к существованию, она вынуждена просить ассамблею Виргинии назначить ей пенсию. Я совершенно убежден в том, что Вашингтон тут не виноват.

Вашингтон позвонил в колокольчик. Вошел штабной полковник. «Пожалуйста, введите майора Бэрра в круг его обязанностей. Он остановится здесь, пока не подыщет себе пристанище в городе.— Генерал повернулся ко мне.— Мне потребуется подробный рапорт о том, что произошло под Квебеком».

Прием окончился, генерал подошел к длинному, заваленному бумагами столу и начал что-то читать — видимо, первое, что попалось на глаза. Со спины его геройская фигура была несколько обезображена горбом. Мы оба не знали, что, пока мы говорили, Монреаль был снова взят англичанами и, таким образом, наш канадский поход закончился провалом.

Несмотря на жажду ратных подвигов, я по десять часов в день просиживал за письменным столом, переписывая письма Вашингтона конгрессу. Грамматические и орфографические ошибки (следствие плохого образования) не мешали генералу искусно льстить конгрессменам. Все же в политике он кое-чему научился, недаром пятнадцать лет он был депутатом Виргинской ассамблеи. В конечном счете его, наверное, следует признать великолепным политическим деятелем, лишенным способности к военному делу. История, как водится, представила все наоборот.

Через десять дней Джон Хэнкок, наконец, назначил меня адъютантом генерала Израэла Путнема... да, через голову генерала Вашингтона я обратился к президенту конгресса. Я хотел воевать, и у меня не было выбора. Я действительно написал Хэнкоку, что предпочту уйти из армии, чем служить клерком у виргинского землемера.

О моих отношениях с Вашингтоном в те две недели в «Ричмондхилле» ходят легенды. Принято считать, что он был возмущен моим распутством. Думаю, он и правда возмутился бы, если б узнал, как вел себя я и многие офицеры в тех редких случаях, когда нам выпадала возможность побывать в Нью-Йорке. Но он ничего не знал. Верно одно: он был редкостный пуританин.

Двадцать девятого июня в гавань Нью-Йорка вошел английский флот. Набережная Бэттери подвергалась регулярным бомбардировкам, не причинявшим, однако, никакого вреда.

Третьего июля английская армия под командованием генерала Хоу высадилась на Статен-Айленде — этом оплоте тори. Наше положение внушало тревогу, но все верили в Вашингтона. Ему перестали верить, только когда он умудрился потерять и Лонг-Айленд, и Нью-Йорк.

Я уже говорил, что до 1776 года Вашингтону очень не хватало военного опыта.

Я считаю, что, если бы во главе армии поставили Гейтса или Ли, война кончилась бы по крайней мере тремя годами раньше. Оба были блистательными генералами. Оба одерживали настоящие победы над англичанами, что так и не суждено было Вашингтону. Но хотя Вашингтон не мог победить врага на поле боя, он с истинным талан-

том громил других генералов в конгрессе. В конце концов вершины достиг он один, к чему, собственно, он и стремился.

Вашингтон проявил совершенно неожиданно penchant[1] к шпионажу. Наша разведка почти всегда оказывалась лучше, чем у англичан. Увы, суждения Вашингтона иной раз шли вразрез с фактами. Например, как его ни убеждали, он отказывался верить, что англичане нападут на остров Нью-Йорк в том самом месте и в то самое время, когда и где это произошло.

Боюсь, что я недооценивал свой пост адъютанта Вашингтона. Мне не доставляло удовольствия переписывать письма в конгресс с требованием денег, которых вечно не хватало: американский солдат был таким же наемником, как и любой гессенец[2]. Плати ему наличными — или он не пойдет в бой. Мне также не доставляло удовольствия слушать разговоры других адъютантов, которые безбожно льстили Вашингтону, а он это явно приветствовал. Скорей я был склонен оспаривать его суждения, как ни предупреждали меня, что независимость ума совсем не то качество, которое он ценит в подчиненных. Мы были счастливы избавиться друг от друга.

Гораздо больше мне повезло со старым добрым Израэлом Путнемом, генералом, в штаб которого на углу Бэттери и Бродвея я прибыл в июле 1776 года. Бывший трактирщик был добродушен, как подобает представителю его профессии, и обладал живым, хотя и грубоватым умом. У него был один недостаток — он часто твердил одно и то же. Когда враг приближался, он неизменно поучал своих солдат не открывать огня, «пока не увидите белки их глаз!». Фраза эта стала знаменитой после сражения при Банкер-хилле, и с тех пор он часто ее повторял, развлекая всех, кроме тех офицеров, которые придерживались мнения, что огонь надо открывать задолго до того, как наши близорукие стрелки разглядят белки вражьих глаз.

Девятого июля я стоял рядом с генералом Путнемом в Баулинг-Грине. По предложению Континентального конгресса наш адъютант зачитал войскам документ, только что полученный из Филадельфии.

Должен признаться, что я не расслышал ни слова из Декларации независимости. В то время я едва знал имя автора этого величественного документа. Помню, кто-то заметил, что коль скоро мистер Джефферсон так рьяно стремится бросить наши жизни на алтарь независимости, он мог бы и сам присоединиться к армии. Но мудрый Том предпочитал тихие радости местной политики в безопасной Виргинии неудобствам и опасностям войны.

В доме генерала Путнема жила хорошенькая девочка лет тринадцати. Меня обвиняли в том, что я ее соблазнил. Маргарет Монкриф была дочерью английского майора и кузиной генерала Монтгомери (как в те дни все сплелось!).

Девочка мне совсем не нравилась. Я находил ее не по годам развитой и хитрой. Заметив, что она проводит многие часы на крыше с подзорной трубой, разглядывая английский лагерь, я сказал об этом генералу Путнему, но он пропустил мои слова мимо ушей. Потом она принялась рисовать цветы — она говорила, что посылает их в подарок своему отцу. Наблюдая ее однажды за этим занятием, я спросил:

«Вы верите в язык цветов?»

Маргарет очень покраснела и, заикаясь, сказала:

«Да. То есть нет. В общем-то нет».

---

[1] Пристрастие *(франц.)*.

[2] Несколько тысяч немецких наемников-гессенцев входили в состав английских войск, сражавшихся против армии Вашингтона.

Вдруг я ощутил тревогу, забыв про всякий флирт. Конечно, при помощи языка цветов можно передавать расположение войск. Она была шпионкой.

Не без труда убедил я генерала Путнема увезти девочку подальше от будущего поля битвы (подозреваю, что добрый генерал *знал* это дитя лучше нас всех).

Маргарет отправили в Кингсбридж. Потом ее передали англичанам. Последующая ее жизнь была романтична и беспорядочна. Теперь она живет в Лондоне. Мне говорили, что именно мне она приписывает честь похищения ее невинности. Боюсь, что она ошибается.

К концу августа 1776 года генерал Хоу сосредоточил на Статен-Айленде около 34 000 солдат. Он намеревался захватить Нью-Йорк, господствовать над Гудзоном и рассечь колонии на две части. Могу сказать, что он рьяно взялся за дело.

Сразу после появления англичан генерал Путнем направил меня на наши передовые позиции на Бруклинских и Гарлемских холмах. Я еще не видывал такой небоеспособной армии, а ведь ей предстояло сразиться со свежими европейскими войсками. Хотя я и был всего-навсего младшим офицером, я со всей серьезностью отнесся к своей задаче — как можно точнее оценить наше положение. Мой мрачный рапорт генералу Путнему был послан командующему.

Через два дня я сопровождал его превосходительство генерала Вашингтона. Мы шли по Бэттери. Роскошный нью-йоркский августовский день. Настроение было подавленное. Пот, смешавшись с мелом, которым генерал припудривал волосы, стекал по его щекам, пылавшим от жары и беспокойства. Вид английского флота, выполнявшего прямо у нас перед носом сложные маневры, блеск надраенных орудий, белые паруса на фоне свинцового неба не располагали к веселью.

«Как вы думаете, сэр, к чему приведет вражеская атака?»

Я был захвачен врасплох: Вашингтон редко задавал такие вопросы старшим офицерам, а младшим — и вовсе никогда.

«Я полагаю, сэр, что нас сомнут»,— ответил я с глупой прямотой.

«Никогда!» — Это «никогда» прогремело из хора обожателей, сопровождавших Вашингтона в течение всей Революции... нет, всю его долгую жизнь до самой могилы! Никого еще так не превозносили приближенные.

«Вы недооцениваете нас, майор».— Тон Вашингтона был необычно мягок. Кружевным носовым платком он вытер перепачканное мелом лицо.

«Вы сами меня спросили, сэр...»

«Да.— Вашингтон повернулся спиной к гавани и принялся разглядывать старый закопченный форт.— Мы будем защищать город».— Свои ошибки Вашингтон всегда отстаивал с такой решительностью, что возражение показалось бы посягательством на священную скрижаль, только что принесенную с Синая.

«Сэр, я бы завтра же сжег город до основания и отступил в Нью-Джерси».

«Благодарю, майор. Передайте мои лучшие пожелания генералу Путнему. До свидания, сэр».

Должен сказать в защиту Вашингтона, что в то время мало кто из нас знал о воздействии на него мощных тайных сил. Есть свидетельства, что он намеревался уничтожить город, но его остановили местные купцы (все до единого проанглийски настроенные) и конгресс в Филадельфии, который *запретил* ему обстреливать город И все же он — и никто другой — принял решение встретить противника в Брук-

лине и на Лонг-Айленде. Это была первая битва, данная Вашингтоном, но практически и последняя. Даже нынешние льстивые биографы признают его личную ответственность за происшедшую катастрофу.

Вашингтон приказал разделить на две части армию, которая и целиком-то была не способна сдержать одну английскую бригаду. Затем он счел должным ответить на целую серию ложных маневров англичан и гессенцев. В считанные часы он потерял управление армией и саму армию.

Отброшенный на главную оборонительную линию, на Бруклинские холмы, Вашингтон стал перед выбором: потерять всю армию на Лонг-Айленде или смириться с унизительным поражением, оставив холмы и отступив на остров Нью-Йорк. Он выбрал унижение.

Не по сезону холодным и туманным вечером 29 августа я стоял на арбузной бахче у причала бруклинского парома и наблюдал за эвакуацией. Всю ночь лодки сновали взад и вперед между Нью-Йорком и Бруклином. Темные силуэты возникали и исчезали в молоке тумана. Раздавались только приглушенные стоны раненых, слышался шепот приказов да позвякивание уздечки коня генерала Вашингтона, руководившего этим, им же спровоцированным débâcle [1].

Пятнадцатого сентября 1776 года английский флот появился в Кипс-Бэе в четырех милях к северу от Бэттери. Как обычно, нас застали врасплох. В 11 часов утра началась мощная бомбардировка. Затем англичане и гессенцы высадились на берег. Наше войско поспешно бежало, несмотря на присутствие Вашингтона, который кричал на солдат как сумасшедший, сломал трость о голову командира бригады и зарубил саблей сержанта. Ничто не помогло. Он плакал от ярости. Его увели под звуки английских горнов, издевательски трубивших охотничью песню: «Ату, ату, лиса удирает!»

Вашингтон отступил в глубь острова к дому Морриса на Гарлемских холмах (ныне дом полковника и миссис Аарон Бэрр), который служил ему штабом вторую половину сентября. Вероятно, то было самое прискорбное для него время, кое в чем даже хуже зимовки в Вэлли-Фордже.

Я сижу сейчас в его бывшем кабинете и думаю, как он более полувека назад сочинял здесь длинные, неграмотные и неискренние письма в конгресс, пытаясь объяснить, каким образом он такой дорогой ценой умудрился потерять Лонг-Айленд и город Нью-Йорк.

В ту пору я только один раз видел генерала Вашингтона в доме Морриса. Это было 22 сентября, когда я сопровождал генерала Путнема на совет старших офицеров. Нам было о чем поговорить. Накануне ночью почти треть Нью-Йорка была уничтожена пожаром.

«Кто-то оказал нам добрую услугу.— Вашингтон повернулся ко мне, и я в первый и единственный раз удостоился его холодной темнозубой улыбки.— Вряд ли, сэр, это могли сделать вы».

«Только по вашему приказу, ваше превосходительство».

Генерал Путнем и полковник Нокс понятия не имели, о чем идет речь.

Чарли, я пороюсь в своих сундуках и разыщу для тебя другие записки — если, конечно, тебе не слишком надоели эти старые истории.

Совсем недавно, вечером, когда я обхаживал мадам на этих самых ступеньках, я подумал о Вашингтоне. На мгновение я *увидел* его рядом с мадам, его мрачную улыбку, неизменную порошу пудры, сыпавшейся с волос на голубой с желтым мундир.

[1] Бегством *(франц.)*.

Да, духи живут среди нас! И что такое воспоминания, как не тени тех, кто обратился в прах?»

VIII

Что-то будет! Больше недели ни полковника, ни Нелсона Чейза не было в конторе. Мистер Крафт и я по мере сил справляемся с работой. В числе моих недавних обязанностей был вчерашний прием партнеров полковника по техасскому проекту. Как я и подозревал, в документах на аренду земли не все оказалось в порядке: никакие немцы не приедут. Полковник потерял все деньги. Партнеры вне себя от негодования. Я выпроваживаю их. «Полковника нет в городе». Что же мне еще говорить?

Сегодня поздним вечером под моими окнами остановилась громадная желтая карета, внушительная, как солнечная колесница. Кучер меня окликнул.

— Мадам ждет вас в гостинице «Сити».

Карета отъехала — без меня. Придется пройтись пешком.

У подножия подковообразной лестницы в главном зале стояли мадам и Нелсон Чейз. У обоих такой вид, будто они только что плакали. Гнев от печали сразу не отличишь.

Мадам ухватилась за мою руку так, будто вот-вот рухнет.

— *Он* продал мою вторую карету и моих серых лошадей!

— *Он* исчез.— Нелсон Чейз шмыгал носом. Как оказалось, не от гнева и не от слез, а из-за сенной лихорадки.

Мадам повела нас в обеденную залу, приказала подать чаю и быстро долила в свою чашку рома из серебряной фляжки, украшенной наполеоновскими пчелами.

— Это невероятно! Incroyable, Charlot [1].— Ром немножко ее успокоил.— В понедельник он сказал мне, что поедет в Олбани. На лодке. Я говорю: «Нет,— как дура,— возьмите мою вторую карету». Он уезжает, машет мне шляпой из окна! Ma foi! Я готова убить его. Неделю от него нет вестей...

Чай с ромом, попав не в то горло, вызвал приступ кашля, и уже Нелсон прожужжал мне конец этой истории. Мадам увидела свою карету сегодня утром в Баулинг-Грине. Она подумала, что полковник только что вернулся. Она спросила у кучера— какого-то незнакомого человека — и тот рассказал, что его хозяин, некто Дженнингс из Нью-берга, купил карету несколько дней назад у полковника Бэрра за пятьсот долларов.

— Она стоила тысячу! — Кашель сразу прекратился.

— Где он? — Чейз посмотрел на меня с таким видом, точно я обязан был это знать.

— Он сказал, что уезжает в Олбани.— Это была правда.— Но я ничего не знаю.— Тоже правда.

— Он не в Джерси-сити? — Чейз бросил на меня многозначительный взгляд.

— О, мы все знаем про Джерси-сити! Il y a une fille à Jersey-City [2].

— Ее зовут Джейн Макманус.— Нелсон Чейз сидел мрачный как туча.— Подумайте, в его-то годы!

— Его годы тут ни при чем! — Гнев мадам, никогда долго не задерживавшийся на одном объекте, с быстротой молнии перекинулся на Нелсона Чейза.

— Я только хотел сказать...

---

[1] Невероятно, Шарло *(франц.)*.

[2] В Джерси-сити у него есть девица *(франц.)*.

— Полковник прежде всего — мужчина! Он полон огня! Марс и Аполлон соединились в нем! Мне не нужен муж, которому не хватало бы puissance[1]! Пусть держит девочек в Джерси-сити, он совсем еще не стар...

Я не верил своим ушам. Полковнику семьдесят семь. Чудо, что он еще не обессилел, но то, что мадам закрывает на все глаза, просто не умещается у меня в голове.

— Дело не в девочках, Шарло. Но он ничего не смыслит в деньгах! Продать мою новую карету с лошадьми за полцены! Он меня разорит!

— Он уже потерял те деньги, что вы передали ему после продажи коннектикутских акций.— По каким-то своим соображениям Нелсон Чейз теперь разрушает брачный союз, которому сам способствовал.

— Он неисправим! Он успел промотать сотню состояний. Моего ему не видать! Так ему и скажите. Скажите, что, если он не вернет тысячу долларов, которые должен мне за карету и лошадей, я с ним разведусь.

Я заверил их, что как только увижу полковника, немедленно передам ему слова мадам. Затем проводил их до лестницы, ведущей к внутреннему подъезду для карет. Мадам пришла в доброе расположение духа, лицо ее пылало от рома.

— Скажите ему, Шарло, что я жду его с нетерпением.

— С тысячей долларов,— сказал Нелсон Чейз.

Я вернулся в главный зал. По пути я заглянул в просторную и комфортабельную обеденную комнату — оттуда всегда так аппетитно пахнет уксусом и жареным мясом. Иной раз полковник обедает там в углу. Сегодня его нет.

Сегодня днем я один в кабинете полковника. Я снова, как вор, попытался открыть сундук под письменным столом с суконной обивкой. Мне это удалось. Полковник не до конца повернул ключ, и защелка замка неплотно вошла на свое место.

В сундуке оказалось примерно то, что я и ожидал увидеть. Пачки писем. Вырезки из газет. Игрушки для внука, который умер вскоре после возвращения полковника из Европы в 1812 году. Я заметил, что он то внука, то себя часто называет «шалопутом».

Тщетно искал я упоминания о Ван Бюрене. Правда, нужно не меньше месяца, чтобы разобраться во всех бумагах и письмах, не говоря уже о многостраничном дневнике, который полковник вел в Европе для своей дочери Теодосии. Дневник этот так и не попал в ее руки. После смерти ребенка Теодосия отплыла в Нью-Йорк. Корабль пропал, и дневник покоится на дне сундука, скорее всего никем не читанный.

С поразительной откровенностью полковник пишет о своей бедности в Лондоне и Париже, о попытках добиться приема у Наполеона, занять денег, получить паспорт у американского консула, который его презирает и отказывает в том, что положено каждому гражданину.

ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

2 мая 1811 года, Париж.

Забыл рассказать тебе, что вчера ночью я снова бодрствовал, пока ночная стража не отбила два часа. Чай за обедом был слишком кре-

[1] Силы *(франц.)*.

пок, а я слишком слаб и не смог отказаться. Провалялся в постели, не выходил до трех. Позавтракал картофелем. Вареным.

Пошел в Тюильри полюбоваться на красивых женщин, увидел только одну — в экипаже. Une duchesse au moins [1]. То, что выше пояса, прелестно и столь же пышно, как у миссис Х. из Хартфорда, помнишь?

Потом отправился в Пале-Ройяль посмотреть на filles (так здесь называют публичных женщин).

Прекрасный день. В галереях Пале-Ройяля щебечут filles.

Широкий выбор, как на Бэттери в такой же весенний день. Но в отличие от Бэттери за небольшую плату вы получаете все что угодно и никаких разговоров о браке.

Меня очень привлекло смуглое создание, похожее на креолку. Bonjour, mademoiselle [2]. Я был сама галантность. Раскланялся. Она окинула меня величественным взглядом. Я практиковался во французском. Она — в арифметике. Спустя несколько минут мы были уже en route [3] в ее atelier [4], состоящую из единственной комнаты на четвертом этаже ветхого дома позади Пале-Ройяля и, судя по звукам, виду (и запахам!), часто посещаемую filles и их amis [5].

■

Что все-таки представляет собой полковник? И что представляла собой его дочь Теодосия? Когда я читаю его письма к ней и ее ответы, я вспоминаю переписку лорда Честерфилда с сыном, но когда я читаю дневник, когда вижу, как они друг с другом интимно беседовали, я просто теряюсь.

Интересно, что будет с дневником? Наверное, мистер Дэвис его уничтожит. И самое милое дело, раз он берется защищать полковника.

IX

Сегодня утром, когда я пришел в контору, полковник Бэрр уже сидел в кабинете.

— Очевидно, ты видел мадам. И знаешь все! — Он горестно развел руками.— Мы отдалились друг от друга. Но лишь временно. Следующие несколько дней я проведу у моего юного протеже в Бауэри. Многообещающий серебряных дел мастер, если такое уместно говорить о серебряных дел мастерах.

— Очевидно, это Аарон Колумб Бэрр. — Я порадовался собственной смелости. Впрочем, стиль полковника, видно, заразителен.

Я был награжден удивленным взглядом, какой я впервые увидел на этом старом мудром лице. Светлые брови взметнулись, едва не коснувшись оправы очков, которые, как всегда, сидели на лбу.

— Чарли, ты начинаешь меня интересовать. Ей-богу. Уж не следил ли ты за мной ненароком? Как Нелсон Чейз?

— Нет, сэр. Я просто угадал. Кто-то говорил, что у вас есть сын, серебряных дел мастер.

— Да уж какой тут секрет. Ведь его матушка окрестила сына моим именем, мудро добавив «Колумб» в надежде, что когда-нибудь он, подобно Колумбу, откроет не только своего отца, но и Новый Свет — что он и сделал в возрасте восемнадцати лет. А теперь он со-

---

[1] По меньшей мере, герцогиня *(франц.)*.
[2] Здравствуйте, мадемуазель *(франц.)*.
[3] На пути *(франц.)*.
[4] Студию *(франц.)*.
[5] Дружками *(франц.)*.

бирается перевезти в Нью-Йорк свою матушку.— Полковник вздохнул.— Когда я с ней познакомился, она служила у часовщика на улице Ройяль. И прекрасно разбиралась в механизмах. Могла починить все, что угодно — от часов до компаса. У меня нет ни малейшего желания ее видеть. Я попытаюсь уговорить Колумба, чтоб он не ввозил сюда maman.

Бэрр срезал кончик сигары.

— Я сказал ему, что его дом слишком мал уже и для него с женой — очаровательное создание из Статсбурга — и двумя прелестными детишками, не говоря обо мне, старом шалопуте, который навещает их время от времени.— Он зажег сигару и весь засветился нежностью: детей, я думаю, он любит даже больше, чем женщин.

— Ты еще увидишь Колумба. Он красивый парень и говорит по-английски с ужасным акцентом. Я уделял бедному мальчику недостаточно внимания.— Сигарный дым кривым ореолом окутал голову полковника. Он переменил тему.— Наш друг Нелсон Чейз устроил на меня настоящую охоту в Джерси-сити. Вот почему я перебрался в Бауэри.

— Он работает на мадам.

Он кивнул.

— Как тебе известно, я часто навещаю милую девушку по имени Джейн Макманус. Ее общество мне приятно — как и общество ее бабушки лет пятьдесят назад. Она тоже была из Джерси-сити — очевидно, это место мистически притягивает меня. Ну, так вот, нас, мисс Джейн и меня, застала врасплох ее служанка, пучеглазое создание, подкупленное Нелсоном Чейзом. Она сама в этом призналась, когда я ее вздул. Мадам платила ей, чтобы она поймала нас во грехе и могла дать свидетельские показания, если мадам когда-нибудь придет в голову расторгнуть священные узы, которые нас с ней связывают. Девчонка нас таки уличила. Мисс Джейн рыдает. А мадам постыдным способом добилась своего.

— Я полагаю, сэр, что мадам не против ваших... ваших...

— Привязанностей?— Молодые глаза блеснули иронией. Конечно, люди правы: Аарон Бэрр действительно заключил сделку с дьяволом. Все легенды про него — чистая правда.

— Она огорчается из-за денег, которые вы потеряли на аренде техасских земель.

Полковник нахмурился. В чем бы ни состояла его сделка с дьяволом, вести денежные дела тот его не научил. Мэттью Дэвис рассказал мне однажды, что сразу после Революции полковник стал богатейшим нью-йоркским адвокатом и все до последнего пенни потерял на спекуляциях и промотал, ведя самый экстравагантный образ жизни.

— Конечно, я не должен был продавать *наш* экипаж без ее согласия. Я поступил неучтиво. Но предложение было такое заманчивое. А деньги так нужны. К тому же кучер Джейк, честный малый, сказал, что серые лошади не так уж и хороши. Ну, да ладно, дело сделано.

Внезапно налетевший ветер трижды простучал в пыльное стекло виноградной лозой и пурпурными листьями — так заколачивают крышку гроба. Почему я подумал об этом? Бэрр вечен. Но вечен он или нет, Бэрр невольно вздрогнул от этого звука.

— Мы должны соблюдать осторожность, Чарли.

— Да, сэр. Знают они, где вы остановились?

— Пока нет. Пускай немножко помучаются. Меня теперь занимает новая идея...— Полковник замолчал. Вечно он скрытничает, боится выболтать прежде времени свои планы. Отсюда все его несчастья. Никто не может его предостеречь.

X

Ровно в шесть часов я постучал в дверь дома номер три по Бриджстрит. Я нервничал даже еще сильнее, чем когда узнал, что Леггет договорился о встрече.

Дверь открыла очень полная женщина. Не спросив моего имени, она просто сказала:

— Он в большой гостиной.— И исчезла в задней части дома, откуда слышался женский смех. Гулкий шум доносился сверху, как будто там носились дети. Великий человек явно жил не в одиночестве в своей нью-йоркской резиденции, хоть он и холостяк.

У камина, под картиной, изображавшей мавританский замок (Альгамбра, что ли?), стоял Вашингтон Ирвинг. В книгах, которые я читал в школе, его изображали мечтательным, стройным юношей. Увы, он уже не юноша. Теперь это солидный, пожилой человек, с кривой, но приятной улыбкой на губах. Глаза настороженные, выжидающие — он изучает вас всего, дюйм за дюймом, как художник, перед тем как сделать набросок. Он кажется застенчивым. Голос его сначала был так тих, что я почти ничего не расслышал.

— Весьма польщен... мистер Леггет... скоро уезжаю в Вашингтон... не привык... пожалуйста, садитесь... вам не жарко?

Мы уселись перед камином в кресла, почти касаясь друг друга коленями. По комнате гулял сквозняк. Он еще раз внимательно меня оглядел.

— Скайлер? Какой Скайлер?

— Не тот.— Я сказал, что мой отец держал трактир в Гринич-Вилледже и никак не был связан со славными Скайлерами.

— Я неравнодушен к голландцам. В начале этого месяца я был в Киндерхуке у...— Последовала восхитительная пауза. Всем известно, что он навещал вице-президента Ван Бюрена.— У старого друга голландской крови. И тщетно мы искали места, памятные нам по нашей юности. Голландцы теперь такие же, как все. Теряется колорит.— Ирвингу свойствен, видимо, меланхолический тон, каждая фраза к концу замирает.

— Таверна Ван Бюренов еще сохранилась в Киндерхуке? — вставил я чересчур поспешно.

— Да, да. Вам она знакома? — Вежливый интерес, ничего больше.

— Я столько слышал о ней от полковника Бэрра. Я служу в его юридической конторе.

— Аарон Бэрр.— Ирвинг произнес это имя мягко, с чувством. Но я не мог понять, с каким именно. Нет, явно не враждебно. С удивлением, пожалуй. Или сожалением? — Да, мистер Леггет рассказал, что вы интересуетесь карьерой полковника Бэрра. Мой брат, когда-то очень давно, издавал газету бэрристского толка.— Глаза Ирвинга закрылись.— Она называлась «Морнинг кроникл». Мой брат Питер тогда был — как и теперь — по уши погружен в политику. Он убежденный бэррит. Полковник Бэрр был вице-президентом, когда я начал печатать мои мелочи в этой газете.

Я сказал ему, что еще в школе читал заметки Джонатана Старомодного[1]. Видимо, уже тогда люди с упоением вспоминали «добрые старые денечки» Нью-Йорка. Насколько я восхищаюсь произведениями Ирвинга, настолько же не разделяю его умиления голландскими причудами. Ни голландцы, ни шуточки по поводу голландцев не приводят меня в восторг.

---

[1] Вашинггон Ирвинг впервые начал печататься под этим псевдонимом, публикуя заметки о нью-йоркских нравах.

— Любопытно, что в одной из последних *мелочей*, которые я напечатал в этой газете, я критиковал дуэли. Это было ровно за два года до... — Ирвинг развел руками. Он избегал моего взгляда и рассматривал мавританский замок над камином.

Сверху донесся отчаянный крик. Ирвинг испуганно вздрогнул, вздохнул.

— Дети,— сказал он и на мгновение утратил учтивость манер. Он явно непривычен к семейной жизни. Все-таки последние двадцать лет в Испании и Англии он прожил холостяком. Теперь он скорее англичанин — и из самых вежливых,— нежели американец.

— Вы, очевидно, встречались с полковником Бэрром в «Ричмонд-хилле»?

Ирвинг улыбнулся:

— О, да. Но я не принадлежал к «труппе». Так называли себя почитатели полковника. Они были преданы ему всем сердцем. Еще бы. Полковник Бэрр был нью-йоркским меценатом. Он любил артистов. Помогал им. Если хороший артист просил у него денег, он никогда не отказывал. И Теодосия тоже...

— Миссис Бэрр?

— Нет, к тому времени она уже умерла. Я имею в виду его дочь. Самая поразительная женщина, какую мне довелось встречать.— Ирвинг заговорил с неподдельной нежностью, его круглые глаза затуманились.— Красавица. Небольшого роста, смуглая, с греческим профилем. Говорила на многих языках. Знала науки. Читала Вольтера. Переписывалась с Иеремией Бентамом. И при этом была такая женственная, любящая...

По всем рассказам Теодосия и в самом деле была верхом совершенства, но Ирвинг, мне кажется, по каким-то тайным причинам, известным ему одному, преувеличенно восхищается давно умершей красавицей в торжественных, отработанных фразах, а тем временем единственная слеза медленно катится по щеке в крепость высокого накрахмаленного воротника, чтобы исчезнуть во мраке под подбородком... Но я уже впал в его стиль.

— Мистер Ван Бюрен часто приезжал в «Ричмонд-хилл»?

Но вот извлечен шелковый платок, он стер влажный след, оставленный слезой на гладкой пухлой щеке (я не могу забыть, что передо мной человек, написавший любимые рассказы моего детства).

— По-моему, нет.— Ирвинг насторожился.— Об их дружбе говорят много лишнего.

— Но разве полковник Бэрр не останавливался у Ван Бюрена в Олбани, вернувшись из Европы?..

— Мистер Ван Бюрен был некогда его другом. И, разумеется, навсегда сохранил дружеское расположение... Но между ними не существовало никаких *политических* связей.— Это прозвучало резковато. Многие прочат Ирвинга в государственные секретари в кабинете Ван Бюрена. Кроме того, он искушенный дипломат, был некоторое время в Лондоне нашим поверенным в делах. Он служил там еще в прошлом году, когда Ван Бюрен прибыл в Лондон посланником президента Джексона, но сенат тут же оскорбительно отклонил это назначение, подстрекаемый злобным вице-президентом Кэлхуном. Проницательный Ирвинг проявил, однако, большое внимание к дискредитированному дипломату, добился для него приема у короля и в большинстве лондонских салонов.

Ирвинг будто бы сказал тогда Ван Бюрену, что с отклонения сенатом его кандидатуры начнется его взлет. «Потому что,— сказал будто бы Ирвинг,— и в политике можно перегнуть палку. Теперь вы станете вице-президентом при Джексоне, а Кэлхуну конец».

Далекий от земных страстей Ирвинг оказался и добрым другом, и политическим пророком. Стоит ли удивляться, что эта парочка совершает теперь путешествия по Гудзону и созерцает голландские руины. Как будто сам Рип Ван Винкль восстал из мертвых и явился под ручку с будущим президентом.

— Вряд ли я чем-то буду вам полезен, мистер Скайлер.— Передо мной был уже настороженный дипломат. — Не скрою, мне было бы крайне интересно прочитать исследование о карьере полковника Бэрра. Но не кажется ли вам, что такое исследование, пожалуй, несколько преждевременно? Многие еще живы...

— Например, мистер Ван Бюрен.

— Но ведь говорят и другое: что президент Джексон был даже куда теснее связан с полковником Бэром.— В мелодичном голосе Ирвинга зазвучали резкие нотки. — А также и сенатор Клей...

Но тут в дверь вломился блондин мощного телосложения.

— Мистер Ирвинг? О, извините. Вы не один. — Юноша в нерешительности остановился на пороге. Я поднялся.

— Это Джон Скелл, мистер Скайлер.— У юноши было убийственное рукопожатие.— Я познакомился с Джоном на корабле, по пути из Лондона. Он живет здесь, хочет прочувствовать нашу новую страну.

— Еще раз извините.— У молодого человека был сильный немецкий акцент. Он сдержанно поклонился и оставил нас одних. Ирвинг продолжал:

— Я хотел сказать, что когда я увидел сенатора Клея вчера вечером в Парковом театре...

— Вчера вечером? Полковник Бэрр тоже там был.

— Знаю.— Ирвинг улыбнулся.— Он рассказал вам, что произошло?

Я покачал головой.

— Генри Клей пришел около девяти. Почти все встали. И аплодировали. Аплодировали бурно.— Тонкая кривая усмешка.— Я еле усидел на месте во время этой демонстрации вигов. Затем, в антракте, гуляя по фойе, я вдруг увидел, как полковник Бэрр, случайно по-видимому, столкнулся с Клеем нос к носу. Один тощий, с безумными глазами, ужасным рыбьим ртом, другой — как исчадие ада. Дьявол протянул руку, и мистер Клей *отшатнулся* — чуть не упал в обморок. Доброжелатели подхватили его и увели. Вряд ли хотя бы десять человек из тех, что стояли вокруг, узнали полковника Бэрра, а если кто и узнал, то едва ли вспомнил, что много лет назад Клей, честолюбивый молодой адвокат из Кентукки, успешно защищал Аарона Бэрра в суде против обвинения в измене и этим чуть не погубил свою политическую карьеру в самом зародыше. О, многим видным деятелям сегодня лучше не вспоминать вашего Аарона Бэрра!

— В том числе и президенту?

— Я полагаю— да и вы, наверное, тоже,— что их отношения в свое время исчерпывающе объяснил генерал Джексон. — Более чем сдержанный ответ.

Шум из кухни в нижнем этаже напомнил нам, что наступает время ужина. Я встал.

— Вы никогда не встречаетесь с полковником Бэрром?

Ирвинг тяжело поднялся. Мы стукнулись коленями.

— Я *видел* его вчера вечером. Но мы не разговариваем. Да и зачем? Конечно, он был очень обаятелен когда-то. Но я полагаю в общем и целом, что он оказывает самому себе, да и всем нам, плохую услугу... — Снова уклончивая кривая улыбка, голос вдруг — и притом ненатурально — теплеет: — Тем, знаете ли, что он *живет* так нестерпимо долго—так *неестественно* долго,—постоянно напоминая нам о том, что следует забыть.

— А по-моему, это прекрасно, что он еще среди нас. И может рассказать, как все было на самом деле.

— На самом деле? Возможно. Но не лучше ли нам написать свою, *приемлемую* версию нашей истории, а грустные и менее поучительные детали забросить на чердак, где им и место?

Ирвинг проводил меня до парадной двери — перед ней стояла детская лошадка. Вместе мы убрали ее с дороги.

— Засвидетельствуйте мое почтение мистеру Леггету. Если увидите его, скажите, что я встречусь с ним в среду в гостинице «Вашингтон» для нашего еженедельного tête-a-tête. Вы, конечно, тоже придете?— Его рука вдруг отяжелела на моем плече, как окоченевшая рука покойника.— Мне жаль, что я не смог быть вам полезен.— Рука его упала и повисла вдоль тела.— У меня есть заметки, которые я делал, когда Бэрра судили в Ричмонде за измену. Если хотите, я приготовлю вам копию.

XI

Сегодня утром мы с Крафтом работали над резюме очередного судебного дела. Полковник Бэрр предавался размышлениям у себя в кабинете. Кредиторы приходили и уходили — явно удрученные тем обстоятельством, что полковник снова без гроша: все в городе еще думают, что он хозяин джумеловского состояния. Как всегда — в том, что касается Бэрра,— слухи прямо противоположны действительности.

В полдень пришел Мэттью Л. Дэвис. Седой, худощавый, в очках и с загадочной улыбкой; типичный политический манипулятор и редактор газеты — он всегда издавал какую-нибудь воинствующую газету. Дэвис зашел в прокуренную берлогу и прикрыл за собой дверь. Через час полковник Бэрр пригласил меня зайти.

Два старых заговорщика сидели над раскрытым сундуком.

— Чарли, передай Дэвису мои записки о Революции.

— Вы сняли с них копию? — У мистера Дэвиса самоуверенный тон человека из Таммани-холла.

— Да, сэр.— Я повернулся к полковнику Бэрру: — Надеюсь, вы не возражаете?

— Нет. Ничуть. Смотри, Мэтт! У тебя появился соперник! А какая прекрасная цель! У вас обоих. Восстановление доброго имени человека, которого порочили и Джефферсон, и Гамильтон. Немалая честь, если вдуматься. Во всем они расходились, кроме одного: что я истинный враг их планов. Если верно, что клевета разит вернее меча, то я, выходит дело, давным-давно коварно убит. Но, может, вы, славные ребята, докажете, что, несмотря на все мои злодейства, я был по крайней мере хороший солдат.

— А вот Гамильтон был плохой солдат...

Но полковник оборвал Дэвиса:

— Нет, Мэтт. Генерал Гамильтон всегда был храбр — во всяком случае, при свидетелях.

Разговор перешел на темы Таммани-холла, которые меня нисколько не интересуют.

Дэвис весьма доволен, что иммигранты чуть ли не ежедневно прибывают большими партиями из Европы. Он надеется их завербовать и с их помощью победить на выборах.

У Бэрра иммигранты энтузиазма не вызывают:

— Они победят на выборах, но тебе от этого мало проку.

Дэвис не понял.

Бэрр объяснил свою мысль:

— Я не хочу уподобляться Гамильтону, который бледнел при одной мысли о жестокой римской церкви, или Джефферсону, который смертельно боялся иезуитов, но уверяю тебя, Мэтт, что когда этих католиков станет вдвое больше, чем коренного населения...

— Как их станет вдвое больше, если мы сделаем из них хороших американцев?

Смех Бэрра звучал как басы органа.

— Хороший американец не может быть одновременно римским католиком. Это противоречие. И когда их будет двое на одного нашего, они начнут делить собственность. Вот посмотришь. А как же иначе? Ведь для истинной демократии нужен демос — то есть они, а не мы.— Бэрр повернулся ко мне.— Вот Чарли еще доживет до выборных судей [1].

Вошел секретарь Крафта с письмом для Бэрра.

— Анонимное, полковник. Автор молится о том, чтобы вы горели в аду, сэр. Мистер Крафт считает, что оно вас позабавит.

— Еще бы. — Полковник швырнул письмо в горящий камин.

После ухода Дэвиса полковник Бэрр отправил меня с поручением в архив. Мы условились встретиться в гостинице «Сити».

Полковник радостно приветствовал меня на углу Уолл-стрита и Бродвея. Он взял меня под руку. Мы перешли на другую сторону Бродвея, чтобы обойти толпу у входа в гостиницу «Сити».

— Клей, наверное, здесь остановился.

— Нет, он в гостинице «Американ».

Полковник искоса посмотрел на меня.

— Ты слышал о нашей вчерашней встрече?

— Мне уже рассказали.

— Только два человека на свете меня боятся. Один — нынешний президент, другой — тот, что метит на его место.

— И оба были с вами, когда...— Мне еще предстоит подобрать эвфемизм для обозначения деятельности Бэрра на Западе. Джефферсон называл ее изменой. Верховный судья Маршалл и присяжные обвиняли его в правонарушении.

— Генри Клей — забавный человек...— Полковник вдруг споткнулся, на его смуглом лице выступили капельки пота.— Что-то у меня с ногой.— На лице у него застыл ужас.— Совсем онемела.— Он пошатнулся. — Не могу идти. — Он стал падать. Я его удержал. Прислонил к стене.

— Я возьму экипаж.

Бэрр кивнул, глаза его закрылись, и он прислонился, точнее, прижался к стене.

На Рид-стрит Крафт помог мне дотащить его наверх в маленькую комнату с кушеткой, где полковник иногда отдыхает. Послали за доктором. Очутившись на кушетке, Бэрр глубоко вздохнул и потерял сознание.

(Продолжение следует)

[1] По конституции США судьи назначаются президентом и утверждаются конгрессом.

ДАМДИНЦООГИЙН СОДНОМДОРЖ

■

Перевод с монгольского и вступление Г. ЯРОСЛАВЦЕВА

Прежде чем стать писателем, Д. Содномдорж овладел по меньшей мере десятком профессий, изъездил множество дорог, встретил на жизненных перекрестках тысячи людей. Он умеет выхаживать и растить скот — старший сын в семье скотовода, он работал в аратском хозяйстве с двенадцати лет; знает дело путейца-железнодорожника — учился в специальном техникуме; не чужд кулинарному искусству — работал поваром; постоял за прилавком книжного магазина в качестве продавца; не теряется за рулем автомобиля — был таксистом, водил автобус, машину «скорой помощи». Рассказывая, когда просят, о себе, Д. Содномдорж упоминает и о постоянной своей работе в пятидесятые годы в Доме культуры, где был актером, певцом, музыкантом, сочинял музыку.

Шли годы. По мере накопления жизненного опыта Д. Содномдорж все чаще ощущал потребность осмыслить свои наблюдения. Литературные опыты его обрели форму стихов и песен для детей. Первым руководителем начинающего писателя был замечательный монгольский поэт Д. Сэнгэ.

Удачное начало побудило Д. Содномдоржа обратиться к жанру поэмы для детей — выходят в свет «Биография Норова», «Дугар из... класса», «Совет часов», «Вина Балдана». В поэме «Сережа и Сэрдж» раскрывается чувство интернациональной солидарности монгольских и советских ребят. Поэмы «Хозяин красного галстука», «Оборвыш Дамба и его друзья», «Герои, вставшие на заре» повествуют о героических подвигах старших поколений. В 1968 году литературная деятельность Д. Содномдоржа была отмечена премией ревсомола МНР.

Он пишет прозу и пьесы: сборник рассказов «Сквозь пургу», либретто оперы «Искатель счастья», музыкальную драму «Твердое желание», киносценарии «Неразлучные друзья», «Сапог», «Красный вымпел».

В 1971—1973 годах Д. Содномдорж учился на Высших литературных курсах в Москве, с большим интересом занимался в поэтическом семинаре советского поэта А. Межирова. В то время и я познакомился с Д. Содномдоржем. Мне случалось заставать его то в мучительных поисках наиболее выразительной строчки или слова, то у фортепиано за сочинением оперного либретто. Проигрывалась одна мелодия за другой, возникали и отметались бесчисленные поэтические строки. К концу дня начерно был завершен небольшой фрагмент сцены... Слух и голос, отпущенные природой поэту, вкус к народной песне позволили ему сделать свой вклад и в это сложное искусство.

Все строже, все требовательнее относился поэт к литературному труду, к поэтическому слову. Появилось у него новое серьезное увлечение — стал собирать и изучать народное творчество. Его произведения семидесятых годов приковывают к себе внимание искренностью, душевной теплотой, знанием жизни, о чем мне уже доводилось писать в специальных статьях о творчестве поэта и монгольской поэзии его поколения. Таковы его стихотворения «Дружба», «Песнь о Сибири», «Трижды», «За строкою строка...» и другие, опубликованные в советской печати. Новыми книгами стихов и прозы отметит Содномдорж в будущем году свое пятидесятилетие.

Размышления у глобуса

Хоромы у меня невелики,
А шар земной вместили, как ни странно:
Здесь уместились все материки,
Четыре необъятных океана.

Верчу рукою глобус на столе,
Разглядываю страны и границы;
У толстяка на голубом челе
Палитра многоцветная искрится.

Что ни оттенок цвета, то народ;
Что ни страна, то новая окраска.
С материка на материк ползет
И по морям плывет моя указка.

Мне шар напоминает силача,
Вращающегося с огромным грузом:
Америка — та свесилась с плеча,
Поддерживает Азию он пузом.

Он Арктику на спину взгромоздил,
Из белых льдов на лоб надвинул шапку,
Стопы на Антарктиде укрепил,
Руками всю Европу взял в охапку.

Всю Африку — на правое бедро,
Австралию — на левое колено;
Все зло земли и все ее добро
Вращает неустанно, неизменно.

Смотрю на глобус, думая о том,
Что означают краски, пятна эти;
О жизни, о борьбе добра со злом,
О радости и грусти на планете.

Здесь люди в вечном холоде живут,
А там палит их зной неимоверный.
Свободные и равные — вот тут,
Там рабство, там — живется людям скверно;

Там — голод, там — жестокая борьба,
Там — беззащитны жертвы вероломства.
Увы, у всех нас разная судьба.
Но все мы Человечеством зовемся.

Когда-то пролетариям всех стран
Был брошен смелый лозунг:
единенье!
За горы он проник,
за океан,
Синоним света,
бури
и сраженья...

Радость жизни

Что в Гоби однажды увидеть пришлось,
На долгие годы со мною срослось.

Верблюжонка отвергла верблюдица-мать.
Шею вытянул он и, задумчив и тих,
Смотрит вдаль, на границу земли и небес,
Неподвижен на слабеньких ножках своих.

Верблюжонок горячее вымя искал,
Но верблюдица-мать прогнала сосунка:
Материнское чувство еще не пришло —
Не дает новорожденному молока.

Плоть от плоти ее, почему-то чужим
Показалось ей крошечное существо;
На привале, от тяжкого груза устав,
Покормить, облизать не желает его.

Что в Гоби однажды увидеть пришлось,
На долгие годы со мною срослось.

Жена, у верблюдицы роды приняв,
На войлок уселась — недолог привал.
А муж ее молча достал морин-хур,
Упругие струны настраивать стал.

Но вот «Славословием солнцу» в степи
И звучной игрой прервалась тишина,
И голосом сильным, душевным, грудным
Прекрасную песню запела жена.

Задумчиво, грустно звучит морин-хур
У смуглого мужа под сильной рукой,
Красавица женщина вторит ему —
Какая мелодия, голос какой!

Что в Гоби однажды услышать пришлось,
На долгие годы со мною срослось.

Верблюжонок-сиротка все так же стоит
И все так же глядит в безответную даль,
Где нельзя небеса от земли отличить,
И в глазах верблюжонка унынье, печаль.

Но верблюдица, грустный услыша напев,
Подошла к верблюжонку, дитя пожалев.
А малыш отыскал у нее молоко,
Влагу жизни впервые всосал, захмелев.

Вот и жажда его наконец улеглась,
И внезапно из черных младенческих глаз
Благодарные слезы — одна за другой —
Покатились, по скулам и шее струясь.

Что в Гоби однажды увидеть пришлось,
На долгие годы со мною срослось.

Едва пробудилась в верблюдице мать
И стала она верблюжонка ласкать,
У всех нас — у матери, и у отца,
И у меня — защемило сердца.

Я, помню, тогда еще маленьким был,
Я рос с верблюжонком, с ним вместе грустил,
И радость познали мы тоже одну —
Весну возмужания, жизни весну.

Великое счастье — родиться на свет,
Полнее, бесспорнее радости нет;
Она завладела и тем сосунком,
Придя с материнским грудным молоком.

Что в Гоби когда-то увидеть пришлось,
На долгие годы с душой срослось!..

■ ■ ■

Сгорбился старичок,
Согнулся,
как ржавый крючок.
Старушка — ему под стать:
Где стройность,
где девичья стать?

Жизнь требует жертв — и больших!
Не горе ли сгорбило их?
Нет, прямо держались они,
Не горбились в горькие дни.

Но беды одна за другой
Согнули им спины дугой,
Не гнуться на старости лет
Под тяжестью — сил уже нет.

Глаза

Распознавал я людей —
И не раз —
По выраженью невольному глаз.
Встречу случайно я
Чей-нибудь взгляд,
И — обо многом глаза говорят!..
Вы мне, к примеру сказать,
Симпатичны,
Стали нам частые встречи
Привычны.

Самое время бы мне
Вот сейчас
Вдруг заглянуть
В глубину ваших глаз.
Но не сойдутся зрачки со зрачками:
Вечно за темными скрыты очками
Ваши глаза,
И неведомо мне,
Что затаилось там, в их глубине.

■ ■ ■

Если худо мне,
Не стану лгать,
И беду за счастье выдавать;
Если счастлив —
Тоже не солгу:
«Не желал бы бед моих врагу...»
Нет, хочу я
Быть самим собой,
Правду предпочту я
Лжи любой.
Впрочем,
Честно должен я признаться,
Что привык не сетовать —
Смеяться.
Часто там,
Где хочется реветь,
Песни я предпочитаю петь.

■

КРИСТИАН БАРНАРД И ЗИГФРИД СТЭНДЕР

Нежелательные элементы

РОМАН

Перевод с английского А. КЛЫШКО

Осень

Глава шестая

День выдался вроде бы спокойный: по расписанию одна-единственная операция. Деон и Билл дю Туа все-таки повозились с несложным в общем-то случаем удаления желчного пузыря. Деон проследил, как больного отправили в палату, после чего все утро было фактически свободно, и он решил как следует, по-человечески, пораньше пообедать. Может, еще удастся — была и такая мечта — потом соснуть. Придя обедать, он только было попросил супу, как его вызвали.

Две пациентки поступили в женское отделение. Ничего особенно срочного, так что он продолжал есть. Правда, с надеждой на то, что удастся вздремнуть, пришлось распрощаться. Но он тут же решил, что до вечера еще можно выкроить время, если поспешить и побыстрее провернуть осмотр.

Первой оказалась женщина средних лет с приятным лицом и встревоженными глазами. Сиделка суетилась у ее кровати, очень профессионально все делала, тщательно, точно на экзамене, но все же, пожалуй, излишне суетилась.

Деон ждал, пока она закончит, а тем временем просматривал историю болезни. Миссис Мейлан. Впервые обратилась к врачу пятнадцать месяцев назад. Так Операция по радикальному удалению молочной железы. Рак молочной железы. При последнем осмотре обнаружено твердое подключичное утолщение, прощупывается отчетливо, поступила для биопсии. Внизу страницы небрежно нацарапано: «Рецидив рака груди?» Этот же вопрос застыл в глазах женщины. Возможно, в поликлинике ее и успокаивали, что, мол, это обычное профилактическое обследование, тем не менее вопрос в глазах остался.

Деон улыбнулся ей: «Здравствуйте, миссис Мейлан»— и собирался сказать какую-нибудь дежурную банальность насчет того, что вот,

[1] Продолжение. Начало в № 6.

мол, и снова встретились, как она вдруг отвернула лицо и беззвучно разрыдалась.

Он стоял рядом, поглаживая ее по плечу и раздраженно озираясь. Наконец появилась сестра, и он распорядился успокоить больную.

Он решил не терять времени и осмотреть пока вторую женщину.

Он решительно повернулся к следующей койке. Слава богу, всего-навсего варикозное расширение вен. Слишком часто рожает. Запоры. Излишне толста. Излишне глупа, надо думать.

Выписав все бесчисленные направления — на рентген, анализ крови, биохимическую и предоперационную профилактику, он пошел в кабинет дежурного врача. Он устал и был подавлен. Самое лучшее было бы хоть ненадолго выбраться из больницы. У Хеймиша сегодня вечеринка. Деон, собственно, не собирался туда, хотя вечер у него был законно свободный,— хотел просто выспаться. А может, и стоило бы пойти: ему нужна разрядка, а у Хеймиша Дентона всегда можно найти то, что нужно.

В кабинете дежурного врача был только Филипп Дэвидс — он сидел за столом и писал письмо.

— Привет. Целую вечность тебя не видел,— бросил Деон, переходя на «ты». Он налил себе кофе и принялся листать вечернюю газету, пробегая взглядом заголовки.

— Привет, Деон. Да они здесь все время находят, чем нам заняться, так что не очень-то навидаешься.

— Да. Ничего не поделаешь. Четыре месяца протрубили — осталось еще восемь. А ты не надумал махнуть за границу? Никак не решишься?

— Нет еще, то есть не совсем. Скорей всего поеду.

— Надо быть дураком, чтобы отказаться.

Деон, держа в руке чашку, подошел к доске с расписанием дежурств и стал его изучать. Выругался. Филипп вопросительно посмотрел на него.

— Нет, ты только посмотри: опять поставили на «скорую»! Я же дежурил прошлую неделю и полагал, что имею право хоть на один свободный вечер.

— Джерри заболел, и его некем заменить.

Деон снова пробежал глазами расписание дежурств.

— Да, вижу. И все-таки.— В голосе его звучало нечто большее, чем просто неудовольствие и раздражение.— Могли бы хоть предупредить.

— А ты запланировал что-нибудь важное?

— Ну, как сказать. На вечеринку собирался, за город.

Филипп на мгновение задумался.

— Слушай, так ты и поезжай. Я все равно дежурю, а сегодня все складывается на редкость спокойно. Я помогу в скорой помощи, а если что — позвоню тебе.

— Это ты чертовски здорово придумал. Тут одна только загвоздка: я не знаю, есть ли у этого малого телефон. Впрочем, посмотрю сейчас в телефонной книге.

Деон нашел телефонную книгу и принялся лихорадочно ее листать. Дентон, Хеймиш, Р.-Марина, 10. Адрес Хеймиша в Клифтоне. Но, по счастью, тут же значился и телефон его загородного дома.

— Есть! У него есть телефон. Я тебе запишу номер, ладно?

— Конечно. На всякий случай.

— О'кей, Филипп. И большое тебе спасибо.

— Не за что. Желаю хорошо повеселиться.

И Филипп снова уткнулся в свое письмо, давая понять, что разговор окончен.

Вечеринка, когда Деон добрался до Хаут-бей, была в самом разгаре. Еще подъезжая к коттеджу, построенному в солидном старом стиле, он услышал звуки обычной в таких случаях музыки — на всю округу гремели ударные.

Он остановил автомобиль среди чахлых кустов живой изгороди, пристроившись последним в ряду «триумфов» и «моррис-герейджей». Здесь явно собралась вся золотая молодежь. Он даже заколебался на мгновение и, прежде чем идти, постоял в тени редких деревьев, раздумывая, не вернуться ли ему в свою больницу, оставив им, праздным, эту лунную ночь.

Какого черта! Нечего было тогда тащиться в такую даль. Он расправил плечи и двинулся по неровной, в выбоинах, дорожке к дому.

На полу веранды застыли в объятиях две пары. И Деон осторожно переступил через них. В темном коридоре он наткнулся еще на одну пару. Здесь он просто не смог пройти, и они молча, хоть и неохотно, посторонились.

Гостиная была слишком маленькая, и Хеймиш расширил ее самым простым способом — сломал перегородку со смежной комнатой: ему не нужны были две спальни! Потом, когда народу на его приемах стало прибавляться, он снес и другую стену, так что дом превратился как бы в скорлупу: все три двери из коридора вели в одну комнату. В конце коридора осталась кухня, которую он не тронул — там все равно повернуться было негде, да ванная в пристройке. Спал Хеймиш, когда приходилось спать, на веранде — там он ставил раскладушку.

Сейчас он танцевал в полумраке с маленькой брюнеткой, с виду почти подростком, изо всех сил старавшейся удержаться на ногах, голова ее доверчиво покоилась у него на груди. Он дружески помахал Деону рукой, показал в угол и что-то прокричал, а что именно — за общим шумом было не разобрать.

Деон с минуту постоял в дверях, все еще не решаясь включиться в этот почти осязаемый шум, точно пловец, застывший на трамплине и набирающийся решимости, чтобы прыгнуть в холодную воду. Был лишь один способ выработать в себе иммунитет и выключить сознание, чтобы не слышать шума. Он стал проталкиваться, работая локтями, в угол, где стояли бутылки.

Это был один из «винных» приемов Хеймиша — ни пива, ни чего-либо более крепкого. Деон, сохранивший студенческую привычку к пиву, разочарованно скривил губы. В конце концов он налил себе вина — целый высокий стакан для коктейля из бутылки с отклеившейся этикеткой — и стоял, потягивая его мелкими глотками и разглядывая публику.

Девушек много, и то хорошо. Единственное преимущество всех этих сборищ. Мужчины, похоже,— из младших служащих или начинающие адвокаты в крупных юридических конторах, а куколки на любой вкус, и все прелестны. Самому Деону нравились больше «художественные» приемы у Хеймиша, когда были артисты, художники. Правда, девушки там, как правило, попадались с причудами.

После оглушительной, но мелодичной музыки теперь уже и вовсе до боли в ушах загремел рок-н-ролл. Элвис Пресли, усиленный до пределов, которые может выдержать слух, вопил, орал, ревел для них, и они извивались и покачивались в такт его выкрикам, так что под ногами дрожал, готовый рухнуть от этого неистовства, пол.

Деон засмотрелся на девушку с длинными темно-каштановыми, нет, почти медными волосами, выделывавшую какие-то дикие спирали, руки у него заныли от неистового желания обнять ее и дрог-

нули так, что он даже пролил вино. Нет, это не она. Конечно, не она, да и откуда ей тут взяться.

Последний раз он встретил одну из подруг Триш по школе изящных искусств где-то в начале года. Случайная встреча у магазина на Аддерли-стрит. Остановились перекинуться двумя-тремя словами.

«Да, как там Триш? — спросил он возможно более небрежным тоном, когда они уже вежливо прощались.— Давно ее не видели?»

Девушка испытующе посмотрела на него.

«О, вы ничего не знаете? Она же в Европе. Где-то в Испании».

«Правда? Очень интересно. И что же она там делает?»

Пожала плечами и снисходительно улыбнулась.

«Рисует, так я полагаю. Надеюсь, не умирает с голоду».

И вот теперь он смотрел на пляшущую девушку с волосами того же цвета темного бушующего пламени — и его пронзила боль при одной мысли о том, что́ он потерял. За эти долгие месяцы Триш обрела в его сознании совсем другой облик — в чем-то осталась живой, в чем-то выдуманной.

Нашла она себе кого-нибудь в Испании?

Он допил вино несколькими большими глотками — в конце его даже передернуло от отвращения. И все-таки решительно наполнил себе еще бокал и снова принялся наблюдать за окружающими.

Высокая блондинка, танцевавшая с одним из юных, подающих надежды чиновников, вдруг оттолкнула своего партнера, повернулась к нему спиной и принялась танцевать одна. Она заметила Деона, смотревшего на нее, и, остановившись, оглядела с ног до головы со всей надменностью юности.

— Алло,— проговорила она,— чего это вы уставились?

— Просто смотрю.

— Откуда вы, странник? Я вас здесь не встречала.

— Я тоже.

Девушка пропустила его дерзость.

— Вы выглядите потерянным новичком, странник. Или вам скучно?

— Нет. Не скучно. Просто я здорово отстал от всех вас.— Он поднял бокал и принужденно засмеялся.— Нагоняю.

— Вам никого не нужно в помощь?

— Нужно,— отвечал он девушке очень серьезно.— Мне нужна помощь.

У нее были неестественно большие зрачки. От этого взгляд казался остановившимся, застывшим.

Наркотики?— подумал Деон. Многие из этих, как они себя называют, «прожигателей жизни» действительно ее прожигали. Но эта девушка еще совсем юная. Лет восемнадцать, девятнадцать.

— Как вас зовут?— спросила она. Она была ни капельки не пьяна. И ни следа акцента, присущего наследникам старой кейптаунской аристократии.

— Деон. А вас?

— Меня?— словно удивлялась, как он может не знать.— Я — Лиз. Идемте танцевать.

Ее партнер, стоявший рядом и хмуро смотревший на Деона, хотел было вмешаться, но она просто оттолкнула его.

— Уйди, Тони. Уйди и исчезни.

Преисполненный гордости мужчины, одержавшего победу, даже не вступая в битву, Деон поставил бокал и пошел танцевать со своим вновь обретенным завоеванием.

Ритм был стремительный, а он был плохим танцором.

Она же танцевала с абсолютной непринужденностью, извивалась

точно змея, и движения губ откровенно и вызывающе имитировали экстаз, наступающий в момент наслаждения. Теперь Деон улыбался уже натянуто. Он не привык к такого рода девицам.

Внезапно она замерла и выпрямилась.

— А вы не мастер танцевать, а?

— Не мастер,— согласился он.— Не было случая выучиться.

Она пожала плечами, показывая, что не это главное.

— Неважно. Пойдемте на воздух. Мне надоело.

Инстинкт охотника мгновенно пробудился в Деоне, и он повел ее сквозь толпу. По пути кто-нибудь то и дело окликал девушку: «Лиз! Лиз!» — но она даже не поворачивала головы.

Они вышли в коридор. Той парочки, на которую Деон наткнулся раньше, уже не было. Деон пошел первым и взял девушку за руку — рука у нее была горячая, как в лихорадке. Он обнял ее за талию, но она быстро высвободилась. И голос у нее вдруг прозвучал жестко и строго:

— Я сказала, на воздух.

Он покорно пошел за ней на веранду. Он поцеловал ее, ожидая, что она воспротивится. Но она ответила с жадной страстью, даже вздохнула от удовольствия. Он весь пылал от охватившего его желания.

Послышались чьи-то шаги, и они замерли, тихие, как ночь. Человек в темноте споткнулся и негромко выругался. Деон узнал по голосу недавнего партнера девушки. Тоби, Тони, что-то в этом духе. Он стоял, боясь шевельнуться, весь напрягшись, не выпуская девушку из объятий.

Человек остановился в лунном свете, разглядывая их.

— Лиз?— спросил он неуверенно.

Затем, видимо, чтобы разглядеть их как следует, сделал еще шаг и мрачно проговорил, обращаясь к Деону:

— Вы доктор ван дер Риет?

— Да,— настороженно отвечал Деон.

— Ну, так вас просят к телефону.

— Меня просят?.. Откуда вы меня знаете?

— Хеймиш сказал...

— Спасибо,— сказал Деон. И повернулся к девушке:— Наверное, из больницы. Извините. Я на минуту.

Девушка молчала. Он не видел ее лица — оно было в тени.

Деон бегом вернулся в дом, поискал глазами Хеймиша Дентона. В комнате его не было. И признаков телефона тоже не было.

Какой-то юноша с бутылкой в руке остановился рядом, запрокинул голову и стал пить прямо из горлышка.

— Прошу извинить,— сказал Деон.— Где здесь телефон?

Тот опустил бутылку, перевел дух и показал рукой в сторону танцующих, куда-то к источнику адского грохота.

— Телефон!— рявкнул ему в ухо Деон.— Где... здесь... телефон?

Юноша пожал плечами и снова приложился к бутылке.

Деон растерянно озирался в полумраке: где он может быть, этот проклятый телефон?

В конце концов он нашел его в самом подходящем месте — в туалете-пристройке с односкатной крышей. Телефонная трубка лежала на бачке — ждала его, должно быть, минут пять, не меньше. Он невольно рассмеялся при мысли о том, чего только за это время не наслушались на другом конце провода.

Даже здесь шум стоял невыносимый. Деон поднес трубку к уху, а другое заткнул пальцем.

— Алло,— громко произнес он в трубку.— Ван дер Риет слушает.

Там после секундного колебания переспросили:

— Деон?— Голос Филиппа звучал спокойно и чуть насмешливо.— Похоже, вечеринка что надо?

— Угу.

— Извини, что вынужден вытащить тебя, но у нас тут небольшая паника. Тебе придется приехать.

Будь они там все трижды прокляты.

— О'кей. Постараюсь как можно быстрей.

— Хорошо. Извини, Деон. Пока.

— Пока,— машинально произнес Деон. Он еще подержал трубку возле уха, затем в сердцах бросил на рычаг.

У двери уже ждали две девушки. Они с любопытством уставились на него. Мысль о том, что́ они могли вообразить, слыша, как он разговаривает в темном туалете, почти вернула ему хорошее настроение. Он пошел на веранду, туда, где оставил Лиз. Ее не было. Тоби-Тони тоже. Собственно, этого следовало ожидать.

Но когда он зашел в дом — надо было найти Хеймиша, извиниться и попрощаться,— то увидел, что Лиз танцует. Не с Тони, правда. Однако этот другой был еще почище, просто омерзительный тип с пушистыми усиками бандита из «Люфтваффе» и взглядом хорька.

Деон попытался пробиться к ней, но его оттеснили. Подождал, пока она окажется поближе, и крикнул ей, что должен уехать.

Она одарила его сверкающей улыбкой и покачала головой.

— Вызывают!— крикнул он.— Я должен ехать!

Она помахала ему рукой, все так же улыбаясь, и закружилась с этим типом, работающим под воздушного аса.

А Деон помчался в город.

В дверях отделения «скорой помощи» он столкнулся с сестрой. Она выглядела вконец измученной, но, увидев его, просияла.

— Добрый вечер, доктор.— И быстро добавила, не дожидаясь, пока он ответит на приветствие:— Не могли бы вы помочь нам с капельницами?

Он кивнул и зашагал по коридору, где толпилось черт-те сколько народу. Цветные и африканцы. Женщины и дети. Младенцев в пеленках нанесли. А эти чего вырядились, как на воскресную службу? Здесь были и больные, и такие, кто просто не мог оставаться один дома. Ждали. Ни о чем не просили, ничего не требовали.

Это просто было частью их жизни.

Деон остановился в дверях палаты. Дети, в том числе и грудные, лежали на длинных деревянных столах. С общей перекладины от бутылей-капельниц свешивались тонкие пластиковые трубки, подобно десяткам извивающихся змей. Няни расхаживали, умудряясь както поддерживать порядок среди этого содома.

Несколько пышнотелых африканок сидели кружком на полу в дальнем углу комнаты и ели из одной тарелки, словно встретились здесь по самому что ни есть подходящему поводу, пусть в чуть непривычной обстановке — что с того?

Стоило уезжать с вечеринки в Хаут-бей, чтобы попасть на эту. Сборище что там, что здесь — одинаковое. И здесь сплошные бутылки, скрюченные в конвульсиях тела — только не влюбленных. А шум такой, что и без усилителя оглохнешь.

Сестре, видимо, показалось, что молчание Деона продиктовано неодобрением.

— Хорошо, что хоть так справляемся,— оправдываясь, заметила она. — У меня четыре няни на все про все. Мы вынуждены пускать матерей — без них вообще бы не справились.

Деон все это знал. Это и вправду был единственный способ справиться с наплывом желудочных больных в детском отделении, особенно в летние месяцы. Поражало его другое — покорность, с какой люди сидели здесь, часто по нескольку дней. Сидели в огромной общей палате, наполненной надрывным криком младенцев,— она была этим женщинам и спальней, и кухней, и столовой. Никаких условий для матерей создано не было. Здесь у них все общее, все делят поровну — и страх от витающей смерти, и скорбь, когда она кого-то касается своим крылом.

Отсутствие внимания к ним объяснялось частично тем, что здесь пациентами были дети, а не взрослые. Но их терпение, их покорность были безграничны.

Деон просто не мог этого понять. Он покачал головой и повернулся к сестре — той, что с льняными волосами.

— Что здесь, черт подери, происходит?

Она устало вздохнула.

— Сорок новых больных приняли с утра, доктор.

Он тоже вздохнул. Это уже не на час и даже не на два.

— Ну что ж, начнем.

Он пошел за перегородку мыть руки.

Сестра открыла дверь и громко, чтобы слышали все, объявила:

— Доктор начинает прием, мамаши.— Она ткнула пальцем в перепуганную молодую женщину, которая сидела в начале очереди.— Вы первая, мама. Нуте-ка. Поторапливайтесь. Давайте вашего ребенка.

Сестра привычным движением рук распеленала младенца, отстегнула булавки, скалывавшие ветошь,— пеленки были в зелени.

Деон бросил взгляд на карточку: «Фамилия, имя: Маньяса Бэби; возраст: семь месяцев. Вес: семь фунтов, восемь унций. Вес при рождении: прочерк. Температура: 40,5°С. Питание: материнское молоко и маисовая каша. Жалобы: понос и периодическая рвота в течение последних двух недель. Кишечные выделения: на анализе».

Он перевел взгляд на то, что лежало перед ним на столе: крошечный младенец, высохший, как старичок. Полузакрытые веки скрывали ввалившиеся глаза, они закатились — проглядывали лишь белки. Темя не пульсирует, кожа на крохотной головенке провисла. Пульс неровный, учащенный. Губы и рот пересохли. Череп, обтянутый коричневой кожей, похож на голову мумии.

Живот у младенца был неестественно вздут, а тоненькие, как тростник, ручки и ножки не переставая били по воздуху. Он походил на беспомощного жука, которого мальчишки-озорники перевернули на спинку, и теперь он, выбиваясь из сил, пытается ухватиться за спасительную соломинку.

Какой-нибудь час, ну два, а может быть и всего-то несколько минут, и жизнь угаснет в нем.

Деон вдруг осознал, как срочно требуется его помощь,— ему словно плеснули в лицо ледяной водой. Часы Бэби Маньяса были сочтены.

— Сестра, капельницу. Давайте введем ему немного жидкости.

Гастроэнтерит. В просторечии здесь это называется абрикосовая болезнь. В большинстве случаев причина заболевания оставалась невыясненной. Если ребенок нормально упитан, болезнь, как правило, проходит через несколько часов. У детей же из бедных семей, с плохим питанием, картина болезни другая. Непрекращающиеся рвота и понос, организм ребенка обезвоживается, теряет соли, наступает прогрессирующее оцепенение и снижается циркуляция крови. Гастроэнтерит занимал одно из первых мест по смертности среди цветных и черных.

— Пусть женщина подержит ему голову.

Что-то около десяти процентов обезвоживания. Значит, нужно ввести сто миллилитров на каждый килограмм веса. Пятидесятипроцентного физиологического раствора и полупроцентного — глюкозы. Вес? Три килограмма. Значит, для возмещения потерянной жидкости надо ввести триста миллилитров.

Деон сел так, чтобы головке ребенка было удобно под рукой. Вена была тонюсенькая, не толще нитки. Проколол кожу. Африканка отвернулась, хотя лицо по-прежнему ничего не выражало. Деон ввел иглу в вену под хорошим углом,— нет, надо еще чуть наклонить. В тубу пошла через иглу темная венозная кровь.

Он улыбнулся, довольный одержанной победой.

— В яблочко! Сестра, а теперь давайте...

Но у нее уже давно была готова капельница, и она его ждала, а не он ее. Деон присоединил капельницу.

— Вот так. Пускайте жидкость.

Оба смотрели в одну точку — на резервуар. Пошло.

Деон закрепил иглу на вене пластырем, проверил, хорошо ли держится, и поднялся.

— На пятьдесят поставьте для начала. Я потом взгляну еще раз и скажу, какой выбрать режим.

Мать продолжала поддерживать головку ребенка.

— Что же вы раньше не пришли, чего ждали?— спросил он ее.

Он и сам не знал, зачем спрашивает. Что она может ответить? Тысячу причин назовет. Обращалась к частному доктору, но у нее нет таких денег; не было денег на дорогу; она не знала, что ребенок так серьезно болен; никто не сказал, куда обратиться. И так далее.

Впрочем, она ничего и не думала отвечать. Стояла и мурлыкала что-то однотонное, не разжимая губ, едва слышную колыбельную.

Деон повернулся к сестре, но та уже распеленала следующего ребенка.

— Эта женщина ела сегодня? Есть у нее еда?— спросил он.— Подумайте, нельзя ли что-нибудь найти для нее. Может, чашку чая, ну, хлеба там. Пожалуйста. А?

— Прошу прощения, доктор, но больница не обеспечивает питанием матерей. Прошу прощения.

— Может, мне тогда и ей вводить глюкозу?— сказал он, против воли раздражаясь.

Сестра покачала головой.

— Я понимаю, доктор. Но таков порядок, прошу прощения.

Ночь продолжалась, и измерялась она не секундами или минутами, а мучительными стонами, рвотой исходящих кровавым поносом и умирающих младенцев.

И работающего среди всего этого Деона упорно точила мысль, что настоящее не здесь, а где-то еще. Настоящий враг — не гастроэнтерит. Настоящий — тот изощреннее и безжалостнее, это система, при которой людей держат в оковах лишь за цвет кожи.

Ночь пришла и не уходила.

А потом вдруг выяснилось, что уже третий час.

Они все принимали и принимали, а очереди, казалось, не будет конца; они заставляли себя не спешить, но работали емко и в ритме, как игроки в хорошей команде, поддерживая друг друга. Потом, когда дошли до последних, приехало еще несколько пациентов, но эти — уже с последними автобусами, и стало ясно, что поток приостановился.

Деон даже подумал с вспыхнувшей вдруг надеждой, что еще не поздно вернуться на эту вечеринку к Хеймишу. Неразумно, конечно:

ведь утром надо быть на обходе. Но ему просто необходимо вдохнуть запах вина, ну, хотя бы в качестве противоядия этому отвратительному зловонию человеческих экскрементов.

Она еще там, интересно?

Глава седьмая

Он вернулся, когда веселье уже затихло: было почти шесть часов утра. Автомобилей поубавилось.

Деон, собственно, хотел и не хотел возвращаться и все-таки приехал. Конечно, не ради вечеринки самой по себе. В серых предрассветных сумерках все это казалось вообще бессмысленным. Так или иначе, он не собирался здесь задерживаться: через несколько часов ему предстояло заступать на дежурство, но хотелось снова увидеть ту девушку. Она как будто многое обещала, но он не был в этом уверен, и эта неопределенность казалась такой привлекательной в сравнении с пресной определенностью жизни врача при больнице.

За то время, что он отсутствовал, здесь прибавилось лежачих тел и совсем не стало танцующих, хотя музыка продолжала греметь. Рассвет безжалостно высвечивал жалкие, расслабленные сном, опухшие лица. Он почувствовал отчаянное разочарование и одновременно необычное облегчение, убедившись, что его блондинки нет среди них.

Хеймиш Дентон сидел на кухне в обществе двух-трех завзятых выпивох. Они приветствовали Деона ревом восторга. Он молча отвел руку, протянувшую ему бокал.

— Где вас черт носил? Держу пари, прижали какую-нибудь, а?

— Кто эта высокая блондинка, которую зовут Лиз?— только и спросил Деон.

— Лиз?— оторопело переспросил Хеймиш.— Блондинка?

— Да, — холодно, теряя терпение, подтвердил Деон.

— Лиз? Может, это Лиз Ричардсон? Нет, ее не было. Да она и не блондинка.— Хеймиша качнуло, он чуть не упал, но вовремя успел за что-то ухватиться. Придав лицу драматическое выражение, он размышлял.— Сейчас скажу, кто это. Лиз Меткаф, вот кто. Роскошная девка.— Он повернулся к мужчине, составлявшему пирамиду из пустых бутылок и стаканов.— Питер, ты видел Лиз Меткаф?

Питер кивнул, боясь отвести глаза от своего сооружения, и Хеймиш, повернувшись к Деону, хитро подмигнул.

— Совершенно точно. Лиз Меткаф. Где она? Горячая девчонка. Черт-те что...

— Она еще здесь?

Бутылка наверху пирамиды качнулась, но Питер ловко подхватил ее, спасая остальное сооружение.

— Уехала,— равнодушно бросил он.— Подхватила кого-то и смылась.

Это задело Деона. Непонятно почему, а задело.

— А где ее можно найти? Чем она занимается?

— Занимается? Лиз Меткаф?— Хеймиш расхохотался.— Ничем не занимается. Разъезжает по вечеринкам.

— Где я могу ее найти?

Хеймишу явно надоели эти расспросы.

— Разъезжает по вечеринкам, и все. Как сегодня. В компании пьяных бездельников, и все. Там и ищи.

В телефонном справочнике оказалось с полдюжины Меткафов. Последним значился Меткаф П. Дж. И адрес был подходящий: Констанция.

Трубку сняли почти сразу, и чопорный мужской голос сообщил:

— Резиденция Меткафов.

«Ого»,— подумал Деон.

— Это мистер Меткаф?

Короткая пауза, затем голос с укоризной переспросил:

— Вы хотите говорить с мистером Меткафом?

— Нет, нет,— робко поправился Деон.— Я, собственно, разыскиваю не его, а Элизабет Меткаф. Девушку по имени Элизабет Меткаф, — пояснил он, как будто и так не было ясно.

Снова пауза.

— Мисс Элизабет? Вы хотите говорить с ней?

Мисс Элизабет, силы небесные! Что там за чучело? Дворецкий?

— Не откажите в любезности.

Он приготовился начать в шутливом тоне: «Это таинственная Лиз?»— однако ледяной тон на другом конце провода привел его в такое замешательство, что он просто спросил:

— Элизабет?

Она не узнала его.

— Да. Кто это?

— Деон.

— Кто?

Ему не оставалось ничего другого, как повторить:

— Деон. Видите ли, я... мы познакомились вчера на вечеринке у Хеймиша Дентона.

— О, ну конечно.— Она усмехнулась, и это сразу приободрило его.— Вы рано сбежали. Испугались?

— Это вызов?

— Ну, м-м...

— Послушайте, мне хотелось бы вас увидеть. Если, конечно, вы не против.

— Мне кажется, это может быть любопытно.

Она явно оживилась, в голосе уже не было прежней интонации. У него перехватило дыхание.

— Завтра вечером?

— Завтра — нет, я не сумею. В пятницу?

— О черт! Конец недели я дежурю. А когда вы будете свободны на той неделе?

— А вы можете сказать, что будет на той неделе? Позвоните, договоримся.

Ничего не поделаешь: пришлось смириться с отказом. Прошло целых две недели, прежде чем он сумел условиться о встрече с ней. На этот раз он тщательно продумал систему обольщения: ужин в новом модном ресторане с достаточным количеством вина; часок-другой они посидят в ночном клубе; а затем — квартира Хеймиша в Клифтоне. Надо надеяться, Хеймиш не забудет своего обещания и оставит ключ в почтовом ящике.

Но ничего из этой затеи не вышло. Началось с того, что она опоздала больше чем на полчаса. Примчалась с ревом к подъезду клиники на своем «триумфе» (ярко-красном, конечно), когда Деон был уже на грани отчаяния. Услышав название ресторана, она скорчила гримасу.

— Была. Пещера. Полно толстых рож.

Он так огорчился, что ей стало жаль его. И она распахнула дверцу своего спортивного автомобиля.

— Не смотрите так печально. Прыгайте и поехали прокатимся.

Они помчались к морю — маленькая машина стремительно летела вперед так, что дух захватывало, прокладывая себе путь по забитым транспортом улицам.

Он смотрел на решительный, с прямыми чертами профиль Лиз, на ее растрепавшиеся по плечам волосы, которые то и дело меняли цвет, когда машина врывалась в полумрак с ярко освещенной магистрали, а потом снова попадала в полосу ярких огней.

— Интересно, вы много платите за нарушение правил?— спросил он, решившись наконец заговорить.

Она рассмеялась, прибавив скорость, обогнала тяжелый автобус и помчалась по осевой линии.

— Дорожная полиция у меня в кармане. Я снова вас пугаю?

— Не очень. Просто у меня ведь жена и дюжина малюток...

Она снова рассмеялась, но при этом бросила на него искоса быстрый взгляд.

— А вы правда не женаты?

— Я? Слава богу, нет.

— Я так — поинтересовалась.

Он сидел и размышлял о том, какие можно извлечь выводы из ее слов, и не заметил, как они миновали Бантри-бей. Огни от фар «триумфа» скакали по голому утесу сбоку и по черным скалам, отвесно спускавшимся вниз. Они промчались мимо дома, где Хеймиш снимал квартиру, и Деон с сожалением проводил его взглядом, но затем решил, что было бы невежливо вот так сразу взять и предложить остановиться.

— Куда мы едем?— Ему пришлось повторить, почти прокричать, чтобы она расслышала за ревом встречного ветра.

Девушка пожала плечами.

— Приедем, увидим.

Он решил смириться с судьбой. Жаль, конечно: у Хеймиша — отличная квартира. И что в ресторан не поехали — тоже жаль. Он давно не мог позволить себе поесть как следует и сегодня нарочно не обедал, чтобы воздать должное ужину. До чего же глупо все получилось. Нестись неизвестно куда, на конец света с очаровательной блондинкой и думать о том, что хочется есть. Ну и ну!

— Сегодня я не сбегу, — весело заметил он. — Я даже не запасной.

Нахмурившись, явно озадаченная, она переспросила:

— Запасной — где?

— Вы же знаете. В клинике.

— А-а.

Ее это, похоже, ничуть не интересует, с досадой отметил Деон. Еще бы. Дежурство. Что она знает обо всем этом, о жизни вообще? Воображает, что деньги делают ее неуязвимой? (Дело в том, что по справкам, которые ему удалось навести, она была из очень богатой семьи.) А он еще мечтал, как станет рассказывать ей о своей работе, о жизнях и смертях, с которыми он сталкивается каждый день. Конечно, это будет уж слишком явная самореклама — все его намерения сразу выплывут наружу, как сейчас, когда он положил руку на спинку ее сиденья.

Они промчались через Клифтон, Кампо-бей, Бэковен и теперь катили по пустынной прибрежной дороге. Куда, к черту, ее все-таки несет? Но он больше не спрашивал. Он довольствовался тем, что чувствовал рукой ее гибкое тело под шелковистой тканью блузки.

Огни фар выхватили из темноты узкую кромку гравия на обочине, серые валуны и стволы деревьев. Она вдруг резко вывернула

руль, подкатила под деревья, затормозила у самого обрыва и выключила зажигание.

Теперь она сидела и смотрела на него.

— Ну, понравилась езда?

Он засмеялся.

— Самый тихий аэроплан, на котором мне довелось летать.

Подчеркнуто выразительным жестом она выключила фары. Сначала он ничего не мог разглядеть в сплошной темноте, но минуту спустя глаза привыкли и стали различать знакомые очертания предметов и растворившееся в темноте ночи пространство. Он видел голову девушки и ее плечи, темным силуэтом вырисовывавшиеся на фоне ночного неба. Он наклонился и привлек ее к себе. Она не противилась.

Через какое-то время он выпрямился, тяжело дыша.

— Знаешь, я люблю тебя,— произнес он неожиданно для себя.

Она решительно отодвинулась от него.

— И еще: ты никогда не встречал такой девушки, и ты поражен моим колоссальным умом, и это — единственное, что тебе во мне нравится. Слушай, давай кончай с этой чепухой. Хочешь переспать со мной, так и говори. И нечего распространяться насчет всей этой чуши вроде «я люблю тебя» и так далее.

Деон смутился, однако (в глубине души он ведь и сам понимал, что она права) и не пытался спорить. Да, конечно, это была просто фраза (и теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что не очень удачная), но в ней заключалась доля правды, и он огорчился, что Лиз не поверила ему. Что-то ведь толкнуло же его вернуться к Хеймишу. Что-то не давало ему покоя эти две недели. И ему досадно было, что она всего этого не почувствовала.

Она сидела холодная и невозмутимая.

— Пошли пройдемся,— предложила она.

Теперь глаза его совсем свыклись с темнотой, и он увидел, что они остановились на краю покатого склона, поросшего травой. Дальше островками возвышались деревья, за ними виднелся серпообразный изгиб берега, дальние края которого исчезали, растворяясь в ночи.

— Пошли.

Он выбрался из машины и открыл ей дверцу. Почти инстинктивно они повернули к откосу и побрели по траве к плавному изгибу берега вдали. Кончился склон, покрытый травой, и они почувствовали, как под ногами земля уходит вниз. Здесь берег опускался крутым обрывом. Деон заботливо поддерживал девушку, помогая ей спускаться, словно маленький камешек под ногами мог нанести ей непоправимый вред.

Они вышли к воде; океан плескался у их ног, и песок был твердый после отлива, а мелкая тихая волна набегала и уходила, набегала и снова уходила.

Девушка сняла туфли и подождала, пока он тоже разуется. Они побрели по отмели. Вода еле касалась ее стройных ног с узкой ступней и трепетала у тонких лодыжек, и она, совсем как ребенок, взвизгивала, когда накатывала холодная волна.

Похоже, она снова пришла в хорошее настроение, а может, подумал он с досадой, ей вообще нет до него дела и настроение у нее вовсе не портилось.

Так они шли, пока над берегом не нависли скалы, образуя густую тень, и Деон, поколебавшись, взял Лиз за руку, а она посмотрела на него с той же холодной насмешкой во взгляде.

А, какого черта, в самом деле, сказал он себе и, притянув, поце-

ловал. Она ответила неожиданно пылко и, когда он обнял ее, сама нашла его губы. Он мягким движением опустил ее на песок, готовый остановиться при первом же ее жесте, при малейшем сопротивлении. Она не сопротивлялась, и они снова нашли губы друг друга; поцелуй этот длился вечность, тело ее жаждало его, он это понял.

Элизабет и любовь предпочитала откровенную, без смущения, без суетни. Это было частью жизни, тем, что доступно и приносит наслаждение, так к этому и следует относиться. Она без стеснения потом напоминала ему об этом.

Она охотно, с удовольствием рассказывала о себе, о своем отношении к жизни, любви, ко всему на свете. Но все это была пустая болтовня. Она решительно ни к чему не относилась серьезно. Она все делала, по ее словам, «назло» кому-то — кому неизвестно, всему миру. И Деон понимал: такая уж она есть.

Он часто сравнивал ее с Триш. Триш тоже бывала необузданной и своенравной, но даже в минуты интимности где-то глубоко в ее душе таилась печаль, не покидало чувство одиночества.

«Единственное, чего я не выношу,— сказала как-то Элизабет, когда они лежали на его кровати в докторском бунгало,— это толстых рож.— Она презрительно скривила губы.— Да-с, толстых рож».

В ее устах это звучало как ругательство, и она клеймила этим словом все, что считала фальшивым или напыщенным — особенно свою семью и тех, кто вел такой же образ жизни, как она, данный им от рождения. Меткафы, рассказывала она,— это не просто промышленные магнаты, это нетитулованное дворянство, хранители культурных традиций, великодушные эсквайры, четырехединые в одном лице. Они держали псовую охоту, владели имениями, виноградниками, художественными галереями, ходили на премьеры. Она живет с ними и на их деньги, потому что слишком ленива и бесталанна (она говорила это про себя без тени жеманства и отмахивалась, когда он попытался ей возразить), но такое существование ей обрыдло.

Она ушла из школы в шестнадцать лет, потому что ученье ей до чертиков надоело, и упросила отца позволить ей поехать в Лондон, чтобы поступить в балетное училище, но и там она чуть не скисла от скуки и стала манекенщицей — ее фотографировали для разных журналов («Тебя снимали голой?» — подскочил Деон, но она лишь посмотрела на него своими чуть раскосыми глазами и сказала, как отрезала: «Если они были милы и мило просили, отчего же?»), однако родные прослышали об этом и одного из ее строгих дядюшек отрядили разыскать и вернуть заблудшее дитя, чтобы спасти от окончательного падения. Теперь у нее годовое содержание, автомобиль и разрешение от отца жить, как ей хочется, но в одном с ним доме, хотя она и ее вторая по счету мачеха терпеть друг друга не могут. Если по-честному, она просто ждет, пока ей исполнится двадцать один год, потому что тогда она сможет воспользоваться положенными на ее счет деньгами и вольна будет уехать куда душе угодно. Нет, не в Лондон и не на континент, это старо. На Дальний Восток, например. А пока она будет таскаться по вечеринкам — на большее ее не хватает, да она и не ищет большего.

Деон выехал из Кейптауна достаточно рано, но сразу же за переездом через Хекс-ривер «фольксваген» забарахлил, и он больше часа ждал в Лэйнгсбурге, пока механик в гараже нашел и устранил поломку. Потом он напоролся на что-то, когда проезжал через пред-

местье для цветных в Бофорт-Уэсте, и провозился, ставя запасное колесо, под взглядами целой ватаги цветных мальчишек, зачарованно наблюдавших за ним,— еще бы: белый человек, ругаясь на чем свет стоит и обливаясь потом, ковыряется с домкратом на самом пекле посреди дороги. В церковь он приехал в половине четвертого и, конечно, опоздал к началу венчания.

Идя по проходу и выискивая взглядом свободное место на задних скамьях, он со вздохом облегчения подумал, что правильно поступил, не согласившись быть шафером у Бота. У него в запасе всего лишь сутки: завтра в семь утра он должен свеженьким быть на дежурстве, а это значит, что придется уехать довольно рано и всю ночь просидеть за рулем. Ничего не поделаешь: никто бы не понял, если бы он не приехал на свадьбу родного брата.

Бот стоял, точно аршин проглотил, прямой и чопорный, черт-те какой неуклюжий в своей новенькой, с иголочки, темной паре, сосредоточенно внимая пастору. Лизелла выглядела хрупкой малышкой рядом с этим верзилой-фермером. «А они, наверное, по-своему счастливы»,— подумал Деон, наблюдая за братом и его невестой. Цены на шерсть, правда, упали, но в конце концов у Бота в перспективе одна из лучших ферм в округе. Работник он что надо, крепкий хозяин и уже сейчас поговаривает о том, как расширить дело. Ему осталось лишь убедить отца в правоте своих замыслов, доказать, что он обеспечит доходы, даже если цены на шерсть не поднимутся. Хотя в одном из своих писем Деону он вынужден был признать, что отец с трудом идет на уговоры, особенно после того, как Бот заикнулся, что поначалу придется кое-что и вложить.

Все равно, даже это не помешает им с Лизеллой быть счастливыми. Лизелла — по крайней мере первое время — попытается, конечно, его дрессировать: будет исподволь делать замечания насчет отсутствия манер и необходимости поддерживать свой культурный уровень. Но надолго ее не хватит: год-другой — и забудет эту блажь, войдет в колею, будет толстеть с каждыми родами, детей растить, и, само собой, поубавится интереса к опере, зато появится интерес к делам Женской ассоциации в помощь сельскому хозяйству. Что ж, и это по-своему счастье. Главное — быть довольным собой...

Деон вдруг почувствовал, что он грязный, пыльный и вообще ему тут не место, как бродяге в отрепьях на пышном балу. Его не покидало это странное чувство, хотя он остановился на заправочной станции и зашел в туалет вымыть руки и лицо, причесать волосы, стряхнуть пыль с костюма. Он украдкой поглядел на руки — чистые. Просто он не в своей тарелке, не к месту он здесь. Это их мир, больше не твой. Был твой, а теперь нет. И вернуться сюда можно только чужаком, незваным гостем. Печально. А что делать?

Он поглядел по сторонам и отыскал отца на передней скамье. «Вот и с ним у меня так же,— подумал он.— Но он мой отец, и я уважаю его. Я знаю, он честен и тверд в том, во что верит. И все-таки между нами пропасть. Даже если мы потянемся друг к другу изо всех сил, то разве кончиками пальцев коснемся».

Что-то в отце показалось ему непривычным. Не такой он сегодня, каким был всегда. Что-то изменилось. В манере держаться. Вот он тяжело вздохнул, хоть и подавил вздох. Иоган ван дер Риет — и вдруг вздохнул; Иоган ван дер Риет, сидевший всю жизнь гордо и прямо, теперь ссутулился!..

Годы, подумал Деон. Они подкрадываются незаметно, и вдруг нежданно-негаданно годы берут свое.

Мозг Деона заработал, словно прозвенел сигнал опасности. Он сидел, погруженный в свои мысли, а тем временем жених с невестой

обменялись кольцами и под звуки органа двинулись в сопровождении пастора к дверям ризницы,— кругом были улыбающиеся лица, а мать Лизеллы смахивала платочком традиционную слезу.

Деон вдруг вспомнил, что он ведь, кажется, обязан присутствовать еще и как свидетель или что-то в этом роде, когда новобрачные будут расписываться в церковной книге. Но заставить себя подняться и пройти на виду у всех в ризницу он не мог и продолжал сидеть.

Перезвон колоколов возвестил свадебное шествие, и из ризницы вышла новая семья, а за ней по ритуалу — родственники. Бот увидел брата и подмигнул, и Лизелла улыбнулась.

Отец тоже увидел Деона, когда поднялся, чтобы занять свое место в процессии, и, кивнув, улыбнулся ему. Потом они поздоровались за руку, и Деон почувствовал, какая у отца еще сильная рука. Деон вгляделся в его лицо — очень он стал бледный, нос заострился, а на шее чернел большой синяк. Деон заставил себя сосредоточиться и оценить это спокойным профессиональным взглядом: ты врач и перед тобой — пациент. Он искал признаков, которые помогли бы ему поставить диагноз. Но страх и смятение настолько овладели им, что он лишь тупо твердил про себя: здесь что-то серьезное, отец явно болен.

Свадебный прием был в ресторане отеля, с шампанским и тостами (во всяком случае цветные официанты называли это шампанским, хотя вино было преотвратное, просто сладкая шипучка): новый пастор оказался человеком прогрессивных взглядов и не возражал против того, чтобы на свадьбе люди выпили бокал-другой. Сам он, конечно, оставался верен содовой.

Наконец кончились тосты и речи, и гости стали прохаживаться вдоль столов, наполняя себе тарелки.

Деон сел рядом с отцом и, глядя ему в глаза, спросил:

— Как ты?

— Отлично, старина, отлично. Это торжественный день для всех нас. Я рад, что ты смог приехать.— И уже с ноткой укора: — А ты опоздал.

— С машиной неполадки,— коротко ответил Деон.— Нет, правда, как ты себя чувствуешь?

Отец посмотрел на него таким знакомым взглядом, с игривой иронией в глазах.

— Почему ты спрашиваешь?

— По-моему, ты неважно выглядишь.

— Люди не молодеют.

— Ты показывался врачу?

— Врачу? Ха! — В голосе отца прозвучал отголосок былой вспыльчивости. («Ну вот,— пронеслось в голове Деона.— Еще один симптом. Исчезла вспыльчивость. Появилась покорность судьбе».) — Я им верить не верю, этим новомодным докторам, им только обезьян лечить!

— Ты говоришь глупости и прекрасно это знаешь. Откуда у тебя кровоподтек на шее?

— Много ли надо старику ушибиться,— уклончиво отвечал отец.

— И еще есть такие на теле?

— Малость есть,— признался отец.

Когда он закатал рукава рубашки, оказалось, что все руки до предплечья покрыты синяками.

Деон похолодел: он начинал понимать, в чем дело.

— Ты... быстро утомляешься?

— Ну ладно, хватит этих вопросов, доктор. Пойди поболтай с людьми. Держу пари, кое-кто просто засыплет тебя жалобами в расчете получить бесплатную консультацию.

И отец поднялся все с той же чуть заметной иронической ухмылкой — словно втайне смеялся одному ему известной шутке.

Однако Деон не собирался сдаваться. Так легко от него отец не отделается. И когда после обеда они снова очутились с отцом наедине в маленьком номере отеля, где грудой лежала парадная одежда невесты и ее подружек, он как бы между прочим сказал:

— Да, кстати. Мне через десять минут надо ехать назад в Кейптаун. Дай-ка я тебя осмотрю — ведь это быстро.

Отец для приличия попротестовал, но в конце концов снял пиджак, рубашку и прилег на кровать.

Утолщений и уплотнений лимфатических узлов нет. Слизистая оболочка — очень бледная. Но по всей верхней части туловища багровые, с фиолетовым отливом пятна.

«Интересно, он знает? — подумал Деон неожиданно, без всякой связи.— Может, догадывается? Ждал случая, чтобы самому сказать мне, но гордость не позволила признаться в слабости, даже в том, что с возрастом силы сдают?»

— Спусти, пожалуйста, трусы. Вот так, оттяни, чтобы я мог пощупать живот.

— Ваш брат доктора совсем не считаются с тем, что у человека может быть чувство собственного достоинства,— проворчал отец. Он старался не смотреть Деону в глаза, лежал и с невозмутимым видом разглядывал потолок.

Печень не увеличена. Селезенка вообще не прощупывается.

— Вздохни. Глубже.

Когда отец набрал полную грудь воздуха, Деон нажал пальцами под грудную клетку.

И ощутил под рукой что-то твердое.

Может, это просто ребро. Конечно, ребро.

— Еще раз. Глубже.

Теперь уже не оставалось сомнений. Деон чувствовал под пальцами расходящееся уплотнение.

Он выпрямился, и отец, перестав созерцать потолок, повернул к нему лицо.

— Вы кончили, доктор?

Деон улыбнулся.

— Кончил.

— Ну, и что вы у меня нашли?

— Не знаю, похоже, ничего серьезного.— Деон заставил себя смотреть на отца и улыбаться, хотя один бог знает, чего ему это стоило.— Но лучше, если ты поедешь со мной в Кейптаун. Мне хотелось бы показать тебя профессору и сделать анализ крови.

— Сейчас? Сегодня?

— Сегодня.

— У Бота медовый месяц. На кого я оставлю ферму?

— Подождет с медовым месяцем,— жестко ответил Деон.— И с фермой ничего не случится. Это куда важнее.

Отец пожал плечами.

— Ну, ты доктор, тебе виднее.

Когда они спускались по скрипучим ступенькам гостиничной лестницы, отец хмыкнул и легонько хлопнул его по спине.

— Выше нос, мой мальчик. Как это сказано у Иова? «Человек,

рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями».— И он снова, как утром, улыбнулся чему-то, известному, казалось, лишь ему одному.

Зима

Глава восьмая

Телефон. Телефон. Телефон. За эти месяцы он возненавидел этот проклятый аппарат: телефон диктовал ему жизнь, управляя всеми его действиями, без стеснения отрывал от еды и сна и заставлял тащиться в приемный покой «скорой помощи», или в палату, или в операционную.

— Ван дер Риет! — в изнеможении отчаявшегося человека выдохнул он, надеясь вызвать хоть какое-то сочувствие.

Безучастный голос больничной телефонистки возвестил:

— Вам звонят из города, доктор ван дер Риет. Не кладите трубку.

Деон только проворчал что-то в ответ. Он собирался урвать несколько минут и вздремнуть после ужина. Но все равно пора было возвращаться в палату. Его тревожил этот малыш Янсен. Сегодня третий день после операции, а функция кишечника не восстанавливается. И вечером вдруг подскочила температура. Тут нужен Билл дю Туа. Надо будет позвонить ему.

Телефонистка произнесла скучным тоном: «Говорите», и тут же включился молодой женский голос:

— Деон?

— Алло? — Вот уж ее звонка он никак не ждал.— А, здравствуй, милая.

— Здравствуйте, сударь,— сказала Лиз.— Я вынуждена была позвонить вам, чтобы убедиться, что вы живы.

— Слушай, это нечестно,— возмутился он.— Мы же виделись... мы виделись...

— Две недели назад,— подсказала она.

— В самом деле?..— Он притворился удивленным, хотя и сам понимал, что это шито белыми нитками.— Знаешь, дел было невпроворот, ей-богу. И моего старика снова пришлось взять подлечить.

— А как твой папа? — У нее вдруг необычно потеплел голос.

Деон вертел в руке стетоскоп.

— Ему лучше. Анализы крови, по крайней мере, показывают некоторое улучшение.

— Я рада. Он у тебя прелестный старик.— И снова в голосе прозвучало необычное для нее тепло.

— Ага. Мне кажется, что и ты ему пришлась по душе,— сказал Деон.— Он о тебе спрашивал.

— Почему ты мне ничего не сказал? Он мне тоже понравился.

Для него все это было совершенно неожиданно. Отец приехал в Кейптаун месяц назад, лежал в цитологии — подозрение на лейкемию. Деон еще под этим предлогом отменил как-то свидание с Лиз, потому что хотел побыть с отцом, так он сказал. Она тогда отнеслась к этому с пониманием, а когда он пришел к отцу в отдельную палату после утреннего обхода, то с удивлением обнаружил на тумбочке у кровати вазу с хризантемами.

Кто это мог прислать отцу цветы?

«У тебя подружка завелась? — спросил он. С тех пор, как стал ясен леденящий душу диагноз: острая лейкемия, агранулоцитоз,— в их отношениях что-то незаметно изменилось. Деон мог теперь позволить себе и пошутить.— Кто это тебе прислал?»

Отец прокашлялся, положил книгу и снял очки.

«Меня явно с кем-то перепутали. Я не знаю никого по имени Элизабет».

«Элизабет?»

Деон посмотрел на карточку из цветочного магазина. Просто имя, без фамилии.

«Может, ты знаешь какую-нибудь Элизабет? — спросил отец. Он посмотрел Деону в глаза.— Элизабет, а? — Он снова надел очки.— Очень любезно с ее стороны — вот ведь подумала о старом человеке,— сказал он серьезно.— Поблагодари ее от меня».

Деон сделал, как просил отец, и Лиз сказала:

«Как ты думаешь, он не будет против, если я навещу его? Конечно, в приемные часы».

«Навестишь его?— Он подумал, что ослышался, настолько это было неожиданно. Обычно она не скрывала брезгливого отношения при одном упоминании о больных и болезнях, и он твердо взял себе за правило никаких разговоров о работе или больнице с ней не вести.— Нет,— сказал он, чуть поколебавшись.— Не думаю, чтобы он был против. Если тебе действительно хочется».

Особенного удовольствия это ее посещение ни ей, ни отцу не доставило. Прежде всего обнаружился языковой барьер: африкаанс, на котором ей пришлось изъясняться, был у Элизабет на уровне начальных знаний; отец же сносно говорил по-английски, но сознание, что он не может блеснуть им в совершенстве, затрагивало самолюбие этого гордеца и делало его скованным, не в пример обычному — официальным. То и дело воцарялось молчание, которое Деон отчаянно пытался заполнить всякой чепухой. Правда, к концу этого, показавшегося им всем бесконечным, получаса все-таки появилась сердечность и непринужденность.

«А вы верхом ездите?» — поинтересовался отец явно просто так.

Девушка вопросительно посмотрела на него.

«Да», — ответила она не сразу.

«Хорошо? — спросил отец.— Хорошо ездите?»

«В тринадцать лет была чемпионом среди юниоров»,— сказала она. И, покраснев, искоса поглядела на Деона, а он смотрел на нее во все глаза. Она ему какой только чепухи о себе не плела, а вот об этом никогда не рассказывала.

Старик с довольным видом кивнул и улегся поудобнее, откинувшись на подушки.

«Я это сразу понял по тому, как вы сидите,— пояснил он.— Фермеры — у них другая посадка. Иные у нас считают, что спортивная езда — это так, баловство. А я нахожу, что для этого надо уметь хорошо ездить, лучше многих фермеров. — Он ей озорно улыбнулся и сказал: — Вы должны приехать к нам на ферму поучить Деона и его брата ездить верхом. А то они сидят на лошади, как мешок с картошкой».

И вот теперь, вспоминая этот разговор и приглашение посетить Вамагерскрааль, которого редко кто удостаивался, Деон произнес убежденно:

— Знаешь, ты ему пришлась по душе. Он сказал: девушка что надо, хотя и англичанка.

Она рассмеялась.

— А когда он снова будет здесь?

— Точно не знаю,— осторожно заметил Деон.— Все зависит...

— От чего?

— От того, сколько продлится то, что можно продлить...— Он ничего не мог точно сказать. Не мог заставить себя посмотреть фактам

в лицо: никто ведь не знает, сколько будет теплиться жизнь в этом исхудавшем теле! — Ну, а ты-то как?

— Паршиво,— сказала она.— Когда я снова тебя увижу?

— Если бы я был себе хозяином! — промямлил он.— Эту неделю опять поставили на вызовы. Как тут ответить, когда я смогу вырваться, просто не знаю.

— Ерунда! — крикнула она так, что он даже вздрогнул от этого резанувшего ухо вскрика. Одна надежда была, что на коммутаторе не подслушивают.

— Ты же знаешь, что не права,— возразил он.

— Конечно, ты мог бы что-нибудь придумать, если бы захотел. Кстати, я сняла квартиру.

— Правда? Где?

— **Рядом** с тобой. В Ньюлендсе. Может, заглянешь по дороге?

— Ей-богу, не могу. Честно, не могу.

— Хотел бы — смог.

Может, она и права? Может, ему все это просто надоело? Вначале они виделись почти каждый день. А теперь? Две недели без нее, и ему хоть бы что.

— Честно, не могу.

Она хотела и не могла подавить вздох раздражения.

— Ну, может быть, хоть в этом вашем проклятом бунгало? Я приеду.

— Ну...— Ему очень не хотелось, чтобы она приезжала. Он устал. Он две ночи по-настоящему не спал.

— Вот видишь, пошел на попятный?

В ее голосе звучала уже угроза, и это заставило его взять себя в руки:

— Вовсе нет. Да нет же... О'кей. Я оставлю дверь открытой, поверни ключ. У меня здесь еще дел на час, ну, на два, и если не случится ничего особенного...

— Если случится что-нибудь особенное, можешь повернуть ключ сам,— бросила она на прощание.

Он закрыл за собой дверь, оставив ключ в замке. «Эта девица ведет дело так, точно я уже у нее в кармане»,— подумал он.

Ничего радостного этот вечер им не принес. Ну, было то, что бывает,— ничего больше. Деон действительно чертовски устал за эти дни и с трудом изображал страсть, которой не испытывал. Элизабет нервничала, была взвинчена и оттого — нарочито требовательна. Наконец она зло оттолкнула его и, отодвинувшись, насколько позволила узкая кровать, сердито бросила, что не было радости и это не радость.

Они затеяли какую-то бессмысленную перебранку — шепотом, шипя друг другу в ухо обвинения: ведь стены были тонкие, как картон. Затем оделись, повернувшись друг к другу спиной, и вышли в холл. Робби Робертсон в одиночестве ел поздний ужин. Его проницательные глаза тут же охватили всю сцену: он понял, что Деон и его девушка ищут компании. Тогда он с нарочитой ленцой поднялся из-за стола, отодвинул поднос с ужином и жестом предложил Элизабет место в кресле у камина.

Она мгновение поколебалась.

— Я собиралась уходить, Робби. Благодарю.

Он состроил разочарованную мину, словно это известие разбивало ему сердце.

— О, прошу вас, вы не можете уйти из моей жизни вот так. Кроме того, на улице холод собачий.— Он показал на свой плащ, намокший под зимним дождем.

Она хмыкнула, хотя лицо ее все еще хранило напряженное выражение, и села рядом, протянув ноги и руки к ярко пылавшему огню.

— Ну и прелесть мне сегодня доставили в «скорую»,— сказал Робби Деону.

Элизабет заткнула руками уши.

— О, прошу вас, только не о делах.

— А я ни полслова о делах, я же дал обещание. Уж очень было смешно. Я просто не мог удержаться от смеха — хоть режьте.

Элизабет недоверчиво посмотрела на него, он подмигнул.

— Целомудреннейшая история,— заверил он ее.— Абсолютно целомудренная.

— Ну ладно, давай,— сказал Деон.

— Так вот: два «фараона» привезли в «скорую» одного малого с английской булавкой в носу. Знаешь?

— Ты же обещал, Робби!— Элизабет укоризненно надула губы.

Деон заметил, что она кокетничает. Почему-то эта тривиальная уловка тронула его — он не приревновал ее, но ему стало грустно. «Что с нами происходит, с обоими?»— подумал он в замешательстве.

— Он дико обозлился на «фараонов» за то, что они никак не желали войти в его положение, и выдал им все, что он думает о полиции Южной Африки! Он, понимаете ли, стреляный воробей, но тут даже сна лишился, чуть не две недели глаз не сомкнул, а все из-за проклятых лилипутиков.

— Лилипутиков?— переспросила Лиз.

— Галлюцинации,— пояснил Деон.— Белая горячка.

— Точно.— подтвердил Робби.— Так вот, по его словам, ничего он не мог с собой поделать. Одно и то же каждую ночь. Стоит ему лечь в постель и потушить свет, как маленькие человечки проскальзывают в щель у порога и взбираются к нему на кровать. А однажды ночью их явилась целая гвардия, впереди духовой оркестр в полном составе во главе с тамбурмажором — все как положено; они промаршировали у него по груди и выстроились, а их полковник вытащил саблю из ножен и прокричал: «Вперед, в атаку!», и они бросились вперед, хотели его приступом взять через нос, через рот, через уши...

— Робби, ты сочиняешь — сказала девушка.

Робби приложил два пальца к губам и торжественно — словно в присяге — поднял их: истинная правда!

— Ну ладно, а на что ему булавка понадобилась? — спросил Деон.

— Погоди, я как раз до этого места дошел. Ну вот, этот малый чего только не делал, чтоб прогнать их. Он даже намазался патокой, думал, они прилипнут. Так они принесли лопаты и прорыли себе траншеи. Ну вот, сегодня вечером ему и пришла блестящая идея. Он показал — вот так...— И Робби постучал себя по лбу.— Блестящая идея. Он наполнил ванну водой и постелил себе на ночь в ванной. Лег, притворился, что заснул, и стал ждать их. А как только они взобрались на него, он прыг в ванну и все они потонули.

Робби подождал, пока утихнет смех.

— Все потонули, кроме одного, в том-то и дело. Этот, судя по всему их главный, оказался отличным пловцом, потому что добрался до его носа и — туда. И не желал выходить — ни в какую, парень даже с головой окунался.

— Ну, а булавка-то, булавка?

— Что делать, когда этого маленького ублюдка не утопишь, скорей сам захлебнешься! Вот он взял английскую булавку, проткнул

человечка и пришпилил к своему носу. Оделся — и бегом в полицию и всего-то обратился к ним с просьбой, к этим болванам: не могут ли они арестовать полковника?

Они разразились хохотом — в этот момент открылась дверь и вошел Филипп. Он окинул их добродушным взглядом, но ничего не сказал.

Деон поспешно поднялся, чтобы представить Филиппа девушке. Филипп чуть заметно вежливо поклонился, однако не сделал ни шагу к ней. Он замялся лишь на секунду и тут же направился к креслу в углу, самом дальнем от камина. В руке у него был медицинский журнал.

— Почему вы не хотите присоединиться к нам? — спросил Деон.

И снова цветной замялся, прежде чем повернуться и направиться к ним. Он взял стул с высокой прямой спинкой и присел на краешек, положив журнал на колени. Он смотрел в огонь, и блики пламени отражались на его спокойном худощавом лице.

— Вы на следующей неделе заступаете после меня в палату с ожогами, Деон? — внезапно спросил он.

— Точно.

— Сегодня вечером еще трое поступили,— сказал Филипп. Затем, точно читая и заранее складывая слова в фразы: — Один тяжелый. Я установил приблизительно тридцать процентов поражения кожного покрова. Настолько обезвоженный, что пришлось прибегнуть к отторжению некротических участков кожи.— Он дернул губами, словно проклиная себя за собственную беспомощность. И снова отсутствующим взглядом уставился в огонь.— Я думаю, эти рекомендации насчет удаления жидкости при термических ожогах не совсем обоснованны,— задумчиво произнес он.— Особенно в тяжелых случаях.

— Что ты имеешь в виду? — поинтересовался Робби.

— Что лечение раневой поверхности надо сочетать с общим лечением. Я не знаю, можно ли проблему лечения решать, основываясь лишь на том, насколько велик и глубок ожог.

— На чем же еще?

— Ну, к примеру, упитанность ребенка — отсюда общее состояние организма до ожога, продолжительность термического воздействия — отсюда глубина повреждения тела, характер первой помощи и так далее.

Деон обратил внимание на то, что Элизабет, которая, сколько он ее знал, немедленно выказывала демонстративное пренебрежение, стоило заговорить в ее присутствии о недугах, внимательно слушает. Она переводила взгляд с одного на другого, точно зритель на решающем теннисном матче, следя за поединком Робби и Филиппа. А ведь он был уверен, что она не понимает и половины сказанного.

Зашипел громкоговоритель и мягко выдохнул: «Доктор Дэвидс, доктор Дэвидс».

Филипп взял трубку телефона, несколько раз произнес: «Да, да»,— нетерпеливо, не скрывая раздражения, положил трубку и быстрыми шагами направился к двери. Здесь он приостановился, словно что-то вспомнил или как будто его вдруг окликнули на полпути.

— Спокойной ночи,— сказал он Элизабет и церемонно наклонил голову в ее сторону. Они слышали, как он легкими, но твердыми шагами шел по коридору к выходу.

— Кто это? — спросила Элизабет.

— Местный гений,— проворчал Робби.

Деон улыбнулся.

— Ты должен согласиться, он знает, что говорит.

— Беда в том, что он всегда и во всем прав. Мне больше по душе ребята, которые заблуждаются: как-то оно человечнее выходит.

— Но кто это? — переспросила Элизабет.

— Ну, врач, живущий при больнице. Такой же, как мы. С той разницей, что знает в два раза больше любого консультанта. И не стесняется это показывать.

— Перестань, Роб,— сказал Деон.

— Ладно, ладно. Способный парень, никто этого не отрицает,— нехотя признал Робби.— Не подумай только, что я его шпыняю потому, что он цветной. Просто очень уж он самоуверен.

Деон покачал головой.

— А мне, знаешь ли, не кажется.— Элизабет достала сигарету из пачки, и он привстал, чтобы дать ей огня. Чиркнул спичкой, а сам продолжал смотреть на Робби.— Он скромный малый. Нет, правда. И ни капли нет в нем самонадеянности, наоборот. И ты не можешь не признать, что никакого праведника он из себя не корчит.

— Может быть.

Элизабет нехотя кивком поблагодарила за спичку. Затянулась и пустила дым в огонь.

— Откуда он?

— Забавно, знаешь: его мать служила у нас на ферме. Правда она уже давным-давно перебралась в Кейптаун, еще в... не знаю точно, в каком году, но до войны. Потом мой отец помог ему поступить в университет, и он объявился у нас на первом курсе — штанов и куртки на смену не было.

— Твой отец помогал ему? — Ее это заинтересовало.

— Да.— И, чувствуя на себе иронический взгляд Робби, он поспешил добавить: — Первые годы, конечно. Потом старина Филипп и сам стал на ноги, начал получать стипендию и все такое. В прошлом году, по окончании, ему пришло приглашение от двух заокеанских университетов.

— Почему же он не уехал? Тем более что он цветной.

— Хотел поработать здесь, врачом при больнице. Думаю, на будущий год уедет. Но на этот счет он не распространяется. Странный малый. Я его еще мальчишкой знал, вот таким, а до сих пор не разберу, что им движет.

— Он и ведет себя, как личность,— сказала Элизабет. Она откинулась на спинку кресла, глядя на потухающий огонь.— Робби, ты бы подбросил нам дров в камин.

Санитарки опустили боковые стенки кроватки — лязгнуло железо. Как дверь в тюрьме. «Что ж,— подумал Деон,— эти детишки здесь и вправду заключенные. Иные даже лежат, привязанные за руки и за ноги».

Фигуры в масках, точно процессия монахов-капуцинов из средневековой мистерии, прошествовали к первой кровати. Ребенок, девочка, испугалась, принялась плакать.

Регистратор, тоже в марлевой повязке, докладывал профессору Снаймену. Из-за шума в палате его было плохо слышно. Деон уловил что-то насчет «двадцати процентов». Он перестал вслушиваться в комментарии и оглянулся. Вечером накануне Филипп провел его по палатам, показал пациентов, которых ему предстояло принять. Пятьдесят пять — по девять в каждом блоке и еще один, новенький; возраст — от двух месяцев до двенадцати лет. Все с термическими ожогами: ожоги кипятком, ожоги горячим чаем, ожоги открытым огнем, ожоги от неосторожного обращения с примусом. Степень ожогов?

Ребенок, которым мать защитилась от горящей керосиновой лампы, брошенной в нее мужем. Глубокие ожоги на правой ноге и руке, степень четвертая, пораженные конечности подлежат ампутации.

Процессия двинулась дальше.

Мальчик семи лет — не лежит, держится за спинку кровати, ноги и руки согнуты, как у старика. Тихо повторяет одно и то же:

— Хочу домой. Где моя мама? — И снова: — Хочу домой. Где моя мама?

Деон посмотрел на ребенка почти со злостью. Домой! Это там их жгут, как грешников в пекле, а он тянет свое: «Хочу домой». Матери заслоняются ими, чтобы спасти себя, а они знают одно: «Где моя мама?» Что они — мотыльки, летящие на огонь: те же инстинкты и ничего более?

Как это Филипп однажды сказал? «Если б ты пожил, как я, в Шестом округе, тебя такое не удивляло бы». Спальня, столовая, кухня, гостиная, классная, детская — все в одной комнате. Семеро детей в одной комнате. Любовь и смех, голод и игры, сопли, слезы (и кипящая вода) — все в одной комнате.

Процессия двинулась дальше.

Следующий бокс — с металлическим лязгом открываются и закрываются боковые стенки кроваток.

— А это, черт возьми, что такое? — Голос профессора Снаймена срывается на что-то среднее между ужасом и возмущением.

Маленький мальчик, привязанный к кровати за ручки и ножки, лежит на спине. Вся грудь в больших пузырях. Поверхность ожога покрыта чем-то густым и желтым.

— Кипящий чай,— произносит регистратор из-под марлевой повязки.— Ребенок поступил сегодня ночью, сэр. Мать, пытаясь оказать первую помощь, полила поверхность ожога сгущенным молоком.

— Почему поверхность не обработана? — спросил Снаймен.— Выходит, я зря терял время, составляя методику первой помощи? — Это было произнесено зловеще и относилось ко всем и ни к кому.

Свита переминалась с ноги на ногу. Никто не смел поднять на него глаза.

Регистратор кашлянул.

— Видите ли, сэр...— Он никак не решался продолжить.— Я как раз собирался сообщить вам и попросить совета. Но мы здесь так закрутились, у меня просто не было времени доложить вам.

Снаймен холодно взглянул на него.

— Вы, стало быть, заняты больше моего, Джон? Вот здесь я нашел время поговорить с вами.

— Да, сэр. Прошу прощения, сэр.— Регистратор, высокий и очень худой, наклонил голову, как бы выражая полную покорность и готовность понести любое наказание.— Но, видите ли, сейчас просто засилье с ожогами. У нас четырнадцать человек поступило за два дня.— Регистратор показал на один из невскрытых пузырей:— Понимаете, сэр, когда пузырь остается нетронутым, меньше обезвоживается организм.

Снаймен нахмурился.

— Это еще что?

— Филипп Дэвидс провел вместе со мной кое-какие исследования.— Полоска лба, не закрытая марлевой повязкой, запылала от волнения.— Мы прикрепили к пузырям — там, где можно,— емкости и все, что вышло из пузырей, слили в тубы. А потом взвесили жидкость, вышедшую из неудаленных пузырей и удаленных. Мы ровно сутки экспериментировали.

— Ну и что вы обнаружили?

— В среднем, если удалять пузыри, организм теряет в три раза больше жидкости, чем если их сохранять.

— Число опытов?

Регистратор оглянулся, как бы ища поддержки, и сразу сник.

— К сожалению, Дэвидс вынужден был уйти, его отозвали в гинекологическое отделение, сэр. Но я так полагаю, он исследовал не менее тридцати случаев.

— Звучит убедительно, Джон. Ну и что, вы полагаете, следует изменить в методике лечения?

Стоявшие вокруг профессора зашевелились — напряжение исчезло. Старик заинтересовался. Значит, громов и молний не будет. Непостижимо.

— Сэр, вся суть в том, что чистка ожоговой поверхности не способствует снятию шока. Практически это чертовски увеличивает шоковое состояние.

Послышался нерешительный смешок.

— Прошу прощения,— сказал врач-регистратор,— то есть я хотел сказать, резко увеличивает шоковое состояние. И я уверен, болезненных ощущений будет меньше и число летальных исходов сократится, если мы не станем удалять у детей пузыри и отслаивающийся эпидермис.

Снаймен задумчиво кивнул: он размышлял.

«Почему же никто не подумал об этом раньше? — изумился Деон.— Так очевидно». Он с восхищением посмотрел на профессора: как он умеет схватывать все новое и принимать пусть даже вразрез с собственными устоявшимися воззрениями. Вот он — великий врач: результат, истина для него превыше всего.

— У них столько печали в глазах,— сказала какая-то женщина рядом, и у нее самой в голосе была печаль.

Деон бросил на нее взгляд, взбешенный тем, что даже здесь не дают сосредоточиться на чисто медицинских проблемах.

Белый халат поверх скромного костюма. Врач? Он поискал глазами именной жетон на лацкане ее халата. Мисс Д. Лутке. Он слышал краем уха о женщине-социологе у них в клинике и о том, что эта особа занята главным образом проблемой подрастающего поколения. Может, это и есть тот самый социолог? Он украдкой посмотрел на нее внимательней. Не так чтоб глаз не оторвать, но лицо приятное. Только уж больно сумрачно смотрит на ребенка в кроватке.

Он проследил за ее взглядом. Малыш грустно смотрел на них. Не всхлипнул — только нижняя губа дрогнула, когда он дернул ручкой, чтобы почесать грудь, но тщетно.

Нет, он не плакал, но и рассмеяться ему больше не дано.

«Неправда, с чего это ты взял?» — поправил себя Деон. Вон в конце палаты девочка, совсем крошка. Она тоже была хуже некуда, когда поступила. А вот ведь пересадка кожи прошла чудесно, теперь на месте не удержишь, так и снует, энергия ключом бьет из этого жизнерадостного существа в больничной пижаме.

У нее глаза тоже были грустные три месяца назад?

«Страдания и ребенок — ведь это противоестественно,— подумалось ему вдруг.— Это удел взрослых — страдания. Дети не должны знать их, потому что, однажды познав, перестают быть детьми.

Ну-ну, ты становишься сентиментальным, — одернул он себя.— Страдание, как и смерть,— слепо. И кто говорит, что страдания не изглаживаются? Разве мозг не стирает из памяти тягостные воспоминания?

Да? Нет? А как тогда понять, что заставляет человека вскакивать по ночам в холодном поту, дрожа от ужаса перед чем-то невидимым

и неразличимым? Может быть, то же ждет и этого ребенка, когда он станет взрослым?»

Все двинулись в следующий блок, и Деон пошел рядом с женщиной-социологом.

— Много проблем ставят перед вами эти малыши? — спросил он.

Она окинула его поистине враждебным взглядом.

— Проблем? Естественно.— Она говорила не с сильным, но все-таки с заметным акцентом, может, раздражение даже увеличило его.

Он не ожидал такой горячности и растерялся.

— Ну-ну, мисс... э... Лутке. Вы напрасно кипятитесь, я ведь только спросил.

Выражение ее лица смягчилось.

— Прошу извинить меня, доктор, за то, что я, как вы выразились, «раскипятилась». Но иногда это просто... повергает... в отчаяние, не правда ли? Вы, врачи, думаете только об их...— она изобразила руками в воздухе контуры тела,— внешней оболочке. Не о том, что происходит здесь.— Она выразительным жестом тонких пальцев постучала себя по лбу.

— Собственно, как раз об этом думал и я,— сухо заметил он.— О том, что происходит в душе, в сознании этих искалеченных существ.

Она оглядела его с неожиданным интересом.

— Вот как? — И перевела взгляд на именной жетон у него на лацкане.— «Доктор ван дер Риет»,— прочла она вслух, произнося фамилию явно на немецкий лад.— Вы живете при больнице и сейчас дежурите здесь, да?

У двери в последний бокс Снаймен резко остановился, и свита, неловко натыкаясь друг на друга, сжалась, как гармошка. Старик ткнул пальцем во врача-регистратора.

— Джон, я все-таки думаю, не следует переносить метод, который вы предлагаете, на всех ваших пациентов. Загляните ко мне после обхода, мы обсудим программу исследований. Меня, знаете, беспокоит антисептика — как бы не возросло количество случаев сепсиса, если отказаться от чистки ран.

Он с вызовом оглядел свою свиту, точно кто-то мог позволить себе не согласиться с заведующим хирургическим отделением.

— Ну вот так-то,— оживился он вдруг и прошел в дверь.

В кроватке у двери сидел ребенок и пил зеленую газированную воду, всасывая ее подобием губ и держа бутылку подобием рук. Он оживился при виде целой кучи людей в масках и с интересом стал смотреть на них.

— Привет Бобби,— сказал Снаймен, улыбаясь ребенку.— Ты зачем здесь опять?

Бобби улыбнулся в ответ и поднял бутылку с зеленой жидкостью.

Накануне вечером Филипп рассказал Деону его историю. Расшалившийся приятель толкнул малыша в костер вместо чучела Гая Фокса. Мальчика доставили с обширными ожогами лица, кожи головы, шеи и груди. Усилиями врачей удалось спасти ему жизнь, и вот теперь, через два с половиной года после несчастного случая и после двадцати пяти операций, Бобби почти перестали мучить боли. В травматологическом отделении он был всеобщим любимцем.

Деон видел фотоснимки ребенка до того, как врачи взялись за почти невозможную задачу вновь придать ему с помощью пластической хирургии подобие человеческого облика.

Ожоговые поверхности были покрыты грануляционной тканью с ужасными струпьями. Век практически не было, но огонь каким-то чудом пощадил глаза. Может, лучше бы ему было ослепнуть. Две зия-

ющие дыры вместо носа. Оскаленные зубы, ибо губы практически отсутствовали. Меньше остального пострадали уши. На макушке, на здоровом островке ткани, каким-то чудом сохранились волосы. Пальцы правой руки пришлось ампутировать, лишь на левой руке сохранили три пальца. Обширные, глубокие ожоги были на груди.

И все-таки он остался жив, этот вызов хирургам.

Начали с лечения отторженных некротических участков, кожу для пересадки брали с ног и со стенки живота. Пять операций.

У Бобби не было век, поэтому он вынужден был спать с открытыми глазами. Заживление шло рубцеванием. Вторичным натяжением, затем подтягиванием остатков кожи удалось восстановить верхнее и нижнее веко на обоих глазах. Верхние веки были рассечены и восстановлены вместе со слезными протоками; нижние удалось восстановить полностью, кожу для пересадки брали с внутренней поверхности предплечья. Четыре операции.

После этого его выписали. Спустя пять месяцев, когда рубцы размягчились, он вновь поступил сюда. Ноздри, чудо пластической операции, были восстановлены пересадкой кожи с мочек ушей. Шесть операций.

Брови — кусочки кожи с головы, имплантированные с остатками волосяного покрова,— получились как настоящие. Пересадка кожи, придание подвижности ткани на месте губ и должной пластической плотности — еще семь операций.

Восстановление функции сухожилий и пластика культи левой руки с тремя сохраненными пальцами. Три операции.

С правой рукой ничего сделать не удалось.

Деон смотрел сейчас на эту руку, покоившуюся на белом одеяле. Однажды, в какой-то праздник, они с отцом отправились на побережье. Отец подобрал корявый сук, выброшенный на берег прибоем, и шел, опираясь на него шутки ради, как на палку. Это был вымытый водой сучковатый корень, коричневый с белыми пятнами и шишкой, совсем как набалдашник, на конце.

Рука Бобби напоминала Деону эту сучковатую палку.

Профессор Снаймен оглядел присутствующих.

— Почему больной снова здесь?

Бобби смотрел на него сквозь щелочки восстановленных век и продолжал улыбаться восстановленными губами. Один из хирургов, занимавшихся пластическими операциями, сделал шаг вперед, глядя на ребенка с гордостью творца.

— Плохое заживление отдельных участков кожи на голове.— Хирург показал на три участка, каждый размером с почтовую марку.— С этой проблемой мы столкнулись у цветных пациентов. Я подозреваю, что причина здесь — вьющиеся волосы.

Снаймен с сомнением смотрел на него.

— Не вижу связи. Объясните.

— При глубоких ожогах кожи головы, как в данном случае, большая часть волосяных мешочков гибнет. Волосы, восстанавливающиеся за счет сохранившихся, растут подкожно, но они вьются там, поднимают кожу бугорками и порой прорывают ее.

— Возможно,— сказал профессор Снаймен.

— Ему гораздо лучше,— объявил врач-регистратор.— Я думаю, можно выписывать.

Обход был закончен. Все вереницей потянулись к двери. Деон оказался дальше всех от выхода, рядом с дамой-социологом, и, повернувшись, взглянул на ребенка. Тот беззвучно плакал, смахивая слезы своей крючковатой рукой.

— Почему он плачет?— спросил Деон у этой женщины.

— Он ужасно расстраивается, когда слышит, что его отправляют домой,— сокрушенно произнесла мисс Лутке.— Дети глумятся над ним. Там, на улице, он отверженный.

— Но это же ужасно!— возмутился Деон.

Женщина прикусила губу и уставилась в пол.

— Наверно. Но такова жизнь. И я думаю, что этот врач, этот хирург, он неправ со своей теорией насчет волос.

— Почему?

— Я почти уверена, что Бобби сам себе расцарапал кожу, чтобы не заживала... ну, чтобы вернуться в больницу. Здесь его дом, здесь он ребенок. Наш ребенок. Ведь мы его создали таким.

Глава девятая

Элизабет лежала на тахте, опершись на руку, и смотрела в окно на горы — вершины их были покрыты свинцово-серыми тучами, которые рвал, растягивая длинными, узкими полосами, сильный ветер. Но все равно было жарко, потому что бледное зимнее солнце заливало город нещадным светом.

Было воскресенье, и они решили провести весь день вдвоем у нее на квартире, зная, что могут распоряжаться своим временем, как хотят.

— Правда, какое приятное чувство?— сказала она.— За окном воет ветер, а мы устроились так уютно, и любая непогода нам нипочем.

— Это верно,— мрачно согласился Деон.

— Наверно, ужасно быть по-настоящему бедным,— сказала она.— Подумать только, что человеку даже негде укрыться от ветра. Правда?

Она повернулась на спину, и Деон невольно скользнул взглядом по ее телу, вытянувшемуся во всю длину. Она перехватила его взгляд и чуть заметно изогнулась, словно кошка, нежащаяся в тепле.

— Я как-то на днях видела твоего знакомого, ну, знаешь, этого цветного врача,— сказала она.— Доктора Дэвидса. Я тебе не рассказывала?

— Филиппа? Нет, не рассказывала.

— На автобусной остановке. Он ждал автобуса, ну я его и подвезла.— Она покосилась на Деона из-под полуопущенных ресниц.— Он, должно быть, очень беден, да?

— Ну, я... Да, с деньгами у него не густо. Мать его работает на фабрике. Сам же он получает тот же мизер, что и я. Может, даже еще меньше. Ведь он цветной. Не знаю, но я слышал, будто им платят меньше, чем белым.

Разговоры о деньгах обычно вызывали у Элизабет зевоту — точно так же, как беседы Деона на профессиональные темы, однако тут она спросила:

— И сколько же он может получать?

— Я получаю двадцать пять фунтов в месяц, стало быть, он не может получать больше.

Она закинула руки за голову.

— Двадцать пять фунтов. Как можно на них прожить?

Деона это немного задело.

— А как я живу? Я не заслуживаю сочувствия?

Она развела руками.

— Тебе отец помогает. А у него нет отца. Или я ошибаюсь?

— Нет. Его отец погиб. Давным-давно, когда они еще жили на ферме. Зато мать работает.

— Право же, наверно, ужасно быть бедным! — повторила она.

— Откуда это неожиданное участие? Ты что, из благотворительного общества?

Она повернулась и стала смотреть в окно, и когда заговорила, голос ее звучал глухо:

— Ты должен пригласить его как-нибудь. Мы можем устроить... ну, вечеринку, что ли. Не знаю.

— Кого пригласить? Филиппа?

— Ну, а о ком мы говорим?

Деон провел рукой по волосам.

— Ты что, воображаешь, что это очень умно? К тебе сюда. Да и потом он все равно откажется.

— Почему?

— Он сочтет, что мы хотим... ну, облагодетельствовать его, что ли.

— А я думаю, что он придет. Он к тебе хорошо относится.

— Откуда ты знаешь?

— Мы говорили о тебе. Когда я его подвозила.

— Вот как? — От одной мысли об этом ему стало не по себе, он даже как-то растерялся. — И о чем же вы говорили?

— О, ни о чем особенно. Ну, о том, что вы вместе выросли на ферме.

— Это я тебе и так рассказывал.

— Да.

Она продолжала смотреть вдаль — туда, где свинцовые тучи клубились у склона горы. Потом рывком села и легким, пружинистым движением гимнастки соскочила с тахты.

— Что мы сегодня делаем? — спросила она.

Несколько разочарованный, он повернулся на бок, оперся на локоть.

— Что?

— Я спрашиваю, что мы сегодня делаем? — повторила она, отчеканивая каждое слово.

Он притворился, что не заметил этой перемены в ней, и снова откинулся на подушки.

— А разве так — плохо?.. — И потянулся к ней.

Она оттолкнула его руку и стала одеваться. Теперь уже и ему — хочешь не хочешь — надо было вставать.

— Что это на тебя нашло? Я думал, мы проведем здесь весь день.

Она избегала встречаться с ним взглядом.

— Хочется на воздух. Я здесь от духоты умираю.

Тон был такой трагический, что он закатил глаза, — она заметила и осуждающе посмотрела на него.

— Минуту назад ты восторгалась тем, что можешь сидеть здесь, укрывшись от ветра, — проворчал он, тоже одеваясь. — А теперь... Ну, и куда же мы к черту пойдем?

Она бросила на него взгляд через плечо и равнодушно сказала:

— Ты можешь никуда не идти, никто тебя не заставляет.

— Не глупи. Я, конечно, пойду. Но куда?

— Нет, я серьезно, — сказала она с тем же раздражающим безразличием. — Ты можешь никуда не идти.

Он промолчал, стараясь изо всех сил сдержать нараставшую злость.

Они поехали в ее машине, остановились в Фолс-бей и побрели против ветра по пустынному пляжу.

На обратном пути они наговорили друг другу кучу всякой чепухи, начав с чего-то настолько пошло никчемного, что Деон, как ни силился, не мог потом вспомнить, с чего.

Они расстались у ее дверей в удручающем молчании, и Деон в весьма угрюмом настроении отправился на своей машине в клинику. День пропал, и остаток воскресенья он провел у себя в комнате, читая воскресные газеты.

На следующий день, почувствовав раскаяние, он решил позвонить Лиз, но там не ответили. «Может, это и к лучшему»,— подумал он.

Потом его захватил этот случай с малышкой Фаулер, и он забыл про Элизабет.

Итак, в конце концов никаких сомнений не оставалось. Злокачественная опухоль, по каким-то причинам носящая не больше не меньше как сто девятнадцать разных названий,— среди них и саркома гроздевидная. Своим греческим звучанием и неким внешним подобием виноградной грозди (в Капской провинции в ту пору, когда шел сбор винограда, когда над виноградниками висело солнце и пыль, а дни были словно напоены густой сладостью, созрела и эта роковая гроздь) она как бы отдаляла недуг куда-то далеко, в чистые сферы науки где названия — не больше чем названия, они придуманы людьми и не могут убить.

Мэри-Джейн Фаулер прибыла из дурбанской больницы маленькой знаменитостью, ибо в последний момент отец вдруг решил, что время не ждет и что ее вообще следует доставить в Кейптаун санитарным самолетом.

Девочка поступила в дежурство Деона, но поскольку имя ее было у всех на устах, принимал ее сам Билл дю Туа, собственноручно заполнивший историю болезни. Деон же лишь при сем присутствовал как простой наблюдатель.

Мэри-Джейн сидела в кроватке, одетая в пижаму, на груди пижамной куртки было вышито какое-то чудо-юдо из детской сказки. Она устала от непривычных волнений, связанных с путешествием, однако глазки ее сияли от возбуждения — столько новых людей и мест.

«У них такая печаль в глазах»,— сказала та дама-социолог несколько недель назад в палате напротив, но никаких следов печали и в помине не было в глазах Мэри-Джейн.

«Господи, помоги!» — подумал Деон, представив себе, что этой девочке придется вынести.

Профессор Снаймен увидел Мэри-Джейн на вечернем обходе. Он улыбнулся ей, когда ему подали историю болезни.

— Привет, малышка.

— Привет,— спокойно ответила Мэри-Джейн.

Она уже успела привыкнуть к больницам за два с половиной месяца, когда ее впервые госпитализировали для биопсии, которая, к всеобщей радости и удивлению некоторых, не показала наличия злокачественной опухоли. И все же обследовавший ее тогда д-р Мейерсон не был спокоен. Массу в почечной лоханке нельзя было объяснить только отечными эпителиальными клетками. Может, следовало брать более глубокую пробу?

Была сделана повторная биопсия, и когда патолог (он докладывал и по первой биопсии, величина в своей области, он редко оши-

бался) посмотрел через микроскоп срез, круглые клетки, стелоидные, веретенообразные, полосатые мышечные клетки и клетки мезенхимы показали диагноз.

Профессор Снаймен все улыбался девочке, пока осматривал ее, а потом стал торопливо листать историю болезни.

— Мне нужна цистоскопия и внутривенная рентгенограмма почечной лоханки и мочеточника,— сказал он, обращаясь к Деону, стоявшему наготове с журналом обхода.— Договоритесь с урологом, пожалуйста.

Он кивнул Биллу дю Туа, давая понять, что хочет видеть его отдельно, и поспешно направился к выходу из палаты. Врач-регистратор последовал за ним, держась на шаг сзади. Они вполголоса переговаривались на ходу. И Деон, у которого был отличный слух, уловил обрывки фраз.

—...единственный способ...— говорил Снаймен.— Я вынужден...— Тут они вышли, и дальше он уже ничего не слышал.

Деон накануне вечером перечитал все, что удалось найти по саркоме гроздевидной.

Он сидел один в своей комнате в бунгало, машинально перелистывая учебник по детской хирургии. Вообще этот случай с опухолью, которая съедает сейчас организм девочки, подействовал на него угнетающе — он чувствовал себя совсем больным. Третьего дня старший врач остановил его в коридоре и спросил: «Вы ведь из детского отделения, не так ли? Что там за случай с гроздевидной саркомой, вы в курсе? Предстоит фантастическая операция!»

Он в это утро был не у дел, зрителем, не единственным, впрочем, потому что слух о том, на что решился старина Снаймен, облетел уже всю клинику. Правда, он постарался прийти пораньше, решил, что проводит напичканную транквилизаторами девочку из палаты, так что сможет занять место получше, в изголовье стола, сбоку от старшей операционной сестры.

Снаймен стал делать разрез. Он быстро принимал и отдавал инструменты.

В уме Деона мелькали сжатые и бесстрастные фразы из учебника. Саркома гроздевидная. Вероятность излечения весьма незначительная. Зарегистрированы лишь отдельные случаи отсутствия рецидивов в течение пяти лет после хирургического вмешательства. Странно, откуда взялись именно эти пять лет, что за магия на бесчисленном счету у рака?

Саркома гроздевидная... Не поддается излечению радиотерапией. Предпочтительна радикальная хирургия.

В сознании всплыло вдруг: «Отец твой спит на дне морском, он тиною затянут, и станет плоть его песком, кораллом кости станут». Как давно это было. Ну да! «Буря» Шекспира. Спрашивали на вступительных экзаменах.

Вот и мой отец умирает. Это уже ясно: распад, медленное истощение организма. Но когда умирает старик, с этой мыслью еще можно как-то примириться. От этого не легче, но ты знаешь, что и тебе уготован тот же конец. Придет день, и ты подойдешь к уготованному тебе — тут уж ничего не поделаешь.

Но Мэри-Джейн Фаулер, трех лет?

Вчера утром оба родителя, и отец и мать, были в слезах, когда возвращались вместе с профессором Снайменом из его кабинета. В палату они так и не вошли — просто постояли за дверью и оттуда украдкой в щель посмотрели на свою девочку. А потом на цыпочках отошли. Вечером в приемные часы мать пришла одна.

Что им сказал старик? А что бы он сам, Деон, сказал в такой ситуации?

В самом деле, что тут скажешь? Выбор сурово прост, и остается лишь поставить их перед этим выбором, а в каких словах — вокруг да около или прямо, это уж зависит от твоего характера. Но (и в этом вся суть) окончательное решение ты все-таки оставляешь за ними или искусно подводишь их к уже принятому тобой?

В том-то и дело: выбор всегда за тобой. И в конечном счете ответствен или виновен — формулируй это, как хочешь,— все равно будешь ты.

Это то, что тебе даруют, когда, выпуская из университета, надевают поверх мантии цепь. Никакое это не отличие, не степень и не звание. Это петля на шее, обязывающая тебя делать последний выбор. Простейший выбор: жизнь или смерть. И вместе с тем самый сложный.

«Ну и что бы я им посоветовал?» — размышлял он.

А Снаймен тем временем уже забрался глубоко в брюшную полость. Билл дю Туа, второй ассистент, следил за его руками и все время заботливо корректировал свет. Сегодня почти не было разговоров, никаких этих грубоватых мрачных шуточек.

Жизнь — самое дорогое. Расточай ее, губи ее — на все воля твоя. Отвернись от нее, стремись поскорей уйти из нее, пройди по ней, не задумываясь,— все равно она остается величайшим даром тебе.

Стало быть, лучше жить с водянкой головного мозга, вести растительный образ жизни, влачить существование, менее осмысленное, чем скот бессловесный? Лучше жить, когда ничто, никакие наркотики на свете не в состоянии облегчить невыносимую боль конечной стадии рака? Лучше жить обрубком после хирургических операций, до конца дней своих неполноценным среди людей?

Ах, как непросто ответить! Но я хоть это сознаю и, значит, обладаю хотя бы крупицей мудрости.

Профессор Снаймен только изредка обменивался отрывистыми замечаниями со своим первым ассистентом. Но вот старик показал ему что-то в брюшной полости, что-то резко спросил и движением носа поправил соскальзывавшие очки. Сестра замешкалась, подавая ему анатомический пинцет, и, вопреки обыкновению, он накинулся на нее. Когда она повернулась к подносу с инструментами, видно было, как побагровели у нее лоб и уши над маской.

Нет, сегодня обстановка в операционной была гнетущая, ничего похожего на торжественное действо мастера, доставляющего ученикам удовольствие своим уверенным искусством.

«Кто из нас непогрешим? — размышлял Деон, стоя в своей неудобной позе у стены и наблюдая за неуклонным продвижением операции.— Кто может быстро вынести вердикт, когда подсудимый — сама жизнь?»

И тем не менее нам судить. Так и поступил Снаймен, произнеся приговор три дня тому назад — и без колебаний.

И вот все сделано. Один последний аккуратный разрез скальпелем нить для сшивания быстро и ловко вдета, закреплена. Кивок — кивок в ответ. Почечная лоханка подготовлена. Отвернуть ткань. Глазам приказывать не надо. Деон подался вперед — весь внимание. Даже руки профессора Снаймена замерли на миг, пока глаза примеривались к лоханке, и видно было, как мышцы лица чуть подергивались под марлевой повязкой, но повязка была широкая, и неясно было, выражало ли его лицо радость победителя или печаль, тем более что и глаза мастера ничего не говорили. Он буркнул что-то и протянул руку за инструментом. И снова он сосредоточился на том, что делал.

Операция продолжалась.

Всю жизнь Мэри-Джейн придется носить теперь пояс с двумя пластиковыми мешочками — для мочи и для кала. Девочка вырастет и никогда не узнает того, что мужчины и женщины называют близостью; никогда не узнает материнства.

Пусть, зато она будет жить.

Разве нет?

Операция продолжалась.

Этим августом, когда Иоган ван дер Риет собрался в Кейптаун пройти курс лечения, Бот и Лизелотта поехали с ним. Деон не видел их с самой свадьбы. Брат за эти несколько месяцев заметно раздался в ширину, ходил слегка вразвалку, но это придавало ему даже солидности, достоинства. Лизелотта тоже заметно прибавила в весе. Они выглядели людьми преуспевающими, хотя явно неловко чувствовали себя в городской одежде — и там жмет, и здесь стесняет. У Бота появился совершенно новый взгляд на вещи, он на все смотрел оценивающе, задумчиво покачивая головой. «Новый хозяин Вамагерскрааля»,— не без зависти подумал Деон.

Они остановились в тихом отеле в Рондебоше, но почти каждый день ездили в город на своем новеньком «крайслере» с вытянутыми, точно акульи плавники, задними крыльями. Лизелотта делала уйму покупок в улочках вокруг Аддерли-стрит.

За эту неделю, что они пробыли в Кейптауне, Деон почти их не видел. Зато все свободное время он проводил с отцом. Его удручало то, что отец так изменился за один месяц. Он словно усох. В прошлый раз его длинные ноги просто не умещались на больничной кровати. А сейчас, если Деон заходил в палату, когда отец спал, он не сразу мог поверить, что перед ним отец, под этим больничным одеялом. И дышал он не глубоко, а как-то по-птичьи, и сиделка была необычно услужлива к нему, слишком уж ласкова.

Вечером, накануне отъезда Бота и Лизеллы, Деон ужинал с ними у них в отеле. Разговор не клеился, болтали о всякой всячине, о том, какая холодная и влажная зима в Кейптауне, о грубости продавцов в магазинах и явном их нежелании говорить на африкаанс, о каком-то друге детства, который женился, и еще о каком-то, у которого родился сын.

Кофе они пили в холле (метрдотель, индиец, сам прислуживал им, и Деона еще поразило и даже позабавило то, как Бот держится с этим индийцем — почти на равных, небрежно и запросто. Индиец хорошо говорил на африкаанс и, где следует, обращался к Боту — баас [1], но в остальном держался на равных, даже позволял себе шутки, на которые Бот отвечал, и в конце концов отвалил индийцу грандиозные чаевые), а затем Лизелотта, очень светски позевывая, извинилась и оставила их. Бот велел еще подать кофе с коньяком себе и Деону, решительно отвергнув возражения Деона.

— Ну, как твое докторство? — поинтересовался он.

Прозвучала ли в вопросе снисходительность? Возможно, но даже если и так, Деон решил не придавать этому значения.

— Прекрасно. Еще четыре месяца стажировки — и все.

— Хорошо. Очень хорошо. А потом откроешь практику в нашем городишке? Нам бы не помешал способный молодой доктор.

— Не знаю. Я еще не решил.

---

[1] Хозяин *(африкаанс)*.

— Пора решать. Пора. Ты нам нужен. Да и потом надо, наконец, становиться на ноги. Ферма не всю жизнь сможет содержать тебя.— Он выпил рюмки две коньяку перед ужином и за ужином пил, потому говорил не очень внятно и весьма агрессивно. «Спокойно»,— сказал себе Деон. И постарался ответить как можно хладнокровнее.

— Что бы я ни надумал, постараюсь сам себя обеспечить.

— Хорошо.

Бот почувствовал, что перехватил: он уловил раздражение Деона. Сделав глоток, он с извиняющимся видом потянулся к Деону с рюмкой через столик, за которым они сидели.

— Слушай,— сказал он, заглядывая Деону в глаза с видом человека, ищущего сочувствия и понимания,— ты себе представить не можешь, что это такое — в эти проклятые засухи держать хозяйство.

— У каждого свои проблемы,— отвечал Деон сухо, все еще обиженный.

— Думаешь, это я по вечной фермерской привычке жаловаться на неурожаи? — вызывающе сказал Бот.— Думаешь, мне эта ферма подарочек, да? Я тебе вот что скажу, я не возражал бы обменять ее на твое прекрасное жалованье.

— Я ведь не просто деньги получаю, я работаю.

— Как и я, дружок! Тебе известно, что за эту зиму мы уже потеряли чуть не двести овец? И каждую старались спасти, из сил выбивались. А ты ничего такого знать не знаешь. Живешь в городе и получаешь жалованье.

— Не забывай, я тоже вырос на ферме,— холодно заметил Деон.

Бот понял и сказал виновато:

— Прости, Боти! — он назвал Деона его старым детским прозвищем, которое в те дни как бы подчеркивало, что они братья.— Я не имел в виду ничего такого.— Он отвернулся и изо всех сил хватил кулаком правой руки по левой ладони.— Черт, это ведь нелегко — держаться, когда скотина мрет точно мухи.

— Могу себе представить,— сказал Деон с сочувствием.

— Да, нелегко,— сказал Бот. Он покачал в рюмке темную золотистую жидкость, выпрямился и вдруг повеселел. Он всегда был импульсивен, быстро взрывался и быстро отходил и не умел долго унывать.— Да ладно! Мы еще поживем.— Рюмки оставили на стеклянном столике мокрые следы, и он принялся чертить узоры толстым указательным пальцем.— Цены на шерсть ни к черту, вот что я тебе скажу. Но я знаю, как поставить ферму на ноги!

И он начал излагать свои планы и строить воздушные замки, а Деон сочувственно слушал и испытывал что-то вроде легкой тоски по былому их товариществу, от которого ничего не осталось.

— Капитал — вот в чем весь вопрос,— сказал в заключение Бот, снова впадая в уныние.— Где взять капитал?

— Если ты все так рассчитал, почему бы тебе не взять ссуду под закладную?

Бот поглядел на него с иронией.

— Так мне Старый Хозяин и даст распоряжаться! Да и всяких обязательств у нас и так хватает, можешь мне поверить.

— Слушай, если все действительно так плохо, я могу не брать свою долю в этом году. Обойдусь как-нибудь...

Бот повелительным взмахом руки не дал ему договорить.

— Никогда! Это твоя доля по праву. На нее никто не посягает.— Тут Бот таинственно понизил голос.— Послушай, ты ведь хорошо знаешь город. Ну, городскую жизнь и все такое. Ты здесь шесть лет, нет, даже семь, и должен знать, как в городе обделываются всякие делишки.

— Ну? — сказал Деон, всматриваясь в его разрумянившееся от коньяка лицо. Неужели степенный, с обозначившимся брюшком, всего четыре месяца как сыгравший свадьбу Бот, его брат, хочет попросить у него адрес какой-нибудь девицы?

— Так вот, что бы ты сделал, будь у тебя товарец? Как его сбыть?

— Товарец? — переспросил Деон.

— Ну да! — бросил Бот, раздраженный его непонятливостью.— Алмазы, понял? Партия алмазов.

— Ах, вот оно что...— Деон задумался.— Я бы сделал так: сел бы в машину и поехал бы на побережье.

— Ну, и...? — нетерпеливо спросил Бот.

— Ну, и нашел бы уединенное местечко и вышвырнул бы их подальше в океан. Лучше не впутывайся в такие дела, забудь и думать.

— Не читай мне мораль! — сказал Бот, теперь уже всерьез рассердившись. Он повысил голос, и официант с любопытством посмотрел в их сторону.

Бот, секунду поколебавшись, поднял два пальца — еще два коньяка. На этот раз Деон не стал отказываться. Он не мог подавить в себе любопытства.

Они молча ждали, пока официант вернется с коньяком.

— Ты ничего не понимаешь,— начал Бот, когда официант отошел.— Если действовать осторожно, нет никакого риска.

В его задорном тоне все-таки проскользнула неуверенность, или Деону это показалось? Может быть, он сам себя подбадривает?

— Откуда у тебя этот товарец?

Бот насторожился.

— Об этом вслух не говорят.

— Ты считаешь меня дураком? Я не имею привычки говорить о вещах, которые меня не касаются.— Деон резко отодвинул кресло.— Мне пора. Попрощайся за меня с Лизелоттой.

Бот удержал его за руку.

— Погоди-ка. Погоди. Да не обижайся ты.

Несомненно, в глубине души он жаждал рассказать, жаждал кому-нибудь довериться. И столь же несомненно, для него это была всего лишь игра, так сказать, «полицейские и воры» — увлекательная ее разновидность для взрослых. А отдает ли он себе отчет, что в такого рода играх в жизни пистолеты и пули тоже настоящие? Вряд ли. Мальчишество какое-то. Деон нехотя снова придвинул кресло к столику

Бот заговорил шепотом, то и дело поглядывая через плечо на официанта, на людей за соседними столиками.

— Ты, конечно, знаешь Мэни ван Шалвика?

Деон отрицательно покачал головой, и лицо брата разочарованно вытянулось.

— Может, ты просто забыл? Ну, здоровый такой, с рыжими волосами. И еще вот с такими усиками.— Он провел пальцем по верхней губе.— Арендует «Сенегал». Ну, знаешь, ферму старого Яна Гроблера? Вообще-то он работал на железной дороге, а теперь арендует пастбища. Мы с ним близкие друзья.

Деон вдруг подумал, что раньше ван дер Риеты не водили дружбы с бывшими железнодорожниками, арендующими чужие пастбища. Что ж, времена меняются. Да и кто он такой, чтобы судить?

— Мэни купил у меня в конце лета овец на три сотни фунтов. Собирался заплатить в июне, когда получит деньги за шерсть, но видишь ли,— Бот выразительно пожал плечами,— цены упали, и он не смог обернуться.

— Да, я понимаю.

— Ну, как бы там ни было, а я в прошлом месяце заглянул к нему напомнить про эти три сотни.

— И что же произошло?

— Сезон был неудачный и так далее. Но он сделал мне деловое предложение. Он знает кое-кого из цветных с Ваальских копей. У них бывают алмазы. Ну, знаешь, время от времени. Это большие деньги. Мэни на этом деле в один заход заработал две гысячи.— Он прищелкнул пальцами.— Две тысячи за пару дней.

— Слушай, ты будешь последним идиотом, если ввяжешься в это дело. Ради каких-то двух тысяч... Глупо.

— Может быть.— Взгляд Бота снова стал настороженным.— Зато можно заработать кучу денег.— Он поглядел на официанта.— Хочешь выпить?

Деон решительно поднялся.

— Спасибо, Бот. Мне чуть свет на дежурство.

Бот тоже поднялся.

— Ну что ж. Ладно, береги себя.

Они расстались тепло: снова братья, почти друзья.

Только бы Бот не натворил глупостей.

Весна

Глава десятая

Старшая палатная сестра была способная девушка. Она прошла в палате хорошую школу, выучилась жесткой дисциплине, которую требовала ее профессия, и умела быть бесстрастно спокойной, даже когда все внутри требовало отвернуться, закрыться, уйти в себя от чужих страданий.

Она одевала Мэри-Джейн Фаулер. Затянула на талии девочки пояс с двумя пластиковыми мешочками. Потом через голову надела на Мэри-Джейн яркое, в цветочках, платьице и одернула его, чтобы не было видно пояса и пластиковых мешочков. Девочка была радостно возбуждена и без умолку болтала. Сестра молчала.

Все так же молча она посторонилась, когда к кроватке Мэри-Джейн подошли Снаймен с Деоном.

— Что это я слышу? — сказал профессор Снаймен с притворным возмущением.— Говорят, ты нас сегодня покидаешь?

Девочка улыбнулась и кивнула. Потом вдруг сосредоточилась, прикусила губу и произнесла скороговоркой явно заранее заученные слова:

— Большое вам спасибо, профессор, за все, что вы для меня сделали.

Вот тут сестра не удержалась и расплакалась. Ни дисциплина, ни выдержка не помогли, и она выбежала из палаты.

Профессор Снаймен повернулся на каблуках, поправил очки на переносице затем хорошо знакомым всем движением прижал ладонь к пояснице, поморшившись, словно от боли.

— Н-да...— протянул он.— Скажите, чтобы сестра вернулась и помогла ребенку. Я буду у себя.

По пути из ординаторской, где Деон отыскал и успокоил рыдавшую сестру, он увидел мисс Лутке. Она разговаривала с мальчиком, у которого была ампутирована левая нога по поводу саркомы бедра. Мальчик, опершись на костыли, внимательно и вежливо слушал. Вдруг мисс Лутке мягким, легким движением коснулась головы мальчика и тут же убрала руку.

И в душе Деона словно рухнула плотина, открыв дорогу чувствам.

Профессор Снаймен держал в руке желтую карту с заключением патолога. Он протянул ее Деону.

— Лимфатические узлы не показывают включений. Я думаю, это дает основание надеяться, что мы вылечим девочку.

— От чего?— пробормотал Деон.

Он сказал это вполголоса — не для Снаймена, но профессор стрельнул в него глазами.

— От рака, конечно. Если не задеты узлы, очевидно, мы удалили новообразование тотально.

— Я не это имел в виду, сэр.

— Тогда что же вы имели в виду? — профессор с вежливым удивлением поднял брови. Но глаза его были холодны, как лед.

— Как можно говорить, что мы ее вылечим,— не сдерживаясь, заговорил Деон.— Молодой организм — все быстро заживает. Но что у нее в будущем? Как ей жить? Задались мы этими вопросами? Наше так называемое «искусство хирургии» превратило ее в урода. Игра шла краплеными картами. Правильно ли, справедливо ли — увековечивать страдания?

— Страдания? Та девочка, которую вы только что видели, страдает?

— Я говорю о будущем,— упрямо возразил Деон.— Когда она поймет.

— Вы хотите справедливости? — холодно сказал Снаймен.— В таком случае вы слишком многого требуете от жизни. Подите-ка сюда. Смотрите. Что вы видите?

Деон поглядел в окно. Горы вдали. Городские здания. Потоки автомобилей на улицах. Он с недоумением повернулся к Снаймену.

— Нет! — нетерпеливо сказал Снаймен.—Вон там. Прямо напротив вас. Через дорогу.

— А... Это. Кладбище, сэр.

— Вот именно.— Старик сардонически усмехнулся.— Сколько уже было разговоров, что больница соседствует с кладбищем. Плохая реклама! Но, на мой взгляд, это полезное напоминание нам, врачам. Бывает, что мы в нем нуждаемся.— Он оперся на стол.— Я твердо усвоил одно, мой мальчик,— у него неожиданно потеплел голос,— одно: великой отвлеченной этики жизни и смерти попросту не существует. Опираешься на свои познания,— господи, велики ли они? — умение или интуицию и пробуешь принять правильное решение. Пробуешь — это наибольшее, что ты можешь. А потом остается только надеяться, что ты не ошибся. Понимаете?

— Да, сэр.

Профессор Снаймен вздохнул.

— Но, конечно, вы не согласны и думаете, что я просто старый болтун, а медицина точная наука и придет день, когда она станет абсолютно точной и абсолютно совершенной. Ну, мне очень жаль, но этого не произойдет, пока абсолютно совершенной не станет сама жизнь, а стало быть, этого не случится никогда.— Он смотрел мимо Деона и просто размышлял вслух.— Единственная истина, которую мы, увы, склонны забывать, состоит в том, что медицина сама лишь часть жизни. А жизнь — темнота. И мы лишь ощупью блуждаем в темноте. Если тебе хоть изредка удастся зажечь спичку, это уже много. Мы можем только пытаться.

Старик замолчал, и Деон решил, что разговор окончен. Он сделал движение, собираясь уйти. Но тут Снаймен заговорил, уже более оживленно.

— Вас угнетает мысль о том, что мы вынуждены были сделать с малышкой. Но вспомните что альтернатива операции еще страшнее: медленная, мучительная смерть. Опухоль захватила бы мочевой пузырь и прямую кишку — инфекции, кровотечения, язвы, окончательная закупорка кишок, непроходимость мочепротоков. Нет, мой мальчик. Наш врачебный долг был абсолютно ясен. Сохранить жизнь и сделать ее сносной, насколько это в наших силах.

— Да, сэр,— сказал Деон. И тут же выпалил, помимо собственной воли, опасаясь быть неправильно понятым, но не сумев сдержать порыва: — Что я должен делать, сэр?

— Гм-м?— Снаймен как будто был озадачен. Конечно, он понял его неправильно. А, все равно. Уши у Деона горели.

Но Снаймен сказал:

— Что делать? Вы хотите знать, что вам делать? Это вопрос не ко мне, мой мальчик. Только вы сами можете ответить на него.

— Да, сэр,— покорно пробормотал Деон.— Мне бы хотелось стать хирургом, сэр.

Старик широко улыбнулся.

— Я так и предполагал. Что ж, руки у вас хорошие.

— Но я не хочу просто резать, сэр, меня не это влечет. Это капитулянтство.

— Вот как? — Улыбка сменилась прежним ледяным выражением глаз.

— Я хочу работать в восстановительной хирургии. Для меня не существует другой.

— Понимаю.— Снаймен снял очки, подышал на стекла и стал энергично протирать их. Без очков глаза у него казались неестественно большими. Он близоруко прищурился на Деона.— Ну, и где же вы найдете такую хирургию?

— Операции на сердце, сэр.

Старик надел очки, кивнул и похлопал Деона по плечу. Для этого ему пришлось привстать на цыпочки.

— Ну что ж, дерзайте, мой мальчик. Учитесь делать операции на сердце. А там видно будет.

Было ли это решение правильным? Еще годы учения, годы сравнительной бедности, а в конце пути маячил лишь неясный вопросительный знак — состоится он как хирург или нет?

Иногда Деона мучили сомнения, а иногда он преисполнялся веры, что поступил правильно, что отступать теперь было бы катастрофой.

Но как проверить? Все это было слишком близко, он слишком долго жил этим, постоянно находясь во власти неестественного напряжения и лихорадочной радости. Нужно было чуть отойти, взглянуть на вещи под другим углом, со стороны.

Вот бы уехать сейчас на ферму, провести несколько дней в вельде, поохотиться.

Но где взять время? Его теперь едва хватало на самое необходимое.

Под влиянием минуты он позвонил Элизабет Меткаф.

Он думал, слушая гудки в трубке, что и Лиз переменилась. После того воскресенья, когда они поссорились по дороге с моря. Странно.

Он до сих пор не может вспомнить, с чего тогда началось. В конце концов все уладилось, и они с тех пор два-три раза встречались. Но между ними стояла обида, отчужденность — нечто новое, чего раньше не было. А может, так было всегда, просто он не замечал.

Он пытался убедить себя, что сам этого втайне хотел, что ее вечные перемены настроения и эксцентричность стали ему в тягость.

Так чего ради звонить ей? Перестань, и она незаметно исчезнет из твоей жизни. Кругом столько женщин. Любая из сестер в больнице будет счастлива пойти с ним. А разнообразие украшает жизнь — разве нет?

Но мысль о том, что чьи-то другие глаза увидят ее наготу, чьи-то другие руки коснутся ее, вызывала жгучую злобу.

Может быть, только это? Ревность и ничего больше? Собака на сене?

— Алло?

Оживление в голосе Лиз сразу угасло, едва она узнала его. Словно ждала другого звонка.

Ревность усилилась. Ему захотелось причинить ей боль. Детское желание свести с ней счеты.

— Вот решил от нечего делать позвонить тебе.

Она не ответила на сарказм, что было необычно, просто бросила рассеянно: «Ах, так», и ему стало стыдно за свое мальчишество.

— Очень была занята последнее время? — спросил он с притворной небрежностью.

— Пожалуй.

— Вот и я тоже. И работа, и всякие вечеринки.

— Угу,— отозвалась она с абсолютным безразличием, а может быть, и с легким презрением: настолько очевидной была его ложь.

Он ожидал чего угодно, но не этого холода. Ему не верилось, что пламя, которое он зажег, могло погаснуть.

— Послушай, что ты делаешь сегодня? (Может быть, он как-то себя выдал? Нужно держаться безразлично.) У меня свободный вечер, поужинаем вместе или сходим куда-нибудь?

Она какое-то время раздумывала, потом согласилась.

— Хорошо. Мне в любом случае надо с тобой поговорить. Я заеду к тебе. Примерно через час.

Он положил трубку, вдруг осознав, как был бы огорчен, если б она отказалась.

По необъяснимой ассоциации он подумал о Триш, и снова в нем поднялось ощущение боли, тоски и какой-то приятной грусти.

Он стоял у окна и ждал, пока не подъехала Элизабет. Как обычно, почти не сбавляя скорости, она уверенно и точно свернула на стоянку. Тогда он отошел от окна и даже заставил себя выдержать секунду-другую, прежде чем спросил: «Кто там?»

Элизабет вошла, не ответив.

Деон вздрогнул, словно от внезапной боли. Он будто только сейчас понял, какая она красивая.

— Поехали? — равнодушно произнесла она.— На моей машине, если ты ничего не имеешь против.

Он кивнул, твердо решив в этот вечер уклоняться от ссоры.

Они поехали в свой любимый ресторанчик, возле набережной.

Элизабет была сумрачна, она думала о чем-то своем. Лишь после нескольких рюмок охлажденного белого «чинзано» она немного повеселела. Деон вздохнул с облегчением: ему не терпелось поделиться своими новостями.

— Я решил заняться хирургией,— объявил он, гордый тем, что сумел сказать это с полным равнодушием.

— Очень хорошо,— с не меньшим равнодушием ответила она.

Он сдержал досаду, распрощавшись с надеждой произвести на нее впечатление. Казалось бы, пора к этому привыкнуть.

Они кончили ужин. По заведенному обычаю, расхвалили хозяйку и принялись пить кофе, болтая и покуривая. Но замечания и ответы Элизабет становились все суше и отрывистей, она то и дело отвечала невпопад.

Наконец Деон откинулся на спинку стула и улыбнулся.

— Ну ладно, Лиз, все ясно. Ты просто не знаешь, как начать. Давай выкладывай.

Она скривила губы, словно соглашаясь с ним, но сказала уклончиво:

— Ничего особенного.

— Ну, зачем ты? Я тебя достаточно хорошо знаю.

Она окинула его изучающим взглядом.

— Деон, я решила больше с тобой не встречаться.

Его улыбка стала вымученной, но он продолжал улыбаться.

— Могу я знать почему? Что я сделал?

— Вряд ли это тебя интересует, но я полюбила другого.

Губы у него сжались, но он тут же вновь решительно растянул их, словно подгоняя под шаблон, выражающий простейшие эмоции: поднятые уголки — радость, опущенные — печаль.

— И вы уже?

Она посмотрела на него с вызовом.

— Пока нет. Но долго ждать не будем.

Ему было стыдно за рассчитанную жестокость своего вопроса, но ей этого показывать не стоило.

— Тебя ничто не изменит,— съязвил он.— Ты все та же.

— Как и тебя, любовь моя.— Она посмотрела ему в глаза, и он растерялся от этой скрытой неприязни.— Деон, в детстве мы давили апельсины коленками — стояли на них, пока они совсем не сплющатся. Потом протыкали в кожуре дырочку и высасывали сок. А высосанные апельсины выбрасывали. Вот так ты обращаешься с людьми. Но на этот раз поищи себе другой апельсин.

Он чуть не потерял равновесия и едва успел ухватиться за край стола, неловко смахнув на пол чашку с кофе. Смутившись, он раздраженно сел прямо — как это глупо вышло! Элизабет слегка улыбнулась. Он рывком придвинул стул к столику.

— Может быть, поедем? Мы все равно ни до чего не договоримся.

Элизабет включила зажигание и так рванула с места, что ему прихлопнуло ногу дверцей. Он готов был вспылить, но заставил себя сдержаться.

— Лиз,— сказал он примиряюще, тщательно выбирая слова.— Извини, что так получилось. Я не хотел тебя обидеть.

Она не отвечала. Лицо, повернутое к нему в профиль, было холодно и бесстрастно.

«Черт с тобой, потаскуха. Чего ради я должен за тобой бегать?» Он готов был высказать эту мысль в первых попавшихся непоправимых словах, но его удержала еще не исчезнувшая надежда и воспоминания о прошлом.

— Ну, послушай! — сказал он со всем теплом и обаянием, на какие был способен.— Прекратим эту глупую ссору. Она же ни к чему не ведет. Я пытался сделать тебе больно только потому...— он понизил голос,— потому что понял, что люблю тебя по-настоящему.

Он понимал, что получается неискренне, что его слова звучат фальшиво, как надтреснутый колокол. А ведь то, что он говорил, было

правдой. Поймет ли она, сумеет ли уловить за пошлыми словами простоту и прямоту его чувства?

Она вела машину на большой скорости в крайнем левом ряду, и вдруг без предупреждения, не обращая внимания на возмущенные сигналы сзади, резко свернула к тротуару и втиснула машину в узкий свободный промежуток.

— Пройдемся,— сказала она и, не дожидаясь ответа, открыла дверцу.

Он догнал ее уже почти на набережной.

— Похоже, ты хочешь, чтобы я за тобой бегал,— сказал он с коротким смешком.

— Нет, Деон. Нам друг за другом бегать незачем. Я пробовала. Даже когда ты начал убегать. Но с этим кончено. И можешь больше не бегать.

Свет уличного фонаря упал на ее гладко причесанные волосы, и он подумал про себя: «Дурак, дурак, слепец». Потому что она была прекрасна.

— Откуда ты взяла, что я убегал? — Она улыбнулась, насмешливо изогнув бровь.— Значит, ты считаешь, что между нами все кончено?

Она смотрела на море.

— Думаю, да. А ты? И потом, в любом случае... ведь есть еще он.

Что-то в ее голосе заставило его насторожиться. Может, это тоже просто уловка с ее стороны? Маленькая комедия?

— Кто он?

— Неважно.

— А он существует?

— Да.

— Когда вы познакомились?

— Давно.

— И ты уверена, что любишь его?

— Да.

— Но все-таки кто он?

Она раздраженно пожала плечами.

— К чему этот допрос?

— Ну, чтобы победить противника, надо знать его.

— У тебя нет никакого противника, Деон. Забудем это. Мы даже и боя не ведем. Возвращайся-ка к себе в больницу.

— О чем ты?

— Ты же сам мне постоянно твердил, что твой первый долг — твои больные. Теперь ты можешь отдавать им все свое время.

Неужели правда, что он ссылался на работу, чтобы уклониться от встречи с ней? Да, правда (он грустно и недоуменно покачал головой). Нет, он не даст ей уйти, не отступит без борьбы.

— Послушай. Ну, пожалуйста, поверь мне. Я люблю тебя.

Она повернулась к нему, и ветер взметнул ее волосы вперед, как два крыла.

— Сколько раз мне повторять? Все это ни к чему. Бессмысленно и бесполезно. Неужели ты сам не понимаешь?

— Я люблю тебя,— повторил он, точно эти слова могли все вернуть и исправить, как заклинание, которое способно защитить его от будущего, вдруг ставшего неведомым и полным опасностей.

Задние огни обогнули угол больничного корпуса и исчезли. Он еще слышал басистые ноты мотора ее ярко красного автомобиля, но тут же они утонули в отдаленном гуле большого города.

Элизабет больше нет с ним.

И он не верил.

И еще он был убежден, что она не ушла навсегда.

Ветер тоскливо выл на углу, и это только прибавляло грусти. Но ветер был холодный, и Деон, повернувшись, пошел в теплое и светлое бунгало, где жили врачи-стажеры.

Он вдруг почувствовал, что ему не хочется быть одному, и с досадой оглядел пустую гостиную. А ведь минуту назад здесь были люди — стулья в беспорядке сдвинуты, в камине горит огонь, а на ковре лежит раскрытая книга. Он вздрогнул от невыразимой тоски и одиночества.

В коридоре у него за спиной послышались торопливые шаги. Вошел Филипп, энергично потирая замерзшие руки.

— Добрый вечер,— сказал Деон.— Ну и холодище, а?

— Редкостный.— Филипп присел у камина на корточки и протянул руки к огню. Он поглядел на Деона через плечо:— Ты здесь один?

— Да. Не знаю, куда все разбежались. Я только что вошел.

— Жаль. Мне нужен доброволец.

— Для чего?

К удивлению Деона, Филипп скорчил мину киновампира — коронный номер Робби на вечеринках — и загробным голосом произнес:

— Кровь! Жажду кр-р-рови.

Деон никогда еще не видел его таким.

— Крови? Сейчас, среди ночи? Зачем?

— Ты ведь знаешь новую методику исследования хромосом. То, над чем я работал.

— О господи боже! Хромосомы. Ты воображаешь, что у людей голова только и занята что твоими хромосомами.

Филипп виновато пожал плечами и снова протянул руки к огню.

— Ну, для меня это важно.

Он сразу как-то сник, и Деон почувствовал угрызения совести:

— Ты сказал, что ищешь добровольца. Я подойду?

Филипп просветлел.

— Нет, правда? Ты согласился бы?

— Правда. Ведь это в интересах науки, верно?

— Конечно. Какая у тебя группа крови?

— Нулевая.

— Чудесно! У меня тоже, и я как раз искал кого-нибудь с этой группой для сравнения.

Деон без большой охоты снова вышел на холод и ветер; Филипп, размашисто шагая, рассказывал об усовершенствованной методике подготовки хромосом, которую ему, наконец, удалось разработать

В маленькой боковой лаборатории в патологическом корпусе горел свет.

Филипп, не дожидаясь Деона, прошел прямо к столу с микроскопом. Он нагнулся к окуляру и повернул регулировочный винт. Не поднимая головы, он подозвал Деона.

— Иди-ка посмотри.

В учебнике для пятого курса он уже видел эти структуры, похожие на скрученные нити. Они были разные по очертаниям и величине: одни походили на кривобокие «х», другие на «у», соединенные основаниями.

— Угу,— промычал он уклончиво.

— Видишь? Сорок шесть хромосом ядра клетки лейкоцита человека! В них включены все наследственные признаки. Мы, так сказать, смотрим на человека в целом.— Деон повернул голову, но Филипп не дал ему ничего сказать.— Потом я их фотографирую, вырезаю по одной, составляю парами по величине от больших к меньшим и добавляю две половые хромосомы, пару, определяющую пол. В результате я получаю так называемый тип, хромосомный набор.

— А потом?

— Потом? Боже мой, Деон, но это же будущее медицины! Ты же знаешь, что некоторые болезни связаны с аномалией хромосомного ряда. Ну, значит, остается установить, почему именно и как это предотвратить, если возможно.

— Многого хочешь!

— Пожалуй. Но кто знает? Ведь здесь весь секрет, почему у тебя белая кожа, а у меня коричневая; почему я не могу пить в ваших барах, есть в ваших ресторанах, купаться на ваших пляжах. Всего лишь из-за иного положения какой-нибудь одной из сотен тысяч молекул в этих хромосомах. Всего лишь из-за нее.

Деон посмотрел на него и тут же отвел глаза.

— Это глупо,— произнес он.

Его встревожил этот внезапный взрыв. Он не мог припомнить, чтобы Филипп когда-нибудь прежде говорил о цвете своей кожи, чтобы он настолько дал волю своим чувствам.

Филипп сухо усмехнулся.

— Извини. Я привел тебя сюда не для того, чтобы ты слушал мои речи. Так я возьму кровь?

— Бери, конечно.— Деон снял пиджак, закатал рукав и, сжав в кулак правую руку, напряг бицепс, чтобы обозначилась вена.

Деон смотрел, как темная кровь наполняет шприц.

— Что ты думаешь делать дальше, после этой больницы?— спросил он с искренним интересом.— Насколько я понял, ты все-таки решил ехать за океан?

Филипп ловко извлек иглу, прижал ватку к месту укола и показал жестом, чтобы Деон согнул руку в локте. Потом начал сливать кровь из шприца в пробирку. Лицо его было замкнутым.

— Тут у меня впереди ничего нет.

— Да, пожалуй!

— Ничего — даже надежды.

Деон принялся внимательно осматривать след укола, проверяя, перестала ли кровоточить ранка. Почему-то сегодня ему не хотелось спорить или даже обсуждать отвлеченные проблемы.

— Удивительно, как мне вообще позволяют рассматривать клетки белых,— сказал Филипп, криво усмехнувшись.— Ты знаешь доктора Раджана?

— Индиец из патологического отделения?

— Да. Старший врач-диагност. На днях ему принесли биопсию из груди белой женщины. Хирурги в операционной ждали его заключения. Другими словами, от него зависело, что им делать дальше — удалять грудь и грудные мышцы или нет. Решение зависело от него, но допустить его в палату, чтобы он мог пальпировать опухоль... ну, что вы!

Деон покачал головой и отвернулся.

— Действительно глупо.

Он не знал, что говорить. Гнев Филиппа был справедлив, но что толку? Можно ли словами одолеть предрассудки? Не исключено. Но не исключено и другое: слова служат отпущением грехов. Почему Филипп сорвался именно сейчас?

Они молчали, и каждый думал о своем.

В первое мгновение Деон испугался за отца. Слава богу, думал он, что отец здесь, в клинике. Слава богу, что не на ферме. Если он узнает, это его убьет.

Эта мысль сверлила мозг, как тупая боль, с той самой минуты, когда ему в слезах позвонила Лизелотта. Она позвонила в десять часов вечера, и он долго не мог ничего понять из ее истерических всхлипываний. Сначала у него создалось впечатление, что Бот попал в автомобильную катастрофу. В конце концов он заговорил с ней властно и строго, немного ее успокоил и сумел вытянуть из нее что-то связное. Вот тут его и пронзил холодный ужас: брата забрали в полицию, нельзя, чтобы об этом узнал отец.

Он добился у ошеломленного директора клиники отпуска по семейным обстоятельствам и всю ночь провел за рулем.

А утром он был потрясен еще больше, когда Бот, еле волоча ноги, вошел в зал суда среди пьянчуг, наркоманов и участников поножовщины. У него был затравленный вид, словно он все время ждал, что его начнут бить, и с губ его не сходила жалкая кривая улыбка. Он словно извинялся за то, что он здесь, что дышит, что отбрасывает тень, что существует. Казалось, у него было лишь одно желание: съежиться, стать незаметным, исчезнуть.

Местный адвокат (Деон поднял его с постели в половине шестого утра) пробормотал что положено, а потом бесконечно долго пререкался с обвинителем о сумме залога.

— Обвинение очень серьезное, ваша милость,— повторил обвинитель.— Тайная скупка алмазов.— Он смаковал эту фразу.— Противозаконное приобретение алмазов. Это очень серьезное обвинение.

Но в конце концов Деону позволили подписать залоговое обязательство, адвокат вручил деньги секретарю суда, и Бот был освобожден из-под стражи.

Они молча вышли из здания суда на залитую солнцем улицу. Лизелла ждала их в автомобиле на стоянке напротив. Она включила мотор, вырулила со стоянки, и скоро они выехали из города по-прежнему в полном молчании.

— Как все произошло? — спросил Деон.

— Что?— спросил Бот визгливым голосом.

— За что тебя арестовали?

(Окончание следует)

■

ДОРИС ЛЕССИНГ

Лето перед закатом

РОМАН

Перевод с английского И. ЯКУШИНОЙ

Оставив Джеффри в полусонном состоянии в автобусе, она пошла в гостиницу. Ей навстречу вышел хозяин; путая несколько языков, она объяснила ему, что муж ее в дороге заболел. Сеньор Мартинес пошел с ней к автобусу и помог вытащить оттуда Джеффри. Они волокли его как тюк с сырым бельем, только что вынутым из стиральной машины; он был такой мокрый, что влажные руки его выскальзывали, а волосы прядями прилипли к голове. Они помогли ему подняться по лестнице — лифта не было,— довели до номера и положили на узкую кровать. Это был самый обычный номер обычной европейской гостиницы; в нем стояла двуспальная кровать для папы и мамы и три односпальных — для их отпрысков.

Сеньор Мартинес вышел и через минуту вернулся с бутылкой минеральной воды; он был семейным человеком с большим жизненным опытом и сразу понял, что молодой человек находится на грани обезвоживания. Он поддерживал Джеффри в сидячем положении, а она подносила ему стакан за стаканом. Он пил жадно, но с видимым отвращением.

Уходя, сеньор Мартинес сказал, что попытается найти врача.

— Но поймите, мадам,— il faut que vous compreniez, oui? [1] — наша деревушка маленькая, никаких условий, нет даже своего доктора,— pas de médecin, oui? [2] — он живет в двадцати милях отсюда и сейчас, может быть, даже в отъезде, я, право, не знаю. Но все, что в моих силах, я сделаю.

Хозяин спустился в свою oficina [3], а она села на жесткий стул у окна в душной, жаркой комнате и стала смотреть на бездонное звездное небо, на крыши и кроны деревьев, освещенные луной. Между тем Джеффри решительно заявил, что надо немедленно пересаживаться в другой автобус, потом вдруг расхохотался, вспомнив какую-

Окончание. Начало в № 6.

[1] Вы должны понять, ясно? *(франц.).*

[2] Нет доктора ясно? *(франц.).*

[3] Служебную комнату *(исп.).*

то смешную подробность их дневного путешествия, но какую именно, он не успел рассказать, так как тут же снова впал в забытье. Пришел сеньор Мартинес и сообщил, что, по словам тетки доктора, тот вернется только через три дня, и если состояние больного не позволяет ждать, то лучше всего обратиться в монастырь, к сестрам.

— Понимаете, ведь у нас настоящая дыра. Все население — нищие. Доктор к нам заглядывает, когда кто-нибудь серьезно заболевает. А со всякими пустяками здесь обращаются к сестрам, в монастырь.

Но насколько все-таки серьезно болен Джеффри?

Кейт стояла и думала, что, если бы это был ее сын, она бы совсем не волновалась, она бы определила его состояние как своего рода перегрузку организма: налицо и повышенная температура, и озноб, и общая слабость — стало быть, надо вызвать врача и несколько дней полежать в постели. Кейт сама прибегала к этому спасительному приему, когда жизнь становилась совсем уж невмоготу, ей ли не знать.

Сеньор Мартинес, отец многочисленного семейства, тоже, кажется, не слишком тревожился. И все-таки болезнь Джеффри явно была серьезной: он даже не замечал их; смотрел мимо или сквозь них, и все его тело сотрясали конвульсии, в которых было что-то чуть ли не театральное. Сеньор Мартинес, поглядев на нее своими живыми темными глазами, полными сочувствия и тепла, сказал:

— Alors, ça va mieux demain, oui, madame, j'en suis certain...[1] — как будто он врач, а она обеспокоенная мать. И ушел, добавив, что внизу ее ждет ужин, конечно, это не то, к чему они. очевидно, привыкли, тут ведь не фешенебельный отель, но что поделаешь, если нет выбора.

Столовая была не больше столовой в типичном буржуазном доме, каковой она, очевидно, некогда и служила. В ней стояла тяжелая мебель темного дерева и столы, накрытые тяжелыми белыми скатертями. На ужин подали суп с гренками, жареное мясо и фрукты. Прислуживала девушка, которая одновременно была и горничной, и официанткой, и помогала на кухне. В гостинице останавливались проезжие чиновники из центра, полицейские чины из окрестных участков и священники, исповедовавшие монахинь и возившие им святые дары.

Спать Кейт пошла вполне умиротворенная. Это было первое тихое место с тех пор, как она покинула свой большой сад в Блэкхите. Испанские пляжи, Стамбул, Всемирная продовольственная организация в Лондоне — все это оглушительно звенело, грохотало, кричало и безостановочно болтало. Здесь же среди ночи она проснулась от топота копыт коня или мула под окнами. Джеффри тоже проснулся и, как ни в чем не бывало, словно он и не выпадал из нормальной жизни на много часов, сел в постели и самым обычным голосом спросил у Кейт, чего бы ему сейчас поесть... и где они находятся?

Она объяснила. В тиши деревенской гостиницы, где в этот час все живое спало глубоким сном, Кейт и Джеффри снова соединились в любовном порыве. Он сказал:

— Значит, я все это время проболел?

Она подтвердила и, как у себя дома, прямо в халатике пошла вниз, в столовую, поискать чего-нибудь съестного, так как знала, что горничная и сеньор Мартинес, чья жена и дети уехали в Барселону к родственникам, давно уже спят. На большом серванте Кейт нашла

---

[1] Так вот, завтра дела пойдут лучше, да, да, мадам, я уверен *(франц.)*.

ковригу хлеба и масло, прикрытые от мух; намазала маслом несколько кусков хлеба, взяла немного фруктов и принесла все это в номер. Джеффри за время ее отсутствия успел помыться в ванне, причесаться, приодеться и рвался на улицу искать кафе или ресторанчик. Он буквально сгорал от нетерпения — и это настораживало. Его нервозность, возбуждение и непоседливость были тревожными признаками. Кейт еще раз попыталась растолковать ему, что в деревушке сейчас все спят, что они заехали далеко от протоптанных туристских троп, что только утром смогут тронуться дальше в путь, а сейчас надо набраться терпения и ждать. Он с жадностью набросился на бутерброды, как будто задался целью уничтожить их все за один присест.

Потом забрался в постель, лег и тут же уснул.

Может, утром ему будет лучше.

На следующее утро он проснулся рано, и они вместе спустились в столовую, где уже пил кофе сеньор Мартинес. Он был любезен, но держался как-то по-другому. По прибытии Кейт оставила оба их паспорта на конторке, но в суете и хлопотах вокруг больного сеньор Мартинес так и не выбрал минутки зарегистрировать своих постояльцев. Он сделал это сегодня утром. Вчера вечером Кейт и сеньора Мартинес объединяли родительские чувства у постели больного дитяти; сегодня же он не мог не считаться с тем, что его постояльцы состоят в недозволенной связи. Он был воплощением осуждения и скорби. Философического осуждения. А его добрые прекрасные глаза останавливались на любовниках, как бы говоря: «Мы бедные люди. Нам не до шалостей».

Покончив с завтраком, Кейт и Джеффри вышли на маленькую площадь. Она была совершенно пустынна. Только в тени под деревом спала собака. Августовское солнце с самого утра палило будто в полдень и успело выбелить все небо. Тихо журчал фонтан. Их внимание привлек большой прямоугольник стеклянной витрины. Это оказалось кафе, но работало оно только по вечерам: здесь ни у одной живой души не было времени прохлаждаться в разгар рабочего дня. Тогда они пошли по улочке, отходящей от площади, мимо кузницы и продуктовой лавки. Это была обыкновенная деревенская лавчонка. Она торговала луком, дешевой колбасой, бочковым оливковым маслом, сардинами, перемешанными с крупной солью и ни на что уже не похожими; большими красно-зелеными помидорами, резко пахнувшими виноградной лозой и землей; огромными ковригами бледного хлеба и зеленым перцем. В деревне обитало около ста семейств; прямо за домами начинались поля, где среди оливковых рощ и камней рос и наливался спелостью маис.

Они молча вернулись на площадь. Сеньор Мартинес наблюдал за их попытками проникнуть в прохладу кафе и решил поставить для них столик под деревом у главного входа в гостиницу. Он помахал им рукой, приглашая в тень, и принес по стакану минеральной воды с кусочком лимона. Они потягивали воду и знали, что за каждым их движением следят десятки глаз. Окна некоторых домов были закрыты ставнями, а за ставнями жили глаза. Раза два мимо них через площадь проходили фермеры, а может быть сезонные рабочие, и кланялись им. Люди здесь полны достоинства и сдержанности. Они остались такими, какими их помнил Джеффри. Здесь он нашел то, что так упорно искал,— и в сдержанном осуждении сеньора Мартинеса (который тем не менее находился в этот момент на кухне и обсуждал с поваром меню их предстоящего обеда — да не деревенского, а такого, чтобы гости остались довольны), и в женщинах, которые сидели или стояли за ставнями, предпочитая не показываться,

и в мужчинах, которые время от времени подходили к фонтану напиться.

И все же, что ни говори, это пытка — быть выставленным на обозрение всей деревне.

Их окружала нищета настолько откровенная, что даже одежда нашей пары, весьма и весьма ординарная с их точки зрения, была недоступна никому из здесь живущих; сумочка Кейт — до той поры она носила ее не задумываясь, а сейчас, наткнувшись взглядом на эту элегантную вещь из блестящей кожи, лежавшую на выскобленном деревянном столе, уже не могла отвести от нее глаз — стоила, по всей вероятности, месячного заработка здешнего сезонного рабочего. Проходя как-то по холлу отеля в Стамбуле, она увидела эту сумку и, решив себя побаловать, купила. Но не в том суть, не это главное — она знала, что ни один прохожий, ни одна женщина за ставнями не завидует платью, сумке, туфлям. Невыносимым для них было то, что олицетворяли Кейт и Джеффри в их глазах — они завидовали возможности путешествовать, этой праздной, веселой жизни, непринужденным манерам, раскованности в обращении друг с другом.

Они находились всего в пятидесяти милях от побережья; там, на побережье, они были бы парой, гладко вписывающейся в курортную жизнь. Все там живущие — во всяком случае туристы — перебирались из страны в страну на машинах, в автобусах, на пароходах, самолетах, по железной дороге, пешком, пересекали континенты, чтобы попасть на музыкальный фестиваль или просто посидеть в знаменитом ресторане,— словом, пользовались всем, что для жителей этой деревушки было недоступно.

Вот они сидят — Кейт Браун, сорокапятилетняя женщина, мать четырех детей, жена уважаемого врача, который, возможно, в этот момент читает на какой-нибудь научной конференции лекцию о патологических отклонениях нервной системы, и Джеффри, который почти наверняка через год будет усердно, но без огонька работать в юридической конторе своего дядюшки в Вашингтоне,— так называемые «любовники», и в их отношении друг к другу до того мало душевного волнения, что, когда они вспомнят об этом периоде в их жизни, слово «любовь» будет последним, которое придет им в голову. В этой деревне не было ни одной женщины или девушки, которая не отставала бы в своих взглядах от подобной свободы отношений больше чем на сто лет. Эталоном безнравственности для них все еще служила мадам Бовари; что же до мужчин, то если некоторых судьба и заставляла ехать куда-то на заработки, как брата сеньора Мартинеса, служившего официантом в Манчестере, то можно было с полной уверенностью сказать, что ни обычаев, ни нравов этого или другого разгульного города они не привезут в родную деревню. Надо сказать, что уезжали отсюда редко: жители деревни в основном были крестьяне, обрабатывавшие землю. Они выращивали маис и делали из него муку. Выращивали маслины и часть урожая продавали на рынке. Растили помидоры. Работали в поместье богатого аристократа, проводившего большую часть года в Мадриде или на берегу моря в собственной вилле, как и отец его, и дед; заработка этих людей едва хватало, чтобы не умереть с голоду.

К полудню солнце стало так припекать, что крона дерева, под которым сидели Кейт и Джеффри, превратилась в подобие тонких кружев; они решили спрятаться от жары в гостинице, но, не успев ступить через порог, Джеффри тут же упал на пол без сознания. Снова Кейт и сеньор Мартинес отнесли его наверх и положили на кровать.

И снова Джеффри ушел в себя, и куда бы ни был устремлен его невидящий взор: в потолок ли, на стены, или на полосатый квадрат света, падающего сквозь закрытое ставнями окно, или на сеньора Мартинеса,— в глазах стояло недоумение и возмущенный вопрос: по какому праву вы требуете, чтобы я резвился как козленок? Снова он взмок хоть выжимай. Сеньор Мартинес извинился и поднял веки молодого человека: вся слизистая была зеленовато-желтого цвета. Он молча показал Кейт на руки, желтевшие на фоне белого покрывала. Сокрушенно качая головой, сеньор Мартинес побрел вниз звонить тетушке доктора.

Та заверила его, что как только доктор позвонит домой — он обычно звонит, чтобы узнать, не было ли в его отсутствие вызовов,— она ему непременно передаст, что в гостинице лежит молодой американец, его лихорадит, он весь желтый и обливается потом. Она считает, сказал сеньор Мартинес, что это желтая лихорадка, от которой умер один ее родственник в Южной Америке. Он пожал плечами: конечно, эту добрейшую женщину нельзя принимать всерьез.

Кейт поднялась в комнату и обнаружила, что Джеффри не проявляет признаков жизни. Он лежал на спине безвольно, расслабившись, так что когда она взяла его руку и затем отпустила, та упала на кровать как ватная, с глухим стуком. Он выглядел так, будто душа его рассталась с телом, но Кейт продолжала говорить себе (мысленно, разумеется, как говорят о детях или даже о взрослых, которые сознательно воздвигают стену между собою и миром реальности): «Да, никуда не денешься, он должен сделать свой выбор в жизни: юрист или бродяга — иного для себя он не видит. А если б видел, то не валялся бы сейчас с температурой, весь желтый... но не такой уж больной, во всяком случае не такой больной, как, скажем, тот, у кого холера или даже корь».

И все же Джеффри был болен, по-настоящему болен, хотя, будь он бедняком-поденщиком или мелким фермером, для которого пропущенный день работы означает голод, он бы вовсе не считался больным. Нет, конечно, Кейт не осуждала его за это! Не осуждала, но в глубине души не могла не желать, чтобы он был в состоянии подняться на ноги, поехать к себе в Штаты и там переживать этот свой духовный кризис...

В столовой Кейт встретила тучного мужчину в форме и с пистолетом на боку. Это была военная форма.

Кейт вернулась в номер и, взглянув на Джеффри, увидела, что он в том же состоянии, в каком она его оставила. Она влила в него еще немного воды, тут же свалилась и заснула беспробудным сном.

Наутро, когда солнце ушло из комнаты, Кейт показалось, что оно как бы оставило свой отсвет на коже Джеффри. Она разыскала сеньора Мартинеса и попросила его снова позвонить доктору. Но телефон на сей раз вообще молчал: очевидно, тетушка все утренние часы посвящала молитвам в монастырском храме. Пока Кейт и сеньор Мартинес стояли у окна, решая, что делать дальше, на площади остановился грузовик. Это был видавший лучшие дни «фордик». Шофер стал наполнять радиатор водой из фонтана. Почти одновременно с «фордом» на площади появилась лошадь, впряженная в повозку, типичную испанскую повозку, которая вот уже много веков является неотъемлемой частью национального колорита. Лошадь мучила жажда, она направилась к фонтану и стала пить, а рядом с ней шофер грузовика набирал воду в пустую канистру из-под масла.

Хмурой сосредоточенности сеньора Мартинеса как не бывало; он выскочил из дома, переговорил с шофером и, вернувшись, сказал, что

этот человек — дорожный рабочий — довезет Джеффри до монастыря и оставит на попечение сестер, если его быстро соберут в дорогу.

Кейт с помощью сеньора Мартинеса попыталась одеть больного, который не сопротивлялся, но так отяжелел и обмяк, что им пришлось отказаться от этой затеи и просто-напросто завернуть его в одеяла. Голого, запеленутого, его снесли вниз и посадили в высокую кабину грузовика. Сеньор Мартинес сел вместе с Джеффри, так как с монашками можно было объясниться только по-испански. Они не могли вспомнить, как будет по-французски «желтуха», решили называть ее «la maladie jaune» [1], и Джеффри поехал в монастырь с этим дилетантским диагнозом.

Грузовик рванулся с площади, и Кейт видела, как Джеффри, словно подстреленный, осел на сиденье между хозяином гостиницы и шофером.

Это было в десять часов утра.

Вернувшись, сеньор Мартинес сообщил, что сестры с готовностью взялись выхаживать Джеффри; в пять он от имени Кейт позвонил в монастырь, и ему сказали, что Джеффри спит, что, по их мнению, он действительно серьезно болен, но что они ожидают приезда доктора из Аликанте, который обычно навещает их в сложных случаях.

И хотя Кейт ничем не могла помочь, она все же решила сходить в монастырь. Идти надо было по улице, которой она раньше не приметила: это была даже не улица, а скорее узкий проход, застроенный с обеих сторон однокомнатными хибарами, в которых ютилась беднота,— в каждой хибаре по семье. Двери стояли настежь раскрытые; каждая хибара была битком набита детьми всех возрастов; тут же находилась мать этих детей, обычно женщина возраста Кейт или чуть помоложе, но на вид глубокая старуха. У дверей среди кур, коз и прочей живности сидели на стульях старики. Ни молодежи, ни мужчин среднего возраста видно не было: все работали в поле. Кейт шла по этому проулку и смущенно улыбалась, сгорая от стыда,— никакие доводы рассудка не могли рассеять это чувство. Она без конца повторяла себе, что в пятидесяти милях отсюда, на побережье, она бы влилась в толпу курортников незамеченной, нисколько не отличаясь с точки зрения нравственности от сотен тысяч — а в эти месяцы даже миллионов — ей подобных. Но уговоры были бесполезны. Улыбки и приветствия этих несчастных женщин в стираных-перестиранных черных платьях, куча детей, ужасающая, дошедшая до крайности нищета — все это было откровенным обвинением ей, Кейт, которая, дружелюбно улыбаясь, в белом элегантном платье, с шикарной сумкой в руках, модно причесанная (кстати, в ее каштановых волосах на проборе появилась полоска седины) осторожно ступала по камням своими белыми, холеными ногами.

Пройдя сотню ярдов, Кейт дошла до конца проулка, упиравшегося в каменистый склон холма с оливковой рощей, по которой вилась проселочная дорога — по этой дороге сегодня утром трясся грузовик с Джеффри,— и, оглянувшись, увидела, что весь проулок забит женщинами в черном и босоногими ребятишками (точно сошедшими с полотен Мурильо), которые не отрываясь смотрят ей вслед.

С пылающим лицом шла она между оливковыми деревьями, которые затем сменились маисовыми полями, пока не дошла до приметного эвкалипта, благоухавшего в раскаленном воздухе еще сильнее, чем оливковые деревья. Здесь она повернула и вышла к монастырю. Высокая каменная стена уходила в обе стороны от железных ворот, за которыми был виден маленький чистенький дворик, а в нем — не-

[1] Желтая болезнь *(франц.)*.

сколько цветущих кустов и двухэтажное белое здание. Когда она пересекла дворик, взору ее открылись другие, тоже огромные ворота — по всей видимости, главные, а те, которые она прошла, были своего рода преддверием,— и за ними храм, господствующий над округой: над монастырем, оградой, узорчатыми воротами, оливковой рощей, полями, каменистой землей. Купол храма горел и сверкал, отражая пламя заката. Кейт постучала в какую-то дверь, только потом обнаружив, что это черный ход, и была встречена с улыбкой и приглашена внутрь сначала одной женщиной в черном одеянии, потом другой, третьей, ее обступили кольцом, все уже знали, кто она такая, знали, что она пришла навестить их пациента. Ее проводили в маленькую комнату в конце дворика, где на простой железной кровати под глянцевой картинкой с изображением Сердца Христова лежал Джеффри. На низкой тумбочке стояло распятие; на беленой стене висел крест из слоновой кости.

Джеффри под воздействием какого-то снадобья еще больше, чем утром, отдалился от внешнего мира. Он лежал отрешенный, безжизненный, холодный и влажный на ощупь, весь желтый — будто выкрашенный охрой. С таким же успехом Кейт могла вообще сюда не приходить, но она все-таки посидела немного у постели на плетеном стуле, а монахини тем временем угостили ее чашкой кофе с кусочком пирога, потом принесли бокал вина, сопровождая все это улыбками, благодарные ей за то, что она пришла и своим приходом предоставила им возможность сотворить еще одно доброе дело во славу господа. Наконец она поблагодарила их и ушла.

На улице бедняков к этому времени вернулись с полевых работ мужчины, и Кейт была рада, что уже наступили сумерки, казавшиеся еще гуще от яркого света ничем не прикрытых лампочек, который струился из каждой хибары. «Добрый вечер, добрый вечер, buenas tardes, buenos tardes» — эти приветствия сопровождали ее всю дорогу. А ребятишки бежали за ней по пыли, пока она не переступила порога гостиницы, где они, как стайка птиц, встретившая на пути препятствие, сразу повернули и с криками исчезли в темноте.

В столовой вместе с пожилым священником — это оказался тот самый доктор, которого ждали в монастыре,— она поужинала горячим густым супом, яичницей, перцем с помидорами и тушеной айвой. Она попросила священника позвонить ей, когда он осмотрит «ее мужа», выдержала его холодный взгляд, в котором, как ему казалось, не было никакого осуждения, и пошла к себе ждать звонка. Священнику предстояло пройти тот же путь, который не так давно проделала Кейт, потом, конечно, он побеседует с улыбчивыми монахинями в строгих черных одеждах и уже потом осмотрит Джеффри. Телефонный звонок раздался после полуночи, и сеньор Мартинес, поднявшись наверх, сообщил, что, по мнению отца Хуана, у молодого человека желтуха, но в то же время налицо кое-какие симптомы, которые противоречат этому диагнозу. Через три дня, когда в монастырь заедет с очередным визитом местный врач, можно будет поставить более точный диагноз.

Она легла спать и спала очень чутко, пребывая все время на грани бодрствования, как бы в мелком озере сновидений, где тени мыслей скользили по поверхности сознания как рыбы, холодные и неуловимые. Проснулась она рано, когда в воздухе еще плавали остатки сероватых предрассветных сумерек. Она села у окна понаблюдать, как пробуждается деревня.

Вскоре к фонтану подошел мужчина, подставил ладонь, направляя струю себе на лицо, затем наклонил голову к самому отверстию

и, повернув ее немного, стал пить; Кейт заметила первый слабый блик солнца на его бронзовой щеке.

Из одного дома вышла женщина и поставила деревянный стул у дверей на пыльную землю. Потом сходила в дом и снова вышла оттуда, неся в руках нож, эмалированную тарелку с горкой зеленого перца и пустую пластмассовую миску. Она была одета в заношенное черное платье — униформу простонародья Европы. С великими предосторожностями, будто рискуя жизнью, она села и поставила миску себе на колени, зажав ее между ними. Держа тарелку с перцем на согнутом локте левой руки, она принялась резать перец и бросать его в миску. Это была старая женщина, старая, усталая, с седеющими волосами, туго затянутыми в пучок на затылке. И только Кейт подумала: «Да нет, может, она не так уж и стара, как мне кажется, опять я столкнусь все с тем же», женщина подняла глаза и посмотрела прямо на Кейт, сидевшую у окна в пене белых оборок. Женщина улыбнулась ей; Кейт улыбнулась в ответ, сознавая, что ее улыбка не так искренна, как следовало бы; женщина в самом деле оказалась не старше самой Кейт, только была потрепана жизнью, как старая заезженная кляча.

Кейт отошла от окна и оделась. Ей принесли поднос с кофе, сдобными булочками и джемом. В комнату ворвалось солнце. Она закрыла ставни, чтобы спрятаться от ослепительного света, и поскольку никакого чтения у нее не было, кроме журналов недельной давности, которые здесь, в этом забытом богом уголке, как и предполагала Кейт, выглядели фальшивыми и глупыми, она праздно просидела все утро, пока не настало время обеда. Потом она вздремнула немного и снова отправилась в монастырь. Джеффри лежал в своей комнатке с беленными стенами.

И снова по улице нищих лачуг она возвратилась в гостиницу, только усилием воли заставив себя сделать это, потом опять отсиживалась в номере, пока не подошло время ужина, который здесь подавали в десять часов вечера; после ужина у нее мелькнуло желание пойти в кафе, где было полно народу. Но это оказалось немыслимым: там собирались одни мужчины. Даже в компании Джеффри ее появление выглядело бы нелепо и неуместно и было бы равносильно вторжению в чужую жизнь, жизнь завсегдатаев кафе, приходивших сюда как в свой второй дом.

Хорошо бы, подумала она, если б у нее хватило сил завершить то, в чем она, как ей казалось, так давно нуждается: осмыслить свою жизнь. Но у нее не было никаких мыслей — одни ощущения. Она мечтала о доме, о жизни в кругу семьи... но все это уже в прошлом. Тем не менее она продолжала думать, как если бы речь шла о будущем, и тут же одергивала себя: «С этим покончено, к прошлому возврата нет», но при этом в душе ее поднималась такая буря эмоций, что с ними порой бывало трудно сладить.

Кейт тосковала по мужу.

Ее душевная неуравновешенность перед отъездом из дома в мае, бесконечные переходы от потребности в любви к раздражению на самое себя за то, что такая потребность еще живет в ней; от желания полной свободы к боязливому желанию, чтобы свобода эта не была безграничной,— все это перешло теперь во всепоглощающую страсть к мужу, которую, однако, надо было сдерживать до осени.

Тоска по мужу не была тем голодом, который нельзя удовлетворить, она не доставляла Кейт мучений плоти и не приводила ее в состояние потерянности — просто все откладывалось до осени. До будущего, которому не суждено состояться — во всяком случае в том виде, в каком оно представлялось ее мужу, ей самой, ее детям до па-

мятного вечера в мае, перевернувшего всю ее жизнь. Это будущее не будет прямым продолжением предшествовавшего ему прошлого, лишь с нелепым перерывом на лето, вроде бы не имеющим сколько-нибудь важного значения. Нет, у нее будет будущее, но оно будет продолжением ее детских дней. Ибо ей все больше и больше казалось, что она понемногу начинает приходить в себя после приступа психоза, длившегося все эти годы — с того момента в раннем девичестве, когда природа порешила, что ей пора иметь мужчину (в то время она, разумеется, думала об этом более возвышенно), и до недавних пор, когда дурман начал рассеиваться. В те годы, когда она жила как в дурмане, ей казалось, что она предает самое себя. Ведь не только ее тело, ее желания, ее чувства — вся она тянулась, как подсолнух, к единственному мужчине, она протягивала мужу нечто очень ценное, протягивала детям, всем, с кем сталкивала ее судьба... но тщетно... никому это, оказывается, не было нужно, этого просто не замечали. И это нечто, которое она безотчетно предлагала людям, которым сама пренебрегала, равно как и все окружающие, как раз и было истинной сутью Кейт.

Даже сейчас, свободная от мелкой житейской суеты, предоставленная самой себе, в условиях, которые были ей недоступны раньше в круговороте повседневности, она никак не могла обрести душевный покой, не могла вдуматься, сосредоточиться, углубиться в себя — всеми своими помыслами она была устремлена в будущее, рвалась в объятия мужа, в стихию интимности, что была ее прошлым. Разум говорил ей, что вся ее прошлая жизнь — дурман. А она тосковала по этому прошлому, была одержима им. Огонь желания переносил ее из номера гостиницы, где она сейчас одиноко сидела, в супружескую спальню их дома, в объятия мужа; правда, холодный ветер гулял по комнатам, разнося облетевшие с деревьев листья по разным углам, но тепло не позволяло им вылететь, и этим теплом было ее прошлое.

На следующее утро Кейт пошла прогуляться по горным тропинкам. Когда она вернулась в гостиницу, сеньор Мартинес недовольно заметил, что она не должна ходить одна по такой жаре; он посочувствовал, что ей негде развлечься, и предложил пользоваться двориком, который обычно закрыт для постояльцев, но для нее будет открыт.

В середине дворика оказался небольшой водоем, где плавали золотые рыбки, но их почти не было видно из-за слоя пыли на поверхности воды и из-за того, что он почти сплошь зарос водорослями, листья которых были унизаны пузырьками воздуха. В углу двора, в тени, сидела старуха, тетка жены сеньора Мартинеса. Она читала Библию и одновременно вязала что-то из черной шерсти.

Вечером Кейт снова навестила Джеффри. Он по-прежнему за весь день не произнес ни слова, сообщили монахини, но как только Кейт вошла, он открыл глаза, вроде бы узнав ее, и вполне нормальным голосом сказал:

— А-а, привет, привет, как жизнь? — И тут же снова погрузился не то в сон, не то в забытье.

Вечером в монастырь зашел местный врач; сестры позвонили сеньору Мартинесу и сказали, что у Джеффри, возможно, тиф, но беспокоиться пока не стоит — это всего лишь предварительный диагноз.

На следующее утро этот диагноз был снят, но и желтуха не подтвердилась. Прошел день, и еще один. Кейт регулярно навещала Джеффри, сидела у его изголовья, ходила по нищенским улочкам и оливковым рощам в монастырь; она сидела во дворике гостиницы,

с каким-то яростным неистовством подавляя в себе все эмоции... и снова ей начал сниться тюлень. Она вживалась в атмосферу видения настолько, что даже проснувшись, наяву, продолжала жить его духом, испытывая порой такие же вспышки чувства — если это слово применимо в данном случае,— какие она испытывала во сне к тюленю. Она всю жизнь была в хороших отношениях со снами, всегда была готова найти что-то поучительное в них.

Однажды во время сиесты, в жаркое послеполуденное время, Кейт вместе с тюленем оказалась на арене: древнеримский амфитеатр на фоне северного пейзажа. Она находилась в нижней части арены, на уровне земли. Внезапно из клеток, скрытых в стенах, выскочили дикие звери. Львы, леопарды, волки, тигры. Кейт с тюленем бросилась бежать, но хищники не отставали. Она стала взбираться по опорам и, сделав отчаянное усилие, вскарабкалась на край арены, но оказалось, что это всего лишь шаткая деревянная перекладина, которая тряслась и дрожала под тяжестью Кейт и тюленя. Она вцепилась в эту перекладину, подобрав как можно выше под себя ноги и стараясь подтянуть к себе тюленя, чтобы спасти его от клыков и когтей преследователей. Звери громко хрипели и рычали. Она подумала, что ей так долго не продержаться и она не сумеет уберечь тюленя. Силы убывали с каждой минутой, а хищники прыгали, рычали и щелкали зубами у самых ее пяток, всего в нескольких дюймах от израненного хвоста тюленя. Наконец их бешеные прыжки прекратились, и вскоре она со своей ношей была уже далеко от преследователей, которых оставалось все меньше и меньше, а потом они и вовсе исчезли.

Прошла уже неделя, как Джеффри лежал больной в монастыре. Кейт навещала его ежедневно, а иногда и дважды в день. Он стал ее узнавать, и они каждый раз беседовали, не очень подолгу, правда, но мило и по-дружески, как в самом начале, в Стамбуле. Его лихорадило волнами: то горит как в огне, то температура падает. Как-то он сказал, что вполне здесь счастлив: лежать в этой спартанской обстановке, целыми днями глядя в солнечный прямоугольник окна, где видны лишь дерево, клумба с петуниями да куст жасмина,— вот все, что ему нужно... надолго ли, он и сам не знает. Он не верил, что болен; он забыл, что какое-то время был в полубессознательном состоянии и много дней без сознания совсем. Ему казалось, что он просто отдыхает в монастыре — лежит спокойно в белоснежной постели, в чистой комнате с белыми стенами и созерцает зелень дерева и цветы под окном.

Время, свободное от посещений монастыря, Кейт проводила во дворике гостиницы. А вечерами сидела у окна, словно бдительный часовой на страже своего покоя, отгоняя предательские воспоминания, желания, тщетные надежды, и любовалась полной луной.

Однажды вечером поход в монастырь оказался ей не под силу. Стояла изнурительная жара, Кейт слишком долго спала во время сиесты, ее даже чуть подташнивало от местной, тяжелой, не по сезону, пищи, и вдобавок она легла в постель только под утро, с трудом оторвавшись от залитого лунным светом окна, от звезд и огонька на монастырских воротах, мерцавшего с далекого склона сквозь листву. Она попросила сеньора Мартинеса позвонить в монастырь и передать Джеффри, что она не сможет прийти, и осталась лежать в постели. Она не спустилась вниз к ужину, отослала завтрак назад нетронутым, и когда сеньор Мартинес зашел справиться о здоровье, она по его лицу поняла, что тоже заболела.

Только и всего? Она чувствовала себя так... просто слов нет, чтобы описать это состояние, но известие о том, что у нее желтуха или

что-то там еще, чем болен Джеффри, прозвучало успокаивающе. Всю прошлую ночь она провела в постели — нести дежурство у окна уже не было сил,— наблюдая движение луны по прямоугольнику, усеянному звездами, и в то же время продолжая идти на север с тюленем на руках. Она верила, что где-то впереди должно быть море, потому что, если там его не окажется, оба они погибнут. На землю начал опускаться пушистый снежок, заполняя щели и впадины острых черных скал. Она дрожала от холода и была рада, что тело тюленя прикрывает ее. Он положил голову ей на плечо, и она ощущала нежное трение мягких щетинок о щеку. Жизнь тюленя висела на волоске, и Кейт это знала. Она знала, что, идя навстречу зиме, отдает на милость стихии и свою собственную жизнь, и жизнь животного... словно подставляя всем ветрам маленький сухой лист с дерева на открытой ладони.

Сеньор Мартинес спросил, можно ли ему позвонить тетушке доктора и передать, чтобы доктор пришел к Кейт и посмотрел ее. Кейт понимала, что она делает первый шаг по пути, который скорее всего приведет ее в келью с побеленными стенами по соседству с Джеффри. Коль скоро уж она заболела или заболеет со дня на день, лучше прибиваться к родному дому. Если до сих пор она и думать не смела о том, чтобы бросить Джеффри здесь одного, считая подобный поступок жестоким и аморальным, то сейчас она стала убеждать себя, что он вполне взрослый, тридцатилетний человек, что он будет жить и даже процветать независимо от того, сидит она или не сидит у его изголовья по часу каждый день, а то и два раза в день,— сейчас все равно она делать этого уже не в состоянии. Она может оставить его без всяких угрызений совести. Через сеньора Мартинеса и монахинь она все объяснила Джеффри на словах по телефону и, попросив у хозяина бумаги — в номерах бумагу не держали,— написала ему коротенькую шутливую, грустно-ироническую записку с изложением ситуации; сочиняя ее, Кейт поняла, что действительно больна, поскольку такой пустяк стоил ей неимоверных усилий. Когда-нибудь он ответит ей аналогичным посланием. К тому времени сама эта деревушка и их столь несхожие переживания здесь уже уйдут в прошлое, как старые киноленты с таким же в точности началом: незнакомые мужчина и женщина трясутся бок о бок в провинциальном автобусе и по воле случая застревают в глухой деревушке.

Уплатив неправдоподобно мало по счету, Кейт стояла со своим чемоданом у фонтана в ожидании автобуса; сеньор Мартинес долго сжимал ее руки в своих, и глаза его были полны слез. У нее тоже повлажнели глаза. И снова она почувствовала неловкость, ибо сеньор Мартинес, симпатизируя ей — да-да, он ей симпатизировал, и не скрывал этого, и понимал, почему этот молодой бедолага остановил свой выбор именно на этой женщине, несмотря на то, что она намного старше его (в паспортах ведь все сказано), — все-таки был шокирован по сей день, шокирован и опечален: он знал, что в современном мире подобные отношения между людьми — дело обычное, но не считал, что мир стал от этого лучше; все это и многое другое он постарался вложить в свое рукопожатие, и его живые, подернутые влагой глаза выражали те же чувства, пока автобус стоял и слегка подрагивал на раннем утреннем солнце, ожидая двух пассажиров — Кейт и одну молоденькую девушку, дочь фермера, выращивающего помидоры в поле, мимо которого Кейт проходила не раз по дороге в монастырь; девушка покидала родную деревню, чтобы на месяц устроиться горничной в каком-нибудь доходном туристском отеле; потом она собиралась вернуться и помогать матери, у которой на руках было еще шестеро детей.

Сеньор Мартинес погрузил в автобус чемодан Кейт и предупредил шофера, что сеньоре нездоровится и о ней надо будет позаботиться в пути. В заботе она действительно нуждалась; по дороге к побережью ее укачало до тошноты, извела духота и жара в автобусе, и, когда она наконец попала на берег моря, у нее все кружилось перед глазами от ослепительного блеска солнца. Был полдень. Голова у Кейт раскалывалась, и следовало бы отлежаться в постели, но она была одержима одной мыслью — как можно скорее вернуться в Лондон.

На побережье она пересела в другой автобус и вскоре добралась до городка, где, по ее расчетам, можно было найти туристское бюро и заказать билеты; в пять часов вечера Кейт уже была у врача, а в нескольких милях отсюда, в глубине полуострова, среди нищих, полуголодных испанцев медицинской помощи нужно ждать много дней и получить ее можно только при посредничестве церкви.

Она выложила доктору все свои познания о желтухе и тифе, а он, осмотрев ее, сказал, что, по его мнению, она страдает обыкновенным малокровием. Он рекомендует ей сразу же по прибытии в Лондон обратиться к своему лечащему врачу, хотя считает, что скоро она будет чувствовать себя вполне нормально. Он прописал Кейт успокаивающие таблетки и взял с нее не больше не меньше как пять фунтов. В разгар золотого половодья, когда деньги текут рекой, да если вдобавок сеньора богата — одно ее платье, туфли и сумочка чего стоят! — что может быть справедливее?

Сеньора же, узнавшая в отношении доктора к себе свое собственное отношение к Джеффри, чью болезнь она считала — поначалу, во всяком случае,— депрессией, тем не менее была слишком слаба, чтобы толкаться в автобусе или другом общественном транспорте, и наняла такси до аэропорта.

Там она сначала дремала в кресле, а затем, поскольку вылет все время откладывался, легла на скамейку лицом к спинке, избегая тем самым любопытных и осуждающих взглядов других пассажиров. Ее так мутило и выворачивало наизнанку — характерные симптомы этого непонятного заболевания,— что на следующее утро на борту самолета она поняла, какую совершила ошибку, пустившись в дорогу в таком состоянии: она была уверена, что пришел ее последний час, надеялась, что будет наконец избавлена от страданий, и, подлетая к Лондону, держалась только мыслью о собственной постели в собственной комнате с занавесками в цветочек и с пробивающимися сквозь раскидистую крону дерева солнечными зайчиками,— в комнате, наполненной лунным светом или рассеянным серым светом унылого облачного неба; о, она едва могла дождаться, когда переступит порог родного дома, куда, возможно, уже вернулся кто-нибудь из ее бродяг-детей, и даже сможет помочь ей в чем-то на первых порах. Она уже дала шоферу адрес своего дома, как вдруг вспомнила, что в данное время не имеет на свой дом никаких прав: ведь там живут чужие люди. Тогда она попросила шофера подождать, пока она соберется с мыслями. Такси остановилось, счетчик продолжал щелкать, а Кейт думала о том, в какое положение она попала: рассчитывать на то, что удастся найти свободный номер в лондонском отеле в августе, может только сумасшедший. А обращаться к друзьям не хотелось, особенно к Мэри, которая с радостью бы приютила у себя приятельницу — Кейт в этом ни минуты не сомневалась. При условии, конечно, что у нее не началась очередная интрижка — ведь ее детей тоже не было в городе.

Наконец Кейт рассказала о своем затруднительном положении шоферу, намекнув, что его услуги будут вознаграждены. Он помчал

ее в Лондон, время от времени поглядывая назад, чтобы понять, насколько больна его пассажирка и не следует ли везти ее прямо в больницу; так они объехали один за другим четыре отеля, но тщетно. Наконец, в Блумбери он зашел в отель, который был явно не по карману Кейт-домохозяйке, но подходил Кейт в ее новом качестве, и, вернувшись, сказал, что если она в состоянии немного подождать, то приблизительно через час освободится двуспальный номер с ванной; стоимость номера привела ее в ужас, но выбора не было.

Отель

Расплатившись с шофером, Кейт внесла аванс за номер и, ответив утвердительно на вежливый вопрос, в состоянии ли она подождать немного в вестибюле, пока не освободится номер, села в кресло и стала ждать. Внимание посторонних людей, их забота были очень трогательны, и она принимала их: что поделаешь, ведь не в больницу же сразу бежать; эта перспектива была отвергнута Кейт в результате переговоров шофера с портье — о возможности занесения инфекции, эпидемии и так далее. Нет, портье, шофер и сама Кейт единодушно решили, что у нее скорее нервное истощение, чем какая-нибудь болезнь, и она осталась сидеть совершенно обессиленная в вестибюле, стараясь сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Если смотреть с выгодной наблюдательной позиции — с вершины Альп, например, сквозь окуляры сверхмощного бинокля,— окружающее будет выглядеть так, словно вся Европа снялась с насиженных мест и началось великое переселение народов. Этот вестибюль, обрамленный островками цветов — искусственных, правда, но имитирующих природу с таким мастерством, что живые рядом с ними казались бы жалкими и лишними,— униформа служащих отеля, нарядно одетая, праздная публика поначалу отвлекли внимание Кейт, и она упустила одно весьма примечательное обстоятельство: оказывается, она была здесь чуть ли не единственной англичанкой. Рассыльные и носильщики, снующие туда-сюда, приветливые, услужливые клерки за своими конторками — нечто вроде заботливых нянек для приезжающих (такой же нянькой, таким же клерком совсем недавно была и сама Кейт), официанты и, наконец, гости — все были из разных уголков Европы. Как будто она и не покидала Стамбул; такую разношерстную публику с одинаковым успехом можно встретить и в Малаге, и в Аликанте — где угодно, кроме, конечно, той деревушки, откуда она уехала вчера. Она напрягла слух, чтобы звуки чужой речи стали более доступны для восприятия, и в то же время ее слух, словно губка, впитывал целые потоки речи, смысл которой без всяких усилий с ее стороны оседал в ее мозгу. Молодая пара неподалеку говорила по-немецки; они уставились на нее, и Кейт не поняла, что же в ней так привлекло их внимание. Они продолжали упорно, но дружелюбно на нее смотреть. Оба были очень красивы и, без сомнения, богаты. На нем, несмотря на типично лондонский удушливый летний день, было пальто из сероватого меха, похожего на кротовый. Оно было застегнуто на все пуговицы, кроме верхней у ворота, откуда выглядывала ослепительно белая шелковая рубашка. У него были темные ласковые глаза, волосы, подстриженные под пажа, лежали черными кольцами. Девушка была его двойником. Она тоже была брюнетка и подстрижена в точности как он. На ней было длинное платье из белого крепдешина со множеством мельчайших, обтянутых материей пуговиц спереди и на рукавах. Тонкие, гибкие пальцы мо-

лодых людей были сплошь унизаны кольцами. Даже в этой сытой, праздной толпе эти двое бросались в глаза, как олицетворение гармонии и полной ублаготворенности. Стоило этой паре появиться где-нибудь, как всем становилось ясно, что, едят ли они, занимаются ли любовью, беседуют ли, спят, это не просто отправление жизненных функций, а каждодневный праздник, таинство. Посмотришь на них, и создается впечатление, что их всю жизнь только и делали, что холили и лелеяли... Кейт была не единственной, кого заинтересовала эта пара. Поэтому-то, видно, они так бесцеремонно и взирали на нее, как бы говоря: «Да, нам не в диковинку быть в центре внимания; этим мы расплачиваемся за то, что элегантно одеты, молоды и красивы. Но всему есть предел!» Кейт отвела взгляд и решила послушать, о чем они говорят по-немецки, но теперь они говорили по-французски и обсуждали, взять ли им машину сейчас и махнуть к друзьям, живущим где-то в Уилтшире, или тронуться в путь после ленча — нет, в ресторане, разумеется: здесь вряд ли можно найти что-нибудь удобоваримое... Звуки их речи то приближались, то удалялись, словно Кейт обмахивалась веером; лоб у нее был холодный и влажный; над ней склонилась молодая улыбающаяся женщина в чем-то броском, черно-белом, и на английском языке с иностранным акцентом предложила следовать за ней. Кейт смотрела на нее пустым, невидящим взглядом, и той пришлось повторить свое предложение.

— Извините,— пробормотала Кейт,— мне что-то нездоровится.

Она с трудом стала подниматься на ноги, и девушке пришлось ее поддержать. Тепло и забота уже стали обволакивать Кейт: о да, эта девушка знала свое дело — кто лучше Кейт мог оценить это, когда она сама еще так недавно исполняла те же обязанности.

— О, какая жалость, меня предупредили, что вы нездоровы, вы и выглядите не лучшим образом, давайте-ка я провожу вас в номер— вам, видно, следует полежать.

Такого обслуживания по высшему классу, за которое и заплачено по высшему тарифу, сразу не получишь, его приходится дожидаться — особенно в разгар лета, в августе,— но уж когда настает твоя очередь, получаешь внимание и заботу сполна.

Согретая любовью и участием, Кейт вскоре уже была в своем номере, и девушка по имени Аня, приехавшая в Англию из Австрии для совершенствования в профессии администратора отеля, которой она и без того превосходно владела, помогла Кейт раздеться, уложила ее в постель, задернула шторы, чтобы создать мягкий полумрак, заказала чай с лимоном и сухое печенье, предписала ей полный покой... и удалилась, оставив Кейт на попечение другой девушки, итальянки, такой же доброжелательной и заботливой и тоже приехавшей в Англию для дальнейшего освоения тонкостей профессии, а также для совершенствования в английском языке. Она еще не настолько преуспела в сфере обслуживания, как ее коллега Аня, ибо если всеохватывающая теплота и забота Ани распространялись на все этажи отеля, то Сильвии пока хватало всего на один этаж.

Сильвия тоже ушла, предложив с неизменной улыбкой свои услуги: пусть Кейт нажмет соответствующую кнопку на панели, как только ей что-нибудь понадобится.

Кейт осталась, наконец, одна в комнате, которая по размерам была не больше самой маленькой спальни в ее доме. Все здесь было продумано и рационально. Односпальная кровать, в которой она лежала, была такой же узкой, как и та, что Кейт и Майкл купили после свадьбы, когда они могли позволить себе лишь самую маленькую из двуспальных кроватей. Вторая, родная сестра первой, стояла

параллельно на расстоянии вытянутой руки, покрытая дымчато-розовым покрывалом, с двумя небрежно брошенными поверх него подушками в розовых наволочках, которые должны были напоминать постояльцам о доме, о домашнем уюте; ни одной лишней вещицы, все практично до предела. Гардины — плотные, тоже в розовых тонах, такие обычно стираются машиной, а не вручную и после стирки не нуждаются в утюжке. Какой смысл жить в отеле, если ты все равно остаешься домашней хозяйкой? Но Кейт упорно продолжала инвентаризацию комнаты: ковер серого цвета — тоже практично, не такой маркий. Вот со стенами вышла промашка: белые обои да еще с какими-то вмятинами вроде оспин, в которые всегда забивается пыль, такие стены, наверно, надо пылесосить не менее двух раз в неделю. В номере еще стояли телевизор, радиоприемник и в изголовье кровати — панель с кнопками и переключателями.

Но тихой эту комнату отнюдь нельзя было назвать: бушевало и неистовствовало уличное движение под окнами, которые из-за погоды волей-неволей приходилось держать открытыми настежь, и, кроме того, откуда-то из конца коридора все время слышался гул голосов и взрывы смеха: по всей вероятности, там было помещение для прислуги. Так что Кейт могла оставаться в приятном полумраке, не двигаясь и не беспокоясь ни о чем... но о тишине нечего было и мечтать.

Однако это не мешало Кейт погрузиться в царство сна, пока болезнь, какой бы она ни оказалась, не оставит ее. Неужели это желтуха? Вряд ли, ведь на коже нет и намека на желтизну. Кроме того, нет и озноба, напротив, жар, точно тело ее все еще хранит палящий зной Испании. Ее лихорадило, и голова раскалывалась на части. Но с другой стороны, ее все время мутило, и было такое ощущение, что глубоко внутри все застыло, несмотря на сухой жар кожи... Только сейчас она осознала, насколько ужасным было это путешествие на тряских автобусах, в самолете и, наконец, в такси — какой-то кошмар, адский перпетуум-мобиле, а внутри — кусок льда, то и дело подкатывавший к горлу.

Стоило ей об этом подумать, как ее тут же стошнило. Потом еще раз... Держась за раковину двумя руками, она увидела в зеркале иззелена-белое лицо с двумя лихорадочно-красными пятнами на щеках и прямые пряди тусклых рыжих волос, свисающих сосульками вниз. Седина пробивалась со страшной быстротой. Черты лица заострились, скулы как-то сразу обозначились и стали резко выпирать, а кожа одрябла и повисла складками. Если бы она появилась в таком виде в той дальней испанской деревне, бедные крестьянки приняли бы ее за свою; она еле дотащилась до кровати и словно провалилась куда-то. Она услышала тихий стук в дверь и увидела склоненное над ней улыбающееся лицо Сильвии. Но не шелохнулась — она как будто погрузилась под воду, в темную пучину, где день от ночи отличался лишь направлением пучков света: если свет был непереносим для глаз и падал из окна вертикальными снопами и вдобавок с улицы раздавался шум, значит, был день, а если свет виднелся лишь горизонтальной полосой у самого пола и не так сильно слепил глаза, хотя и от него хотелось заслониться, значит, стояла ночь. Сильвия заходила часто, каждый раз принося напиток, который предписывалось подавать в таких случаях: лимонный сок со взбитым белком. Было вкусно, и Кейт сразу же в присутствии девушки выпивала его залпом... но стоило Сильвии выйти из комнаты, как Кейт бежала в туалет, и ее рвало. Ей приходилось скрывать свое состояние, так как она знала, что Сильвия приставлена к ней: администрация хочет быть уверена, что Кейт не больна чем-то таким, что может скомпромети-

ровать отель в глазах властей, и Сильвия докладывает кому надо о состоянии Кейт — точно так же поступала бы сама Кейт на ее месте. Она не осуждала Сильвию — просто принимала меры предосторожности, чтобы скрыть от девушки, насколько часты и опустошительны у нее приступы рвоты и, что еще хуже, насколько болезненно она переносит шум. Этот неумолчный шум изматывал Кейт, все время находившуюся на грани забытья и бодрствования, обрушивался на нее как лавина, от него ломило кости во всем теле; скрежет тормозов, доносившийся с улицы, пронизывал ее до мозга костей, а многоязыкий говор и топот ног в коридоре отдавались ударами молота в зыбком мире ее сознания.

Несколько раз что-то тяжело прогрохотало под окнами, и, видимо, она спросила об этом у Сильвии, так как у нее в сознании отложилось объяснение девушки, что это приезжают грузовики, доставляющие в отель все необходимое: моющие средства, продукты, напитки, сигареты и прочее,— что они совершают рейсы в течение всего дня и большей части ночи. Они лязгали, скрежетали и грохотали, а тонкие стены здания и стекла в окнах вибрировали от сотрясения воздуха.

Должно быть, Кейт разговаривала с неизменно любезной и милой Сильвией и на другие темы. Она, например, знала теперь, что Сильвия приехала из деревни в окрестностях Венеции, где «мой папа держит гостиницу, и мы все у него при деле». Сама Сильвия кем только не работала у отца: и официанткой, и горничной, и поварихой, а однажды даже заменяла его, когда он с матерью в прошлом году отдыхал в Швеции. Через год она поедет на практику в Лион, где будет выполнять те же функции, которые лежат здесь на Ане: продвинется по служебной лестнице на одну ступеньку вверх. А еще через год? Выйдет замуж за своего жениха, который сейчас в Цюрихе, изучает виноделие. Они будут работать в одном и том же отеле, может быть в Италии, но не обязательно; возможно, во Франции, в Германии... или даже здесь, в Англии. В наши дни везде можно устроиться, не так ли? Она уже видела себя и своего жениха в роли управляющих фешенебельным отелем — как этот, например, или еще лучше. Здесь дело поставлено на широкую ногу, спору нет, отель произвел на нее приятное впечатление, но когда придет время, она бы предпочла иметь свое заведение где-нибудь поближе к природе и подальше от городской сутолоки, как, скажем, у отца, только на более высоком уровне, куда будут съезжаться сливки общества, те, кто не привык считать деньги и кто может позволить себе роскошь простоты, роскошь полного единения с природой и вообще совершенства во всем, включая, само собой разумеется, обслуживание по высшему классу. К тому времени самой Сильвии, разумеется, уже не надо будет расточать свою отзывчивость и всеобъемлющую любовь по первому зову; для этой цели будут наняты другие люди.

Но в данную минуту она играла свою роль настолько мило и естественно, что лицо ее, склоненное над Кейт, было олицетворением доброты и убежденности, что все кончится хорошо; а это как раз то, что нужно для успокоения больного человека. И не приходится удивляться, что этот красивый молодой человек и девушка, которых она видела в вестибюле, держатся с такой уверенностью, с таким превосходством и такой непринужденной властностью: самоотдача Сильвии и тысячи ей подобных сформировали их характер. Где-то они сейчас? В Швейцарии? В Греции? Впрочем, они вольные птицы, им не обязательно ограничивать себя рамками Европы: с таким же успехом они могут сейчас оказаться и в Южной Америке, и в Исландии.

Кейт внезапно поняла, что лежит с открытыми глазами в полной

тишине. Не было слышно топота ног в коридоре, и уличный шум не врывался в комнату. Ей захотелось есть. Позвонив, она узнала, что сейчас четыре часа утра, но решила, коль скоро уж она попала в такой фешенебельный отель, воспользоваться удобствами, которые он предоставляет. Официант принес ей холодные закуски и какое-то приятное на вкус вино, но все-таки Кейт, очевидно, поспешила. Не успела она отправить в рот последний кусок, как ее вырвало, но на этот раз голова осталась ясной, и Кейт готова была встретить новый день. А день уже вступал в свои права: с шумом, с ярким светом, режущим глаза. Она поднялась с постели и оделась. Одежда повисла на ней как на вешалке; она похудела, если верить весам, на пятнадцать фунтов. За какое же, интересно, время? Кейт напрягла память, но смогла лишь кое-как сообразить, что сейчас, должно быть, начало сентября.

Шторы в комнате, наконец, подняты; взору открылась площадь, забитая горячим металлом машин, наверху — буйная, отяжелевшая от влаги листва. В оконном стекле Кейт увидела женщину с выпирающими отовсюду костями: острые локти, острые колени над сухими икрами; маленькие темные, беспокойные глаза на белом осунувшемся лице, обрамленном свалявшейся шапкой отливающих медью волос. Седина на проборе стала уже в три пальца шириной. У нее не было ничего общего с той миловидной, холеной хозяйкой дома в южном Лондоне; люди, встречавшиеся с доброжелательной, приветливой и неизменно элегантной Кейт в бытность ее во Всемирной продовольственной организации в Лондоне, да и в Стамбуле тоже, сейчас ни за что не узнали бы ее.

Вид портили волосы... но это дело поправимое: именно их-то как раз проще всего привести в порядок. Она тут же позвонила в парикмахерскую при отеле и узнала, что ею смогут заняться только к вечеру; кроме того, она обнаружила еще одну вещь: оказывается, у нее нет сил для осуществления задуманного ею плана, ради чего, собственно, она и заставила себя подняться с постели и одеться, а именно: она намеревалась пройти милю-другую, отделяющую отель от Всемирной продовольственной организации, и взять там письма на свое имя, накопившиеся, как она думала, за время ее отсутствия. Она потеряла сознание; очнувшись на полу, обнаружила, что поцарапала себе плечо, потом добралась до постели и попросила, чтобы отправили посыльного за ее корреспонденцией. Письма принесли; их оказалось немного. Это были письма от мужа, которых ей так недоставало. Сама она все это время отделывалась открытками, правда, из Стамбула она все-таки послала ему большое письмо, где упомянула, что собирается «заскочить» в Испанию: он наверняка подумает, что ей подвернулся интересный спутник, и она решила сразу же признаться, чтобы дать мужу время освоиться с этой мыслью. От Майкла было два письма, теплых, шутливых, с массой информации обо всем на свете, в частности о похождениях их дочери, которая гостила у друзей в Филадельфии и явно была по уши влюблена. Эти письма будто разом смыли все мрачные мысли Кейт об ее замужестве и о том положении, в какое она попала. Теперь ей казалось, что она вела себя по-детски, тая обиду на Майкла за его донжуанские похождения: да они ничего не стоят, эти похождения... рядом с таким, скажем, проявлением близости двух людей, когда его рука тянется к ее руке и руки сплетаются в нежном пожатии, символизирующем двадцатипятилетний супружеский союз. Пустая кровать рядом, на расстоянии вытянутой руки, унижала ее, и вообще ее пребывание здесь, то, что она, пусть ненадолго, бросила заведенный порядок жизни, казалось ей заблуждением выжившей из ума женщины. Си-

ла этих переживаний, ее упорное нежелание расставаться с постелью, слезливость и внезапный порыв послать телеграмму Майклу, чтобы он скорее вернулся домой,— все это доказывало, что Кейт еще далеко до выздоровления и, может быть, даже стоит вызвать врача. Решив, что так она и сделает, Кейт снова погрузилась в сонную одурь.

В середине сентября Кейт с трудом выбралась, наконец, из постели. Она еще больше потеряла в весе. Лицо осунулось, жесткие, свалявшиеся волосы стояли торчком — ярко-рыжие, с седыми корнями. Она не могла расчесать их даже щеткой. Впрочем, достаточно провести два часа в парикмахерской — и у нее снова будут блестящие, шелковистые волосы, которые будут лежать тяжелой волной — прической в ее стиле. Во всяком случае, таков был ее стиль на протяжении последних трех месяцев до болезни. Но есть ли смысл вообще заниматься прической, когда она сейчас — ходячие мощи? Подумав об этом, Кейт поняла, что ей просто не вынести сидения под колпаком сушилки в парикмахерской.

Она зачесала волосы назад, правда, эта прическа ей уже не по возрасту, но ни на что другое у нее просто не было сил. Миновав шумный вестибюль,— там воздух был настолько насыщен запахом духов, что Кейт чуть опять не стало дурно,— она вышла на улицу, где кишмя кишели туристы, жаждущие новых ощущений. На нее оглядывались. Увидев свое отражение в витрине магазина, она поняла почему. Ей явно не хватало косынки на голову и чего-нибудь вроде шали, чтобы прикрыть плечи, на которых болталось платье-мешок. Она зашла в ближайший дамский магазин и, купив вместо косынки первую попавшуюся шляпу, натянула ее низко на лоб. Теперь она чувствовала себя защищенной от нескромных взглядов и неодобрительных реплик.

Она нашла нужный автобус, с великим трудом забралась на второй этаж и сидела, слегка покачиваясь от слабости. Автобус увозил ее далеко от отеля, на юг, к ее родному дому. Ей хотелось посмотреть на него. Нет, не войти, а только взглянуть. Она никогда не видела свой дом таким, как сейчас, заселенным чужими людьми. Это все равно что взглянуть на самое себя со стороны.

Она сошла с автобуса, пересела на другой и доехала до конца улицы, где стоял ее дом. Это была широкая, обсаженная деревьями аллея. Никого из знакомых поблизости не оказалось. На тротуаре сидел спаниель мистера Джэспера и тяжело дышал. Он узнал Кейт, но не двинулся с места. С его языка стекали огромные капли слюны. Только теперь, увидев задыхавшуюся собаку, она поняла, что сегодня очень жарко и что сама она тоже в испарине.

Она не спеша пошла по улице. У нее было такое чувство, будто она только сейчас вернулась домой, в Англию, из-за границы. Вот теперь она по-настоящему дома. Молоденькая миссис Хэтч копошилась возле куста белых роз в палисаднике перед своим домом. Она подняла глаза на Кейт, проходившую мимо, потом взглянула еще, но когда Кейт собралась поздороваться с ней, та уже потеряла интерес к незнакомке и продолжала копаться в земле.

Кейт стояла под сенью платанов у входа в свой сад. В листве дерева, под которым они сидели в тот решающий вечер, ворковала голубка. Земля в саду пересохла. Газон перед домом надо бы постричь; жильцы, наверное, приведут его в порядок в спешке последних минут перед возвращением хозяев. Посреди газона лежал на боку шезлонг — казалось, его бросили тут и забыли.

Кейт долго стояла в плотной тени платана. А вдруг кто-нибудь выйдет? Но никого не было видно. Миссис Эндерс, вероятно, готовит

на кухне? Или ушла за покупками? Но какое дело Кейт до их забот? Главное, она теперь представляла себе, как в недалеком будущем будет выглядеть ее дом, ее очаг, когда они с Майклом уедут отсюда, снимут где-нибудь квартиру и будут там постоянно жить. Вот говорят «мой дом», «мой очаг». Глупости все это. Люди просто протекают сквозь дома, а сами дома как стояли, так и стоят, только чуть-чуть приспосабливаются к своим жильцам. И этот дом, в стенах которого Кейт прожила почти четверть века, не вызывал у нее сейчас никаких эмоций. Ничего. Она чувствовала какую-то опустошенность и легкость, как будто стала вдруг бесплотной и ее в любую минуту может унести неизвестно куда. Она, конечно, поступила как последняя дура, выскочила прямо из постели на улицу — это после трех-то недель болезни и голодания — да еще тащилась сюда чуть не через весь город. Надо возвращаться в отель и провести остаток дня в постели. Только она вышла из-под дерева, как сразу же на противоположной стороне улицы увидела Мэри. На Мэри была шляпка и перчатки. Она их терпеть не могла и надевала только изредка, в исключительных случаях,— откуда же она возвращается такая торжественная? Кейт уже внутренне настроилась и приготовилась улыбнуться Мэри, когда взгляды их встретятся. Но Мэри продолжала сосредоточенно шагать, не обращая внимания на Кейт. Она, как и Айрис Хэтч, скользнула взглядом по незнакомой женщине, посмотрела еще раз, привлеченная ее эксцентричным видом — как попала сюда, на нашу респектабельную улицу, эта бродяжка? — и продолжала свой путь.

И внезапно Кейт захлестнул поток эмоций. Страх и возмущение. Как смела Мэри смотреть на нее и не видеть? Не узнать ее, Кейт, после стольких лет дружбы? Да Мэри явно не в себе или просто пьяна! Они все делили пополам — и радости и горе, и сугубо личные дела и семейные, любили детей друг друга как своих родных... Может, делили и мужей? Кейт, например, знала, что одно время Мэри была увлечена Майклом,— верная себе, она не преминула поставить об этом в известность Кейт. Кейт знала, что и Майкл не остался равнодушен к ее чарам — впрочем, он не был исключением: Мэри нравилась всем мужчинам, даже если они не хотели в этом признаться, даже если не одобряли ее поведения. А Майкл не одобрял. Кейт немного ревновала тогда — черт возьми, опять она за свое, опять эта злосчастная память подводит: какое там немного, она просто с ума сходила от ревности — вот где правда. С того времени они с Мэри и стали неразлучными подругами. Мягко выражаясь, эти воспоминания не делали чести Кейт.

Кейт смотрела вслед удалявшейся Мэри и видела ее прямую, сильную спину, видела вполне благопристойную шляпку, прямо сидевшую на ее голове,— нет, это не Мэри или Мэри, но какая-то ненастоящая, словно в маскарадном костюме.

Кейт почувствовала даже облегчение от того, что Мэри ее не узнала. Более того: ей стало так радостно, будто она от чего-то избавилась. Стремительно выйдя из-под сени деревьев, она пошла по залитому солнцем тротуару, рассеченному глубокими колодцами тени. Она увидела, что Мэри уже успела скинуть шляпку, перчатки и туфли и стоит на своем газоне. Лицо ее сморщилось от яркого солнца, а взгляд устремлен на дом Кейт.

Кейт прошла мимо спаниеля, который лежал вытянувшись во весь рост, поднимая своим влажным розовым языком гравий с дороги, и он в знак приветствия лениво повилял ей хвостиком.

Сидя в автобусе, Кейт неотступно думала об одном: Мэри не узнала меня. И Айрис Хэтч, эта девочка, тоже не узнала меня.

Был полдень, на улицах повсюду возникали заторы, больше часа добиралась Кейт до центра Лондона и всю дорогу не переставала думать: они меня не узнали, видели каждый божий день и не узнали. А вот собака узнала.

Еле волоча ноги, она вошла в отель, поднялась на лифте, держась за стенку, чтобы не упасть от головокружения, и свалилась в постель в наполненной городским шумом комнате, все время повторяя про себя: «Они смотрели сквозь меня, они меня не узнали». Впрочем, теперь это ее ничуть не огорчало, наоборот, радовало, она просто хмелела от мысли, что узы дружбы, связи с людьми не так уж прочны, что они легко распадаются.

Она проспала всю вторую, жаркую, половину дня и, проснувшись, заявила участливой Сильвии — снова работавшей на этом этаже после полета в более высокие сферы своей профессии,— что чувствует себя намного лучше, да, просто превосходно, да, вероятно, она совсем поправилась. И хотя Кейт сама понимала, что делает глупость, так как еще с трудом держалась на ногах, она через бюро обслуживания заказала себе билет в театр.

Ей не важно было, какая идет пьеса. Она хотела видеть людей, изображающих не себя, а чужие судьбы и характеры,— вот и все. Ее не узнала самая близкая подруга: необычная худоба, шляпка, напяленная кое-как, может быть, неустойчивая походка, предположение Мэри, что Кейт находится где-то на берегу Средиземного моря,— этих мелочей было достаточно, чтобы Мэри не узнала женщину, с которой ежедневно общалась в течение многих лет; для этого надо было только, чтобы Кейт сыграла роль чуть иную, нежели ее обычное амплуа.

В бюро обслуживания были чрезвычайно горды, что достали ей билет на «Месяц в деревне»,— они сумели выбрать как раз то, что ей было нужно, и очень этим гордились.

В восемь часов вечера она сидела на своем месте в первом ряду партера. Театр был полон. Как правило, эту вещь ставят на маленькой сцене для избранной аудитории, но сейчас стоял сентябрь, месяц такой же золотоносный, как и август. Доллары. Зрители были в основном американцы. Они пришли посмотреть на актрису, исполнявшую главную роль,— знаменитость в знаменитой пьесе.

«Месяц в деревне» — весьма своеобразная пьеса. Своеобразная в высоком понимании этого слова и очень жизненная — почти за каждой натянутой улыбкой угадывается непролитая слеза. Правда, для восприятия ее нужен соответствующий внутренний настрой. Такой настрой, какой был у Кейт, когда она смотрела эту пьесу в последний раз, четыре года тому назад: она вышла из театра, как будто ее угостили дивным, неслыханно вкусным блюдом.

Кейт и Майкл были заядлыми театралами. Если случалось, что по каким-то причинам посещение театра надолго откладывалось, у них появлялось такое чувство, словно они не выполнили долга перед самими собой. Обычно они ходили вдвоем или с друзьями — дети предпочитали кино. Причем Брауны с одинаковым интересом смотрели как новые пьесы, где зрительный зал становился продолжением сцены и актеры смешивались со зрителями, где случалось видеть актеров, играющих в чем мать родила, а с подмостков неслись оскорбления в адрес публики. так и пьесы классические, вроде Шекспира, только искореженные до неузнаваемости, дабы режиссер мог раскрыть свое субъективное видение мира героев; и пьесы вроде сегодняшней, видеть которые на сцене — все равно что слушать давно знакомые стихи в блестящем исполнении. И если говорить о впечатлении от посещения театра («Недурно, недурно!», «Так себе!»), то оно оценивалось тем, утолил ты или не утолил свой духовный голод, стал

ли ты богаче, тверже духом или, наоборот, покидаешь театр колеблющимся и жаждущим подтверждения. А какого подтверждения, чего? Однако именно такого рода пьесы всегда наиболее полно удовлетворяли духовные запросы Кейт. Ибсен, Чехов, Тургенев — вот где видишь таких же, как ты, людей в знакомых житейских передрягах.

— Типично русская вещь,— шептали зрители, выдавая этим свою неискушенность.

Более утонченная публика сказала бы иначе:

— Совсем как у нас, не правда ли?

И в самом деле, Кейт смотрела и думала, что уклад жизни в доме Натальи Петровны очень напоминает ее собственный. Вернее, так она думала последний раз, когда видела эту пьесу. Может быть, она совершила ошибку, придя на этот спектакль после долгой болезни, прямо с постели?

В первом ряду партера сидела женщина, на которую с любопытством поглядывали соседи. Некоторые уделяли ей столько же внимания, сколько и тому, что происходило на сцене. Казалось, она случайно попала сюда из какого-нибудь бродячего цирка, настолько экстравагантный был у нее вид: розовое платье, сидевшее на ней как мешок и туго перетянутое на талии желтым шарфом, копна пегих волос, изможденное желтое лицо с запавшими щеками и горящие гневом глаза. Она сидела и бормотала:

— Какая чушь! Типично русское, говорите? Много вы понимаете, старые задницы!

Кейт подумалось, что, очевидно, она видит все в каком-то искаженном свете. Ибо хоть она и сидела близко к сцене, но мыслями была далеко; она все пыталась как-то встряхнуться, сосредоточиться, сесть поудобнее, чтобы вникнуть в жизнь на сцене, принять в ней участие, потому что она хорошо помнила, какое у нее всегда бывало приподнятое настроение в театре, и понимала, что ее теперешнее восприятие отличается от прежнего, как небо от земли. Словно она смотрела на действующих лиц в телескоп — настолько они выглядели далекими от реальности. А в прошлый раз, когда она была на этой вещи, ей, помнится, казалось, что Наталья Петровна — это она. И еще она тогда подумала: есть такие женщины, которые не узнают себя в ней?

Ну что же, взять хотя бы испанок из той деревни, где Кейт только что была с Джеффри. Уж кто-кто, только не они. Объединяло их с героиней пьесы лишь то, что тургеневская Наталья Петровна была молодой двадцатидевятилетней женщиной, а все ее поступки, мысли — и в пьесе и в спектакле — были как у зрелой пятидесятилетней женщины. Женщины, которая считает себя почти старухой и цепляется за каждый уходящий день. Да, видно, девятнадцатый век старил женщин не меньше, чем бедность. Трудно представить себе, чтобы современная двадцатидевятилетняя женщина вела себя так, как Наталья Петровна,— наша современница не сочла бы свое чувство к студенту пустым растрачиванием душевных сил, отнюдь нет.

В таком случае, что они все здесь, в этом зрительном зале делают? Скажите, что? Чушь, несусветная чушь — нет, не игра, конечно, не постановка, все это превосходно, превосходно.

— Браво! — крикнула она актерам, чувствуя себя виноватой, словно ее недобрые мысли могли сглазить их, но те продолжали играть, не обращая внимания на полоумную женщину, сидевшую в двух шагах от сцены.

Да, а все это превосходно; а четыре года назад она ерзала в своем кресле, чувствуя, что это ее так страстно бичуют со сцены; она, как и каждая женщина в зале, поеживаясь, узнавала себя в очарова-

тельной и тщеславной героине, всю жизнь прожившей в мире самообмана, привыкшей быть в центре внимания и чувствующей теперь, что власть ускользает из ее рук.

Кейт крепко сжала губы, чтобы из них не вырвалось ни звука, и подумала про себя: она сошла с ума, эта Наталья Петровна. Психопатка. Шизофреничка. Ее несет по течению. Более того, чьи-то руки сознательно толкают ее в пучину. Ее нужно под замок. А мы сидим и смотрим на нее. Забросать бы их сейчас каким-нибудь гнильем. И нас за компанию.

Она стала искоса разглядывать своих соседей, сознавая, что взгляд ее дерзок и задирист, словно она ждала, что ей прошипят в ответ: «Ну, чего уставилась?» Посмотрите только на них, этих снующих по белу свету бродяг — такой сама Кейт была всего неделю тому назад,— какие они все нарядные, откормленные, ухоженные, какие у них холеные лица, а прически-то, прически... Все эти прически в зале могли бы прокормить десятки семей в течение многих месяцев. В соседнем кресле сидела заплывшая жиром старуха; ее пересушенные седые волосы были взбиты и завиты так искусно, что полностью скрывали блестящую розовую кожу под ними. Эта туша с ее бриллиантами и мехами могла бы целые годы кормить сотни голодных. Такие мысли сами приходили в голову. Удивительное зрелище являл собой зал, наполненный людьми, вернее, животными, чьи взгляды были устремлены на таких же ряженых животных, только поставленных на подмостки, чтобы видно было, как они кривляются.

Наталья Петровна с тонко продуманным кокетством произнесла свою реплику:

«Вы обижаетесь? Полноте, что за вздор! Я только хотела сказать, что мы оба с вами... слово: болезненный — вам не нравится... что мы оба стары, очень стары».

О, бога ради, бога ради, подумала Кейт... увы, не только подумала, но и произнесла вслух, так как сидевшая в ее ряду дама наклонилась и бросила на Кейт презрительный взгляд. Дама была похожа на кошку, старую, избалованную домашнюю кошку, раскормленную и обленившуюся... Ну, хватит, довольно, раз она не может вести себя прилично, нужно не смотреть на сцену, а переключить внимание на что-нибудь другое... Но в самом деле, почему ни одна душа, кроме нее, не замечает, что лицедейство, происходящее на сцене, не что иное, как шабаш маньяков? Пародия какая-то. Все должны были бы упасть со смеху, а они сидят и слушают, проникнутые глубоким сочувствием к этим людям, терзаемым нелепыми и надуманными проблемами.

Наталья Петровна в изящном зеленом платье — третьем за этот вечер — готова была вот-вот расплакаться. У Кейт тоже в знак солидарности защипало глаза.

Чтобы добиться такого совершенства, с таким мастерством изображать нелепое и постыдное поведение героев, заслуживающее всяческого порицания и осуждения, мужчины и женщины высокого ума и таланта отдавали годы претворению своей мечты в жизнь, тяжкому труду в театре, верному служению делу, учась на ходу, терпя унижения, питаясь порой одними надеждами и, как правило, живя впроголодь на два с половиной пенса в какой-нибудь захудалой провинциальной дыре. Потом и кровью платили они за один миг высокого искусства — такой, как сейчас, когда Наталья Петровна, подметая юбками грязные половицы сцены, говорит девушке, которая влюблена в того же молодого человека, что и она:

«Вспомни, что о нашей тайне, по моей вине, конечно, знают уже здесь два человека... Вера, вместо того чтобы терзать друг друга подозрениями и упреками, не лучше ли нам вдвоем подумать о том, как бы

выйти из этого тяжелого положения... Как бы спастись! Или ты думаешь, что я могу выносить эти волненья, эти тревоги? Или ты забыла, кто я?»

О, ради таких слов стоит совершить паломничество в театр.

Что бы там Кейт ни думала сейчас, все это будет вычеркнуто из ее памяти; кто она такая, чтобы идти против течения и считать скверным то, что все другие находят достойным восхищения, да, кроме того, она и сама когда-то этим восхищалась и, надо полагать, еще не раз будет восхищаться большим искусством — ей только надо вернуться в нормальное состояние, обрести старые привычки, семью и дом, где она снова будет хлопотать, поднимать пыль юбками и раскрывать белоснежной рукой изящный кружевной зонтик.

«Еще одно, последнее усилие, и я свободна!.. О да! Я жажду свободы и покоя». Тут вся публика вскочила с мест и принялась долго и громко аплодировать.

Кейт аплодировала и кричала вместе со всеми, присоединившись к восторженным поклонникам театра из задних рядов партера и с галерки, она скорчила гримасу даме, которая смотрела на нее с осуждением (по-видимому, из-за того, что сейчас Кейт вместе со всеми кричала «Браво!», а в течение всего спектакля сидела недовольная), и была вынесена на тротуар толпою, вдруг скинувшей свои звериные маски и превратившейся снова в толпу самых обыкновенных мужчин и женщин.

Она долго и упорно ловила такси, отметив про себя, что две пустые машины проскочили мимо: шоферы, по-видимому, не желали связываться с полоумной старухой, стоявшей на краю тротуара с поднятой рукой. Наконец один таксист сжалился и остановился, но услышав адрес, удивленно сказал:

— Да тут же рядом!

— Знаю. Но я только что после болезни,— ответила Кейт.

Ее подвезли к отелю, и она, словно преступница, прокралась через вестибюль, стараясь не привлекать к себе внимания. Но ее нельзя было не заметить. Многие смотрели ей вслед. Она добралась до своего номера, схватила зеркальце и, держа его перед глазами, повалилась на кровать, не в силах оставаться в вертикальном положении.

За день ее сухие, свалявшиеся, отливающие медью волосы совсем вышли из повиновения, лицо неузнаваемо постарело. Наталья Петровна не потерпела бы такого ни минуты.

Актеры абсолютно правы. Они не позволяют себе застыть в одном образе, держаться одной прически, одной походки или манеры разговора — нет, они все время перевоплощаются, никогда не остаются сегодня теми же, что вчера. А она, Кейт Браун, жена Майкла, оставалась в одном и том же виде без существенных изменений целых тридцать лет: изящная, пухленькая, рыженькая, с добрыми карими глазами.

Кейт смотрелась в зеркало и гримасничала, примеряя к себе, как актриса, репетирующая роль, разные выражения — оказалось, что их великое множество, а ей и в голову не приходило воспользоваться таким разнообразием. Она свела до минимума свою мимику, оставив на вооружении только маски, которые красили ее и были приятны для окружающих — во всяком случае, не раздражали бы их; но как владеть лицом теперь, когда внутри бушуют бури, когда она больна (кожа снова стала гореть), когда душа мечется и не находит себе покоя? Хорошо еще, что в ее распоряжении есть несколько недель — немалый срок, если ты свободна... А сколько именно недель? Кейт стала просматривать письма Майкла, и они тут же вытеснили все другие эмоции, кроме одной: тоски по мужу, тоски по душевному равновесию, которое давала близость с ним, тоски по семье, по дому. Из его

писем она поняла, что он не вернется раньше конца октября или даже середины ноября, если Кейт ничего не имеет против. Если же она не хочет, чтобы он задерживался, он отклонит приглашение остаться еще на несколько недель. Из ее писем он понял, что она тоже мило проводит время... ну что ж, он желает ей успехов, даже рад за нее — давно пора оторваться от дома и передохнуть. Они увидятся осенью, если он в ответ на это письмо не получит от нее какой-нибудь весточки. Но, конечно, он ее не получил, так как Кейт, читая письмо первый раз, не вникла в его содержание; теперь же, чтобы быть уверенной, что он не нагрянет раньше времени, она послала ему телеграмму, в которой настоятельно советовала не торопиться с возвращением.

Как только рассвело, она приняла ванну, надела платье, болтавшееся на ней как на вешалке, попробовала уложить волосы и так и сяк и, отчаявшись, повязала голову платком, потом заказала обильный завтрак, который так и не смогла одолеть, и съехала из отеля, не имея представления, что будет делать дальше.

После оплаты счета кошелек ее заметно похудел по меркам Кейт Браун, сотрудницы международной организации, но остался вполне приличным для обыкновенной женщины, которой надо безбедно прожить несколько недель, прежде чем вся семья окажется в сборе.

Квартира Морин

Она села в первый попавшийся автобус и не выходила, пока не увидела сверкающую ленту воды — канал — и вывеску, на которой алыми буквами, горевшими в ярких лучах сентябрьского солнца, было написано: Ristorante. В остальном улица была типично лондонской. Кейт сошла с автобуса и тут же у табачного магазина наткнулась на доску объявлений. Когда она подошла к ней, хозяин табачной лавки, маленький старичок в фартуке, и какой-то босоногий юноша прикрепляли к доске новое объявление.

В нем говорилось: сдается комната в частной квартире до конца октября — пять фунтов в неделю, кухня и ванная — общие.

Кейт спросила юношу:

— Где эта комната?

— За углом.

— Она ваша?

При этом вопросе он улыбнулся хоть и вежливо, но со снисходительным оттенком («Что, мол, с вас, стариков, взять»); однако эта улыбка придала особое значение последующему:

— М-о-я?

Таким образом расставив все по своим местам и проведя строгую грань между поколением Кейт, которое мыслит устоявшимися понятиями «твое-мое», и им самим, представителем молодого, свободно мыслящего поколения, он улыбнулся широко и добавил:

— Наравне с другими.

— А если я сниму эту комнату,— подстраиваясь под его тон, сказала Кейт (прибегать к юмору она научилась после многих лет общения со своими «детками»),— я одна буду ею пользоваться или тоже «наравне с другими»?

Оценив шутку, он рассмеялся и ответил:

— О, она будет целиком в вашем распоряжении. Я уеду ненадолго, остальные тоже разбредутся кто куда.

— Так, может, вы мне ее покажете?

Он изучающе посмотрел на нее. Разумеется, она казалась ему старухой. Он повернулся и встал рядом с ней, показывая этим, что ее кандидатура не исключается, и они пошли по тротуару вдоль канала. Иногда он искоса поглядывал на нее.

Она сказала:

— Я чистоплотна, аккуратна и мастерица на все руки.

Он засмеялся, но снова как бы давая понять, что это не бездумный мальчишеский смех, а скорее реакция на ее юмор.

— Это еще не самое главное,— сказал он и затем пояснил: — Ваши дела — ваша забота. Дело в том, что в этой квартире живет...

— Еще кто-то, кто помимо вас должен решить мою судьбу, да?

Квартира находилась в полуподвальном помещении и после яркого сентябрьского света улицы показалась темной, как погреб. Юноша пошел впереди Кейт через просторный холл, вся обстановка которого состояла из груды подушек и нескольких плакатов. Сильно пахло марихуаной. Кейт следовала за юношей, полагая, что он ведет ее смотреть сдаваемую комнату, а он неожиданно привел ее в какую-то другую, большую комнату с дверями, распахнутыми в маленький внутренний дворик типа патио, весь утопавший в зелени и залитый солнцем. Около окна на жестком стуле сидела девушка. Ее босые загорелые ноги покоились на циновке. Волосы густым желтым потоком обтекали лицо и ниспадали на плечи, а несколько прядей закрывали лоб и глаза, так что лишь когда она подняла голову, Кейт увидела ее лицо — здоровое, загорелое, с круглыми чистыми голубыми глазами. Она сидела без всякого занятия. Просто курила.

Она внимательно осмотрела Кейт и перевела взгляд на юношу.

Тот обратился к Кейт:

— Я не спросил, как вас зовут.

— Кейт Браун.

— Это Кейт,— сказал он девушке.— А это Морин. Знакомьтесь.— И, повернувшись опять к девушке, смущенно добавил: — Я вешал объявление, а она оказалась рядом и захотела посмотреть комнату.

— А-а,— вымолвила Морин.

Она откинула волосы, вскочила со стула, как будто собралась куда-то бежать, но потом снова опустилась на стул, расслабившись покошачьи сразу всем телом. На ней была коричневая мини-юбка и голубая клетчатая блузка, и выглядела она так, словно сошла с рекламы молочных товаров и яиц.

Наконец она улыбнулась и сказала:

— Вы хотели бы взглянуть на нее?

— Да,— ответила Кейт.

— Ну как, она тебе подойдет? — спросил юноша девушку — наверное, свою подругу. Но, испугавшись, что его слова могли показаться Кейт обидными, он слегка покраснел и пояснил:— Понимаете, я хотел устроить Морин как следует перед отъездом.

Морин неожиданно опустила веки — два белых полумесяца на загорелых щеках. Кейт показалось, что она подавила улыбку.

— За меня не беспокойся, Джерри. Я же сказала тебе,— откликнулась Морин.

— Ну, в таком случае я...

— Конечно, конечно.

Джерри кивнул Кейт, посмотрел на Морин долгим, пристальным взглядом, как бы отпечатывая в ее сознании что-то — что именно, Кейт так и не догадалась,— и исчез из комнаты.

Морин задумалась. Она прикидывала, стоит ли просить у Кейт аванс за комнату. Но она сказала только:

— Комната находится в конце коридора, слева. В ней живет Джерри, но он уезжает в Турцию.

Она не пошла с Кейт, а осталась сидеть, продолжая пускать облака голубоватого дыма.

Комната оказалась просто клетушкой, в которой стояли узкая кровать и шкаф. Здесь было намного холоднее, чем в комнатах, расположенных по фасаду, который выходил на юг. Холод этот перекликался с тем, что навечно поселился теперь в самой Кейт. Но жить здесь все же было можно.

Вернувшись к девушке, она сказала, что комната ей подходит и что она оставляет ее за собой до конца октября,— при этих словах Кейт вдруг осознала, что принимает решения, к которым рассудок ее непричастен.

Поскольку Морин не заикалась о деньгах, Кейт положила пять фунтовых банкнотов на красную подушку у ног девушки.

Морин снизошла до улыбки, которую, правда, с трудом можно было различить сквозь ее соломенные волосы.

— Спасибо,— сказала она.— Но это не к спеху.

— А ключ? — напомнила Кейт.

— О, да. Он где-то здесь, наверно, валяется. Ага. Вспомнила.— Она вскочила, выпрямилась, затем резко наклонилась, не сгибая колен, и стала приподнимать подряд все подушки. Под одной из них лежал ключ. Она протянула его Кейт — все так же не разгибаясь, а затем, изящно скрестив ноги, опустилась на подушку, под которой нашла ключ.

— Вы танцовщица? — спросила Кейт.

— Нет, не танцовщица. Хотя и танцую.

Идя к выходу, Кейт остановилась перед длинным, старомодным зеркалом на шарнирах, висевшим в холле. Она увидела худущую, обезьяноподобную женщину в желтом платье «из хорошего дома», со стянутыми в узел на затылке волосами. Кейт сорвала с головы платок, и волосы тут же встали дыбом, густые и жесткие, как пакля. В этот миг Кейт как никогда поняла, что возвращение ее в лоно семьи будет полно драматизма, независимо от того, войдет ли она к тому времени в форму — другими словами, станет ли снова такой, какой они ее себе представляют и какой привыкли видеть,— или решит, что все это суета сует и вовсе ни к чему... Но нельзя же в самом деле навсегда оставаться в таком виде, как сейчас. А почему, собственно, нельзя? Вот была бы потеха! Но их всех удар хватит, она-то знает. И тем не менее Кейт приятно волновала эта заманчивая идея.

Однако на смену этому волнению пришло другое чувство, отнюдь не такое приятное. Она снова оказалась в плену тщеславия. Если она явится домой в таком непрезентабельном виде, то муж и дети скажут, что она не в себе,— потому что они всю жизнь привыкли видеть ее другой. А вот Морин, эта девочка, восседающая на красной подушке, грезящая в клубах голубоватого дыма, видела ее только в одном облике — в облике больной обезьяны. Нет, она положительно сходит с ума. Какое в конце концов имеет значение для девушки, да и для самой Кейт, как она выглядит? Важно то, что она, Кейт, сняла комнату у Морин, и все. Для Кейт это была знакомая, еще не забытая ситуация, лишь с небольшой перестановкой действующих лиц: в начале года она приняла в дом молоденькую бельгийку, приятельницу лучшего друга Джеймса,— девушка хотела усовершенствовать свой английский. Главной заботой Кейт было сделать так, чтобы гостья влилась в ее семью, однако не настолько, чтобы нарушить заведенный семейный уклад Браунов. Девушка и влилась, влюбившись в собственного мужа

Кейт... Кейт, конечно, не думала, что Майкл тоже увлекся девчонкой... Тут Кейт одернула себя, прикрикнув строго: «Опять ты за свое, вспомни au pair[1] Монику, тебе слишком дорого пришлось заплатить за то, что ты подозревала Майкла в связи с нею».

Но Кейт все-таки довела до конца перечень качеств, которые следовало бы иметь молодой бельгийке для приближения к идеалу: чтобы она не вздумала влюбиться ни в одного из трех сыновей, пока они сами не влюбятся в нее и не станут проявлять инициативу. Чтобы она не забеременела, а уж тем более не перекладывала заботы, связанные с этим, на плечи Кейт — как это было с Моникой, за аборт которой пришлось платить Браунам, поскольку несостоявшийся отец, молодой француз, с которым девушка познакомилась на курсах английского языка, оказался беден, как церковная мышь. Чтобы она не была наркоманкой, как Розалия, прежняя au pair из Франкфурта... впрочем, если бы она ограничилась марихуаной, это еще куда ни шло. Чтобы не включала на полную мощность проигрыватель. Чтобы... Однако в теперешнем своем состоянии Кейт все эти требования суммировала бы так: девушка должна мягко и тактично приспособиться к укладу жизни Кейт и не делать ничего такого, что выходило бы за его рамки; Кейт была не настолько наивна, чтобы ожидать от этих девиц строгой нравственности, но лишние неприятности ей просто ни к чему.

В холл босиком вышла Морин, как пастушка из детских стихов. Увидев Кейт, стоявшую в полумраке перед зеркалом, она включила свет, энергичным, пружинистым шагом пересекла холл и встала за спиной Кейт, глядя на свое отражение в том же зеркале.

Неожиданно она показала Кейт язык. За этим чувствовалась какая-то обида, стремление к самоутверждению. Затем с такой же неприязнью она снова показала язык, но на этот раз себе. И, повернувшись, быстро ушла в свою залитую солнцем комнату.

Кейт почувствовала себя уязвленной. И как бы хорошо она ни понимала разумом, что эта выходка носила скорее дружеский характер — девушка присоединилась к Кейт, чтобы вместе повертеться перед зеркалом,— восприняла она ее как вызов, ибо эта выходка объяснялась удивительной самоуверенностью юности, какой-то безоглядной смелостью, позволяющей делать то, что хочется. Да-да, именно эта способность, которую сама Кейт утеряла, и вызвала ее неприязнь.

Однако не торчать же до второго пришествия в этом огромном холле с подушками, разбросанными так, словно на них спали прошлой ночью, только потому, что страшно выйти на улицу, где все увидят, насколько она еще слаба. Надо отдохнуть. И начать наконец есть.

Она поднялась по цементным ступеням на залитую солнцем улицу. Постояла немного в двух шагах от ristorante в густой тени деревьев, обрамляющих канал. Вот она сейчас пойдет и плотно — может быть, даже с аппетитом — поест. Она направилась к ristorante, у входа в который по обеим сторонам росли карликовые лавровые деревья. Сквозь стекло она увидела официанта, почтительно склонившегося над женщиной примерно ее лет, которая прислушивалась к его словам и польщенно улыбалась... «Старая дура»,— подумала Кейт. Уже у двери у нее мелькнула мысль, что раньше, до того, как она окунулась в поток международной элиты, ей бы и в голову не пришло пойти в такой шикарный ресторан, разве что по какому-нибудь торжественному поводу; она прошла бы мимо, выбрав что-нибудь подешевле. Поймав себя на этой мысли, она повернулась и зашагала прочь, охваченная чувством обиды, как будто ее туда не пустили. В сотне ярдов от ristorante находился ресторанчик средней руки, какие встречаются в

[1] Компаньонка, девушка, которую берут в дом *(франц.)*.

Лондоне на каждом шагу, и она зашла туда. Он был почти пуст. Час ленча еще не наступил. Кейт села за столик и стала ждать, когда ее обслужат. На столике перед ней стояло неизменное, типично британское меню. В другом конце зала официантка разговаривала с каким-то посетителем, пожилым мужчиной. К столику Кейт она не спешила.

Когда, наконец, она соизволила подойти, то, не глядя на Кейт, торопливо записала заказ в маленький блокнотик и снова вернулась к тому же столику продолжить незаконченный разговор; только после этого она передала заказ в окошечко, соединяющее зал с кухней. Ленч принесли не скоро. Кейт, очевидно, выпала из поля зрения и официантки и других посетителей — ресторан стал понемногу заполняться публикой. Кейт познабливало от голода и нетерпения, мучительно хотелось заплакать. Она была «на грани истерики», как говорят о детях, когда они не в меру раскапризничаются. Истерику предотвратило появление официантки, которая, по-прежнему не удостаивая Кейт взглядом, поставила перед ней тарелку с печенкой, жареной картошкой и водянистой капустой. Кейт не могла притронуться к еде. Она кипела от негодования, заглушавшего всякие разумные мысли. Она попыталась убедить себя, что это все из-за болезни... и тут же опрокинула на скатерть стакан с водой. Вот теперь-то официантка непременно подойдет к ней, подумала Кейт и даже приготовилась увидеть недовольную гримасу на ее лице, но та и бровью не повела, как будто не заметила. Тогда Кейт сама встала с места, подошла к официантке, которая теперь болтала уже с другим посетителем, и дрожащим голосом сказала:

— Извините, я опрокинула стакан с водой на скатерть.

Наконец-то официантка взглянула на Кейт. И изрекла:

— Одну минуту, дорогуша, я сейчас подойду к вам.— А сама отправилась накрывать стол для новых посетителей.

Подойдя после этого к столику Кейт, она окинула безразличным взглядом мокрое пятно на скатерти и сказала:

— Доедайте уж как есть, а потом я сменю скатерть.

И ее как ветром сдуло.

Да, в самом деле, что разумнее можно предложить в подобной ситуации? В Кейт заговорила домохозяйка: ведь мир не перевернется от того, что ты один раз поешь на мокрой скатерти. Тем не менее буквально через минуту Кейт попросила счет и вышла из ресторана, лихо вильнув юбкой, чего никогда раньше не делала,— это был жест, которым женщина как бы говорит: «Плевала я на вас!»

Разгар дня на Эджвер-роуд. Самое оживленное время, особенно летом, когда кажется, что весь город высыпал на улицу,— то и дело хлопают двери кафе, знаменитых в этих местах закусочных и баров; люди забегают перекусить, выпить чашку чая или просто посидеть. Кейт не спеша дошла до ristorante и, проходя мимо, заглянула в окно, занавешенное тонким муслином. Если бы она тогда рискнула переступить порог этого ресторана, она сидела бы сейчас за столиком, а тот молодой официант стоял бы, почтительно склонившись над ней, и вряд ли у нее возникло бы желание плакать от жалости к себе, вряд ли она унизилась бы до мелочных проявлений обиды... Да и стакан воды она здесь тоже не опрокинула бы на скатерть!

В общем, длительное пребывание в отеле и заботливый уход Сильвии и Марии не пошли ей на пользу. В результате она просто впала в детство и теперь не может обойтись без чьего-нибудь льстивого внимания.

Из яркого дня, полного солнца и буйной листвы деревьев, она спустилась в прохладный полумрак квартиры. В холле на подушках, раскинув руки, лежал ничком какой-то молодой человек. Он спал. Морин не было видно.

Кейт прошла к себе в комнату, увидела, что кровать не застелена, нашла в холле шкаф, взяла оттуда простыни, полотенца и все остальное, ничуть не потревожив своим появлением юношу, который, судя по глубокому сну, видимо, не спал всю ночь, и легла в постель. И тут произошло то, чего она обычно не допускала. Она заплакала — и плакала долго, неторопливо. Она переживала глубокий душевный кризис, всеми фибрами души ощущая свое одиночество и заброшенность.

Выплакавшись, Кейт затихла и уснула; проснулась она в незнакомой холодной комнате, которую пересекал длинный луч солнца.

Все-таки надо заставить себя подняться и пойти купить что-нибудь из еды. На этот раз на подушках в холле никто не лежал; и вообще Кейт никогда больше не видела этого юношу.

В кухне сидела Морин и чайной ложкой прямо из банки ела какую-то протертую детскую кашицу. Абрикосово-сливовый пудинг. На кухонной полке выстроилась в ряд целая батарея банок с детским питанием, причем все только десертные блюда.

На Морин был какой-то немыслимый балахон алого цвета с оборочками, волосы стянуты в «конский хвост». Сейчас она выглядела на десять лет старше.

— Вы все сможете купить где-нибудь поблизости,— бросила она Кейт, вскочив с места и облизывая ложку.

Она швырнула пустую банку в мусорное ведро, а ложку — в раковину, куда та и упала с тонким звоном. Девушка же, приплясывая, выбежала из кухни.

Кейт взяла хозяйственную сумку на колесиках и большую сетку, но в дверях вдруг сообразила, что идет за продуктами не для целой оравы в шесть или шестнадцать ртов, а лишь для себя одной. И она вышла на солнечную улицу, прихватив с собой только пластмассовую сумку. День клонился к вечеру, и магазины вот-вот должны были закрыться. Поблизости было более чем достаточно лавчонок типа того ресторанчика, где Кейт ела — а вернее, *не* ела — днем. Все они были на одно лицо — маленькие, сплошь заваленные консервированными и мороженными продуктами. Таких магазинов, как те, куда она обычно ходила за продуктами в буржуазном Блэкхите, здесь не было и в помине. По сторонам улиц высились коробки многоквартирных домов, а между ними ютились старые развалюхи, обитатели которых жили здесь всю жизнь: здесь рождались и здесь умирали; они и были покупателями маленьких лавчонок, торгующих товарами, на которые Кейт и не взглянула бы в нормальных условиях, дома. В одной такой лавчонке Кейт купила черствый батон, полфунта пожелтевшего от времени сливочного масла, пачку плавленого сыра и банку клубничного джема — дома она сочла бы преступлением даже подумать о том, что его можно купить. Слишком уж ее волнует то, что приходится иметь дело с этими второсортными товарами. А все потому, что в своей замужней жизни она столько энергии тратила на то, чтобы довести до совершенства быт семьи. Она еще подумала, что крестьяне того далекого селения в Испании, наверное, никогда в глаза не видели такой дрянной, неудобоваримой пищи, хотя и были беднее любого из покупателей этой лавки, в большинстве своем так называемых простых людей,— иными словами, английского трудового люда, который посещал эти ужасные рестораны-забегаловки и покупал продукты в этих ужасных лавках... *Ну и что,* какое ей до всего этого дело, почему у нее навертываются слезы на глаза и она готова расплакаться в любую минуту, более того, топнуть ногой в гневе и закричать? Ведь миллионы людей умирают от голода в бедных странах, миллионы детей не вырастут нормальными и здоровыми, потому что лишены даже таких продуктов, какие она положила в свою красивую пластмассовую сумку с оранжевыми и ро-

зовыми маргаритками... У кассы на нее вдруг нахлынула какая-то детская обида, и она еле удержалась от слез. Почему? Да только потому, что хозяин, видите ли, выбивая чек, даже не взглянул на нее, не улыбнулся, не обратился к ней персонально: «О, миссис Браун, о, Кейт, о, Кэтрин, как приятно видеть вас снова».

Она пошла по направлению к Марбл-Арч. Открытый рынок еще работал, но и он вот-вот должен был закрыться. Значит, сегодня суббота? Никогда раньше в жизни Кейт еще не было такого случая, чтобы она не знала, который час, не говоря уже о дне недели.

Она остановилась перед деревянным ларьком, на прилавке которого среди мятых листьев салата валялось несколько помидоров — остатки свежих овощей, утром выставленных пирамидами. Пока она созерцала прилавок, откидное оконце опустилось. Как будто перед носом захлопнули дверь. В панике, что она придет домой без овощей, Кейт обежала ларек сбоку и, улыбаясь — она чувствовала, как жалкая гримаса раздвигает ей губы,— почти крикнула:

— Вы мне отпустите немного помидоров, всего фунт?

Торговец ответил, не скрывая недовольства:

— Я закрываюсь. Мое время вышло.

— Ну, прошу вас,— выдохнула она; голос ее звучал так, словно речь шла о жизни и смерти.

Торговец с интересом смерил ее взглядом. Затем так же неторопливо повернулся и посмотрел в сторону других ларьков, где на прилавках все еще виднелись разбросанные остатки фруктов и овощей. После этого он повернулся к ней спиной и опустил боковую створку.

— Спросите вон у тех теток, у них еще валяется что-то.

Она пошла к ближайшему ларьку и встала в очередь, впереди нее стояла женщина — такая же домохозяйка, как Кейт, вернее, как прежняя Кейт,— с сумкой на колесиках, с сетками и бумажными сумками, закупавшая продукты для всей семьи на целую неделю.

Женщина отошла от ларька, сгибаясь под тяжестью сумок — ни дать ни взять рабыня,— и тем не менее она так повела плечами, будто хотела всем сказать, какая это радость — нести на себе заботы о близких людях. Кейт, поглощенная наблюдениями за этой женщиной, зазевалась и пропустила свою очередь. Женщина, которая раньше стояла за Кейт, была настроена агрессивно: она заняла ее место, потом с несокрушимой уверенностью в своей правоте посмотрела в сторону Кейт и сказала соседке:

— Ей, видно, делать нечего, а мне недосуг целый день торчать здесь.

Кейт купила два лимона и один сладкий зеленый перец, вовремя подавив в себе желание взять по привычке дюжину лимонов и два перца.

Она вернулась в квартиру, впервые сознавая, что еще и понятия не имеет, с чем ей придется столкнуться. До сегодняшнего дня она как-то этого не подозревала.

Перед входом в дом на низком парапете сидела томная девица с толстым узлом желтых волос, с подведенными синей тушью веками и ярко-розовым кукольным ртом. На ней было допотопное вечернее платье из черных кружев на атласном чехле.

При виде Кейт надменное выражение на лице девицы растворилось в широкой улыбке, и Морин — это была она — произнесла:

— Почему вы такая тощая?

— Потому что очень потеряла в весе.

— Разумно.

— Но не для меня... пока,— заметила Кейт и спустилась по ступенькам в квартиру.

Там, механически, словно пытаясь наладить вышедшую из строя машину, которой, очевидно, не хватало лишь хорошей смазки, она принялась готовить себе еду. Надо же все-таки поесть, поддержать организм.

Она поджарила кусочек этого ужасного хлеба, намазала его маслом, положила сверху ломтик сыра и начала есть. Но куски застревали у нее в горле. В кухню вошла Морин, шурша кружевными юбками, вившимися вокруг ее босых ног.

— Вы что, болели? — требовательно спросила она.

— Немного.

Морин сняла с полки очередную банку детского питания — на сей раз это была манная каша со сливами,— подтянула повыше свои кружева и, примостившись на краю стола, тоже стала есть. Увидев, как Кейт с трудом мнет что-то во рту, она махнула рукой в сторону полок с банками и предложила:

— А может, попробуете вот это? Я ничего другого не ем.

— У вас разовьется авитаминоз,— машинально заметила Кейт, от жалости к себе еле сдерживая слезы. Морин же в ответ на это предостережение только расхохоталась.

Потом она сняла с полки банку яблочного пюре, и Кейт кое-как осилила ее.

— А мне нравится болеть,— заявила Морин.— Во всяком случае, лучше, чем накачиваться гашишем.

— На меня лично гашиш не подействовал, я однажды пробовала.

— И продолжать не стали! — изрекла Морин.

В это время в дверях появился юноша с прической под короля Карла, в джинсах и шелковой рубахе с оборочками. Он небрежно кивнул Кейт, прошел мимо нее к Морин, снял ее со стола и сказал:

— Пора идти. Через пять минут начало.

Морин натянула белые лайковые сапожки на шнуровке и накинула на обнаженные плечи красивую испанскую шаль, во многих местах траченную молью.

Молодая пара удалилась, кивнув на прощанье, а Кейт вдруг захлестнула такая тоска, будто она надолго рассталась с самыми близкими людьми. Ее словно обокрали, лишив — пусть всего на один вечер — общества этой восхитительной, безжалостной, непосредственной юности. Ее дети были более сдержанными, не такими бесшабашными. Неужели она сделала их такими? Надо было бы...

Она одернула себя: какой смысл заниматься самоедством — сейчас ей надо пожить одной, чтобы окрепнуть физически и снова обрести себя.

Кейт положила несколько одеял на свою кровать и нырнула под них. Очень скоро она заснула.

Когда она проснулась, в воздухе плыла разноголосая музыка. Этот летний воздух, тяжелый и влажный, навевал, однако, безотчетную легкость и веселье, желание куда-то идти, с кем-то общаться.

Кейт отметила, что ей стало лучше: похоже, душевные волнения уже позади. А все потому, что ей удалось, наконец, хоть что-то протолкнуть в себя... надо сходить на кухню и еще чего-нибудь поесть. Мысль о том, что она может встретить там Морин, была ей приятна. Она накинула на плечи желтый махровый халат и вышла в холл. Он был пуст. Кейт взглянула на свое отражение в зеркале и рассмеялась. Неважно, кроме Морин, ее никто не увидит. Дверь в кухню была закрыта. Она открыла ее с улыбкой.

Вокруг стола, уставленного тарелками с закусками и стаканами с вином, сидела компания из пяти человек. Смуглая девушка перебирала струны гитары. Кейт поймала себя на том, что улыбка на ее лице —

это привычка, оставшаяся от другой жизни, жизни в родном доме: приближаясь к комнате, где находился кто-нибудь из детей со своими друзьями, она «надевала» на лицо именно такую улыбку, в ответ на которую, по правилам семейной игры, должна была следовать приветливая реакция, даже если это была всего лишь дань старой традиции подтрунивания друг над другом.

«Внимание, туш! Смотрите, кто к нам пожаловал!»

«Ты, наверное, пришла сказать: «Кушать подано»?»

«А это моя матушка! Она у нас ничего, я вам говорил».

Так ее встречали давным-давно, когда дети еще были подростками, и это было милое, невинное зубоскальство, шутки, в которых сквозило и дружеское расположение к матери, и их полная готовность принять ее заботы, и убежденность, что мать всегда с ними заодно, что она всегда поддержит игру, улыбнется той самой улыбкой и скажет только:

«Благодарю за комплимент. Ты угадал, ужин действительно на столе».

Теперь же они встречали мать с холодной учтивостью взрослых, которую ей было гораздо тяжелее сносить:

«Входи, мама. Это мой друг из Шотландии (Пензанса, Испании, Штатов). Ты не возражаешь, если он (она) остановится у нас ненадолго? Спальный мешок я купил. И, пожалуйста, не очень хлопочи о наших желудках».

Сейчас ей показалось, что пять лиц повернулись к ней с той же рассчитанной неторопливостью, какая появлялась и у ее взрослых детей в таких случаях; они как бы подчеркивали этим свое безразличие, напускное, конечно, но совершенно им необходимое для самозащиты — от чего только?

Пять пар глаз уставились на скелет в ярко-желтом халате, на измученное лицо, вокруг которого дыбились космы жестких волос.

Она повернулась и убежала от этих, как ей казалось, враждебных взглядов, бормоча:

— Простите, простите...

Уже в своей комнате, опомнившись, она поняла, что везде и всюду чувствует себя парией, и это чувство настолько завладело ею, что не поддается никакому разумному объяснению; его лишь можно констатировать. Второпях она накинула на себя одно из своих лучших летних платьев — ни дать ни взять скелет в шатре,— сделала безуспешную попытку пригладить волосы, чтобы они не торчали во все стороны, и, махнув рукой, вышла на улицу. Под фонарями, подпирая стены, стояли группами парни в надежде чем-нибудь позабавиться; пивные, должно быть, только что закрылись.

«Не могу, не могу пройти мимо них»,— подумала она: в каждой группе мужчин, даже в мальчиках, остановившихся поболтать, ей чудилась опасность. Но она все-таки заставила себя сделать шаг, другой, превозмогла желание нырнуть обратно в квартиру и укрыться с головой одеялами. Улица была бескрайней, бесконечной, и каждый предмет на ней таил в себе угрозу — Кейт казалась сама себе уязвимой со всех сторон и незащищенной. Она шла, глядя прямо перед собой, как будто была в Италии или в Испании, где женщина чувствует себя выставленной напоказ.

Никто, однако, не обращал на нее внимания. Смотрели равнодушными глазами и тут же отводили взгляд в поисках чего-нибудь более вдохновляющего.

У нее было такое чувство, будто она снова превратилась в невидимку.

Небольшое кафе с таким же в точности набором блюд, что и ре-

сторанчик, где она хотела пообедать днем, было еще открыто. Но рядом с самыми ординарными, чисто английскими блюдами было другое меню, скромно указывавшее на то, что владельцы кафе — греки. Предлагалось типичное меню греческого ресторана за границей: гумус, тарама-салат, шиш-кебаб. Кафе было битком набито молодежью из окрестных многоквартирных домов — спать им еще не хотелось, а кино и пивные уже закрылись. Ни одна душа не обратила на Кейт внимания, хотя она вся сжалась в комочек, со страхом ожидая насмешливых взглядов. Теперь она уже знала наверняка — рано или поздно она должна была прийти к такому выводу,— что всю свою сознательную жизнь черпала силы в невидимых флюидах, внимании со стороны других людей. Но сейчас флюиды эти куда-то испарились. Ее качнуло, и она вынуждена была присесть на ближайшее свободное место за столиком, где уже сидели трое: молодая чета и девушка, по всей видимости, сестра жены. Девушка из-за чего-то дулась и получала от этого большое удовольствие: она делала вид, что ее обидели, но что это ее нисколько не задевает; молодая супруга нудно тянула мужа домой, к ребенку, потому-де, что соседке, на которую его оставили, пора ложиться спать; ее молодой супруг уныло смотрел по сторонам, сравнивая свою былую холостяцкую свободу с теперешней кабалой.

Грек, подавший им шиш-кебаб, кокетничал с шестнадцатилетней родственницей молодой пары, поэтому Кейт не стала спрашивать у него, отчего в ресторане такие пресные блюда; не сказала, что далеко не все англичане любят пресную пищу; не попросила приготовить ей греческое национальное блюдо так, как они делали бы его для себя.

Она поела кое-как и покинула этот шумный приветливый уголок, где страсти по мере приближения часа закрытия все разгорались и, словно закипающая жидкость, вот-вот готовы были выплеснуться через край, на улицу.

Войдя в квартиру, Кейт увидела, что дверь в кухню открыта; Морин стояла, прислонившись к стене у двери, рядом с ней стоял незнакомый молодой человек, державший ее за руку. При виде Кейт Морин сказала:

— Куда вы исчезли? Можете заходить на кухню в любое время, когда нужно. На нас не обращайте внимания.

Морин еще не кончила говорить, а Кейт уже размякла от благодарности и готова была расплакаться.

— Это Филип,— отрекомендовала Морин и, высвободив свою руку, подтолкнула юношу к Кейт со словами: — А это Кейт. Она мой друг.

Филип послушно приветствовал Кейт улыбкой и кивком головы и двинулся через холл к двери на улицу, бросив на ходу:

— Значит, завтра.— Его слова прозвучали как приказ, почти ультиматум.

Морин пожала плечами, и на лице ее появилось какое-то напряженное выражение.

— Ладно,— откликнулась она.— Обещаю. Но я все время думаю об этом. А ты всегда так железно уверен в своей правоте?

— Точно, уверен. Кто-кто, а уж я-то знаю, чего хочу,— ответил Филип и, ни на кого не глядя, шагнул в темноту.

Морин шумно вздохнула, давая понять, какой груз свалился с ее плеч, и пошла на кухню. За те полчаса, что Кейт отсутствовала, обстановка в доме изменилась до неузнаваемости. Молодежь куда-то исчезла, все стаканы, тарелки с едой были убраны. В кухне осталась только гитаристка — пряди распущенных волос падали на гитару, пальцы порхали по струнам. Когда Кейт появилась, девушка даже не взглянула на нее.

Морин с неприкрытым осуждением смотрела на Кейт. Она окинула взглядом ее космы с широкой полосой седины посередине. Обошла со всех сторон и оглядела ее платье. Потом сказала: «Минутку» — и вышла из кухни. Вернулась она с охапкой платьев в руках и стала с озабоченным видом прикладывать их по одному к Кейт. Обе тут же громко рассмеялись — даже гитаристка подняла голову, чтобы посмотреть, что их так развеселило. Увидев узкое платье с оборочками, приложенное к костлявому торсу Кейт, она усмехнулась и снова с головой ушла в свою музыку.

Среди принесенных платьев была так называемая «рубашка» темно-зеленого цвета, и Кейт примерила ее.

Морин обрадовалась, увидев, что платье пришлось Кейт в самую пору.

— Возьмите его себе. Нет, носите, пока снова не пополнеете. Право же, вы выглядите, как мешок костей в этих своих шикарных тряпках. Вы, наверно, богатая — я сразу заметила.

Кейт захлестнула волна острой жалости к себе: ей и в голову не приходило, что ее могут назвать «мешком костей». Но не слова вызвали слезы на ее глазах, а доброта девушки. Стремясь скрыть свои чувства, она занялась заваркой чая, а когда с чашкой в руке обернулась, гитаристки в кухне уже не было, и звуки гитары неслись из другой комнаты, а Морин, разметав свои черные кружевные воланы, поставив ноги в белых зашнурованных сапожках каблуками в разные стороны, сидела за столом и сосредоточенно вглядывалась в Кейт.

— Вы носите обручальное кольцо?

— Да.

— Вы разведены?

— Нет.

Кейт опасалась, что такие лаконичные ответы могут оттолкнуть девушку, но спустя минуту Морин снова спросила:

— Вы жалеете, что вышли замуж?

При этих словах Кейт издала нервный смешок, как бывает, когда тебе задают бестактный вопрос; а спустя мгновение неожиданно для самой себя села и расхохоталась.

— Смешно, когда тебе задают такие вопросы, понимаете? Ведь я замужем почти столько лет, сколько помню себя.

— Что же тут смешного? — спросила Морин.

— Да у меня же дети. Четверо. И младшему девятнадцать лет.

Несколько мгновений Морин сидела не шевелясь, все так же пристально глядя на Кейт. Затем поднялась, передернула плечами, как бы стряхивая с себя разочарование от откровений квартирантки, и принялась скручивать сигарету из тщательно истолченных листьев какого-то растения с едким запахом. А затем отправилась туда, откуда неслась музыка, не попрощавшись с Кейт, не пожелав ей доброй ночи.

Кейт пошла спать. Когда она проснулась, был уже полдень. Она лежала в постели, глядя в окно на белую стену ограды, вдоль которой стояли горшки с цветами, и поверх нее — на деревья, на их кроны, все залитые ярким солнечным светом. В квартире царила тишина; по дороге в ванную Кейт не встретила ни души; помывшись, она прошла на кухню. Со вчерашнего вечера там никого не было. В холле зазвонил телефон. Трубку сняла Морин и, поговорив, встала в дверях кухни. На девушке была белая пляжная пижама, волосы заплетены в две косицы, перетянутые белыми ленточками.

Войдя в кухню, Морин подошла к столу, отрезала себе кусок хлеба, намазала его джемом и стала есть.

— А вы собираетесь снова красить волосы?

— Пока не решила. У меня в распоряжении еще около полутора месяцев.

— Какого цвета они были у вас в молодости?

— Такого же.— Потом, увидев на правом плече прядь медного цвета, поправилась: — Нет, каштановые.

— Вы, наверно, были красавицей,— сказала Морин.

— Спасибо.

— Если я уеду и оставлю на вас квартиру, вы присмотрите за ней? Никого лишнего не будет, никаких хождений, только вы.

Кейт невольно рассмеялась — так все это было не похоже на условия и стиль ее прежней жизни.

— Значит, вы не хотите?

— Нет.— Кейт еле удержалась, чтобы не добавить: «Но если нужно, то я, конечно, останусь». Вместо этого она сказала: — Не так уж часто мне удается быть абсолютно свободной, никуда не спешить, ни о ком не хлопотать. И я не знаю, когда еще подвернется такой счастливый случай.

— А давно это?

— Что — давно?

— Давно вы вырвались на свободу?

— Впервые в жизни.

Морин бросила на нее взгляд, который показался Кейт недружелюбным; но потом Кейт поняла, что в нем сквозил страх, а не враждебность. Морин поднялась из-за стола, закурила сигарету — обычную на этот раз — и стала расхаживать своими пружинистыми шагами по кухне, вырисовывая на полу невидимые узоры танца.

— И никогда раньше?

— Никогда.

— Вы молоденькой вышли замуж?

— Да.

Снова долгий, глубокий вздох — страха или предчувствия? — девушка прекратила выделывать па, словно птица на песке, и снова с пристрастием стала допытываться:

— Но ведь вы жалеете об этом? Да? Жалеете?

— Ну, что тебе сказать? Неужели ты сама не видишь, что я не знаю?

— Не вижу. Почему не знаете?

— Ты что, собираешься замуж?

— Не исключено.

И она снова пустилась плести по полу свой узор-танец, словно девочка, которой слишком много в жизни запрещали, а теперь она отводит душу в танце, переступая через преграды, барьеры, линии на полу, видимые только ей одной. В другом конце комнаты на полу лежал яркий квадрат солнечного света. Морин стала шагать вокруг него на носках — как солдат: раз-два, раз-два.

— Если я уеду, то в Турцию, к Джерри.

— Чтобы выйти за него замуж?

— Нет. Он не хочет на мне жениться. Это Филип хочет.

— И ты собираешься бежать к Джерри, потому что боишься выходить за Филипа?

Морин рассмеялась, продолжая быстрым шагом маршировать вокруг солнечного квадрата.

— Выходит, я не имею права отказываться стеречь квартиру, а то, чего доброго, ты по моей вине действительно выскочишь за Филипа.

Морин снова рассмеялась и внезапно присела к столу.

— У вас дочери есть?

— Одна.

— Замужем?
— Нет.
— А она хочет выйти замуж?
— Когда хочет, когда нет.
— А вы чего бы для нее хотели?
— Ну, как же ты не понимаешь, что у меня нет ответа на этот вопрос!
— Нет!— крикнула Морин.— Нет, нет, нет, нет. Я действительно не понимаю. Почему нет ответа?

И она выскочила из кухни с разлетевшимися в разные стороны косичками.

Весь день миссис Браун бродила по парку. До нее не сразу дошло, что она снова превратилась в миссис Браун, она сообразила это лишь тогда, когда стала ловить на себе заинтересованные взгляды — и все оттого, что на ней было надето платье по фигуре; оттого, что она уложила и взбила волосы в красивую прическу, которая шла к ее «пикантному» лицу; оттого, что она, как говорится, «стала приходить в себя» морально, а осанка и лицо тоже пришли в соответствие со всем остальным?

Когда она присела на скамейку отдохнуть, к ней пристроился какой-то мужчина и предложил вместе поужинать.

Домой она возвращалась в летних сумерках, окрыленная взглядами, которые бросали на нее встречные мужчины.

Гусенок, едва вылупившийся из яйца, слепо следует за предметом или звуком, которые он увидел или услышал в определенный, решающий момент своей птичьей жизни и которые отныне воспринимает как «мать».

Тяга мужчин стимулируется сигналами не более сложными, нежели те, которым следует гусенок; а она, Кейт, только и делала всю свою сознательную жизнь — сознательную в вопросах секса, скажем, лет с двенадцати,— что приспосабливалась к этим сигналам...

Утром Морин нигде не было видно,— может, она уехала в Турцию? — и Кейт весь день проходила в ее темно-зеленом платье и весь день была миссис Майкл Браун, ибо вместе с маской, с загадочностью к ней вернулась и привычная манера держаться.

На следующий день Кейт в бакалейном магазине обратила внимание на стоявшую у кассы впереди нее молодую женщину с выкрашенными — весьма неровно — в ярко-медный цвет волосами, в туфлях на очень высоких каблуках и в узкой, обтягивающей юбке. Она стояла перед продавцом, неестественно выпрямившись, широко улыбаясь, и без умолку болтала, всячески стараясь привлечь внимание к собственной персоне; но продавец лишь изредка бросал: «Да?», «Неужели?», «Подумать только!»

Она трещала не закрывая рта, эта одинокая женщина, глаза ее блестели напускной живостью, и в голосе звучала нарочитая жеманность, пока, наконец, продавцу не надоело ее кривляние и он не положил ему конец, обратившись к Кейт.

Когда женщина вышла из магазина на улицу, Кейт последовала за ней; она медленно шла за своим двойником по Эджвер-роуд, наблюдая, как та пристально вглядывается в лица прохожих, чтобы прочесть в их глазах, какое впечатление она производит, отвечает ли ее внешность принятому стандарту, в духе ли времени ее облик. Кейт видела, как женщина останавливалась у витрин и с интересом рассматривала туалеты, более пригодные для девушек возраста Морин или Эйлин; как с каждым шагом она все больше горбилась, ибо высокие каблуки измотали ее вконец, потом, словно опомнившись, вдруг

встряхивалась, распрямляла плечи, и взгляд ее становился агрессивным и в то же время молящим о снисхождении.

Вернувшись домой, Кейт обнаружила Морин в холле: она лежала на подушках, уставившись в одну точку. На ней было какое-то длинное алое одеяние вроде халата, алые сапожки, волосы распущены. Она походила на куклу.

— А я уж думала, ты вышла замуж,— заметила Кейт.

— *Этим* не шутят!

Кейт пошла к себе в комнату, сняла платье Морин, надела свое, которое так безобразно на ней сидело, и умышленно растрепала прическу.

Морин посмотрела на нее и спросила:

— Зачем?

— Я уже кое-что начинаю нащупывать. Мне надо кое-что понять. Выяснить, *кто* в конце концов был замужем все эти двадцать пять лет.

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь. Вернее, ты просто не способна еще этого понять, во всяком случае, мне так кажется.

— Какой снисходительный тон,— заметила Морин.

— Ничего не поделаешь! Вопросы, которые ты задаешь... они ни на чем не основываются. В них не чувствуется знания жизни.

— Неужели это главное? Зрелость и опыт?

— Если это все, что у меня есть.. что еше можно сказать? Мне нечего предложить людям. Я ничего в жизни не сделала, чем бы можно было похвастаться... Впрочем, я не совсем ясно представляю, в чем видит смысл жизни ваше поколение. Я не ездила за золотом в Катманду, никогда не занималась благотворительностью, не написала ни единой строчки. Была только женой и матерью...— Кейт умолкла, уловив нотки горечи в своем голосе. Потом вдруг плюхнулась в кресло и сказала:—Боже мой... послушать только, что я говорю!

Но Морин уже вскочила на ноги — голубая пелена дыма взметнулась вверх, закрутилась, заколебалась на уровне ее талии — и выкрикнула:

— Ничего вы не понимаете. Почему вы отказываетесь понять?

— Когда я говорю тебе о том, что чувствую, ты заявляешь, что у меня снисходительный тон.

— Черт бы вас всех побрал! — И Морин пулей вылетела из холла.

Кейт пошла к себе. Через несколько минут к ней без стука вошла Морин; Кейт сидела на стуле у окна и сосредоточенно разглядывала прохожих, их ноги, мелькавшие словно ножницы,— казалось, будто пленка соскочила во время демонстрации фильма и верхняя часть одного кадра (растения, спроецированные солнцем на стену) соединилась с нижней частью другого (ногами без туловищ).

— Филипу приспичило жениться на мне,— сказала она.— Говорит: «Выходи за меня, умоляю. Я тебя люблю. У тебя будет дом, машина и трое малышей».

— Ну и?..

— Удивительно, как это вы еще не спросили: «А ты его любишь?»

— А что, твоя мама именно так спросила?

— О, моя мама! А впрочем, действительно, она именно так и спросила. И я себе тоже задаю этот вопрос.

— А чем тебе не угодила твоя мама?

— Ничем. Просто она такая никчемушка. Такая... Кому же захочется брать с нее пример? Почему вы, взрослые, никак не можете... впрочем, это не мое дело. Только я все же хочу знать ваше мнение.

— Поступай как знаешь, я тебе в этом деле не советчица.

— Тогда какое же преимущество дает ваша пресловутая опытность?

— Никакого, по-моему.

— Я пригласила его сегодня на ужин. Вы не хотели бы познакомиться с ним поближе?

— Почему так официально?

— А он очень официальный. Из принципа.

— Вот как? («За этим что-то кроется»,— подумала Кейт.)

— Он из этих, новых... неофашистов — так их называют. Вам это что-нибудь говорит?

— Лично я ни с одним еще не встречалась. Но мой младший сын ходил однажды на какое-то их сборище и сказал потом, что их оговаривают. Чувствовалось, что они его заразили.

— Ну, еще бы! Закон и порядок. Духовные ценности. Ну и, конечно, сам чувствуешь себя последней мразью — что может быть привлекательнее?

— Ну ладно, я не прочь узнать его поближе.

— В восемь часов,— сказала Морин, выходя из комнаты.

Стол в кухне был накрыт скатертью. На нем стояли три прибора и уже откупоренная бутылка вина.

Кейт постаралась выглядеть в этот вечер более или менее прилично. Морин же, наоборот, желая самоутвердиться, оделась вызывающе. Лиф ее платья из бежевых кружев с глубоким вырезом был без чехла, так что просвечивали груди с сосками, обведенными как глаза. Лицо Морин было покрыто толстым слоем грима.

На Филипе была новая форма, представлявшая собой некоторую модернизацию старой,— впрочем, изменилась не столько сама одежда, сколько манера ее носить. Джинсы, но не выцветшие и мятые, а глубокого синего цвета и жесткие — хоть ставь. Хлопчатобумажная рубашка, тоже темно-синяя, плотно облегающая фигуру. Куртка военного покроя с пуговицами и петлицами в тон джинсам и рубашке. Под курткой виднелся узкий черный галстук. Стрижка тоже вполне современная — не бобриком, как носили раньше, а вариант прически под пажа, когда волосы падают шапкой вниз прямо от темени, без намека на пробор. Такая прическа делала его похожим на мальчишку — хотелось запустить руку ему в волосы и взъерошить их. В недалеком будущем он, надо полагать, сменит эту прическу на более строгую. Так или иначе, Филип производил впечатление человека аккуратного, настороженного, готового что-то делать, как-то себя проявлять. Однако последнее было вроде бы не природным качеством, а скорее результатом воли — коллективной воли. Одного взгляда на этого подтянутого, гладко выбритого юношу с неожиданно яркими губами, пухлыми деревенскими щечками и глазами, из которых так и брызгало желание произвести благоприятное впечатление, было достаточно, чтобы понять, что его истинная суть совсем иная. Но прежде всего бросалась в глаза его уверенность в том, что именно *он* является носителем нового, находится на самом гребне восходящей волны; что одного его присутствия достаточно, чтобы все джерри, томы, дики и гарри померкли разом; что вся армия длинноволосых, пестро одетых хиппи, анархистов и фрондирующих юнцов, которые совсем недавно с гордостью несли на себе печать *времени,*— все они рядом с ним мелки, вульгарны и призрачны: тени, которые исчезнут, стоит появиться Филипу.

Подобно тому, как некоторое время назад неожиданно вошло в жизнь целое поколение молодежи (нет, не дети Кейт — они еще были слишком малы тогда, им пришлось, подрастая, уже приспосабливаться, копировать других) со своим особым жаргоном, манерами, политическими и социальными идеями — миллионы молодых людей, похо-

жих друг на друга, как две капли воды,— так и теперь, очевидно, настало время новых метаморфоз. И носитель их — Филип? Нет, он, пожалуй, переходный тип; через какое-то время он сойдет со сцены. А пока обаяние его личности было неотразимо — это было обаяние безграничной самоуверенности. Ему не приходилось тратить лишних слов, чтобы доказать, что его идеалы в тысячу раз привлекательнее, нежели анархические устремления и болтовня разных там недотеп — а именно такими выглядели они на его фоне,— которые увиваются вокруг Морин, скользят по ее жизни, не оставляя в ней следа.

Морин подала паштет и тосты. По всем правилам хорошего тона. Из-за Филипа все трое вели себя как добропорядочные буржуа за обеденным столом.

Но сам Филип выходцем из буржуазии не был. Он был сыном типографского рабочего, его даже «отчисляли» из школы за какие-то грехи; он сумел вновь туда поступить, сдать экзамены, и теперь его положение было — по крайней мере, с виду — вполне надежным. Он был муниципальным чиновником и занимался устройством детей бедноты. У него за плечами был овеянный романтикой опыт участия в антиправительственных выступлениях, опыт неприятия всего, что предлагала «система». Он употреблял слово «система» точно так же, как это делало предшествующее поколение,— с той лишь разницей, что он видел в ней институт, который необходимо преобразовать, сделать более жестким, авторитарным, но к перемене режима не стремился. Короче говоря, это был наисовременнейший образчик представителя администрации, который руководствовался в своей деятельности не лозунгами: «Поступай так, ибо таков закон, которому мы все подчиняемся,— у нас ведь демократия, не так ли?» или: «Поступай так, ибо таков приказ партии», а принципом, который гласил: «Поступай так, потому что ты беден, живешь впроголодь, полуграмотен и дошел до отчаяния; у тебя нет другого выхода».

Кроме всего прочего, он принадлежал к организации, именуемой «Молодежный фронт», которая в свою очередь была ветвью недавно сформированной Британской лиги действия.

За что же выступают эти организации, поинтересовалась Кейт; Морин вертела в руках кусочки тоста, внимательно следя за разговором Кейт и Филипа и пытаясь понять, как же она ко всему этому относится или должна была бы относиться. Как бы, например, вела себя в подобной ситуации ее мать? Морин предоставила Кейт вести беседу, а сама как бы устранилась. Снова Кейт надо было взваливать на себя ответственность — и она ее взвалила, иначе она не была бы Кейт.

— Что ж, миссис Браун, вам, наверно, объяснять не надо — вы и сами видите, какой кругом бедлам.

— Несомненно.

— Значит, надо наводить порядок.

— Да-да, верно. Но как?

— Мы считаем, что каждый должен нести ответственность за судьбу нации. Не переливать из пустого в порожнее, выискивая мелкие недостатки, злопыхая и копаясь в грязном белье. Нет, мы — люди дела. У нас сразу все встанет на свои места. Мы не боимся запачкать руки.— Излагая свое кредо, он торопливо ел и то и дело поглядывал на Кейт и на свою возлюбленную, которая лениво грызла поджаренный хлеб и думала явно не о Филипе, а лишь о самой себе.— Да, и я не стыжусь сказать об этом вслух: достаточно мы канителились со всяким дерьмом, пора жить пристойно, пора навести порядок.

— Для чего? — вмешалась неожиданно Морин.

Голос ее дрожал. Видно было, что все в ней протестует,— этого не смогли скрыть ни слой грима, ни кружева, ни воланы. Спору нет, в Филипе много притягательного. Будь Кейт на месте Морин и очутись она перед выбором — Джерри и ему подобные или Филип, она бы знала, кого предпочесть, но ее испугал собственный выбор.

— Ты только посмотри на себя, Морин,— начал он наигранно-добродушным тоном (в силовом поле ее обаяния он держался спокойно и сдержанно, что давалось ему с трудом), стараясь не смотреть на нее и тем не менее кидая искоса взгляды на ее почти обнаженную грудь. И вдруг взорвался: — Сколько ты тратишь на себя в неделю, скажи на милость? На тряпки, косметику, прически?

— Меньше, чем ты думаешь,— ответила Морин и встала из-за стола, чтобы убрать пустые тарелки, масло и остатки паштета.— Платья я покупаю в основном на распродажах. А потом переделываю их сама. Я вовсе не транжира.

— Но ведь это единственное, чем ты занята в жизни, ты просто убиваешь время.

— Тогда как миллионы людей мрут с голоду? Миллионы умирают, пока мы сидим здесь и чешем языки? Так, что ли? — Она пыталась говорить насмешливо, с улыбочкой, но не получилось: в голосе ее звучала неподдельная тревога — не за судьбы миллионов, которые гибнут от голода, а за Филипа с его притязаниями на ответственность за все человечество.

— Да,— подтвердил он мягко, принимая вызов Морин и пытаясь перехватить ее взгляд.

Она посмотрела на него, тяжело вздохнула и, взяв поднос с посудой, направилась к раковине.

— Да-да,— настаивал он,— ты целыми днями только и делаешь, что наряжаешься, мажешься — просто коптишь небо.

Он снова бросил взгляд на ее грудь, хотел было взять из вазы яблоко... но, спохватившись, что до десерта еще далеко, удержался, сжал руки в кулаки и положил на стол.

— Нет,— после долгой паузы задумчиво произнесла Морин.— Это неправда. Я не *только* этим занята. И совсем не так провожу время. Это просто со стороны так кажется.

— И ты, и вся твоя шатия,— не отступался Филип.

— Моя шатия? — переспросила она со смехом.

— Да,— подтвердил он, как бы отсекая себя от ее поколения.

Морин сняла с плиты кастрюлю с тушеным мясом и важно прошествовала с ней к столу.

— Твоя дерьмовая фанаберия так и прет из тебя,— посетовала она.

— Ты права, есть немного и фанаберии, но что же делать, если я убежден в том, что говорю. Хотя и не могу утверждать, что мы нашли панацею от всех зол.

— Все «мы» да «мы»,— вставила Кейт.

— А мы действительно не одиноки, нас поддерживают массы.

— Это еще ничего не доказывает.

Он не уловил скрытого смысла ее слов.

— Кейт хочет сказать,— пояснила Морин,— что в твоих словах не слишком много нового. Мягко говоря.

— Весьма мягко,— подтвердила Кейт.

Филип, чуть прищурив глаза, переводил взгляд с одной на другую.

— Нас называют фашистами,— сказал он вдруг. Сказал запальчиво, с обидой — апломба как не бывало.— Дубинками и камнями можно, конечно, переломать нам кости, но слова отскакивают от нас как от стенки горох.

— Хорошо, но как же *практически* вы намерены *действовать?* — спросила Кейт.— Вы нам так и не сказали.

— А он об этом предпочитает умалчивать,— съязвила Морин.

— Прежде всего надо объединить усилия, а потом уж решать, что делать.

— Ты говоришь так, будто это пара пустяков. На деле все не так просто.

— Как раз на деле-то это и легко,— заявил он, снова входя в роль; Морин только вздохнула.— Поначалу все должны прийти к одному простому выводу: в мире творится черт-те что, общество вышло из-под контроля. А потом уж наводить порядок. Причина всего этого безобразия ясна, тут спорить не приходится. У нас долгое время отсутствовали нормы поведения. Надо вернуться к исконным человеческим ценностям. Вот и все. И вырвать с корнем то, что прогнило, стало трухой.

— Меня, например,— выдохнула Морин, раскладывая тушеное мясо по мисочкам.

— Да,— согласился Филип.— Пока ты такая, как сейчас,— да.

— В таком случае почему же ты хочешь на мне жениться?

Он вспыхнул, сам того не желая, посмотрел на Морин возмущенным, но в то же время полным восхищения взглядом, потом бросил умоляющий взгляд на Кейт: в ней он видел in loco parentis[1]. Наконец, с трудом взяв себя в руки, он отважно заявил — подобное заявление с его стороны действительно требовало немалого мужества:

— Я не хочу жениться на тебе такой, какая ты сейчас. Но я вижу твою настоящую сущность. Да, вижу. Ты совсем не такая, какой хочешь казаться. Ты не испорченная, не пустышка...

Он стал суетливо ковыряться ложкой в фасоли, явно забыв, как полагается вести себя за столом. Впрочем, было уже не до хороших манер. Все трое были взволнованы.

— Вы это серьезно — насчет того, что надо с корнем вырвать все прогнившее? — спросила Кейт.

Он ответил твердо и впервые так убежденно:

— Нельзя сделать омлет, не разбив яиц.

Они доели мясо в полном молчании.

Наконец Филип не выдержал:

— Это всего-навсего вопрос организации — все должно быть правильно организовано.

Женщины промолчали.

— Нам нужна твердая рука — этот произвол пора прекратить, иначе будет еще хуже.

У Морин вырвался вздох, заставивший Филипа замолкнуть.

Не исключено, подумала Кейт, что кто-то из ее собственных детей, а может даже и не один, примкнет к этому «Молодежному фронту» или к другой подобной организации. Кто же — Тим? Нет, он не создан для дисциплины. А откуда у нее, собственно, такая уверенность? Людям свойственно меняться, под давлением обстоятельств они могут превратиться в кого угодно. Стивен? Или те, кто видит, насколько прогнила вся система, застрахованы от принятия той или иной политической платформы внутри самой системы? Возможно. Ну, а Джеймс? О нем не может быть и речи: он слишком привержен социалистическим идеалам — до фанатизма. Впрочем, чего в жизни не бывает! Тогда Эйлин? Ну, у этой одна мечта: выскочить замуж.

В этих мыслях было что-то оскорбительное, принижающее человека. Политика теперь все больше и больше походила на театр ма-

[1] Мудрого, старшего, человека, заменяющего родителей *(лат.)*.

рионеток или заводных механических кукол, которые, будучи раз заведены, продолжают судорожно дергаться и жестикулировать, а ураганный ветер сбивает их с ног и расшвыривает в разные стороны.

И все же Брауны, как и другие семьи их круга, не были аполитичны — политика была для них тем же, чем религия для их родителей. Всю их сознательную жизнь, начиная с мировой войны, сформировавшей их личности, им помогали жить и поддерживать в себе чувство собственного достоинства такие понятия, как свобода, независимость, демократия. Все они в той или иной степени были социалистами или либералами. А кто ими не был? Однако Кейт — да и Майкл тоже, она это знала,— все чаще задумывалась над тем, что политическая игра — просто бессмыслица. Но думать так было невыносимо тяжело.

Моя горячность и возмущение словами Филипа, думала Кейт, вызваны страхом. Правда, очень может статься, что эти его идейки обернутся таким же кукольным театром, как и все остальное, а его фронты и лиги окажутся лишь пустышками с громкими названиями!

— Филип,— сказала она,— а вам не кажется, что, когда вы говорите «вырвать с корнем то, что прогнило», в ваших словах звучат знакомые мотивы? Вы никогда их раньше не слышали?

— Ну, все уже когда-то кем-то было сказано,— ответил он.

Однако на его лице мелькнуло какое-то виноватое выражение. Кейт подумалось, что, может быть, сегодня он впервые облек свои идеи в слова, но теперь они были произнесены, он услышал то, что думал — думал, быть может, не отдавая себе в этом отчета. И решил: звучит неплохо, хлестко! Отныне эти слова станут частью его новой программы, манифестом «Молодежного фронта» или как бишь его.

— А вы что там, в этой своей организации, ходите в вождях?

— Если хотите, да. Вместе с другими. Основали ее до меня. Но парни, сколотившие этот фронт, были...— Он осекся, вспомнив, что его собеседницы никакого отношения к движению не имеют.

— Понятно, болтуны-либералы, но вот пришли вы и влили свежую струю,— закончила за него Кейт. Он так и полоснул ее взглядом.— В этом можно не сомневаться,— добавила Кейт почти ласково.— Так оно было и так будет.— У нее чуть не вырвалось: «Настал ваш черед». И вдруг ей пришло в голову, что гнев ее и неприязнь следует адресовать не этому юнцу, ровеснику ее второго сына, а истории. Она попыталась охладить свой гнев: какой смысл в этой дискуссии? Просто ей вдруг стало страшно.— Мне кажется, что вы начнете кровопускание с таких, как я.

— Ну что вы! — возмутился он.— Вы меня не так поняли. Речь идет не о физическом уничтожении людей, а об изменении их психологии. Ее надо переделывать. Радикально. И это непременно произойдет. Последние исследования показали, что мы можем управлять поведением людей — антиобщественным поведением, конечно, которое несет в себе угрозу другим людям. При помощи медикаментов. Разумеется, это довольно щекотливый вопрос, но главное, что сейчас *есть* возможности, которых раньше не было.

Морин встала, убрала тарелки, принесла доску с сыром и батон и плюхнула все это на стол. Затем села и уставилась неподвижным взглядом в дальний угол кухни.

Филип снова покраснел, начал говорить что-то, очень смахивавшее на вступительную речь или декларацию, но смешался и бросил на Кейт умоляющий взгляд. Однако она по-прежнему сидела опустив глаза.

Филип встал. Чувствовалось, что он еле сдерживается, чтобы не взорваться.

Но он все же справился с собой и спросил легким, шутливым тоном, каким, вероятно, говорил до своего недавнего перевоплощения в спасителя нации:

— Морин, ты не оставляешь мне никакой надежды? — Он подошел к девушке сзади и положил руки ей на плечи. Кейт видела, как Морин вся сжалась, затем расслабилась, но тут же снова напряглась: да, он не на шутку вскружил ей голову.— Я буду образцовым мужем,— объявил Филип, снова обретя самоуверенность и подтрунивая над девушкой и над самим собой.— Я люблю тебя. Не знаю за что, но люблю! Надо совсем из ума выжить, чтобы отказаться от такого парня, как я. Второго такого днем с огнем не сыщешь.

— Да, с тобой не соскучишься,— заметила Морин возмущенно и в то же время чуть ли не восторженно.

— Это уж точно. И потом — я при деле. И безработица мне вроде бы не грозит. Это все-таки кое-что, верно?

Он шутил, но в его словах звенела неподдельная гордость, и он нисколько этого не стыдился.

— Вот уж о чем всю жизнь мечтала,— фыркнула Морин.

И все же рассмеялась. Филип склонился над ней, заглядывая накрашенное, цвета заката, лицо и скользя взглядом ниже.

Она не шелохнулась.

— Я уйду, если тебе неприятно мое присутствие,— сказал он, снова начиная хорохориться. А когда она никак не откликнулась и на это, заявил: — Ну что ж, так и запишем.

— Нет,— прервала молчание Морин.— Нет.

Она встала со стула, и молодая пара направилась в комнату девушки, пожелав Кейт на ходу спокойной ночи.

Была полночь. Кейт прошлась не спеша до Марбл-Арч и обратно, ловя оценивающие взгляды мужчин, предложения, произносимые приглушенным голосом комплименты, ненавидящие взгляды, которыми награждают слабый пол его пленники. Ее неотступно преследовала мысль, что, будь она в своем другом обличье, никто не удостоил бы ее и взглядом; она бы гуляла невидимкой, хотя ее внутреннее «я» оставалось бы прежним.

Когда Кейт вернулась, в квартире было темно. В комнате, днем полной света, птичьих трелей и запаха трав, доносящегося из соседних садиков, в объятиях Филипа лежала Морин. Лежала в коконе сладкой неги. Лежала в надежных любящих руках. Нежилась в объятиях, охраняющих ее от всякого зла.

На следующее утро Кейт проснулась поздно. На кухонном столе ее ждала записка от Морин: «Уехали на пару дней к морю. До встречи. Привет. Морин».

Кейт отметила про себя, что этот «привет», традиционное словечко в конце записки, всколыхнуло в ней волну теплых чувств. Она разорвала записку и выругалась: «Дерьмо!» Это было слово из лексикона ее отпрысков и Морин, но сама Кейт никогда его не употребляла. Однако сейчас она сочла, что имеет право им воспользоваться.

В старом платье, непричесанная, она пошла за продуктами и бродила невидимкой по рядам открытого рынка.

Она вернулась в пустую квартиру. Время от времени заглядывали какие-то молодые люди справиться о Морин. Однажды на подушках в холле ночевала угрюмая девица, прямо с порога заявившая о своих правах: она-де «всегда» спала здесь; а наутро, не поздоровавшись с Кейт и не попрощавшись, исчезла.

Кейт отметила про себя, что такое проявление неприязни ничуть не задело ее, хотя всего неделю тому назад она способна была заплакать из-за этого.

У нее появился аппетит; приступы рвоты, казалось, ушли в прошлое. Ей захотелось что-то делать. Тогда она принялась наводить чистоту в квартире, отмывать раковину, раскладывать вещи в шкафу. Поймав себя на этом занятии, она все же довела начатое до конца — давняя, глубоко укоренившаяся привычка не позволяла ей бросить дело на полдороге; она еле удержалась, чтобы не пройтись пылесосом по комнатам. Если уж ей пришла охота заниматься всем этим, значит, пора возвращаться домой.

Кто это собирается домой, уж не она ли? Однако время принимать решения еще не настало. Впереди еще целый месяц — до конца сентября.

От Морин пришло письмо. Кейт прочла его с фаталистическим презрением: «Ну, к чему вся эта комедия? Чего тут можно ждать?» В письме чувствовалась покорность судьбе, хотя оно и было пересыпано шуточками.

Морин сообщала, что «более или менее твердо» решила выйти замуж за Филипа.

Кейт бросила письмо в мусорное ведро, вышла на улицу, забыв зафиксировать в своем сознании, в роли какой Кейт она сегодня выступает (на сей раз она была почтенной дамой), села в автобус, доехала до Всемирной продовольственной организации и обнаружила там письма на имя миссис Браун.

Не вскрывая их, она вернулась в свою клетушку.

Муж очень соскучился по ней, но это не мешало ему чудесно проводить время. Он уже подумывает о том, чтобы повторить поездку на следующий год. Ей бы тоже не мешало поразмяться — «как ты на это смотришь, старушка?». Вернется он примерно на неделю раньше намеченного срока. Если дом еще занят жильцами — забыл, когда они должны съехать,— он может ночевать у себя в клинике.

Кейт же помнила с точностью до минуты, когда дом снова станет домом Браунов.

Стивен. Алжир — чудо. Вернется домой, когда и предполагал.

Эйлин. Штаты — просто потрясающая страна. Все здесь вверх тормашками, но ведь и в других местах не лучше!

Джеймс. Судан — нечто фантастическое. В Англии понятия не имеют, что творится в других частях мира, не информировать об этом публику могут лишь узколобые изоляционисты; скоро будет дома.

Тим. Укусило какое-то насекомое — неизвестно какое. Тяжело болел, но не сообщил об этом, чтобы не портить отдых другим; теперь же вынужден вернуться домой на три недели раньше, чем предполагалось, и ввиду того, что ему рекомендовали после болезни не переутомляться, ему кажется, что лучше всего...

Миссис Браун восстала из пепла и протянула к телефону руку. Она набрала свой домашний номер; трубку сняла миссис Эндерс и сказала, что это удивительное совпадение: миссис Браун позвонила как раз в ту минуту, когда она подумала, что было бы хорошо вернуться в Штаты пораньше.

Итак, Кейт может стать хозяйкой своего дома уже через три дня.

Мысль ее привычно заработала. Прежде всего нужно послать несколько телеграмм, потом позвонить в бакалейный магазин — или нет, сначала лучше вызвать людей из конторы бытовых услуг, чтобы прибрали в доме. Эндерсы наверняка оставят после себя дикий беспорядок,— а уж потом заказывать продукты. Пожалуй, неплохо было бы... Она чувствовала, что улыбается, что каждое ее движение исполнено энергии, убежденности, решительности. Тиму сейчас лучше поселиться в свободной комнате на третьем этаже — там целый

день солнце, и мальчику это пойдет на пользу; судя по письму, настроение у него — хуже некуда.

Она сняла телефонную трубку и только произнесла: «Это контора бытовых услуг?», как увидела Морин, которая стояла на пороге и смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Сзади, положив руки ей на талию и как бы выставляя ее на обозрение Кейт, стоял Филип. Демонстрируя то, что он создал? Морин изменилась. На ней был вполне пристойный костюм — все причуды исчезли; волосы заплетены в косы а-ля Гретхен и уложены вокруг головы.

Кейт широко улыбнулась им и продолжала набирать номер. Они вошли в кухню и сели. Молча. Они наблюдали за ней. Или, скорее, Морин наблюдала, а Филип следил за Морин, удивленный ее интересом к Кейт.

Скоро Кейт ушла с головой в организацию быта своего семейства и совсем забыла о присутствии Морин и Филипа. Решив немного передохнуть, она налила себе чашку чая, потом обернулась и с удивлением обнаружила, что они уже ушли в комнату Морин. Они ссорились. А потом, звоня Мэри Финчли, чтобы попросить ее срочно договориться с мойщиком окон, к услугам которого они обе прибегали, Кейт случайно оглянулась и увидела Морин — девушка сидела за столом, глаза у нее были красные, лицо опухло. Она пристально смотрела на Кейт.

— Ну, полно, не плачь,— бросила Кейт бодрым тоном и увидела, как лицо девушки исказилось от ненависти.

— Оставьте этот тон хоть со мной,— осадила ее Морин, и Кейт осеклась. Впрочем, она все еще пребывала в каких-то высях, упиваясь собственной деловитостью, не находившей, как ей казалось, достойного применения не какие-то там недели, а целые десятилетия. Тем не менее, слушая гудки в трубке — у Мэри никто не отвечал,— она внимательно всмотрелась в лицо Морин и увидела, что оно обмякло от горя, стало жалким и трогательным. Это было лицо маленькой девочки, со страхом смотревшей на Кейт.

— Что случилось? — спросила Кейт.— Что же все-таки стряслось, Морин?

— Я только что сказала Филипу, что не выйду за него,— заявила Морин.

В тоне Морин звучал такой откровенный упрек, что Кейт сразу поняла: возвращение домой скорее всего придется отменить. Она опустилась на стул возле обеденного стола.

— Почему?

— Я готова на все, пусть останусь совсем одна, *навсегда,* только не приведи бог превратиться в *такое.*

Кейт молча посмотрела на *такое,* то есть на самое себя, какой она была несколько минут назад.

— Во всем виновата я, да? — суховато, но не без юмора спросила она.

Морин буквально взорвалась:

— Ужасно. Отвратительно. Мерзко. Вы просто представить себе не можете... Неужели вы сами не понимаете? Видели бы вы себя со стороны! — Она опустила голову на руки и зарыдала.

Кейт сказала:

— Может быть, все так и есть, но ведь ты и раньше не очень-то хотела идти за Филипа, так что, не будь меня, ты по какой-нибудь другой причине изменила бы свое решение.

Морин слегка покачала головой, как бы говоря: «Не в этом суть»,— и промолвила:

— Вообще брак...— И снова заплакала. Навзрыд.

Кейт сидела и молчала. Она думала о том, что прошла большой путь за последние месяцы. Раньше она не смогла бы сидеть спокойно, видя, как девушка, ровесница ее дочери, страдает, заливаясь слезами, из-за того, что она, Кейт, омрачила ее будущее. Да, в этом она изменилась.

Она заметила:

— Знаешь, по-моему, в чем ты заблуждаешься: тебе кажется, что если ты не выйдешь замуж, то непременно преуспеешь в какой-то другой области. Как бы там ни было, а я не позволю тебе взваливать на меня ответственность за разрыв с Филипом.

— А кто сказал, что вы виноваты? — выкрикнула в ответ Морин.— Кто? Во всяком случае, не я. И почему вы должны чувствовать себя виноватой? Почему? Почему всегда надо искать виноватого? Я вот не желаю быть в этом похожей на вас — я и только я отвечаю за то, что отказала ему.— И вдруг воскликнула со слезами в голосе: — Что мне делать? Что? По-моему, я люблю Филипа.

Должно быть, у Кейт появилось на лице такое выражение, хоть она об этом и не догадывалась, что девушка настойчиво повторила:

— Да, да. Я уже не раз влюблялась. Но сейчас — это серьезно. Это настоящая любовь. Та самая, от которой очертя голову выскакивают замуж. Я влюблялась и раньше, так что я знаю. Но и за того парня я тоже не пойду. Не хочу принадлежать к этой шатии.

— К какой это? — спросила Кейт, прекрасно понимая, о чем идет речь.

— Голубых кровей,— ответила Морин.— Я не о своей семье, нет. Мои родичи не из верхов общества. Просто хорошая семья, хотя без титулов и всего такого прочего, ну, вы понимаете. Но ко мне сватался младший отпрыск одного аристократического рода. Уильям. Очень славный малый. Такой же, как Филип, когда его не заносит... нет, «заносит» — не то слово, он еще покажет себя, когда придет время действовать, уж поверьте. Раньше он был как все ребята, но надежный, точно скала, и не играл в какую-то там исключительность. Просто страшно становится,— громко всхлипнув, произнесла Морин, и слезы снова полились у нее в три ручья,— как подумаешь, что́ с ними будет. С Уильямом я бы жила как у Христа за пазухой, а я отказала ему из-за его шатии — вы же знаете, что это за порода, они милы и добры только в своем кругу, а дальше ничего не видят. Словом, после того как я отказала Уильяму, я просто не могу выйти замуж за Филипа. Но люблю их обоих, да, да, да — люблю. Когда я влюбилась в Уильяма, я сказала себе: «Привет, старуха, оказывается, тебе нужна опора?» А теперь я уже окончательно убедилась, что это так. Сначала Уильям, потом Филип, Джерри, конечно, не любовь. Не влюблена я и в других своих поклонников. Просто не могу принимать их всерьез. Разумом готова, а сердцу не прикажешь. Так ведь бывает, правда? Женщины интуитивно знают, что им нужно, но... Джерри — мой закадычный друг чуть не с пеленок. Мы с ним одного поля ягоды. Хотите верьте, хотите нет, он ведь из генеральской семьи. И он, так же как и я, ушел из этой среды. А теперь целыми днями бьет баклуши и размышляет. Вы знаете, как это бывает. Теперь это основное его занятие. Стопроцентное круглосуточное алиби. О, он славный парень, необыкновенно славный, почему я придираюсь к нему? Сама-то я разве лучше? Я ведь тоже не ахти какая работяга, до сих пор сижу у отца на шее. Но если бы мне нужно было выбирать между Джерри и Филипом, я бы долго думать не стала, остановилась бы на Филипе. Но, слава богу, я избавлена от такого выбора. Хоть это хорошо.

— Ну, разговоры разговорами,— прервала ее Кейт,— а у меня еще полно дел.

Она вернулась к телефону и принялась снова названивать, теперь отменяя то, о чем только что договорилась, сообщая соседям, что ее планы изменились, и вынуждая бакалейщика, который наверняка уже снял с полок заказанные Кейт продукты — миссис Браун была настолько выгодной клиенткой, что стоило немного побегать, чтобы угодить ей,— поставить все на прежние места.

У Морин явно болела голова. Она притихла и молча наблюдала.

В Штаты Кейт отправила телеграмму следующего содержания: «Очень сожалею. Возвращение запланировано конце октября». И добавила: «Хозяйство рекомендую поручить Эйлин», но, перехватив улыбку Морин, закончила: «Люблю. Целую. Кейт». Она верила, что к концу октября эта приписка будет соответствовать действительности.

Тиму она телеграфировала: «Сожалению не могу тебя выхаживать дом доступен послезавтра».

Эндерсам сообщила: «Ключи от дома оставьте Мэри Финчли — планы переменились».

День между тем шел своим чередом. Время от времени Кейт и Морин по очереди варили чай или кофе. Звонили в дверь, трещал телефон, но они не обращали внимания.

Кейт сказала:

— Да, знаешь, только что вспомнила: я тебя видела вчера во сне. Ты была птицей в блестящем ярко-желтом оперении и билась, как в клетке, в этой своей квартирке, которая почему-то была очень похожа на настоящую клетку; ты все металась по ней — то устремлялась в темный угол, то стрелой пронзала ослепительный луч света, попадавшийся на пути... Ты все повторяла как заклинание: «Нет, нет, нет, нет, о нет, этому не бывать».

Они улыбнулись, потом принялись смеяться. Все громче, пронзительнее, до слез, раскачиваясь на стульях.

Наконец Морин вскочила и воскликнула:

— Знаете что? Нам надо подкрепиться. И привести себя в порядок. Смотрите, на что мы похожи!

Она нарезала хлеба, намазала его маслом, достала блюдо с фруктами и тарелку с сыром и сняла с полки две банки детского питания. Они молча поели.

Затем Морин приняла ванну, уложила волосы, приоделась; Кейт последовала ее примеру, а свои непокорные волосы стянула лентой — как школьница, зато они не лезли ей в глаза. Серая полоса делила голову на две половины от темени до самого лба. И так теперь будет все время.

— О нет,— пробормотала Кейт, разглядывая седину, и ей захотелось, чтобы седина распространилась быстрее, чтобы естественный цвет вытеснил краску.— О нет, ни за что больше не буду краситься, никогда. И зачем только я начала, вот уж действительно черт дернул.

Во второй половине дня в дверь позвонили так настойчиво, что Морин, не выдержав, пошла открывать. На пороге стоял Филип. Весь — подчеркнутое спокойствие, ни намека на вчерашний инцидент, он стоял в холле и смотрел на Морин и мимо нее — на Кейт, которая была в кухне.

— Приглашаю вас обеих со мной. Хочу вам кое-что показать.

— Зачем?

— Сделайте одолжение. Ну что вам стоит?

Поведение юноши только сначала показалось миролюбивым, потому что уже само появление его было укором. Это было ясно. Он стоял лицом к лицу с Морин, полный решимости, и буравил ее взгля-

дом. В своей смахивающей на форму одежде он был похож на солдата.

Морин явно тянуло к нему — ее привлекала эта сила, эта уверенность. И в то же время отталкивала; она стояла в нерешительности, бледная и растерянная. В конце концов она обернулась к Кейт — та в ответ отрицательно покачала головой. Но Филип тут же скомандовал:

— И вы тоже, миссис Браун, пойдемте, пойдемте. Я хочу, чтобы вы обе посмотрели.

Морин пожала плечами и повиновалась. Кейт последовала за ней. За распахнутой дверью летели листья в вихре пыли. Женщины поднялись по ступеням на тротуар к машине. Это была малолитражка, вся облепленная наклейками: ПОКУПАЙТЕ АНГЛИЙСКИЕ ТОВАРЫ. ПОМОГАЙТЕ *СВОЕЙ* РОДИНЕ. *ВАША* РОДИНА НУЖДАЕТСЯ В *ВАШЕЙ* ПОДДЕРЖКЕ. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ АНГЛИЮ, А НЕ ХАОС. ВЫПОЛНЯЙТЕ СВОЙ *ДОЛГ*. БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ.

Машина была разукрашена как для карнавального шествия или для съемок музыкального фильма из эпохи тридцатых годов — о чем бишь тогда кричали на всех перекрестках? Не о Японии ли? Или о Гонконге?

Филип открыл переднюю дверцу, но Морин попытался проскользнуть на заднее сиденье. Филип удержал ее, положив ей руку на плечо, и сказал:

— Нет, я хочу, чтобы ты сидела рядом со мной.

Его голос звучал ласково и в то же время властно, но мягкая манера держаться делала его властность карикатурно смешной, показывая, что это не более чем поза. Обстановка, разукрашенная машина — все происходящее с каждой минутой больше и больше походило то ли на шараду, то ли на хэппенинг; сев рядом с Филипом на переднее сиденье, Морин недоуменно произнесла:

— Бред какой-то. Что я здесь забыла, в этой машине? И зачем мы вообще поехали, Кейт?

— Положись на меня, Морин,— проникновенно ответил ей Филип.— Не бойся, я с тобой.

— О господи,— вздохнула Морин, но обе женщины уже сидели в машине, и Филип вез их по Эджвер-роуд. Они доехали в общем потоке уличного движения до Гайд-парк-корнер, где обстановка разительно изменилась. Все пространство было заполнено машинами с такими же наклейками, как у Филипа, группы людей разного возраста под огромными знаменами Британской лиги действия держали в руках транспаранты с призывами и лозунгами лиги. Люди в машинах жестами выражали свое одобрение, а какая-то женщина, увидев транспарант с лозунгом: НАЗАД, К ДОБРОЙ СТАРОЙ АНГЛИИ!— крикнула: «Здорово сказано, выше его, выше!»

Они направились дальше, мимо Букингемского дворца, возле которого, как обычно, толпились зеваки, пришедшие подышать одним воздухом с его обитателями, и выехали на набережную. Там, вдоль всего тротуара, стояли люди — их были сотни, тысячи. Не меньше, чем людей, было здесь и транспарантов, но сделаны они были по-домашнему, примитивно; единственным изготовленным на профессиональном уровне был плакат, заявляющий о том, с чем эти люди вышли на улицы: НАКОРМИТЕ ГОЛОДАЮЩИХ У СВОЕГО ПОРОГА. НАКОРМИТЕ СВОЙ НАРОД. Кроме этого были тысячи других призывов, более личного характера, написанных на кусках картона, порой просто на листах бумаги карандашом или цветными чернилами, а иногда напечатанных на машинке: ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ МЫ ГОЛОДАЛИ МОЛЧА? С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ СЕРДЦА ВОН?.. МЫ НИ-

ЧЕГО НЕ ЕЛИ СЕГОДНЯ, А ВЫ?.. ВЫ СЫТЫ? — СЧАСТЛИВЧИК!.. У ВАС ЕСТЬ РАБОТА? — А Я БЕЗРАБОТНЫЙ.

Филип то и дело поглядывал на Морин и явно был доволен собой. Он специально вел машину как можно медленнее.

На первый взгляд все эти люди не производили впечатления голодающих. Хоть это и были бедняки, но не из тех, кто умирает голодной смертью. Они жили на грани голода, поддерживая свое жалкое существование мизерными пенсиями, подачками, милостыней и редкими пайками из правительственного фонда помощи безработным. Однако на их лицах лежала печать тупого уныния и апатии — вечных спутников безысходной нужды; это были чисто внешние признаки, знакомые каждому по телеэкрану, но они всегда почему-то ассоциировались с другими странами, не со своей.

Среди хоровода жухлых листьев под редеющими кронами деревьев стояли группками мужчины, женщины, дети, и если задаться вопросом, что отличает их от многих других подобных демонстраций, то выяснится — не сразу, правда, ибо такого давно не приходилось видеть,— что люди эти представляют собой не профсоюзы, партии или политические группировки, а семьи. Обитатели тысяч и тысяч лондонских домов стояли вдоль улиц молчаливым укором, глядя на сытых и — пока что — обеспеченных, которые в свою очередь глазели на длинные цепи обездоленных. Но любопытствующие не выказывали самоуверенности или превосходства — отнюдь нет: каждый сознавал, как легко оказаться по ту сторону невидимого барьера. Слухи о происходящем быстро распространились по городу, и сюда уже стали стекаться люди с соседних улиц, пришедшие заглянуть в глаза собственному страху перед будущим, олицетворением которого были эти нищие семьи.

Филип продолжал вести машину на самой малой скорости. Зрелище, представшее их глазам, опьяняло его, он весь сиял. Морин же, напротив, менялась в лице — она то бледнела, то краснела, то подавалась стремительно вперед, пытаясь лучше рассмотреть голодных людей, то обращала взгляд на Филипа — взгляд, полный недоверия, гнева, ненависти... и, разумеется, восхищения.

— Отлично,— проговорила она.— Лучше некуда. Прекрасно. Докатились. И что же прикажешь теперь делать? Выйти к ним и раздать мелочь, которая завалялась у меня в кармане? Сотворить библейское чудо с хлебами и рыбами? Что, наконец?

— Я просто хотел, чтобы ты увидела это своими глазами,— ответил Филип.

Его прямо трясло от возбуждения и сознания собственной значимости. Он весь преобразился и, несмотря на нелепые пухлые щечки, коренастую фигуру и широко открытые простодушные глаза, уже не казался провинциальным. С каждой минутой все острее чувствовалось, что ему нужна Морин, нужно ее понимание, ее поддержка, нужно, чтобы она была его единомышленницей, а не сторонним наблюдателем. Девушку тоже била дрожь, но она отодвинулась как можно дальше от Филипа и забилась в самый угол сиденья, буквально вжавшись в дверцу машины. Увидев это, он сказал:

— Ну ладно, намек понял: я тебе не нужен. Не так я туп, как тебе кажется, просто я хотел, чтобы ты сама во всем убедилась.

Эти фразы — как и слова той женщины в машине: «Здорово сказано, выше его, выше!» — звучали будто лозунги с транспаранта.

Они проехали еще полмили между длинными рядами людей, близких к голодной смерти, и любопытной толпой, заполнявшей тротуары по другую сторону набережной.

— Что с тобой происходит? — спросила Морин.— Ну что? — Казалось, она тоже пытается говорить штампами, которые потом можно будет написать на транспарантах или стеклах машин.— Это тебя только сейчас осенило или как? Ежегодно мрут как мухи миллионы людей. И не первый год уже. Миллионы детей из-за недоедания вырастают уродами, умственно неполноценными. Это общеизвестно. Так почему же ты только сейчас спохватился и приволок нас сюда? Нельзя включить телевизор, чтобы тебе не показали нечто подобное в том или другом месте нашего шарика. Проблема перенаселения решается просто: людям не мешают умирать... Да хрен с ним со всем, что толку молоть языком,— закончила она, злясь на себя за то, что не может найти менее избитых и напыщенных слов.

— Но ведь это же здесь, у нас,— сказал Филип.— Здесь, на нашей родной земле. А не за тридевять земель. Плевать я хотел на других. Но мне далеко не безразлично, что происходит в моей стране. В Англии.

— Тьфу ты! — И Морин отвернулась от Филипа и от бесконечной ленты демонстрантов; взгляд ее уткнулся в зевак, тогда она отвернулась и от них и уставилась в одну точку. Ехали долго, пробираясь среди медленно ползущих машин, битком набитых любопытными.

Полицейские машины стояли по нескольку штук в ряд на ключевых позициях. Но до поры до времени блюстители порядка не выходили из машин. Они тоже были зрителями — вместе с теми, что пока еще работали или не зависели от работы, ибо располагали средствами. Или владели драгоценностями, картинами, землями.

НАМ НЕ НУЖНЫ ПОДАЧКИ — НАМ НУЖНА РАБОТА. ДАЙТЕ НАМ РАБОТУ. МЫ ТРЕБУЕМ СПРАВЕДЛИВОСТИ, РАБОТЫ И ХЛЕБА.

Из толпы демонстрантов выступил человек с изможденным лицом и обратился с речью к зевакам на другой стороне набережной:

— Пока мы подыхаем с голоду тихо, в своих четырех стенах, это никого не волнует. Вы ничего не имеете против! А теперь мы вышли со своим несчастьем на улицу и не сойдем с места ни на шаг.

Тут двое полицейских выскочили из автомобиля, лихо хлопнув дверцами. Они приблизились к оратору и, укоризненно качая головой, стали грозить ему пальцем, словно нянька озорному нашкодившему мальчишке: очевидно, речи не были предусмотрены и расценивались как нарушение порядка.

Однако оратор вскарабкался на плечи двух своих друзей, а те держали его за ноги — несведущим людям могло даже показаться, что это акробатическая пирамида. Он выкрикнул:

— Вы нас больше не запрячете. Будем голодать в открытую, ни от кого не таясь Помрем, если придется. Для этого мы пришли сюда. Умирать так умирать, но чтоб вы это видели.

Полицейские в нерешительности поглядывали на оратора, не зная, что делать. Их симпатии были на стороне демонстрантов: всем своим видом, улыбками, сочувствующими взглядами они давали это понять.

Подъехал телевизионный фургон. Из него выскочили люди с телекамерами и, лавируя между машинами, стали перебегать улицу. Шли съемки для вечернего выпуска теленовостей.

— Но им, конечно, не позволят остаться здесь? — спросила Морин. Она была в ярости, точно сама, своими руками хотела разогнать демонстрантов или заставить полицию это сделать. Лицо ее покры-

лось красными пятнами, стало злым; она плакала, и слезы катились по ее опухшим щекам.

Филип был доволен, что она плачет. А она, понимая это, старалась взять себя в руки. Но чем сильнее она боролась со своими чувствами — а судя по внешним проявлениям, это была самая настоящая ярость,— тем больше они захлестывали ее. Филип, видимо, вполне всем этим насытился; он свернул с набережной и повел машину к дому.

Морин, отвернувшись от него, смотрела в окно, за которым уже не видно было голодающих демонстрантов. Филип улыбался. Он, наверное, понимал, что показывает себя не с лучшей стороны, но ничего не мог с собой поделать: каждый раз, когда он взглядывал на Морин, на лице его появлялась победная улыбка.

— Ну хорошо,— промолвила наконец Кейт.— А теперь расскажите нам, как же вы все-таки собираетесь бороться с этим злом.

— Не говорите глупостей, Кейт: вы же видите, он сам не имеет ни малейшего представления — во всяком случае, не больше, чем мы с вами.

— В первую очередь мы возьмемся за Англию.

— Кишка тонка.

До него дошел оскорбительный смысл этих слов, и, срываясь на визг, он парировал:

— Вот увидишь, мы знаем, что нужно делать.

— Не морочь голову. Чушь несешь, просто уши вянут. Да как у тебя язык поворачивается говорить такое! И не только у тебя, все вы на один лад. Все несете околесицу. Поверить трудно, что вы это всерьез.

Вмешалась Кейт, врачеватель душевных ран, домашний миротворец и утешитель:

— Филип, сколько мы ни говорим, вы еще ни разу не предложили ничего конкретного, это и выводит Морин из себя.

— Да где ему! — захлебнулась в крике Морин.

— Надо навести порядок в собственном доме,— быстро и решительно заявил Филип.

Нет, эти двое не найдут общего языка, ясно как день — так и будут спорить до скончания века: одна на истеричных нотах, захлебываясь бессвязными выкриками, другой — с каменной уверенностью в своей правоте, оперируя одними лишь затасканными лозунгами, штампами.

Но к счастью, они уже доехали до зеленой, похожей на аллею улицы, до канала с прогулочными яхтами, до квартиры Морин.

Филип затормозил.

— Я выходить не буду,— заявил он.

Морин вышла из машины. За ней следом Кейт. Девушка стояла, беспокойно глядя на Филипа, который тоже не отрывал глаз от нее. Видно было, как их тянет друг к другу. Затем, воскликнув в сердцах: «Господи боже мой, да пропади все пропадом», Морин кинулась к двери и, чуть не споткнувшись на своих высоченных каблуках, исчезла за ней.

— Всего доброго, миссис Браун,— произнес Филип, чопорный, корректный, торжествующий; и укатил.

Не успев войти в квартиру, Морин включила телевизор, и они с Кейт стали ждать выпуска новостей дня. Новое землетрясение в Турции. Конференция по ликвидации отходов атомного производства. Сообщение о дебатах в одной из комиссий Всемирной продовольственной организации в Чили. Наконец короткая, скороговоркой, информация о демонстрации на набережной. Камера скользнула по

рядам демонстрантов, показывая транспаранты, плакаты с призывами, немного задержалась на плакате: ВЫ НЕ ПРОТИВ, ЧТОБ МЫ ГОЛОДАЛИ — ЛИШЬ БЫ НЕ У ВАС НА ГЛАЗАХ. С фургона демонстрантам раздавали суп с хлебом. Оратор — тот самый, с изможденным гневным лицом — громко взывал: «Не берите, не берите от них ничего, они просто хотят заткнуть нам рот». Однако монахини из фургона уже склонялись к детишкам, которых родители выстроили в строгую очередь, раздавали им пластмассовые стаканчики с супом и хлеб. В кадре появился еще один фургон — правительственного фонда помощи безработным. Группы демонстрантов таяли: люди становились в очередь за едой. Арестованного оратора деликатно уводили двое полицейских — камера показала участливые лица блюстителей порядка, которые закрутили ему руки за спину; он продолжал выкрикивать: «Голодайте... держитесь до конца... лучше умереть здесь, на виду у всех, а не в норах, как звери..!» Полицейские подтолкнули его по лесенке в свой фургон, дверь захлопнулась, и фургон отъехал.

«А теперь передаем сводку погоды...»

Как только кончились последние известия, Морин приняла ванну и вышла в строгом платье из грубого темно-коричневого полотна — женский вариант униформы Филипа. Оглядев себя в зеркале, она сказала Кейт:

— Чего мне недостает, это формы, правда? Может, я дни и ночи о ней мечтаю. А носить все равно не буду!— Она умчалась к себе в спальню и появилась снова в каком-то немыслимом пестром наряде, обвешанная с ног до головы всякими побрякушками. И, обратившись к Кейт, заявила: — Сегодня ужин готовлю я.

Часа через два она позвала Кейт к столу; на закуску были поданы сердцевинки артишоков и авокадо; за ними последовала фаршированная телятина со шпинатом, салат, сыр и наконец — пудинг. Морин ездила за продуктами на такси в какой-то магазин, который был еще открыт, и истратила уйму денег. На столе стояла также бутылка охлажденного рейнвейна.

Женщины ужинали вяло. кусок не шел в горло: мысль о людях на набережной и о миллионах других, которых те представляли, не выходила у них из головы.

На следующее утро Морин заявила, что хочет купить себе новое платье,— вся ее комната была завалена кучами тряпья. Она вышла из дома в массивных темных очках — поиски новой маски? Или формы? Теперь она может вернуться домой и в монашеской одежде, и в костюме исполнительницы танца живота... Что с тобой, Кейт, уж не зависть ли в тебе заговорила? Конечно, зависть, что же еще. Морин может позволить себе на протяжении одного дня нарядиться цыганкой, пажом, римской матроной — это своеобразное проявление свободы. Стала бы, например, Морин целый год играть роль покорной и кроткой южанки-затворницы, изнывая на веранде в обществе любящего тирана-деда и старухи-дуэньи, даже если сознательно принимать эту игру как уступку чужой воле или как очередную шутку судьбы? Которая, кстати, обернулась далеко не шуткой для самой Кейт... Не служит ли вся ее последующая жизнь лучшим тому доказательством? Нет, Морин не поступилась бы свободой ради этого, она не смогла бы; она уже перешагнула ту грань, за которой даже притворное подчинение чужой воле невозможно,— вся ее натура восстала бы против этого. Но так ли это? А? Когда она надевала купленное на барахолке вечернее платье тридцатых годов, красила ярко губы, завивала волосы в локоны или наряжалась под героинь Джейн Остин — разве не было это проявлением тоски по прошлому? Словом, если девушка одевается в старомодные платья, чтобы походить на

известных героинь прошлого,— наверное, она это делает потому, что быть самой собой слишком сложно? Правда, каприз длится недолго, и она позволяет себе роскошь вместе с платьем сменить и настроение... Отчего она, Кейт, употребила выражение «позволяет себе роскошь»? Уж не оттого ли, что многие годы подавляла все свои желания и фантазии, стараясь не выходить из образа, к которому привыкли ее домашние? Но теперь нет в мире силы, способной помешать ей делать все что заблагорассудится: пойти, скажем, в магазин, купить что-нибудь экстравагантное и пощеголять здесь, в квартире Морин. Сказано — сделано.

По той же улице, чуть поодаль, на углу строился высокий многоквартирный дом. Пять или шесть этажей были полностью завершены — оставалось только смыть закорючки мела со стекол — и давали представление о том, каким будет этот дом в окончательном виде. А выше начинался хаос, словно здание в этом месте внезапно обломилось. Там, наверху, люди ходили по доскам лесов, раскачивались в люльках, штукатурили, управляли кранами. На земле тоже шла работа: здесь рабочие возились со строительными материалами, которые затем с помощью кранов подавали наверх. Кейт поймала себя на том, что уже довольно долго затаив дыхание наблюдает за строительством. Рабочие не обращали на нее никакого внимания.

И это внезапно разозлило ее. Она отошла подальше, чтобы они не могли ее видеть, сбросила жакет — подарок Морин — и осталась в темном, облегающем фигуру платье. Голову она эффектно повязала шарфом. Затем вернулась к строительной площадке и прошла перед рабочими молодой пружинистой походкой. Последовал шквал свистков, окликов, предложений. Она снова переоделась в укромном местечке и вернулась в прежнем обличье: мужчины, взглянув на нее, тут же равнодушно отводили глаза. Кейт затрясло от возмущения, которое, как ей казалось, она подавляла в себе всю жизнь.

Она еще раз повторила метаморфозу, превратившись в объект вожделения, и в этот момент на противоположном углу увидела наблюдавшую за ней девушку-куклу в голландском костюме. Пышные желтые юбки, облегающий красный жилет, соломенные локоны, два ярко-розовых пятна на щеках и широко распахнутые голубые глаза. Это была Морин.

Кейт подошла к ней и сказала:

— И в этом смысл нашей жизни, подумать только.

Морин, увидев лицо Кейт, взяла ее за руку — рука Кейт дрожала. Тогда Морин тоном опытной женщины стала шутливо выговаривать ей:

— Не надо так, не принимайте слишком близко к сердцу, это на вас не похоже.

— Не похоже? Вот ради чего мы живем. И все. Год за годом.

Они направились к дому. Морин предложила чаю, но Кейт покачала головой и поспешила в свое маленькое холодное подземелье, забралась под одеяло, съежилась и, повернувшись лицом к стене, заснула.

Когда она проснулась, уже стемнело. Во всей квартире ярко горел свет. Морин сидела на кухне, но теперь это была уже не кукла в голландском костюме, а маленькая девочка в изящном пеньюаре викторианской эпохи, который весь состоял из сплошных складочек, оборочек, кружев и вышивки. Она ела кукурузные хлопья со сливками. Ни слова не говоря, она приготовила то же самое для Кейт.

Потом они пошли к Морин в комнату, девушка включила проигрыватель и, щадя слух Кейт, убавила немного звук. Они сидели на подушках, Морин покрыла ярко-розовым лаком ногти на руках и но-

гах, Кейт выпила вина, Морин выкурила марихуаны, а потом они просто сидели, ничего не делая. Словно ждали чего-то.

Дни летели быстрее прежнего, все на одно лицо. На другом конце Лондона дом Кейт перешел в руки своих владельцев, Браунов, семья вернулась в родные пенаты, в доме текла *ее* жизнь; но самой Кейт там не было. Теперь — следуя примеру своих домашних, которые раньше так поступали с ней,— она стала посылать им коротенькие записочки: «Ужасно жаль, но занята по горло, о сроке приезда сообщу особо». А однажды послала телеграмму: «Живу отлично. До скорой встречи». Посылая домой эти весточки, она понимала, что ведет себя по-ребячески и нехорошо, но ей нужно было пройти через это.

Телефон почти перестал звонить. Но звонок у входной двери заливался вовсю. Однажды, как раз когда Морин собиралась выйти на улицу, на пороге появился какой-то молодой человек, и она, преградив ему путь, сказала:

— Прости, Стэнли, зайди как-нибудь в другой раз — у меня сейчас одно дело.

Морин рассказала Кейт о Стэнли. Она ставила его на одну доску скорее с Филипом и Уильямом, нежели с Джерри: он работал в какой-то организации по оказанию помощи бедным и бездомным, был левым в старом смысле этого понятия, впрочем, сейчас это не имело значения; он был бы, наверное, не прочь жениться на Морин, если бы она дала ему время оценить всю привлекательность такой перспективы. Она спала с ним, и оба остались этим довольны. Но беда в том, что сама Морин никаких чувств, кроме дружеских, к нему не питала.

— Ну почему у меня все не как у людей? Почему? Вот, например, у меня всегда такое ощущение, что все это не имеет *никакого* значения. Я говорю обо всей этой шумихе вокруг бедных, благотворительности и прочем, о всяких там организациях по спасению человечества — словом, о такого рода мышиной возне. Я знаю, что я бессердечная, злая,— мне об этом все уши прожужжали. А мне хоть бы что, я все равно не могу проникнуться важностью этой проблемы. Вот Уильям до сих пор считает себя должником своих арендаторов — у него их, кстати, совсем немного. И все свои деньги он всаживает в благотворительность. А Филип... Ну, этот не остановится ни перед чем, он будет бить яйца и делать омлет, если уже не начал, но как он может верить в то, что это правильно, как он может? По-моему, он просто псих, а может, это я псих, а не он. Или, например, Стэнли. Он самый активный я имею в виду его деятельность. Он действительно делает что-то полезное. Не от случая к случаю, а постоянно, систематически. Но когда я бываю с ним, меня не оставляет мысль, что он бьет мимо цели, мимо цели, мимо. Ну ладно, ну обеспечил он крышей над головой три сотни человек... а остальные? Вот он не понимает этого, и, возможно, он прав? Что мне делать, Кейт? Почему я такая непутевая? Филип говорит — потому, что я просто родовитая сучка, которую с детства приучили думать только о себе. Но это неправда. Я целый год помогала Стэнли в его работе — вы не знали? Представьте себе. Жила в тесной вонючей квартирке, где кроме меня обитало еще пять человек; и мы работали дни и ночи напролет, чтобы дать бездомным кров. И все время я думала: не в этом суть. А в чем? *Что* нужно?

— Не знаю — откуда мне знать?

С этого дня Кейт стала рассказывать Морин разные эпизоды из своей жизни. Она не могла припомнить, как именно это началось, но вскоре они уже ничем другим не занимались. Раньше Кейт не считала

свои воспоминания сколько-нибудь значительными или интересными; теперь же она выносила им оценку по реакции Морин.

— Расскажите мне что-нибудь, Кейт.

— Давай я тебе расскажу о Мэри Финчли. Ты знаешь, я очень нескоро раскусила, что мы с ней совершенно разные люди. Она вообще стоит особняком среди моих знакомых. Вот, например, говорят: «дикая женщина»... если мужчина говорит так женщине, значит, он ее немножко побаивается, но в глубине души восхищается ею. И женщина чувствует себя польщенной и даже подыгрывает ему слегка, стараясь доказать, что в ней есть что-то от дикаря. Но это не так. Нет. Вот ты, Морин, наверное, думаешь о себе: «А ведь я дикарка, меня голыми руками не возьмешь!» Но ты заблуждаешься — ты совсем ручная. Мэри же действительно необузданная. Например, у нее совершенно отсутствует чувство вины. Все мы опутаны невидимыми цепями, цепями вины, обязательств: надо делать то, не надо делать этого, это плохо сказывается на детях, а это несправедливо по отношению к мужу. Мэри же не обременена этим чувством. Правда, она получила самое ординарное воспитание. Я до сих пор так и не разобралась, что же в нем было упущено. Возможно, она от природы такая. Она очень рано вышла замуж. Впервые я поняла, что с ней что-то неладно, когда она мне сказала: «Я вышла замуж за Билла, потому что он зарабатывал больше, чем другие мои поклонники». Нет, подожди, немало найдется женщин, которые вышли замуж по таким же мотивам, но они стараются так или иначе завуалировать свои мысли и поступки: он мне больше всех понравился, он меня покорил своим обаянием, меня потянуло к нему как к мужчине. Но только не Мэри. Она сказала так, как на самом деле. Родители ее не были богаты. А Билл души в ней не чаял. Он и сейчас к ней не переменился. Большую роль в их жизни играла постель. И по сей день так. Тем не менее Мэри стала изменять ему с первых же дней. Помню, однажды меня чуть удар не хватил. Я сидела у окна и что-то шила; выглянула в окно и вижу — к Мэри в дом вошел посыльный из магазина. Он пробыл у нее довольно долго. Мне и в голову ничего дурного не пришло. Я подумала, что Мэри предложила ему чашку чая и все. На другой день я как-то вскользь упомянула об этом в разговоре, и Мэри вдруг говорит: «А он ничего парень — огонь!» В первый момент я подумала, что она шутит. Потом — что просто бахвалится. Ничего подобного, такая уж она есть. Идет она, скажем, в магазин, и если ей приглянулся кто-нибудь по дороге, а дома никого — считай дело сделано. И больше она к этому вопросу не возвращается. Такая она всю жизнь — даже во время беременности и когда кормит грудью: ей все нипочем. Когда я спрашиваю об этом, она отвечает: «Что делать, мне одного мужика мало!» В такие моменты она выглядит чуть-чуть растерянной... не только потому, что ты кажешься ей слишком уж пуристкой. Как-то я влюбилась в одного человека... глупейшая была история, но именно тогда я поняла, насколько глубока разница между нами Она никогда никого не любила и не знает, с чем это едят. Когда я рассказывала ей о своих чувствах, она просто не понимала, о чем идет речь. Сначала я, как всегда, решила, что она меня разыгрывает. Ведь она думала, что все это плод моего воображения. Да-да, она вполне серьезно считает, что никакой любви в природе не существует, что все это басни или что-то вроде тайного уговора — как в сказке, когда решили не замечать, что король гол. Приблизительно в то же самое время я сделала еще одно открытие: оказывается, Мэри почти ничего не читает, спектакли по телевизору не смотрит. Она говорит: «Это все о том, как люди мучают друг друга из-за чепухи». Читает она только детективы,

детские приключенческие романы и рассказы о животных. Я даже одно время подозревала, что у нее мужская психология. Ничего подобного. Просто любовь — любовь романтическая, вся эта игра, порожденная вековой цивилизацией,— выше ее понимания. Она всех нас считает чокнутыми. Все проще простого: тебе приглянулся мужчина и ты ему тоже, вы идете в постель и занимаетесь любовью, пока одному из вас это не наскучит, а тогда до свидания, и все довольны и счастливы...

— А как на это смотрит ее муж?

— А, вот ты и попалась, этим вопросом ты доказала, что ты не дикарка и не похожа на Мэри. Ты слушала и думала: «А как же относится к этому муж, дети?» Так ведь? Точно. Ну так вот. Она спала с другими с самого начала. Но все это было настолько мимолетно, что прошло немало времени, прежде чем Билл понял, как обстоит дело. Он припер ее к стенке, и тогда она заявила: «Да, я такая». Это его ошеломило, ибо сам он не такой. Он стал устраивать ей сцены, и она всякий раз ужасно расстраивалась и ей было неприятно. «Из-за чего, собственно, такой шум?» — недоумевала она. Это-то как раз и ставило Билла в тупик — то, как Мэри относилась к своим изменам. Она совсем не чувствовала за собой вины. А ведь у них уже было трое детей. Мэри любила повторять: «Дети — большая радость, но как они мешают жить». Ну, ей-то, положим, они не очень мешали. Однажды Билл пришел домой и застал Мэри в постели с мужчиной, которого она даже по имени не знала. Самый маленький их сынишка находился в коляске в той же комнате, а другой, постарше — Седрик, прелестный малыш — играл тут же на полу. Билл затеял развод. Он был убит горем. Мэри тоже. Билл получил развод и опеку над детьми. Мэри ничего не оспаривала, да это все равно не спасло бы положения. Год спустя они опять сошлись. За это время он так никого и не полюбил. Он говорил, что после Мэри не может привыкнуть ни к одной женщине: «Она, конечно, шлюха, слов нет, но во всех других отношениях — просто золото». Я лично думаю, что он так терпим к ней потому, что не расценивает неверность жены как выпад против себя или оскорбление своего мужского достоинства. А когда он, случается, изменит ей, она покричит немного, успокоится, и дело кончается постелью. Секс, ничего не поделаешь. Тот год, когда они были в разводе, оба ходили как в воду опущенные, но каждый смотрел со своей колокольни. Он развелся с порочной женой, которая развращала его детей, а она считала себя жертвой ненормального мужа. «Ну что на тебя нашло? — озадаченно спрашивала она.— Ведь живем душа в душу». Когда они вступали в брак вторично, он ради спасения собственного достоинства поставил перед ней целый ряд условий. Хотел иметь хоть какую-то гарантию, что она не вернется к прежним фортелям. А женился бы он на ней снова, если бы она ему не подходила? Это еще вопрос. Вот так они и живут. Дети подросли, и по логике вещей на них должно было бы отразиться дурное воспитание. Однако они ничуть не хуже большинства других. Ее ребята днюют и ночуют у меня в доме — они, правда, младше моих, но это не мешает им дружить; их водой не разольешь. Мои четверо судачат о Мэри всю жизнь. Им она нравится. Она всем нравится. Но раскусили они ее раньше, чем я,— мне на это потребовались годы. Они сразу поняли, что она — явление исключительное. Просто уникальное. Однажды она соблазнила моего мужа.

— Ну и что? — прервала ее Морин. В голосе девушки звучал вызов.— Какой вывод я, по-вашему, должна из этого сделать?

— Я сама не сделала никакого вывода, кроме разве того, что мы

с ней очень и очень разные. Вот и весь вывод. Иногда я думаю, что это самая настоящая болезнь и ничего больше.

— Однажды мне показалось, что моя мать в кого-то влюблена. Я так до сих пор и не знаю, насколько это у нее было серьезно. Помню только, что я была потрясена,— сказала Морин.— Да-да, потрясена. Я боялась, что она собирается нас с папой бросить. С тех пор я не могу смотреть на нее прежними глазами. Знаю, что это глупо, но не могу. Это самое страшное, что у меня было в детстве.

— Наши ребята, мои и Мэри, говорят о ее похождениях как о болезни. И считают, что к ней и ее странностям надо относиться терпимо.

Рассказывая девушке о Мэри, Кейт и не подозревала, что она этим самым кладет конец ее просьбам: «Расскажите мне что-нибудь, Кейт, расскажите».

Однако это было именно так.

Час спустя, обнаружив Морин на кухне, где та поглощала детское питание, Кейт подсела к ней. И девушка сказала:

— У нас с вами разные интересы. Вы готовы целыми днями рассказывать о своих детках, о том, как они росли. Это у вас самые яркие воспоминания. И вы все время только об этом и говорили, а когда я попросила рассказать о ваших лучших днях с Майклом, вам почему-то понадобилось рассказывать мне о Мэри.

— Ах, вот в чем дело!

— Да. Это как-то отбило у меня охоту слушать. Думаю, что причина в этом. Да, именно в этом. Какой урок вы или я можем извлечь из жизни Мэри? Никакого.

Морин кончила есть, вымыла посуду, прибрала в кухне, а Кейт сидела и наблюдала. Затем девушка повесила на плечо модную сумку на длинном ремне и ушла.

Вернулась она вечером, сразу же явилась к Кейт и сообщила:

— А я в зоопарк ходила.— Она была очень возбуждена. И вся кипела от раздражения. Неужели Кейт была тому причиной? Тогда зачем же девушка пришла прямо к ней? — Да, и провела там целый день.

— Я в этом не виновата,— сказала Кейт, пытаясь обратить все в шутку.

Морин отмахнулась:

— Какое имеет значение, кто виноват? — Дойдя до порога, она обернулась и спросила: — А почему, собственно, вы так сказали? При чем тут вы? Вот уж, право, мания величия.

Кейт растерянно молчала. Но тут Морин спохватилась:

— О, простите меня, пожалуйста, простите. Вам-то хорошо, а каково мне? — И выскочила из комнаты.

Собственно, она хотела сказать: плохо ли, хорошо ли, но вы уже прошли через это и у вас все позади, а мне еще предстоит решать свою судьбу.

Озабоченность Кейт состоянием Морин подтвердила справедливость упрека девушки. У Кейт появился еще один ребенок: она переживала за Морин, как за своих детей. Более того (твердила она себе с упорством человека, защищающего то, на что он не имеет права — не заслужил), в последние недели общение с этим юным существом доставляет ей такую радость, какой она не испытывала с родными детьми уже... Она чуть не подумала: многие годы, и это преувеличение отрезвило ее. В семье Браунов всегда любили собираться вместе (стоило Кейт вспомнить об этом, и ей захотелось тут же, немедленно, ехать домой), даже когда возникали разногласия между родителями и детьми, ибо с Майклом были свои сложности, о чем она предпочи-

тала не вспоминать, как давно уже не вспоминала о том, что Майкл и его сыновья частенько спорили, обижались друг на друга, вечно соревновались в чем-то, и это тревожило Майкла. Так неужели из-за того, что отношения в семье складывались порой не лучшим образом (что, по утверждению авторитетных источников, вполне естественно, об этом же говорит и жизненный опыт), из-за того, что Кейт несла на своих плечах предназначенное ей природой бремя — бремя матери, которую дети не слушаются, с которой ведут войну, встречая в штыки все, что от нее исходит... из-за того, что на ее долю выпадала не одна лишь любовь и благодарность,— неужели из-за всего этого надо смотреть на прожитую жизнь в таком мрачном свете и проклинать ее на чем свет стоит... А разве все последние месяцы она занималась чем-нибудь иным? Разве все это время не испытывала жалости к себе, вспоминая, что ее недостаточно любили, недостаточно замечали... не лизались с ней и вообще избегали телячьих нежностей. Неужели только плохое было в ее жизни?

Но скорее всего то, что она думает по этому поводу, вообще не имеет значения.

Как только Кейт вновь окажется на пороге своего дома, ее теперешнее настроение, ее раздумья о своей судьбе утратят всякий смысл — вот в чем суть, вот в чем правда. Всю жизнь мы оцениваем, взвешиваем, сопоставляем свои поступки, свои чувства... и все ни к чему. Наши мысли, чувства, поступки, которые мы оцениваем с точки зрения сегодняшнего дня, впоследствии приобретают совсем иную окраску.

Интересно, каким покажется ей нынешнее лето, проведенное вдали от семьи, через год или больше? В чем она может быть совершенно уверена, так это в том, что оно не покажется ей таким, каким она видит его сейчас. Тогда к чему терзать себя, анализируя собственные слова и поступки. На этом месте размышлений Кейт (ибо она, естественно, занималась как раз тем, что минуту назад сама объявила бессмыслицей) в комнату вошла Морин и сказала:

— А знаете, Кейт, что бы я ни решила, это не будет иметь никакого значения. Ровным счетом никакого, я это чувствую.

И она стремительно вышла из комнаты.

На следующее утро она позвала Кейт с собой за покупками. По пути они встретили молодую женщину, на вид ровесницу Морин; она толкала перед собой высокую детскую коляску-стульчик, в которой сидел привязанный ремнями ребенок. За руку она тащила еще одного. Малыш в коляске куксился, сидеть ему было неудобно, так как мамаша положила на подножку коляски пакет с покупками и маленькие, согнутые в коленях ножки малыша упирались в него. На первый взгляд это был ребенок как ребенок, каких тысячи на улицах, но потом вы замечали, что перед вами растерянный, несчастный человечек, молча взывающий о помощи: да снимите же с меня эти тугие ремни, дайте расправить ножки, увезите в тишину, где нет этих бесконечно мелькающих железных чудовищ и где солнце не режет глаза. Мать, издерганная двумя маленькими детьми, толкала коляску сильными, резкими движениями; ребенок же, которого она вела за руку, отставал, тянул ее назад. Он злился, дулся. Видимо, он только что получил затрещину. Одна щека его ярко горела.

— Ну иди же, иди,— понукала его молодая мать,— а то еще поддам, предупреждаю по-хорошему.

Ребенок по-прежнему чуть не висел у матери на руке, но не из упрямства, а из-за того, что целиком был поглощен своей обидой.

Тогда мать выпустила его руку и с размаху ударила ладонью по

щеке, потом по другой, затем тыльной стороной руки еще раз и опять ладонью. Ребенок застыл на месте, глядя на мать во все глаза. Они медленно стали наполняться влагой, и слезы ручьем полились по горящим щекам.

— А ну шагай, шагай! — закричала мать вне себя от ярости. Она снова схватила его ручонку и сильно дернула; пытаясь удержаться на ногах, малыш схватился за платье матери, но это его не спасло, и он упал на четвереньки. Так он и стоял, не разгибаясь, только губки кривились от плача и из носа текло.

— Смотри, что ты сделал с моим платьем,— воскликнула молодая женщина. Мальчик оставил на нем пятна жира, липкого сахара — в момент падения он держал в другой руке леденец, который валялся теперь раздавленный на тротуаре.— Если ты сию же минуту не встанешь и не пойдешь домой, я тебя так выдеру, что ты у меня сесть не сможешь,— наклонившись, прошипела она ему в ухо.

Мальчик медленно поднялся. Мать снова схватила его за ручонку. В это время заплакал другой ребенок. Он плакал не от обиды или злости, а просто потому, что ему было неудобно сидеть и он чувствовал себя от этого несчастным. Плач малыша подействовал на старшего братишку как толчок: охваченный отчаянием, он снова залился горючими слезами и засеменил вслед за матерью, которая крупным шагом устремилась вперед, толкая коляску с одним ребенком перед собой и волоча за руку другого. Когда она поравнялась с Кейт и Морин, те увидели, что у матери такое же несчастное лицо, как у детей. Заметив, что на нее смотрят, она метнула в сторону женщин вызывающий взгляд, недвусмысленно говоривший: не суйтесь не в свое дело.

Она задержала взгляд на Морин — та была в белом платье на пуговицах, с вышитыми по белому полю голубыми цветами; заплетенные в косицы соломенные волосы лежали по плечам. Взгляд, который устремила молодая женщина на Морин — воплощение всего того, что она потеряла, став матерью двух детей,— был полон боли. Глаза ее затуманились, и теперь уже все трое в слезах медленно двинулись по улице.

— Вот о таком вы ни разу не вспоминали,— заметила Морин.— Почему?

Кейт хотела было ответить: потому что ничего подобного у меня не было. Но промолчала, стараясь припомнить, в самом ли деле не было или ей только так кажется.

После некоторой паузы Морин заметила:

— Если бы я стала женой Уильяма, я была бы избавлена от всех домашних забот. Кормилицы, няньки всю жизнь. Может, я в конце концов и остановлюсь на Уильяме. Ведь это очень подходящая для меня партия, верно? Покуролесила несколько лет — и баста, пора и честь знать.

Морин побледнела; вид у нее был больной, никак не вязавшийся с вызывающей броскостью платья. Едва они вошли в квартиру, Морин кинулась к себе в комнату, на ходу расстегивая пуговицы. Вернулась она в темном, более строгом одеянии. Села, откинула голову, прижавшись затылком к кухонной стене, и закрыла глаза. По щекам ее ручьем лились слезы. Но вскоре она умылась, деловито вытерла лицо бумажными салфетками и вышла на улицу.

В ту ночь Кейт увидела свой сон; сразу же, едва сомкнула веки. Стояла все та же вязкая, холодная тьма. Тюлень так отяжелел, что теперь она могла только тащить его по снегу. Она не боялась, что он в агонии или уже умер,— она знала, что он полон жизни и так же, как сама она, полон надежд.

Неожиданно она почувствовала дыхание соленого ветра; соленый воздух наполнял ей легкие. Снегопад прекратился. Свежий, теплый бриз ласкал ей щеки.

Снег под ногами исчез; она ступала по молодой траве, по яркозеленой нежной траве с островками темной, мокрой земли. Травяной ковер был как бы вышит ранними весенними цветами. Впереди начинался крутой подъем. Кейт преодолела его и, с тюленем на руках, стоя на небольшом мысе, глядела с высоты на море, переливавшееся солнечными бликами; синева неба, сливаясь с синевой моря, становилась гуще, насыщенней. На прибрежных скалах нежилось в лучах солнца стадо тюленей.

Собрав последние силы, она подняла тюленя как можно выше, чтобы не поцарапать ему хвост, и, еле удерживая равновесие, стала спускаться по узенькой тропинке к морю. Там, с плоского как стол камня, она выпустила тюленя прямо в воду. Он нырнул глубоко-глубоко, так что она на время потеряла его из виду, потом всплыл и, как бы прощаясь, положил голову на край камня; его темные, ласковые глаза не отрываясь смотрели на Кейт, потом он сомкнул ноздри и нырнул в глубину. Море кишело тюленями; они кувыркались, играя, ныряли друг под друга. Мимо нее проплыл тюлень, у которого на боках и спине виднелись шрамы, и Кейт подумала, что это, должно быть, ее тюлень — тюлень, которого она пронесла сквозь столько мытарств и опасностей. Но сейчас он даже не взглянул в ее сторону.

Ее путь подошел к концу.

Кейт рассказала свой сон Морин, и та в ответ заметила:

— Значит, все в порядке, да?

— Наверное.

— Я хочу сказать — для вас все в порядке.

Морин сидела за кухонным столом с таким видом, словно Кейт ее чем-то обидела.

— А ты думаешь, сны несут в себе смысл только для тех, кто их видит? Так ли это?

— Но ведь не мне же все это снилось,— ответила Морин.— Не мне? У меня совсем другие сны. Птичьи клетки, неволя — это по моей части, вы были правы.

Больше она ничего не добавила. Кейт пошла к телефону и позвонила домой, чтобы предупредить своих, что она возвращается завтра. Говорила она с Эйлин, которая во время отсутствия матери вела дом.

— У нас все в лучшем виде, мама, мы отлично справляемся.

Кейт вернулась на кухню.

— Подумай только, Морин,— сказала она.— Оказывается, я безработная! Мне нечего делать. Что ты мне посоветуешь? Может, удариться в благотворительность? Или пойти на раздачу супа для бедняков? Во Всемирную продовольственную организацию, наконец? Впрочем, это та же раздача супа.

Морин раздраженно повела головой, и Кейт оставила ее одну. Позднее девушка зашла в комнату Кейт и объявила:

— Я хочу устроить вечеринку.

— Почему такой задиристый тон?

— Потому что вечеринки в такое время — верх легкомыслия, вы не находите, Кейт? Верх жестокости? Цинизма?

— Когда?

— Сегодня. Приходите, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы вы были, очень.

Остаток дня Морин провисела на телефоне, а тем временем один за другим приходили посыльные из продуктовых магазинов, нагруженные заказанными ею напитками и продуктами.

Кейт лежала на кровати у себя в комнате — как путешественница, готовая в любую минуту тронуться в путь: вещи аккуратно сложены, чемоданы упакованы,— когда к ней зашла Морин и сказала:

— А в общем-то не имеет ровно никакого значения, чем вы в жизни заняты. Или, скажем, я. В том-то все и дело. Только этой правде никто не в состоянии взглянуть в лицо.

— Нет, я так не считаю,— возразила Кейт.

— А мне плевать, что вы считаете,— заключила Морин и вышла, но тут же вернулась: — Насколько я понимаю, ваш тюлень жив и здоров? Доставлен в целости и сохранности?

— Я не считаю его своим.

— Ладно. Значит, если вы завтра внезапно умрете, то это уже не будет иметь никакого значения, так выходит?

У девушки начиналась истерика. Кейт подумала, что надо что-то делать: дать аспирин? полезный совет? чашку чая? — но вовремя одернула себя. К счастью, в этот момент зазвонил телефон, и Морин вышла со словами:

— Если и есть в жизни что-то важное, что-то действительно важное, то мне об этом еще ни от кого не приходилось слышать.

Кейт не лежалось, она ждала конца телефонного разговора. На ум приходили разные варианты ответа, подсказанные, вероятно, газетными передовицами или религиозными телепередачами. Например: «Мир не раз бывал на грани катастрофы, и люди падали духом». «Меланхолия еще никому никогда не помогала».

Кроме того, были и собственные мысли: «Миллионы людей умирают и будут умирать, и мы с тобой в том числе, но всегда найдутся люди уравновешенные, которые примут эстафету». «История нашей планеты изобилует всякими бедствиями, войнами и несчастьями, и сейчас положение не намного хуже, чем раньше». «Ты ищешь мужчину, который знает ответы на все проклятые вопросы и сможет сказать тебе: делай это, делай то. А такого зверя на свете не существует».

Она услышала голос Морин:

— Да, вечеринка. Ну, конечно, экспромт. Я только сегодня надумала. Вот и чудесно, жду.— Морин говорила подчеркнуто светским тоном, как ее учили с детства.

Помочь Морин Кейт ничем не могла. Но у нее есть свои дети, о которых надо подумать; неплохо было бы явиться домой с подарками, деньги у нее есть: остались еще со времен Всемирной продовольственной организации, и не так уж мало. Она отправилась по магазинам. Она видела свое отражение в стеклах витрин; фигура ее почти обрела прежние знакомые очертания. Лицо постарело. Они не могут не заметить этого. Что они скажут? Сделают вид, что ничего не произошло: «Ты прекрасно выглядишь, мать!» Желание порадовать близких подарками сразу пропало. И вовремя... Волосы — это не обойти молчанием.

Мудрость, накопленная за последние месяцы — ее открытия, ее понимание себя, то, в чем, как надеялась Кейт, она обрела силу,— подсказывала: надо войти в дом непричесанной, с некрашеными волосами, это должно как бы символизировать твердость ее духа. Туалеты, прически, осанка, голос миссис Браун (или Yolie Madame — на языке торговцев) были штампэм, малейшее отклонение от которого вызывало у Кейт такие же неприятные ощущения, какие испытывает подопытная крыса, когда экспериментатор нажимает соответствующие рычаги. Но теперь она говорит всему этому *нет*, нет, нет, нет, *нет* — это ее кредо, суть которого будет отныне вложена в расширяющуюся полосу седых волос.

Войдя к себе в комнату, Кейт обнаружила там Морин, которая сидела у нее на постели, отрешенно уставясь в пространство. Пробило семь часов. Приготовления к приему гостей были закончены, но Морин еще не переодевалась. При виде Кейт она даже не шелохнулась. Может быть, таким образом она заявляла свои права на эту комнату, которая нужна ей и ее друзьям? Кейт сказала:

— Я сделала для себя открытие. Решила вернуться домой новым человеком и сразу же заявить... хотя я сама толком не знаю, о чем хочу заявить. Все у меня свелось к волосам, понимаешь, к тому, в каком виде будет моя голова. Это ли не странно?

Морин пожала плечами.

— Я много передумала за последнее время,— продолжала Кейт.— Абсолютно обо всем, что я чувствовала, я рассказывала тебе. А до встречи с тобой я взвешивала каждое слово, выдавая свои мысли и чувства маленькими дозами. Всякий раз я говорила себе: это не нужно рассказывать тому-то и тому-то, этим можно поделиться с Эйлин, но не следует говорить Тиму... Мэри я бы никогда не рискнула рассказать о тюлене: она бы меня не поняла. А вот Тиму я бы непременно рассказала. С Майклом, разумеется, я вполне откровенна, но когда я начинаю рассказывать ему что-нибудь, у него всегда такой вид, словно речь идет о чем-то страшно далеком, не имеющем к нему никакого отношения. Интересно, когда он делится со мной чем-то своим, создается ли у него такое же впечатление обо мне? Он, конечно, никогда не видит снов — так он говорит. Все в его жизни — из сферы реального; просто невероятно, что мы такие разные с ним, верно? После стольких лет совместной жизни. Он слишком далек от мира моих интересов. А мне кажется, что я всю себя по кусочкам раздала детям и мужу. Кусочек Тиму, кусочек Майклу, частицу Эйлин... и так далее. Вернее, так я жила раньше. Это из области прошлого. Теперь с этим покончено. Но с тобой я могу говорить о чем угодно.

— Встретились в море корабли,— откликнулась Морин.— Случайные попутчики. Может быть, мы никогда больше и не увидимся.

Она вышла, закрыв за собой дверь.

Час спустя в квартире все еще царила полная тишина. Кейт пошла искать Морин. Девушка надела черное атласное платье тридцатых годов, косое, плотно облегающее фигуру, с низким вырезом на спине и перекрещивающимися узкими бретельками. Морин обрезала волосы. Они доходили ей до мочек. Волосы были кое-как перехвачены зажимами и клипсами, и если от пят до шеи она выглядела вполне традиционно, как и положено светской львице, то голова ее являла собой довольно странное зрелище: такие прически бывают у только что выпущенных на волю из тюрьмы да у приютских девочек.

Она сидела в холле на подушке и плела что-то из обрезков своих волос. Она намеренно избегала смотреть на Кейт.

— Могу себе представить, что это будет за вечеринка,— промолвила Кейт.

Зазвонил звонок. В дверях стояли гости.

— Привет!

— Приветик!

— Хэлло!

Все перецеловались.

— Что это у тебя в руках, Морин?

— Мои волосы. Разве не видишь? Я сделала из них себе младенчика.— И Морин стала пританцовывать, не глядя на пришедших и поигрывая куклой, свисавшей с кисти ее руки.

Вскоре все комнаты заполнились людьми. Яблоку негде было упасть — всюду молодежь, неотступно следившая за хозяйкой дома,

затянутой в черный атлас,— был тут и Стэнли, и Филип, и еще один, постарше, коренастый, с властными манерами; это был явно Уильям, человек, который мог, если бы Морин пожелала, тут же вернуть ее в лоно семьи, сословия, класса; эта многоликая толпа напоминала географическую карту... она была как бы символом богатой различными возможностями жизни Морин. Но почему-то гостей при входе встречала не сама хозяйка, а кукла, сплетенная ею из волос. Казалось, Морин просто не в состоянии ни смотреть на своих гостей, ни стоять на одном месте; она стремительно переходила от группы к группе или делала с партнером несколько па и тут же ускользала от него; или вообще уходила надолго, будто бы за новой выпивкой и закуской.

Кейт подумала, не поехать ли ей домой сейчас, сию минуту, не дожидаясь завтрашнего дня — в этом ведь нет необходимости.

Она оставила Морин записку, приложив к ней — поскольку не могла придумать ничего более подходящего — флакон духов.

Остановившись в холле с чемоданом в руке, она поискала глазами Морин.

Девушка стояла в объятиях Уильяма. Он прислонился к стене, расставив ноги, и своими крупными руками держал Морин за талию.

Она стояла понуро, дергая за веревочку привязанную к руке волосяную куклу и упорно не глядя на своего поклонника.

— Ты же прекрасно знаешь, что в конце концов все равно выйдешь за меня, так чего тянуть?

— Ты полагаешь, я знаю? Сомневаюсь,— промолвила Морин, продолжая играть куклой.

— Отдай мне эту штуку, мне она не нравится.

Это был явный промах — рушить оборонительные рубежи,— и девушка не дала игрушку в обиду:

— Совсем не обязательно, чтобы она тебе нравилась.

Их легко можно было представить супружеской четой, в собственном большом имении в Уилтшире или где-нибудь еще, в окружении множества лошадей, детей и собак — все как положено, включая банальные семейные шутки.

На пороге кухни за спиной Уильяма появился Филип в своей неизменной форме; с ним вошла миловидная дочь Альбиона, чья женственность была сведена на нет чувством ответственности и долга... и всем прочим. Сразу видно было, что девица — крупный специалист по части приготовления омлета и битья яиц, она охотно возьмет на себя неприятные миссии и сделает нужный выбор; на ней было платье такого же военизированного образца, что и костюм Филипа — из темно-синего крепа, с беленьким школьным воротничком и брошью, приколотой, словно медаль, над туго обтянутой левой грудью. Эти двое идеально дополняли друг друга, и рука девушки покоилась на согнутом локте Филипа; но Филип не мог справиться с собой и поминутно бросал гневные и одновременно тоскливые взгляды в сторону Морин, вяло и как-то некрасиво повисшей на руках Уильяма.

— Я просто запрещаю тебе заниматься такими глупостями,— тоном старшего брата заявил Уильям, пытаясь сорвать с запястья девушки клок соломенных волос.

— Нет, нет! — вскрикнула Морин.— Не смей трогать! — И тут же снова повисла у него на руках.

В двух шагах стоял Филип, не спуская с них глаз, и его девушка, ревниво за ним следившая.

Никто не обратил внимания на Кейт и ее чемодан. Она взяла его в другую руку, незаметно выскользнула из квартиры и направилась к автобусной остановке, чтобы ехать домой.

◆

Критика

А. САРУХАНЯН

«КАМЕНИСТОЕ ПОЛЕ» ИРЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ

Когда в 1970 году на страницах дублинской газеты «Айриш таймс» проводился симпозиум «Будущее ирландской поэзии», выяснилось, что его участников прежде всего волновало то, как скажется на развитии литературы, на позиции писателей борьба в Ольстере, обострение социальных, национальных и религиозных противоречий, раскол страны и «раскол сознания»

Организатор симпозиума, молодая поэтесса Ивен Боланд обратилась к литераторам с вопросами, в которых ощущались глубокая озабоченность «взрывчатым» состоянием ирландского общества и одновременно серьезное беспокойство: не помешает ли обращение к социальным проблемам выполнять «священный долг» поэта — создавать поэзию.

Значительно сильнее, однако, прозвучала в ходе симпозиума мысль об ответственности художника слова, о том, что он не должен и не может остаться в стороне от общественно-политических перипетий. Споря с Боланд, один из ведущих ирландских поэтов, Шеймас Хини, сказал: «Я считаю, что пробуждать общественное мнение — обязанность поэта, другое дело, какие он изберет для этого средства». Противник «лобового» агитационного стиха Хини все же утверждал, что и лирическое самовыражение должно передавать вовлеченность поэта в исторические и современные коллизии. Ссылаясь на опыт сегодняшней поэзии Польши и Чехословакии, Хини отмечал, что ее высокий общественный тонус отнюдь не препятствует раскрытию поэтических индивидуальностей.

Поддерживая тех, кто хотел бы сохранить, так сказать, эмоциональную дистанцию, «подождать, пока все утрясется», Майкл Лонгли в то же время высказал сомнение в абсолютной правильности этого выбора: «К тому времени, как я напишу свое стихотворение, все уже может быть кончено. Погибнут люди. Не то чтобы мои стихи были в состоянии спасти им жизнь, но ведь всегда надеешься на такую возможность».

Подытоживая размышления о будущем ирландской поэзии, Ш. Хини говорил: «Поэзия станет более социальной, хотя и не обязательно политической в прямом смысле слова». Прогноз этот, высказанный в начале десятилетия, оказался верным.

Литература Ирландии вошла в 70-е годы в условиях острейшего социально-политического кризиса на севере страны. Не раз за последнее время борьба в Ольстере грозила вылиться в гражданскую войну. В первых литературных откликах на события в Северной Ирландии чувствуется опасение поддаться бушующим страстям — и тем самым еще более усугубить атмосферу вражды и насилия, сгустившуюся над островом. Отсюда — стремление соблюсти «эстетическую объективность», страх перед «форсированной эмоциональностью».

И все же кровавые расправы экстремистов, взрывы бомб, поджоги, гибель сотен безвинных людей рождали гневные поэтические строки.

С углублением ольстерского кризиса, по мере того как явственнее проступала его связь со всей историей борьбы Ирландии за независимость — «самой старой борьбы за национальную свободу», по словам Генерального секретаря Компартии Ирландии Майкла О'Риордана,— писатели глубже проникались чувством собственной причастности, личной

ответственности за происходящее на родной земле. Поэзия реагировала на трагические события в стране всего быстрее и активнее.

Кризисное состояние общества и кризис художественного мышления, будущее поэзии и ее традиции стали темами постоянных дискуссий, выступлений, специальных статей в ирландской прессе. И то обстоятельство, что именно эти проблемы выдвинулись на первый план при оценке современной поэзии, закономерно, хотя не так уж часто встречаемся мы с установлением столь прямых связей между процессами художественными и социальными.

Вспоминаются слова классика ирландской поэзии Уильяма Батлера Йитса. Говоря об успехах ирландских писателей начала XX века, он подчеркивал что они живут в обстановке исторического кризиса, «который вызывает к жизни литературу, так как рождает страсть». В его поэтических произведениях эта мысль порой окрашивалась в трагические тона:

Ирландия, клочок земли,
Где в ненависти мы взросли
И воспитались в гневе.
Нас фанатизмом разожгли
Еще в материнском чреве[1].

«Безумная Ирландия свела тебя с ума и сделала поэтом»,— писал Оден в стихотворении на смерть Йитса.

Все больше произведений, пронизанных такой же болью за судьбы страны, таким же гневом и страстью, насчитывает ирландская поэзия наших дней. Этими чувствами окрашивается даже пейзажная и любовная лирика, традиционно занимающая в ней весьма значительное место.

Так, сборник «О моем времени» (1974) старейшего поэта Джона Хьюитта, посвященный природе его родного Антрима, завершает обращение «к народу моего края и всей Ирландии» — стихотворение, выразительно озаглавленное «Не элегия и не манифест». Избегая патетики, риторических оборотов, Хьюитт напоминает об убитых — тех, в кого целились, и тех, кого сразила случайная пуля, — не превращая свой стих в жалостливую литанию, он взывает к разуму и гуманности людей: каким бы сложным ни было положение, убеждает поэт, нельзя становиться на путь террора.

Воспевая красоту первозданной природы западного побережья Ирландии, Ричард Мерфи вместе с тем с горечью говорит об исторической вине своих предков — англо-ирландских помещиков. С большой поэтической силой утверждает он свою принадлежность к этой земле и людям ее: простым рыбакам, фермерам ремесленникам, тинкерам — бродячему племени, живущему на дорогах Ирландии («Высокий остров», 1974)

В голосах поэтов, привыкших говорить тихим, задушевным шепотом, порой прорывается крик Не об этом ли пишет от имени своих соотечественников Майкл Лонгли:

Мы хотим заставить услышать себя.
Как любовник, проклятия
изрыгающий
В припадке страсти; как осужденный.
Исповедующийся за минуту до
смерти;
Как ребенок, который кричит
в темноту.

Таким стремлением «заставить услышать себя» проникнута и вышедшая в 1974 году антология с траурным названием «Одетые в черное». В ней собраны стихотворения, написанные, казалось бы, «на злобу дня» — о взрывах и убийствах на улицах Дерри и Белфаста, о насилиях, творимых экстремистами. Но то, что могло бы стать простой летописью драматических событий, вылилось в лирический дневник: личный опыт поэтов получил здесь новый смысл в контексте социальном и историческом, а события общественные были пережиты как сугубо личные. Именно в этом направлении и пролегают поиски ирландской поэзии 70-х годов.

Из сочетания звуков пронзительных и нежных, предсмертных криков и грустных напевов, из переплетения общественных и интимно-личных чувств рождаются образы и ритмы современной ирландской поэзии. Их возникновение можно проследить в творчестве поэтов разных поколений и очень разных индивидуальностей.

Широко известный и за пределами Ирландии поэт среднего поколения Томас Кинселла отмечал как общее, по его мнению, для всех современных писателей «создание личных версий мира» — их столько же, сколько и художников. Пожалуй, усиление личностного начала и в самом деле один из характерных процессов в поэзии нашего времени. Но процесс этот сложный, и приметы его отнюдь не однозначны. Тот же Кинселла, как и другие ирландские поэты, шел через преодоление интроспективной замкнутости к более открытому и активному отношению к миру. Темы любви и смерти остаются для него постоянными величинами, но начинают осмысляться в новом поэтическом ракурсе. Уже в произведениях конца 60-х годов («Ночной прохожий», 1968) личное чувство поэта вписывается в контекст социальной и политической действительности, прошлого и настоящего.

И наконец, созданную в 1972 году поэму «Чертова дюжина» Кинселла посвящает реальному событию — гибели тринадцати ирландцев, убитых английскими парашютистами во время расстрела мирной демонстрации. Ведомый гневом, поэт идет на место убийства — и сердце его сжимается при виде следов преступления, он чувствует еще не развеявшийся запах смерти. Один за другим проходят перед поэтом призраки погибших, рассказывая о событиях «Кровавого воскресенья». Их свидетельства открывают все новые подробности разыгравшейся драмы. Образ сжавшегося сердца, готового разорваться от боли, вызывает ассоциацию со знаменитой эпитафией Свифта, переведенной с латыни Уильямом Батлером Йитсом: «Он

[1] Переводы стихов, кроме оговоренных особо, выполнены для «Иностранной литературы» Г. Кружковым.

А. САРУХАНЯН

«КАМЕНИСТОЕ ПОЛЕ» ИРЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ

ушел на покой, и жестокое негодование не сможет больше терзать его сердце...»

Следующая книга Т. Кинселлы «Новые стихи» (1973), казалось бы, вновь возвращает нас в мир внутренних переживаний. Однако не отрешенность от внешнего мира, а связь с ним уже стала основой его художественного самосознания — и в этом убеждает сборник.

Большую часть его составляет цикл стихотворений с общим заглавием «Заметки с поля усопших». В памяти поэта всплывают лица давно ушедших из жизни дорогих людей, мимолетные впечатления, отдельные, на первый взгляд, разрозненные эпизоды. Подобно неясным видениям, они «колеблются, исчезают и снова вспыхивают».

Вспоминая о раннем детстве, типичном детстве ирландского мальчика, поэт вновь переживает былое. Это бабушка: уткнувшись в ее передник, он забывал детские обиды, но увидев ее в гробу, испуганный ребенок так и не решился поцеловать умершую на прощанье («Слеза»)... Это и большая кухня: здесь собиралась вся семья... Это и ведущая в большой мир «Верхняя дорога»: глядя на нее из-за забора, мальчик словно слышал какой-то таинственный зов.

За «обрывками ясной памяти» ребенка следуют смутные воспоминания юноши: любовные восторги и разочарования, мгновения, которые «я должен помнить, чтоб когда-нибудь суметь их объяснить». Со зрелостью приходят скорбные раздумья о хрупкости чувств, их угасании. Яркие краски детства, сумрачные — юности сменяются тенями ночи: «Все пустота кругом, и я вращаюсь в ней».

Просветленностью, желанием преодолеть духовный кризис отмечена вторая часть сборника — стихотворения, навеянные древнеирландским сказанием, переведенным Кинселлой («Дорогой Тейна»), и размышлениями о труде художника,—прежде всего цикл «Жизнь избранника», посвященный памяти друга — замечательного ирландского композитора Шона О'Риэды.

Еще увереннее идет к соединению углубленного самопознания и широкого взгляда на мир ровесник Кинселлы Джон Монтегю. Его лирика 50-х и 60-х годов отражает сложную гамму душевного состояния современника и соотечественника — мучительное одиночество, мысли о призрачности счастья. Не чужды были поэту и социальные мотивы, но они существовали как бы вне лирического мира героя.

В 70-е годы Монтегю обращается к большой поэтической форме. Книга «Каменистое поле» (1972) — своего рода лирический эпос. Стихи эти противостоят, говоря словами Монтегю, «антиобщественному одноголосью многих современных поэтов», которые «ограничили себя кругом каких-то комплексов и поют как кастраты из папского хора».

Сам же автор решительно раздвигает рамки своего поэтического мира: «Если продолжаешь писать стихи, рано или поздно возникает желание создать поэму или поэтический цикл — нечто более вместительное, чем просто лирика».

Значительная часть «Каменистого поля» состоит из стихотворений, написанных в 60-е годы. Собранные в определенной последовательности, со вставками и дополнениями, комментариями и цитатами, они образуют сложную структуру, передающую движение мироощущения автора: он пересматривает прежние произведения, изменяя их смысловую окраску, иначе их оркеструет. Новое звучание текстов, признается Монтегю, определили ирландские события 70-х годов — «крики, протесты, боль людей».

Поэтические строфы и прозаические абзацы, строки короткие, как выстрелы, и длинные медитации, основной текст и заметки на полях, прерывающийся от волнения голос лирического героя и безразлично-объективный язык газеты, авторская исповедь и свидетельства историков, новейшие метафоры и образы древней мифологии, пестрота шрифтов и строгий рисунок гравюр — из этого сочетания рождается напряженный ритм произведения в целом. Оно как бы сложено из разнородных, хотя и лежащих рядом пластов, которые в момент наибольшего душевного напряжения «сдвигаются», создавая органически новое образование.

Канвой поэмы является рассказ о посещениях родного дома. Дорога из Белфаста в Гарвагей возвращает поэта в мир его детства и одновременно во времена колонизации Ирландии. Более трех столетий назад тот же путь проделал английский лорд Маунтджой, воевавший с могущественным предводителем клана О'Нейлов. Вытеснив с захваченных земель коренных жителей, лорд вступил во владение «страной О'Нейлов». Города-крепости, некогда построенные англичанами вдоль этого пути, стоят как немые свидетели жестокого покорения Ирландии.

Спускаясь по горной тропе, поэт словно опускается в глубь ирландской истории. Перед ним открывается одна из самых трагических ее страниц — восстание О'Нейлов в XVII веке, их поражение, прощание с родиной, которую они вынуждены покинуть, как потом покидали ее миллионы ирландцев. Как покинул ее и отец поэта, «раненный историей, лишенный родины изгнанник». Шрам на лбу сына, на том же месте, что и у отца, напоминает о реальной ране — и об ударе, расколовшем страну, вызвавшем общественный разлом:

Кто слышал,
как ноет глубокая рана?
Разрывается ткань,
расходятся
старые швы —
это стонет
скрипка, извлекая
звуки из тела —
звуки боли,
боль утраты (медленно
бродит стадо
по мягким лугам, темным болотам),
пасторальная песнь[1].

Следуя за взрывами истории, поэт продвигается на север, к Дерри, где прошлое и настоящее сталкиваются с разрушительной

[1] Перевод принадлежит автору статьи.

силой: в XVII веке город был ареной религиозных распрей и вновь стал ареной борьбы в XX. По словам профессора Дублинского университета историка Лиэма де Пеа, «линия раскола Ирландии и линия раскола Ольстера проходят через самое сердце Дерри». Об этом идет речь в стихотворении «Новая осада». Некогда стены Дерри выдержали натиск католической армии Якова Стюарта, низложенного Вильгельмом Оранским. Это событие и по сей день служит поводом для кровавых столкновений во время ежегодных маршей, которыми ольстерские оранжисты отмечают 12 августа — день снятия с города осады. И когда в октябре 1968 года участники демонстрации борцов за гражданские права проложили себе путь через городские ворота, это было воспринято как новый штурм — через 280 лет после первой осады.

Прочерчивая линии истории, поэт проводит параллели между сегодняшним Дерри и его историей, судьбой общества и судьбой человека и своей собственной — рожденный вдали от родины, он ребенком вступил на ее землю. Здесь и линии строк — ими записана трагическая история города. Линии баррикад — они разделили воюющие стороны: религиозная вражда пустила глубокие корни, и «линии защиты» стали «линиями раздора». Нанесенные на тротуары линии и линии колючей проволоки разделяют враждующие религиозные общины. Линии—очереди тех, кто покидает Ирландию, и тех, кто возвращается на родину.

Линии уезжающих,
линии прибывших—
длинные очереди
на набережной Лог-Фойла.
Корабль неподвижный
в мокрых сумерках
надрывно гудит,
катер подходит—
забрать пассажиров,
вернувшихся в Ирландию.
Четырехлетний мальчик,
печальный портовый город,
мой причал незнакомый,
заброшенность эта,
белых дочерей Лира
заледеневшие крылья.
навеки простертые
над входом в гавань.

По собственному признанию Монтегю, это стихотворение, столь гражданственное по звучанию, оказалось самым личным из созданного им.

Заглавие поэмы «Каменистое поле» — перевод с ирландского названия городка Гарвагей, где прошло детство поэта. Название это очень точно рисует ландшафт тех мест: камни, едва прикрытые тонким слоем почвы,— неподатливая, трудная земля. Так же была названа и статья Монтегю, написанная почти десятилетием раньше. В ней он рассказал о своем родном доме, о старинных обычаях и поверьях, еще сохранившихся среди крестьян. Из первоначального значения слова родилась емкая метафора, будто раздвигающая городок до масштабов всей земли, чье «каменистое поле», подверженное сейсмическим колебаниям, вздымается и меняется на глазах.

Смысл этого ключевого образа обращен и к истории: каменистая земля досталась ирландцам, нелегко ее обработать, но, убирая с нее камни, оставленные историей, нужно знать, о чем они говорят. И вот поэт возлагает на себя обязанности историка, топографа, археолога, вглядывается в природу, ища в ней древние письмена, которые должен расшифровать.

И весь пейзаж—как манускрипт,
Чей смысл от нас веками скрыт,—
Утраченное достоянье.
И все ж могу его порой
Читать на ощупь, как слепой,
По отпечаткам в подсознанье.

В этих строках отразилось то, что стало характерным для ирландской пейзажной лирики последних лет: все меньше места отводится в ней созерцанию, любованию. Успокаивающие очертания пологих холмов, острые скалы, о которые белой пеной разбиваются волны океана, зеленый покров земли, коричневая топь торфяников не раз воспевались поэтами Ирландии. Именно их любовь к родному краю открыла его красоту всему миру.

Как часто бывает в маленьких странах — хотя и кажется порой удивительным,— в Ирландии всегда находились «региональные» поэты, прославлявшие места своего детства: невысокие горы и лоскутные поля графства Монахан у П. Кэване, скалистые отроги и торфяные болота Антрима у Дж. Хьюитта, каменистая земля Тирона — у Дж. Монтегю...

Ссылаясь на усилившийся в последние годы интерес к истории, местному колориту, некоторые критики говорят о «возрождении» регионализма. С этим трудно согласиться прежде всего потому, что, как можно увидеть хотя бы на примере Дж. Монтегю, история родного края все чаще вмещает в себя историю всего общества:

Подрастая, я слышал об ольстерском духе,
О словесности нашей, о лире Стормонта.

Переехал на Юг—здесь иные кумиры:
Возрожденье ирландское, лира Шин Фейна.
Оба ветра затихли—мы просто часть мира.

Развитие так называемой «поэзии родного края» проходит на совершенно новом уровне. Главное в ней — процесс узнавания, казалось бы, с детства знакомых мест, разгадывание тайн—не мистических «тайн бытия», а тех, что безмолвствуют в старых могилах, веками лежат древними валунами, скрыты в звучаниях гэльских наименований мест, спаслись от тления в толстом слое торфа. По ним можно восстановить прошлое, понять настоящее, ощутить грядущее. Именно такую роль выполняют пейзажные картины в книге стихов Монтегю «Медленный танец» (1975). Поэт всматривается в озера и друмлины — следы ледниковой эпохи, дольмены и кромлехи — зага-

А. САРУХАНЯН
«КАМЕНИСТОЕ ПОЛЕ»
ИРЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ

дочные свидетельства древней цивилизации, ибо они для него — живущая история, совместившая реальность и легенду, минувшее и сегодняшнее.

История становится основой образной системы книги стихов Шеймаса Хини «Север» (1975). Хини начал как поэт крестьянской темы («Смерть натуралиста», 1966), может быть, поэтому труд поэта для него отождествляется с трудом земледельца. От сборника к сборнику раздвигает Хини границы своего поля, копая не только вширь, но и вглубь, в поисках смысла и истоков современного трагического конфликта. Земля таит в себе следы прошлого, нужно только разглядеть и понять их. Почему свежая зелень холмов напоминает о восстании 1798 года? Это проросли ячменные зерна, которыми повстанцы наполняли свои карманы, чтобы в трудный момент утолить голод. «Нас хоронили без савана и без гроба. А в августе на наших могилах вырос ячмень»,— говорит поэт в стихотворении «Реквием» (сборник «Дверь во мраке», 1969).

В книге «Север» Хини начинает свои «раскопки» с мыслью о людях своей земли — в поисках общего наследия. Набеги викингов, елизаветинская колонизация, события сегодняшнего дня — каждая эпоха оставила свой «культурный слой», свой — увы! — трагический след. Склонившись над черепом, подобно Гамлету, лирический герой Хини размышляет о судьбе человека, о судьбах родины. Мучительно ищет он слова, чтобы рассказать обо всем том, что пережила страна:

Крадущимися шагами
слова мои, как по краю,
по земле ступают
покрытой черепами.

Что же должен делать поэт, когда его терзает мысль о пролитой крови? Где его место, когда рядом от взрывов бомб гибнут люди?

Он мог бы последовать благоразумному совету и «схорониться в сокровищнице слов», но предпочитает отыскивать «слово, чтоб стало острогою и приманкой»,— выразило бы его собственную боль и задело сердце читателя, отозвавшись болью и в нем.

От исторических, литературных и мифологических аналогий поэт идет к осмыслению собственного опыта. Чтобы понять происходящее, он начинает с самого себя — с детства, когда впервые познал чувство страха, сталкиваясь на каждом шагу с дискриминацией по отношению к католикам («Царство страха», «Посещение констебля»). В конце 60-х годов атмосфера насилия сгущается: учащаются провокационные демонстрации оранжистов, поджоги в католических кварталах, накаляется и атмосфера стихов Хини («Оранжистские барабаны», «Тирон, 1966», «Лето 1969»). ...Вместе с многими другими поэт стоял с поднятыми вверх руками: приставив дуло к виску, его подвергли обыску, допросу, бросили в камеру («Тайная мечта законника»). Теперь он по другую сторону границы — сюда не долетают звуки перестрелки. Но тишина леса не приносит успокоения. В горьких раздумьях лирического героя, оказавшегося «над схваткой» и испытывающего острое чувство вины, косвенно выражена позиция самого поэта — сознание своей ответственности и долга перед родиной.

Не интернированный, не доносчик —
Так кто же я? Духовный эмигрант,
Беглец от самого себя; иль проще —
Лесной бродяга, избежавший бойни
Тем, что умело замаскировался
Под цвет куста и пня,— и жив остался,
И нищую котомку уберег;

И после, раздувая костерок
И едким дымом греясь, проворонил
Единственное в жизни чудо—
Кометы ярко вспыхнувшей цветок.

Отмечая нарастание гражданских мотивов в ирландской поэзии последних лет, Дуглас Данн — издатель сборника критических исследований «Двадцатилетие в истории ирландской литературы» (1975) и поэт — во вступительной статье указывает на появление «поэзии политического чувства» — поэзии, где познание лирического «я» становится частью познания общества, а единичный опыт отражает исторический опыт народа. Трагедия Ирландии, ощущаемая как личная, помогает художнику слова осмыслить свое место и роль в обществе. С Данном перекликается Патрик Гэлвин в стихотворении «Поэты сегодня»:

Поэты, как говорят
(Не прямо, а намекая),
В эту ли, другую эпоху,
Чтобы остаться поэтами,
Должны заниматься своими делами.
Политика, как говорят,
Не поэтична.
Политика непрактична,
Она не рифмуется с нашим временем.
Но вот вопрос,
Как остаться в стороне,
Как казаться,
Будто не умер,
Не избежал разрушения?
Растворившись,
Исчезнув,
Уйдя
В пустоту,
Туда, где не слышны звуки
Стрельбы?[1]

В чем назначение поэзии? Этот вопрос, как и в 1970 году, продолжает волновать Ивен Боланд. В критических выступлениях она порой выражает опасение, что социальная тема может породить лишь поэтику лозунга, риторику. И поэтому в стихах своих поэтесса стремится создать «обновленный язык», найти «слова настоящие», сплавляющие воедино чувства личные и общественные.

Поэтический строй сборника И. Боланд «Конь войны» (1975) рожден сегодняшней ирландской действительностью. Заглавное стихотворение звучит укором тем, кто боится преградить путь «коню войны»,— «а он, как монету, чеканит смерть на чистом лике земли». Победно скачет он по пустынным улицам. Все попрятались в домах,

[1] Перевод принадлежит автору статьи.

украдкой поглядывая из-за спущенных штор, и, наконец, облегченно вздыхают:

Но мы, мы-то целы, и чего нам
бояться,
Когда страх позади, и к чему
волноваться,
Если куст или клумба раздавлены
грубо
И валяются роз искалеченных трупы?

Но конь возвещает о страшной угрозе войны, он — память о той войне, что миновала, но никогда не забудется:

...Стебли роз, на ограде повисшие
плетью,
Разве вам не напомнили о
лихолетье,
Об огне, о сожженной земле или —
шире —
Об усильях погибших, о преданном
мире?

А рядом — стихотворение «Дорога голода», посвященное трагическому эпизоду ирландской истории, 1845—1847 годам, страшному голодному времени, когда истощенных людей за жалкую подачку заставляли строить дороги, которые «ниоткуда не шли, никуда не вели». Эта песнь о несчастной женщине, чье тело, изнуренное и бесплодное, стало «дорогой голода», прерывается циничными донесениями колониальных властей о ходе дорожных работ и о корабле с ирландским зерном, благополучно отправленным в Англию.

Лучшее стихотворение сборника «Дитя нашего времени. Памяти Энгуса», рожденное душевной мукой, выражает трагедию современной Ирландии. Взрыв горестных чувств, вызванный бессмысленной гибелью ребенка, выливается в скорбный реквием над колыбелью, ставшей гробом:

Прежде баюкать я не умела,
Но прошлой ночью сам возник
Этот напев: твой предсмертный крик
Дал мелодию колыбельной;
В какофонии боли, в скрежете зла
Ритм спотыкающийся родился.
В дикой бессмысленности убийства
Смысл эта песня моя обрела...

Из образов смутных, чувств
бессвязных —
Над твоим бесчувственным телом —
создать
Язык обновленный, чтобы сказать
Слова настоящие — вместо праздной
Болтовни, стоившей жизни тебе;
О малыш, колыбели уже не нужно,—
Спи непробудно в мире разбуженном,
Смертью твоей пробужденном
к борьбе.

Не ласковая колыбельная и не печальная элегия, эта песня не убаюкивает и не оплакивает. Как тревожный набат зовет она людей осознать свою ответственность за происходящее.

Еще до того, как вышел сборник «Конь войны», И. Боланд в одной из рецензий писала, что из сплава памяти людей и чувств художника возникает крик, который может стать равным искусству.

Так сложился и ее собственный поэтический образ: «Твой предсмертный крик дал мелодию колыбельной».

Наполнившись гражданским пафосом, ирландская поэзия 70-х годов не стала — вопреки опасениям Ивен Боланд — поэзией политических однодневок, поэзией лозунговой. Выступая с призывом к прекращению кровопролития на земле Ирландии, к миру, она служит самой высокой политике — человечности и прогрессу. Вызванная к жизни тревогами сегодняшнего дня, эта поэзия не уйдет вместе с ними — ведь рождена она страстью.

Когда в начале нашего века вышел сборник рассказов Джорджа Мура «Невспаханное поле», современники нашли в нем не только конкретный образ пахаря, вынужденного покинуть свою землю, родину — символ судьбы ирландца,— но и более широкую метафору. «Невспаханным полем» Муру представлялась ждавшая своего художественного освоения ирландская тема — литературная целина, жизненные соки которой, копившиеся столетиями, могли бы дать богатый урожай. Последующие поколения ирландских писателей основательно «вспахали» национальную почву. В 40—50-х годах высказывались даже опасения, не истощили ли ее настолько, что в скором времени она станет бесплодной. Но прошли еще два десятилетия, и «каменистое поле» Ирландии принесло новые плоды, взращенные его пахарями — мастерами слова.

◆

Г. ЗЛОБИН

КУСКИ КОВРА, ИЛИ МОСТЫ ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

II

Американская история знает три всеохватывающих национальных кризиса: Гражданская война 1861—1865 годов, 30-е годы и недавний — годы шестидесятые, когда «великое общество» тяжело и болезненно переживало гражданское брожение в связи с войной в Индокитае, небывалые негритянские и молодежные волнения, политические убийства, взрыв так называемой контркультуры. Уайлдер был свидетелем двух последних кризисов и по-своему преломил их в своих произведениях. Больше того — они-то и открыли ему Америку.

В 1934 году, словно принимая вызов, брошенный ему Майклом Голдом: «Пусть мистер Уайлдер попробует написать книгу о современной Америке...» — он создает роман «Попасть в рай», первое вполне «американское» произведение.

«Не без успеха соперничая с Синклером Льюисом», по мнению английского критика Уолтера Аллена, Уайлдер ведет читателя в глубину Среднего Запада. «В романе, как в капле воды, отразилась вся провинциальная Америка»[1].

Надо сразу оговорить, что в конкретной обстановке 30-х годов произведение об американском донкихоте своими наивно-оптимистическими установками, комическими интонациями и проповедническим пафосом воспринималось иначе, чем, скажем, «Трагическая Америка» или «Гроздья гнева». Однако в исторической перспективе роман занял своеобразное — пусть и скромное — место в основном русле тогдашней американской литературы.

Роман «Попасть в рай» не похож ни на одну книгу, написанную Уайлдером до того. Универсалии уступили место особому, частному. На смену утонченному интеллектуальному герою пришел «низкий», непосредственный, простодушный персонаж. Элегантный, «европейский» английский язык захлестнула стихия американского просторечья, окрашенного идиоматикой Среднего Запада. Передают, что Зигмунд Фрейд, восторженно отзывавшийся о «Мосте», в раздражении отбросил этот роман: он не мог понять, почему Уайлдер вообще взялся писать об «американском фанатике» — неисправимом идеалисте и жизнелюбе.

Название романа, как сообщает автор, происходит из распространенной на Среднем Западе детской считалки, куда на место пропущенных слов подставлялись имя и город.

Я в Америке родился,
И зовут меня Джордж Браш.
В Лудингтоне проживаю.
Только в рай попасть мечтаю.

«Попасть в рай» обладает многими признаками традиционного в мировой словесности «пикарескного романа». Произведение американского писателя тоже строится как цепочка приключений и злоключений человека из низов. Жизненные обстоятельства кидают его в разные места и сталкивают с разнообразными людьми — отсюда и эпизодная композиция книги. Как и классический пикаро, герой Торнтона Уайлдера не в ладах с обществом,

[1] Уолтер Аллен. Традиция и мечта. М., «Прогресс», 1970, стр. 282, 284.

Окончание. Начало см. в № 6.

терпит невзгоды и унижения, но не унывает, полагаясь, однако, не на счастливый случай, как это делали его литературные предшественники, а на убеждение, что именно ему доступен свет истины.

В американской литературе давно закрепился тип разъездного торгового агента, коммивояжера. Обычно это энергичный стопроцентный янки, общительный и назойливый. Герой Уайлдера тоже служит в издательской фирме «Колкинс эдьюкэйшнл пресс», ездит по Среднему Западу, продает учебники для школ и колледжей Однако сбыт книг — это как бы между прочим, главное же дело жизни Джорджа Браша — делать добрые дела и учить им, как того требуют заповеди христианства. Похождения Джорджа Браша по кризисной Америке — это одновременно и реализация и испытание на прочность его нравственного идеала.

Религиозность Джорджа Браша—особого рода, она проявляется скорее в форме внутреннего нравственного императива поступать во благо другим. Как у правоверного христианина баптистского толка, у него, разумеется, есть «программа» — моральное совершенствование. Однако же он полагается больше на сиюминутность доброго дела, на конкретный пример поведения, нежели на отдаленное строительство града божьего на земле, и по всякому поводу тут же создает теорию.

Комментируя в 1952 году образ Джорджа Браша, Уайлдер заметил: «Американцы полагают, что всю мировую мысль надо осмыслить заново... Они начинают на голом месте... Каждый американец считает себя способным основать собственную религию».

В цепочке благодеяний Браша много всякого Он отвращает от самоубийства скромного бизнесмена, вконец удрученного плохим ходом дела; разоблачает корыстную устроительницу спиритических сеансов; поступившись своими принципами ненасилия, задает взбучку некоему парню, осмелившемуся нанести оскорбление южной леди, а после сам терзается виной, ибо тот попал за решетку; берет на воспитание маленькую дочку своего случайного знакомца — забулдыги и бродяги...

Неуемное миссионерство и этический максимализм 23-летнего баптиста — разносчика добра, усматривающего грех даже в курении, вызывает разную реакцию у окружающих. Одни считают его безобидным чудаком и надоедой, хотя и признают, что он «чист, как золото». Другие — глупцом, юродивым, безумцем, потерявшим, выражаясь современным языком, контакт с реальностью. Третьи видят в нем насмешника и чуть ли не провокатора. Так несоизмеримы его моральная требовательность и реальные жизненные обстоятельства, что высекается яркая комическая искра, не гаснущая даже тогда, когда бедному Брашу за свои старания приходится расплачиваться синяками.

Гораздо более серьезные столкновения происходят у Браша с властью, и в этих эпизодах отчетливо звучат ноты социальной сатиры. Однажды он отказался получить проценты со своих скромных сбережений. Он не верит в проценты, не верит, что «деньги могут делать деньги», и вообще банк — «безнравственное учреждение». Где-то в Миссури его по ошибке приняли за киднаппера и взломщика. На суде Браш последовательно излагает свое кредо: «Не для того я учился... чтобы думать, как все». Да, он пацифист и непротивленец, сторонник Ганди и Толстого, принятая система наказаний за преступление — сама по себе преступление. Да, он разделяет теорию «добровольной нищеты»: «богатый человек — это тот, чья голова не забита беспокойными мыслями о деньгах». Браш декларирует намерение и дальше жить согласно джайнистскому обету *ахимсы*, то есть воздерживаться от нанесения какого-либо вреда жизни и проповедовать уважение ко всему сущему.

На определенном этапе сама жизнь заставляет Джорджа Браша все же усомниться в достаточности и собственно доктрины, и способа ее осуществления. Он переживает тяжелый кризис веры и в высшую святость, и в то, что он сам делает. «Я верю, что бог есть, есть! Но почему он так медленно переделывает мир?»

Уайлдер завершает роман неуверенно. Проводя Браша через отчаяние и психический срыв, он ограничивается возрождением своего героя к прежнему ремеслу — поборника нравственного совершенствования и подвижника *малых* дел.

Роман «Попасть в рай» во многом означал поворот Уайлдера к современной проблематике и американской действительности.

В 1938 году он сказал в одном интервью: «В течение многих лет я избегал описывать современность. Меня тревожило, как я найду способ обобщения мира дверных звонков и телефонов... Теперь же я рад ощущению, что могу принять двадцатый век — не только как век, в котором интересно жить, но и как век, дающий усвояемую пищу для размышлений». В том же году была поставлена его знаменитая пьеса «Наш городок», в которой монотонная жизнь американской провинции проецируется на фон вечности. Потребовалось, однако, почти тридцать — и каких! — лет, прежде чем Уайлдер взялся за то, что можно, пожалуй, считать главной его книгой — американскую сагу «День восьмой». И взялся тогда, когда социологи, политики, философы принялись искать утраченные национальные цели, выстраивая «новые границы» американского опыта и модели «великого общества», когда выстрелы в Далласе отозвались взрывом бомб в далеком Вьетнаме, когда очередной президент, по словам Г. Моргентау, «стал Юлием Цезарем Американской Республики», когда на черное пламя «негритянской революции»

Г. ЗЛОБИН
КУСКИ КОВРА,
ИЛИ МОСТЫ ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

накатилась расистская волна насилия белого большинства, когда дети стали в презрении отворачиваться от ценностей отцов, когда поп-культура — «этакое понятие-зонтик, покрывающее почти все, что есть в сегодняшней моде», по определению журнала «Лайф» — трогательно обручилась с «серьезной» литературой, «большинство героев» которой, по словам того же журнала, «составляют распадающиеся личности — полные страха, раздражения, горького разочарования в окружении».

В итоге появился роман, где Уайлдер, к полному недоумению большинства критиков, «рискнул возродить героическую тему в негероический век». В фокусе внимания автора — простые, нравственно здоровые и хорошие люди, что само по себе не часто в современной американской прозе, люди, сохраняющие свои качества перед лицом крайне неблагоприятных обстоятельств и частично одолевающие их благодаря упорству, трудолюбию и порядочности.

Роман открывается тугой, как в драматургическом произведении, завязкой: «Летом 1902 года Джон Баррингтон Эшли из города Коултауна... предстал перед судом по обвинению в убийстве Брекенриджа Лансинга, жителя того же города. Он был признан виновным и приговорен к смертной казни. Пять суток спустя... он бежал из-под стражи...»

Как и в «Мосте короля Людовика Святого», в «Дне восьмом» существенную роль играет автор: он не только ведет собственное повествование, но и комментирует его, ставит вопросы, рассуждает.

...Двумя абзацами ниже автор сообщает, что произошла судебная ошибка: Лансинга убил не Эшли, а кто-то другой. Однако ускорение роману сообщает не стандартная, как в полицейском детективе, загадка: кто убил? — этим вопросом задаешься чем дальше, тем меньше,— а совокупность вопросов: в чем мотивы преступления, почему неприметного горного инженера спасли шестеро неизвестных, почему Эшли не попытался снять с себя ошибочное обвинение, как сказалось происшествие на членах обеих семей, которые до того состояли в добром соседстве и дружбе. В какой мере строят жизнь человека его личные качества, а в какой сила внешних обстоятельств?

«К моему удивлению,— говорит Уайлдер, взвешивая замысел и исполнение,— оказалось, что роман несет ту же нагрузку, что и «Мост». Если бы можно было проследить человеческую жизнь до малейших подробностей — обнаружилась ли бы в ней какая-нибудь разумная закономерность? Ранняя книга показала невозможность такой попытки Значит, «разумность» надо искать где-то еще, заглянуть себе вовнутрь, довериться интуиции...»

Никому не дано до конца развязать все узлы, сцепляющие явления и события: за одной вытащенной ниткой тянется другая, за ней третья и так до бесконечности. Но истинный художник всегда идет на невозможное. В этом романе Уайлдер как нигде углубляется в причинно-следственные связи. Детерминированная структура и позволяет книге выдержать ту чрезмерную «нагрузку» метафизического «плана бытия», под которой обрушился «Мост».

Основное в структуре «Дня восьмого» представляет собой многомерное исследование причин, поводов, условий, сопутствующих обстоятельств и следствий центрального фабульного происшествия. В ходе этого исследования Уайлдер растягивает романное время и пространство, раздвигает хронологические рамки описания до нескольких десятилетий, а географические — от Чикаго до Чили; он показывает наследственные факторы, воспитание, среду, общество, воздействующие на формирование персонажей, как бы примеряет психологические, эстетические, религиозные, социальные учения для объяснения их поступков, словом, перебирает все, что так или иначе может пролить свет на истинную суть своих героев. Отсюда и проистекает челночная композиция глав: свободное — взад и вперед — перемещение во времени и пространстве и панорамная разноплановость «Дня восьмого», в котором сталкиваются свойства разных романических жанров: историко-философского, семейной хроники, романа воспитания, детектива.

Частые авторские отступления и афористичные комментарии о человеке в общем ходе вещей, в истории, стягивающиеся в приведенный ранее заключительный абзац романа о разночтениях «рисунка» на ковре, не размывают его реалистической основы. Историко-философская схематика остается лишь орнаментальной, провоцирующей читателя на самостоятельные размышления аппликацией к конкретно-исторической канве нескольких переломных десятилетий в развитии Соединенных Штатов, тех самых, когда заканчивалось становление американского империализма. Вышитые на такой канве изображения индивидуальных судеб приобретают в иных местах книги даже качества эпические.

Главы двух семей, чьи судьбы развертываются на страницах романа, люди, можно сказать, прямо противоположные. Брекенридж Лансинг — из породы тех американцев, у которых за внешним благополучием и бравадой таится неуверенность в себе, разочарование и пустота. Он был плохим мужем, неумелым отцом, никудышным управляющим шахтами. Он был нетерпим и несправедлив к жене, ревнуя ее к Эшли, к детям, так же как его отец был несправедлив к нему, а дед несправедлив к отцу.

Джон Эшли в глазах буржуазного Коултауна был человеком странным: он был равнодушен ко всему, что так ценилось «в обществе» и притягивало людской интерес: деньги, «честолюбие, напористость, воля к власти...». Незаметный, не умеющий красиво говорить («Чтоб уметь говорить, надо быть беспринципным, честность косноязычна»), он принадлежал к категории *работников*. Если он и был нетерпим, то только к тунеядцам. Он умел сдерживать свои чувства, понимал других, трудился не за страх,

а за совесть — и потому был свободен и счастлив.

Вынужденные скитания Джона Эшли по Штатам и Южной Америке — это цепь трудностей и ступени дальнейшего познания — себя и других людей, это, как и в похождениях Джорджа Браша,—серия добрых дел — от помощи случайному попутчику до облегчения участи горняков на медных рудниках Рокас Верде, где Эшли служил инженером, это сложный и неоднозначный процесс утверждения веры в нравственную стойкость человека и в нужность его дела на земле.

Идейно-художественную линию Джона Эшли развивают его дети, и прежде всего — сын Роджер.

После побега Эшли семья осталась без средств к существованию, ибо он «целых семнадцать лет нарушал непреложный закон цивилизации. Он не делал сбережений». Беата с девочками упорно трудится, средняя, Софи — сугубо американский штрих! — продает на вокзале домашний лимонад, и в конце концов они превращают «Вязы» в скромный пансион. Чтобы отогнать от своих тень дома призрения, Роджер подается в Чикаго. Там, прежде чем стать знаменитым журналистом, Трентом Фрезиром, разгребающим общественную грязь большого города, ему пришлось изведать многое. Жизнь впроголодь, тяжелая грязная работа — чтобы скопить на башмаки и отослать малую толику в «Вязы», самообразование, первые попытки сочинительства — все это закалило характер Роджера, развило в нем социальную зоркость, которой был лишен его отец. Присматриваясь к людям, к их изнурительной борьбе за существование, задумываясь над сущностью денег, переносясь мысленно в тюрьму, где сидит Юджин Дебос, Роджер постепенно постигал: «Не доброта нужна, а справедливость. Быть добрым — значит неумело пытаться возместить причиненное несправедливостью зло. Мир устроен неправильно. Это уже стало ему ясно» (разрядка моя.— Г. З.).

Едва ли не каждый роман Уайлдера несет в себе урок, едва ли не каждый герой воспринимает или дает урок — урок преимущественно нравственный. У всякого истинного художника эстетика обручена с этикой — в этом закон искусства. Уроки же Торнтона Уайлдера — художника и педагога — часто непосредственно выражаются в его поэтике. Один из распространенных способов такого выражения состоит в том, что герой встречается с человеком, воплощающим неизвестную ему прежде идею, которую он, преломляя сквозь призму своего опыта и миропонимания, частично усваивает — именно ту часть, которая созвучна его психологии и практике. Герой Уайлдера всегда «открыт» всему новому, человечному и полезному. Так было с Джоном Эшли, так же случилось и с Роджером. О верениде поколений, взбирающихся по бесконечной лестнице блаженства, рассказывает ему приверженец индуистской философии санитар Питер Богардус. Урок экономики и политики преподал Роджеру, выходцу из среднего, «пресмыкающегося класса», анархист Томас Спидел, яростно бичевавший все: институты и представления буржуазного общества, собственность, патриотизм, благотворительность, церковь и одновременно высмеивающий «дерзновенность революционной мечты». Проникать в сердца ближних своих, передавать «слова любви, мужества, веры» призывает молодого журналиста епископ Крюгер. Много почерпнул Роджер, вращаясь среди журналистской братии. «Они знали, что государственные учреждения заражены коррупцией, благотворительность — фарс для дураков, духовенство лживо и лицемерно, а в большом бизнесе царят волчьи права, особенно на железных дорогах и на скотобойнях. Они задыхались от сведений, которые им не разрешалось предавать гласности».

«Чикагская» глава «Дня восьмого», повествующая о мытарствах и мужании Роджера Эшли, формировании его гражданского сознания, воссоздающая многоликий образ большого капиталистического города начала века, выдержана в традициях критико-реалистической прозы США и даже стилистически приближается к романам Лондона, Синклера, Драйзера.

Иной тип личности, иную модель поведения представляет Джордж, сын Брекенриджа Лансинга. Он еще подростком с группой сверстников нагонял страх на город. Коултаунские «могикане», эти дальние предшественники бунтующей леворадикальной молодежи 60-х годов, «бросали вызов приличию и благоразумию... они выставляли на посмешище банки, собрания евангелистов, общепризнанные устои общества».

В неуравновешенном характере Джорджа Лансинга, мечтающего стать укротителем, актером, разрушителем тюрем жила болезненно-обостренная чуткость к хамству, деспотизму, несправедливости, мгновенно переходящая в яростную жажду мщения. В один из таких приступов и застрелил он отца, и вина за убийство против его воли пала на человека, перед которым он преклонялся.

С образом Джорджа Лансинга входит в роман — едва ли не единственный раз у Уайлдера — тема возможности и допустимости насилия в ответ на обиды, унижения, жестокость. Было два человека, которых Джордж бесконечно уважал, и к ним он мог обратиться с мучавшими его вопросами,— друг отца Джон Эшли и пятидесятилетняя Ольга Сергеевна Дубкова. Американец напомнил ему о Гражданской войне, когда люди «вовсе не хотели сражаться, не хотели убивать, а пришлось»,— «человек должен уметь защищаться, когда на него нападают». Русская эмигрантка, очевидно, дочь народовольца, участвовавшего в убийстве Александра II, рассказывает в ответ притчу о льве, который обрек других львов на «собачье полуголодное существование» Джордж не только понял, что есть единст-

---

Г. ЗЛОБИН
КУСКИ КОВРА,
ИЛИ МОСТЫ ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

венный выход в таком положении,— в его возбужденном воображении возник манящий образ великой страны и великого самоотверженного народа, «тот ковчег, где спасется человечество в час всемирного потопа», по глубокой убежденности Дубковой.

Ни «русская» тема, ни образ Джорджа не получают всестороннего развития в романе. И все-таки эта тема явственно проходит по страницам «Дня восьмого», обозначая еще одно направление в искомых Уайлдером путях к будущему.

В том-то и состоит значение романа, что всей своей образной системой он утверждает принципиальную возможность более совершенных форм человеческого общежития, перемогающего фаталистическую предопределенность и неспособность разума разгадать «узоры» пестрого, переменчивого, противоречивого бытия. Как и у пятерых, погибших в ранней повести, завершен индивидуальный жизненный цикл Джона Эшли, но он принадлежит к той породе, чей «взгляд устремлен в будущее»,— «они поднимут упавших и вдохнут надежду в отчаявшихся». Личный пример и уроки отца усвоили дети: пробилась на сцену и нашла себя в искусстве старшая дочь — Лили, пером воевал против несправедливости Роджер; все силы и энергию, пожертвовав личным счастьем, отдала семье, близким Софи, неуемной поборницей социальных реформ стала самая младшая — Констанс. В их стойкости и жизнерадостности нет никакой загадки — «все Эшли всегда работали, и в этом их счастье». Именно эти качества воплощают в глазах Уайлдера лучшее, что есть в американском национальном характере. Благодаря духовной наполненности жизни всех Эшли роман не соскальзывает в разряд тривиальных «историй успеха», распространившихся в коммерческой беллетристике еще сто лет назад, с времен Орейшо Олджера, автора назидательно-слащавых романов о подростке, «пробивающем» нищету, искушения и достигающем богатства и славы.

Есть в романе знаменательная сцена, происходящая 31 декабря 1899 года, в канун нового, двадцатого столетия. В коротком праздничном спиче, который произнес перед публикой, собравшейся в баре «Иллинойс», доктор Гиллиз, сей ученый муж развернул перед потрясенными слушателями картину бесконечной эволюции земли и человеческой цивилизации: «Мы живем в начале второй недели творения... В только что наступившем столетии нам предстоит стать свидетелями новой фазы развития человечества. Появится Человек Дня Восьмого».

«Доктор Гиллиз врал без зазрения совести»,— иронически комментирует Уайлдер, врал, дабы взрастить надежду в сердцах. Но слова о том, что человек избавится, наконец, от страха перед вражеским вторжением и богом-громовержцем, перед мщением мертвых и зверем, притаившимся в нем самом, что «вся масса людская выйдет из троглодитского состояния», находят отзвук и у Дубковой, и у мальчиков — Роджера и Джорджа — и, судя по всему, близки и самому умудренному автору.

Не берусь утверждать, в том ли состояло намерение писателя, но общая идейно-художественная концепция произведения, влитая в два слова названия, в котором концентрируется мысль о том, что человеческая история только начинается, что семь дней творения были предысторией, подготовкой к качественно новому человеческому сообществу,— эта концепция объективно полемизирует с представлениями буржуазной историографии об «осуществленности» капиталистической и, в частности, американской цивилизации как высшей ступени мировой эволюции.

■

«День восьмой» обозначил пределы мировоззренческой и эстетической эволюции Торнтона Уайлдера. Следующий шаг в том же направлении обозначал бы выход в качественно иную идейно-художественную систему. Писатель не сделал этого шага. Он сделал другое. Через шесть лет он написал роман, закругляющий, я сказал бы, его творческий путь, роман-завершение, роман-завещание.

Действие «Теофила Норта» разворачивается в течение нескольких летних месяцев 1926 года в прибрежном местечке Ньюпорт штата Род-Айленд.

Герой романа, молодой, под тридцать, преподаватель-филолог попадает сюда с намерением отдохнуть, осмотреться и решить, что делать дальше: тянуть школьную лямку ему больше не хотелось. Чтобы не сидеть без дела, Теофил Норт берется тренировать подростков на теннисном корте, обучать языкам и читать вслух пожилым людям со слабым зрением.

Уайлдер, будучи в 1920 году в Риме, принимал участие в раскопках этрусской культуры. Теофил Норт тоже принимается за раскопки и открывает для себя, слой за слоем, людей, их фамильные дела, события прошлого и проблемы настоящего. И оказывается, что захолустный и ничем вроде не примечательный Ньюпорт состоит, как и шлимановская древняя Троя, из девяти городов — от деревни первых поселенцев до города «американцев среднего сословия» и сезонного курорта финансовых воротил, из нескольких социальных пластов и множества индивидуальных вкраплений в толще человеческой породы. В теперешнем оживает традиция и тянется дальше. «Дом Жана-Луи Рудольфа Огасси (знаменитого естествоиспытателя середины прошлого века и горячего противника музейной классики.— **Г. З.**), который я только что миновал, был переоборудован в гостиницу; она существует и ныне, в 1972 году...» Сама структура повествования, в которой сходятся три точки зрения: тогда, теперь, то, что будет,—придает аналитический характер рассказу, как всегда увлекательному, колоритному, чуточку грустному и ироничному. Археолого-исторические, социологические и культурологические разрезы по вертикали

и горизонтали представляют Ньюпорт микрокосмосом если не Америки, то по крайней мере той ее части, которую издавна принято называть Новой Англией.

Как ни заурядно Ньюпорт сейчас, оказывается, и у него есть история и культурные традиции. Эта история так насыщает роман, что и впрямь ощущаешь ее как необходимое настоящее. Когда-то, двести лет назад, здесь три года прожил Джордж Беркли, организовал Литературное и философское общество и создал свои диалоги в духе Платона — а сейчас Норт и заядлый книжник доктор Босверт восторгаются слогом старого епископа. О Ньюпорте писал Лонгфелло, и, по уверению многих, сюда заглядывал даже Эдгар По — черты характера этого романтика и рационалиста угадываются в образе художника Элберта Хьюза. Здесь доживала свой век Джулия У. Хау, феминистка и аболиционистка, сочинившая «Боевой гимн республики», с которым шли в сражения северяне. Как раз в годы Гражданской войны тут с семьей поселился Генри Джеймс-старший, и действие последнего, незаконченного романа его знаменитого сына «Башня из слоновой кости» разворачивается именно в Ньюпорте. Упоминания Джеймса вызывают более глубокие ассоциации и приводят на память его рассказы о художниках, и в первую очередь «Узор на ковре» (1896): идея непостижимости истинного смысла произведения искусства, придающего, однако, ему цельность, перекликается с аналогичными рефлексиями Уайлдера.

Роман «Попасть в рай» давал возможность заглянуть в Америку времен острейшей депрессии и социального брожения. Микромир «Теофила Норта» — это частица американского просперити, в котором исподволь разыгрывались негромкие драмы обыкновенных людей, незадолго до того, как в 1929 году взорвался общественно-экономический макромир Америки, вызвав цепную реакцию в Западной Европе.

Роман приоткрывает «трагическую изнанку жизни», и его герой всячески старается облегчить участь тех, кто состоит «в неправильных отношениях с действительностью». Теофил Норт — родной брат Джорджа Браша из раннего романа, разве что научившийся терпимости и приобретший практическую сметку. Он любознательный соглядатай человеческой природы и нравов, проницательный пройдоха и утешитель, неистощимый выдумщик и строгий моралист, разносчик здравого смысла и осмотрительный чудодей. Он по-детски непосредствен и по-стариковски умудрен. Ему равно доступны россказни содержательницы пансиона, местной ЭВМ, миссис Крэнстон и высокая речь мировых классиков. Как матерый шантажист, Теофил расстраивает побег двух влюбленных, понимая, что различие положения и характеров не принесут им счастья, и, как опытная сваха, соединяет сердца двух других, чересчур деликатных в проявлении своих чувств. Как квалифицированный врач-психиатр, он внушает мужество безногому юноше-самоучке и, как шарлатан-гипнотизер, избавляет рукоположением от мучительных головных болей девушку, отороженную от реального мира всяческими табу и вето, принятыми в ее семье. Как полицейский сыщик, он вызволяет слабовольного талантливого художника из лап мошенников — подделывателей старинных бумаг и, как борец с несправедливостью, разгоняет стаю «стерегущих смерть» — родственничков старого дипломата, которые чрезмерной любовью и вниманием хотят «лишить его силы подписывать чеки». Он помогает обрести чувство собственного достоинства и вкус к жизни человеку, мечтавшему стать вагоновожатым или монтером, но женившемуся «на деньгах», и приобщает к хорошему чтению беременную женщину, страдающую от невнимательного мужа. Он делает ребенка соломенной вдове пьянчуги-моряка и музыкой немецкой речи помогает тетушке Лизелотте, мысленно уносясь в прошлый век и родную Германию, умиротворенно отойти в мир иной...

Почти все эти трогательные истории неразделенной любви, неокрепшего характера, несостоявшегося призвания, ненайденного места в жизни получают в романе счастливую развязку, если угодно — «хэппи энд», если понимать под счастьем не немыслимую удачу, а способность радоваться тому, что есть. «Во времена, когда огромная часть «серьезной» художественной и нехудожественной литературы пессимистична, нигилистична, «абсурдна» или иронична, умеренная доза сентиментальности может оказать терапевтическое воздействие... Может быть, и взрослым нужны сказки»,— писала американская критика.

В сказке всегда есть черное и белое, хорошие люди и плохие. Такое же противопоставление есть и у Уайлдера — конечно, не столь контрастное. Плохие — это богатые, праздные, расчетливые, это хозяева, их прихвостни и паразиты. Хорошие — это седьмой город, составленный из тех, кто трудится, «кто входит в парадную дверь дома, где живет, только для того, чтобы вымыть ее», и из «американцев среднего сословия».

Все книги Уайлдера исходят из посылки о великой, возвышающей, целительной силе искусства. В «Теофиле Норте» эта посылка реализуется в прием, в сюжет.

Едва ли не основное занятие героя романа — это чтение вслух людям, которые по тем или иным причинам не могут или не хотят делать это сами. Герой читает, и по страницам книги бродят тени великих: Гомера, Данте, Шекспира, Лафонтена, Гёте, Диккенса... Мы слышим их голоса, усваиваем их бессмертные мысли. Уайлдер не только оживляет традицию, заставляет ее «работать» на одухотворение зачерствевших, или ограниченных, или озабоченных буднями умов и сердец: герои классики,

---

Г. ЗЛОБИН
КУСКИ КОВРА,
ИЛИ МОСТЫ ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

как удивленно открывает для себя Майра Грэнберри, «иногда живее настоящих людей». Уайлдер откровенно ставит искусство, сферу муз на службу своим дидактическим целям, ибо оно — «школа чувств и страстей, сочувствия и самопознания».

Первая же фраза романа: «Весной 1926 года я бросил работу» — выдвигает проблему, которая по ходу повествования становится все более очевидной,— проблему автобиографизма. Речь даже не идет о совпадении массы деталей и дат в curriculum vitae Торнтона Уайлдера и его героя, хотя и это немаловажно. Вчитываясь в перечень девяти призваний и поприщ Теофила Норта — от святого и миссионера до свободного человека,— помещая этот роман в контекст всего творчества писателя, видишь в совокупном виде не только черты и свойства героев прежних книг Уайлдера и системы их мотивов, но и ту общую ценностную ориентацию, которая складывается из них. Никто не рискнет поручиться, что летом 1926 года с Уайлдером приключались те же самые истории, какие описаны в книге, однако уподобление автора и его героя в интеллектуальном, психологическом и нравственном плане растет от страницы к странице. Оно проявляется и в имени героя — «Норт», в котором угадывается скрытая и сложная анаграмма имени «Торнтон», и в мысли, заключающей роман: «Память питает воображение. Память и воображение, объединившись, могут... даже написать книгу, если захотят». Сам способ повествования, в котором сливается «я» героя-рассказчика, который вел в Ньюпорте дневник событий и своих впечатлений, и «я» автора, который, пользуясь этим дневником и тем, что сохранила память, оценивает происходящее из 70-х годов, с высоты почти полувекового опыта, отражает это уподобление. Впрочем, произведение от того не делается ни документальным, ни автобиографическим, ибо воображение, художественный вымысел, играющий столь существенную роль хотя бы в организации материала, удерживает его и в рамках fiction, художественной литературы, и в рамках эпизодного романа. Жанр его можно было бы без особых оговорок определить как роман-воспоминание, если б одновременно он не нес бы мощный дидактический заряд, о котором говорилось выше. Благодаря ему роман стал еще и «учебником жизни», суммировавшим личный и творческий опыт Торнтона Уайлдера.

Уроки его, как и прежде, просты и бесхитростны, может быть, даже элементарны: будь добрым и терпимым, помогай другим в беде, не обольщайся миражами, помни, что не хлебом единым жив человек. Подобно опытному педагогу, Уайлдер изымает из своих уроков все лишнее, тяжеловесное, затрудняющее их восприятие и усвоение. И когда в прощальной исповеди механику Декстору Теофил признается, что освободился «от гнета больших чисел, больших расстояний и больших философских проблем, которых мне не постичь. Я пашу свой клочок земли и не стараюсь поспеть всюду разом», то это характеризует свой роман-завещание 75-летний Торнтон Уайлдер.

Они, эти уроки, недостаточны в моменты потрясений и переворотов, когда сталкиваются непримиримые классовые интересы, но они необходимы в повседневном существовании личности. Ведь они несут элементы непреходящего духовного и морального опыта, который помимо конкретно-исторического своеобразия содержит каждая эпоха и цивилизация и который, воспринимаясь последующими поколениями, вливается в общечеловеческое сознание. Эти стороны творчества своего соотечественника подметил еще Синклер Льюис, когда в 1930 году в речи при получении Нобелевской премии определил Уайлдера как писателя, который «в наш реалистический век видит старые, прекрасные и вечно новые романтические сны»[1].

С чьей-то легкой руки, наверное на этом основании, Торнтона Уайлдера стали уже называть у нас одним из крупнейших представителей демократической культуры США, едва ли не классиком американской литературы XX века. Беда только в том, что определения типа: «крупнейший», «классик», особенно по отношению к почти что современнику, содержат лишь оценочный момент и страдают расплывчатостью. Оселок, на котором прежде всего проверяется классик-романист, очевидно, эпичность, широта и многообразие захвата жизненных явлений и характеров, глубина национально-исторической проблематики, то есть как раз то, чего не хватает Торнтону Уайлдеру.

Главная причина тому — взгляд американского писателя о невозможности «чтения» (а значит, и отображения) истории иначе, как вырывая отдельные куски из ее цельной бесконечной картины, взгляд, осложненный телеологической проблематикой, уходящей корнями в размышления Аврелия Августина о предопределенности всего сущего и о «граде божьем», в теории Джамбаттисты Вико об историческом круговороте, в учение Фихте, рассматривавшего историю, пользуясь словами старого автора, «по a priori пробегающей нити мирового плана».

В «Развитии социализма от утопии к науке» Ф. Энгельс писал, что на определенном этапе познания мы «вынуждены вырывать их (частности.— Г. З.) из их естественной или исторической связи и исследовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее особым причинам и следствиям и т. д.»[2]. Однако рассмотрение частностей, отдельных сторон, особых случаев — это полдела. Задача мышления, в том числе, разумеется, и художественного, состоит в постижении универсального взаимодействия явлений, в том, чтобы показать историю как процесс развития человечества и «доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей»[3]. Уайлдер же редко

---

[1] Синклер Льюис. Собр. соч. в девяти томах, т. 6, 1965, стр. 476.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, т. 19. М., 1961, стр. 203.

[3] Там же, стр. 206.

предпринимал попытку целостного изображения человека в его многообразных связях с миром. Он более силен в истории частной личности. Если для него и существует исторический детерминизм, то он выражается скорее в сумме нравственных долженствований, устремленных к гуманистическому идеалу.

Проблемы этического содержания исторического процесса встали во весь рост после того, как мир стал свидетелем злодеяний фашизма, развязавшего вторую мировую войну, угрозы термоядерного уничтожения человечества, беспрецедентных фактов политического насилия и разложения нравов. Либеральная гуманистическая мысль Запада, отказавшись от познания «всеобщей целесообразности мирового процесса», оказалась в состоянии кризиса. Часть буржуазной интеллигенции впала в безысходный пессимизм относительно возможностей человека и его будущего. Другие, не доверяя «политике», принялись искать выход в возрождении или перестройке этических отношений. Даже представители естественных и точных наук, убежденные в несостоятельности гуманитарного знания объяснить современную историю, считают, что «никто еще не придумал средств для поддержания стабильности общества без помощи традиционных этических принципов...», как сказал Макс Борн[1]. С известным физиком перекликается «доктор из Ламбарене» Альберт Швейцер: «Среди сил, формирующих действительность, нравственность является первой»[2]. Уайлдер примыкает к этому распространенному умственному течению, ставящему во главу угла «этизацию убеждений», примыкает, конечно, в специфическом качестве художника. Если тот же Швейцер, утверждая благоговение перед жизнью, «оптимистически этическое мировоззрение», полагал, что «абстракция — это смерть для этики, ибо этика — это живое отношение к живой жизни»[3], то для писателя, призванного выразить отвлеченную идею в чувственных образах, это тем более очевидно и характерно. Произведения Уайлдера — это тот случай, когда то, что называется абстрактным гуманизмом, конкретно воплощается в типе личности, проявляется в ее поведении. Писателя интересует не истинность идеи, а истинность данного человека и его поступков, истина отдельного действенного добра.

Историко-литературные раскопки уайлдеровской прозы обнаружили бы глубоко залегающие слои, соприкасающиеся с тем лучшим, что воспринял еще в XIX веке американский трансцендентализм у пуританства. Именно трансценденталисты объяснили «жизнь категориями этики, подчиняя эстетические, интеллектуальные и даже политические и экономические стороны человеческого существования самоценной личности как носителю нравственных качеств», как пишет каноническая «Литературная история Соединенных Штатов».

Помните, говоря о «Дне восьмом», Уайлдер призывал «заглянуть себе вовнутрь, довериться интуиции»? Что это, как не парафраз знаменитого эмерсоновского: «Доверяй себе!» С традициями трансцендентализма связано и религиозное чувство многих героев писателя. Теофил, например, означает «боголюб».

Люди, знавшие Уайлдера лично, среди прочих свойств его натуры выделяют жизнелюбие, удивление перед многоцветностью бытия, чуткость к повседневному, которые не притупила начитанность, энциклопедическая широта знаний. Он слышал музыку сфер и стук тарелок на кухне, как выразилась исследовательница его творчества М. Кьюнер. Рассказывают, что по какому-то поводу Уайлдер заметил: «Я сумею позаботиться о моей бессмертной душе, но кто отдаст белье в стирку?» Когда шутку передали Сомерсету Моэму, тот возразил: «Если Торнтон присмотрит за стиркой, его душа сама позаботится о себе».

Торнтон Уайлдер не примыкал ни к каким литературным или общественным движениям. В его книгах нет особой страсти, зато они лишены столь часто встречающегося художнического эгоцентризма, желания высказаться во что бы то ни стало. Его не влечет ни небо, ни бездна — им движет ровный, негаснущий интерес к человеку.

Перед Уайлдером, как видно, никогда не вставала дилемма: литература — занятие приятное или полезное? Обе части этой извечной оппозиции пребывают у него в динамическом равновесии. Одно не существует без другого. Одно вытекает из другого и возвращается в него же. Он равно художник и педагог, и это двуединство выражается в его поэтике. Розги — не лучшее средство учительства. Уайлдер не бичевал, а увещевал и врачевал. Подобно педагогу, он охватывал иные берега и лета, строя оттуда мосты к современной Америке. Он поднимал пласты истории и вылущивал зерна гуманности из толщи многовековой и многотрудной традиции человеческой мысли, проверяя их на всхожесть на родной почве. Производя раскопки человеческой породы и нравов, он — как художник — рисовал увлекательные, поучительные и чуть романтические картины на общем холсте мировой литературы.

Просвещение, писал Торнтон Уайлдер в «Дне восьмом», — это «мост из узкого личного мирка в мир общечеловеческого сознания». Можно довериться этому высказыванию американского писателя. Ибо всегда живы цитируемые Теофилом Нортом слова умирающего Гёте: «Licht! Mehr Licht» — «Света! Больше света!»

◆

[1] Макс Борн. Моя жизнь и взгляды. М., «Прогресс», 1973, стр. 42.
[2] Альберт Швейцер. Культура и этика. М., «Прогресс». 1973, стр. 115.
[3] Там же, стр. 302.

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС

КУЛЬТУРА В БОРЬБЕ ЗА ПРАВО СУЩЕСТВОВАТЬ

История одного спектакля...

Каждый вечер в Сантьяго появляется, пестря жирно набранными черными и зелеными заголовками, свежий выпуск газеты. Ее название — «Сегунда», и она входит в состав могущественной чилийской газетной корпорации «Меркурио». «Сегунда», без сомнения,— самый оголтелый и агрессивный орган печати фашистского режима Пиночета. Это она неустанно подстрекает к новым репрессиям, грубо и откровенно оправдывает любые преступления, денно и нощно выискивает и травит «ставленников коммунизма», требуя беспощадного их преследования, задержания и высылки из страны.

В начале марта этого года «Сегунда» обрушила свой гнев на театральную постановку, которая шла на крохотных, наспех сколоченных подмостках цирка-шапито в одном из столичных кварталов — Провиденсия. Фашистская газета назвала спектакль «самым безответственным и наглым преступлением против революции 11 сентября [1] и всех тех, кто огромным усилием вырвал страну из когтей марксизма»...

Что же случилось в действительности? Два молодых чилийских режиссера — Хосе Мануэль Сальседо и Хайме Ваделл,— взяв за основу последние стихотворения Никанора Парры [2], создали интересный трагикомический фарс и озаглавили его «Страницы из Парры» [3]. Получилась пьеса, способная рождать у зрителя то смех, то слезы, то возмущение, то умиление, а временами — все эти эмоции разом. Иностранец, плохо знакомый с действительностью Чили, пожалуй, счел бы этот спектакль сюрреалистической «грезой», выражением крайнего авторского субъективизма, южноамериканской ветвью на древе «театра абсурда». У чилийцев же он вызвал совершенно иное впечатление. Каждое событие — как правило, довольно необычное,— каждый персонаж, каждая фраза, каждый жест

[1] Так чилийские фашисты именуют совершенный ими в сентябре 1973 г. государственный переворот. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Никанор Парра (род. в 1914 г.) — современный чилийский поэт.

[3] В оригинале игра слов: по-испански «Hojas de parra» означает также «фиговые листки».

имели точный, абсолютно реальный смысл. Возможно, потому, что жизнь в Чили на четвертом году «пиночетовской эры» порой приобретает характер мрачного сюрреалистического фарса.

«Страницы из Парры», благодаря отважной режиссуре Сальседо и Ваделла, предстают перед зрителями как рассказ о злоключениях нищего цирка, обосновавшегося на пустыре по соседству с кладбищем. За перипетиями сюжета постепенно выстраивается щемящая, полная скрытого трагизма, основная тема — на цирк (точнее, на сцену) неотвратимо наползает кладбище. Цирковое представление заканчивается среди крестов и могил...

Главные персонажи — акробат на трапеции и эквилибрист — предлагают свои услуги в качестве агитаторов кандидату в президенты по имени Никто. Цирковой импресарио, клоуны и крикливо одетые женщины, встав лицом к публике, скандируют предвыборные пропагандистские лозунги:

«Никто разрешит наши экономические проблемы!»

«Никто позаботится о правах человека!»

«Никто защитит нас!»

Один из персонажей неожиданно выкрикивает:

«Кто способен отдать за нас жизнь?»

Вслед за краткой паузой хор еле слышно отвечает:

«Никто!»

В центре подмостков просит милостыню человек в лохмотьях. Внезапно он падает, прошитый пулями, — по сцене в едином ритме маршируют люди в штатском. Во время своего по-театральному долгого падения нищий забрызгивает публику кровью.

Спектакль композиционно неоднороден, есть в нем эпизод, в котором участники чтят память замечательной народной певицы Виолеты Парры и крупнейших чилийских поэтов. Эпизод этот авторы спектакля облекли в традиционную форму манифестации, посвященной героям, павшим в борьбе за народное дело. Один из актеров выкрикивает имя поэта:

— Виктор Доминго Сильва! [1]

— С нами! — дружно отвечают остальные.

— Габриэла Мистраль! [2]

— С нами!

Потом раздается:

— Тот, кого все знают!

— С нами!

Это «с нами» подхватывает весь зал, и долго не смолкают овации в честь Пабло Неруды.

Спектакль изобилует намеками на тяжелое экономическое положение и другие проблемы сегодняшней общественно-политической жизни Чили. Действие достигает кульминации в тот момент, когда вся сцена усеивается крестами и могилами. Импресарио громко выражает охватывающее актеров и зрителей чувство:

— Нет, нет! Мы не можем больше продолжать в этом цирке, набитом мертвецами и кривляющимися паяцами!

Пока гаснут огни рампы, актер от имени автора заявляет, что искать ответа в прошлом и настоящем бесполезно. «Единственное, что нам остается,— это будущее».

Луч света выхватывает из мрака на сцене женщин, голосящих над могилами близких, длинноволосого юношу, произносящего пылкую речь, мужчину, который сосредоточенно, не отрывая взгляда от могилы, упражняет мускулы гимнастикой...

Понятно беспокойство фашистской газеты «Сегунда». Ее подстрекательские призывы покончить с «театральным скандалом» возымели действие. Два дня спустя в театр явился чиновник — инспектор службы здравоохранения — и приказал опечатать помещение, поскольку оно якобы не отвечает санитарным требованиям и нормам пожарной безопасности.

Запрет продлился несколько дней. Однако самоотверженные организаторы спектакля, при самой непосредственной поддержке зрителей, сумели улучшить санитарное состояние зала и раздобыть нужное количество огнетушителей.

Спектакли возобновились, но всего на три дня. Ночью, во время комендантского часа, когда по городу разрешено передвигаться лишь военным патрулям да машинам секретной полиции ДИНА, шапито, где шли «Страницы из Парры», сгорел. Стены цирка, грубо сколоченные скамьи, деревянные подмостки, рампа превратились в груду пепла. Быстро проведенное дознание позволило установить,

[1] Виктор Доминго Сильва — видный чилийский поэт, драматург, журналист и общественный деятель.

[2] Габриэла Мистраль (1889—1957) — выдающаяся чилийская поэтесса и общественная деятельница, дипломат.

что это не был случайный пожар. Зал облили бензином и подожгли налетчики. Акция была приписана «неизвестным лицам».

...и одного поэта

Для многих чилийцев, и не только чилийцев, явилось неожиданностью, что театральная постановка, созданная по мотивам стихов Никанора Парры, несет в себе заряд протеста, критики фашистского режима. Ведь никто не забыл, какое низкопоклонство перед диктатурой этот маститый поэт и профессор математики выказал сразу же вслед за военным переворотом. Не забылось и то, с каким удовлетворением принял он из рук «ректора» — военного, посланного на усмирение Университета Чили,— пост декана. И это в то время, как тысячи студентов и сотни преподавателей изгнаны из университетских стен, арестованы, подвергнуты пыткам и даже убиты!

В книге «Зеленая черепица», представляющей собой дневник пребывания в пиночетовском концлагере, чилийский писатель Эрнан Вальдес так описывает падение Никанора Парры: «...поэт П., возможно, в ответ на мелкие обиды, полученные им вместо ожидаемых почестей при правительстве Альенде... теперь запятнал себя согласием возглавить один из факультетов захваченного хунтой Университета Чили и заняться его «чисткой от экстремистских элементов». Однако П. этим не удовольствовался. Самореклама его начала принимать гротескные формы — с ведома П. в прессе появилась фотография: на ней поэт поглощает мороженое в компании одного из усмирителей студентов. Более того, П. решил стать антигероем антиистории [1]: он отправил в газету «Меркурио» стихи, в которых высмеивал последний бой Альенде и обстоятельства его «самоубийства». Похоже, газета решила не публиковать их из уважения к престижу, которым некогда пользовался этот поэт» [2].

Позиция Никанора Парры, интеллектуального сноба и скептика-анархиста, в то время — в 1973 и 1974 годах — стала логическим завершением, закономерным итогом его безмерного самолюбования и карьеризма. Черты эти все отчетливее проявлялись в его поступках и творчестве последних лет. Отход Парры от левых сил, с которыми его связывали, правда, узы скорее сентиментальные, отход от идеалов кубинской революции, известные антисоветские заявления были также и плодом тонко рассчитанного маневра. Дело в том, что кое-кто из литературных критиков, придерживавшихся реакционных, но тщательно завуалированных позиций, сумел вскружить поэту голову неумеренными похвалами, играя на его слабостях, поощряя несбывшиеся мелкобуржуазные мечты о салонном успехе, блестящих вояжах и... деньгах. Важную роль в этой «операции» сыграли агенты созданного североамериканским империализмом и хорошо отлаженного механизма — в его цели входило привлечь к себе, обратить в свою веру или уж, по крайней мере, обезвредить и нейтрализовать особо одаренных и признанных деятелей науки и искусства в странах так называемого «третьего мира»...

Теперь Никанор Парра, очевидно, идет на попятную. Конечно, не в смысле своего анархистского индивидуализма, а в том, что касается его кратковременного идиллического романа с фашизмом. Да он и не мог далеко уйти по этой дорожке, не рискуя поплатиться саморазрушением.

Метания Парры довольно типичны для тех представителей средних классов Чили, которые поначалу поддерживали военно-фашистский режим, поддавшись — отчасти под влиянием демагогической пропаганды — паническому страху перед революцией и социализмом. Подобно другим представителям этих классов, Никанор Парра пытается ныне «реабилитироваться», высказываясь против террора, беспощадной эксплуатации народа, удушения культуры, духовного и нравственного убожества — против всего, что нес и несет с собой фашизм в Чили, да и повсюду.

Нужно заметить, что протест этот горький, безнадежный и мрачный — такими выглядят стихи Парры на бумаге. Но случилось невероятное — те же самые слова, преобразованные сценическим действием, будто вобрали в себя взрывчатый социальный контекст сегодняшнего Чили, обретая в устах актеров революционный смысл. Обращение к тому, «кого все знают», производившее в стихах впечатление сардонической гримасы, в театре прозвучало как боевой клич. Скорбная литания «Никто нас защитит... Никто способен отдать за нас жизнь...» обернулась по закону диалектики своей противоположностью — и зрители (на девяносто процентов — молодежь) в едином порыве рванулись с мест, вновь ощутив в себе готовность бороться против режима угнетения.

Вот почему по-своему, так сказать по фашистской логике, «Сегунда» и поджигатели из ДИНА оказались правы: это «вопиющий спектакль». И пиночетовцам он явно не по вкусу.

---

[1] Как известно, один из сборников произведений Н. Парры назывался «Антистихи».

[2] Hernán Valdés. Tejas verdes. Bercelona, 1974, pp. 95—96.

Можно было бы предположить, что столь печальный финал послужит поводом для отчаяния: в конечном счете смельчакам заткнули рот. Ничуть не бывало. Пусть удалось заставить замолчать — на время — один голос, запретить одну постановку, но опыт борьбы, вечно живые культурные традиции Чили дают новые побеги — ежедневно, ежечасно, во всех уголках страны, в сотнях и тысячах душ.

Экономический кризис тяжело ударил по коммерческой киносети. В Сантьяго закрылись двери более чем половины кинозалов. Театр, однако, выжил: продолжают функционировать небольшие помещения, и кое-что из того, что в них идет (классические произведения, некоторые комедии), в большей или меньшей степени содержит призыв к свободе. Большой успех выпал на долю пьесы «Педро, Хуан и Диего», явившейся плодом коллективного труда и поставленной театром «Иктус». И в этом спектакле есть прямые и откровенные намеки на современную действительность, хотя они и не переходят в крик, как в «Страницах из Парры».

В разных провинциях вокруг нелегально существующих профсоюзных ячеек, в жилых кварталах рождаются художественные, культурные и спортивные группы, с успехом возмещающие недостаток средств фантазией и энтузиазмом.

Суровая фашистская цензура, усилившаяся после недавнего декрета «командующего зоной чрезвычайного положения» провинции Сантьяго, в высшей степени затрудняет всякую издательскую деятельность. Писателям, создающим романы или повести, где находит отражение нынешняя чилийская действительность — с ее вопиющим попранием прав человека, прав деятеля культуры,— приходится прятать свои рукописи и набираться терпения. Голоса поэтов, напротив, слышны. В высших и средних учебных заведениях, на заводах и фабриках, в поселках бедноты из рук в руки переходят небольшие брошюры и листовки, напечатанные на мимеографе или просто на пишущей машинке. В них звучат слова борьбы, единства, обличенья; они поддерживают в людях память о павших и пламя ненависти к диктаторскому режиму. Подпольно издаются стихотворения, написанные политзаключенными или поэтами, которые пока еще на свободе.

Вопреки притеснениям фашизма живет и изобразительное искусство, в особенности народные художественные промыслы. Кажется, жены политзаключенных первыми взялись за изготовление «арпильер» — ковриков из грубого холста, расшитых разноцветной шерстью. Это давняя народная традиция. Вспомним знаменитые, изумительные ковры Виолеты Парры. На Исла Негра, где жил Пабло Неруда, существовала целая колония ковровщиц, которую поэт помог открыть и поддерживал; подлинное признание и почет пришли к ним при правительстве Сальвадора Альенде.

Сегодня сотни, а может быть и тысячи, женщин выражают таким способом свои мысли и чувства: в то же время, изготовляя эти уникальные изделия, они поддерживают существование своих семей. Несколько образцов этого неповторимого искусства привез из Чили Луис Корвалан. Коврики эти — как бы хроника народной жизни. Мы видим на них женщин с ведрами в очереди за водой, перед единственной на весь квартал колонкой; босоногих мальчишек за тарелкой супа в «братской столовой» при католической церкви; военный вертолет в темно-синем небе, что-то высматривающий желтыми глазищами.

Несмотря на официальный запрет, возникают «мастерские» прозаиков, поэтов, живописцев, скульпторов, графиков. Иногда в них объединяются представители сразу нескольких видов искусства. Организуются центры, где читают вслух свои произведения те, кто не имеет возможности их опубликовать. Здесь они могут услышать критические отзывы о собственном творчестве. Здесь же зрелые художники обучают новичков технике гравюры и живописи.

Не умерла и народная песня. Начало движению «новой чилийской песни» положила Виолета Парра (скончавшаяся в 1967 году). В свое время немало сделали для ее расцвета композиторы и певцы Виктор Хара, Анхель Парра, ансамбли «Килапаюн», «Инти-Ильимани», «Апаркоа». И сегодня это движение продолжает жить, шириться, приносить свои плоды. Его участники черпают мотивы и образы в народном творчестве, смело включают в репертуар фольклорные элементы различных районов Чили и других стран Латинской Америки. Народная песня, бесконечно емкая, легко находящая путь к сердцам слушателей, стала наиболее ярким явлением антифашистской культуры Чили.

Культура, не признаваемая официально, преследуемая. И при всем при том — культура широкого общественного звучания, народная, боевая, ее не загонишь в подполье. Точнее, культура, борющаяся за право существовать при свете дня. Она не имеет ничего общего с искусством катакомб, хотя некоторые ее образцы — отнюдь не для глаз и ушей полиции.

Вот, пожалуй, то новое явление, которое достаточно характеризует нынешнюю ситуацию в Чили. Протест против диктатуры приобрел всеобщий характер. Хунте и тем, кто за ней стоит, не под силу справиться с этим всенародным недовольством. ДИНА продолжает арестовывать мужчин и женщин, которые затем бесследно исчезают. В засекреченных центрах сотни патриотов по-прежнему под-

вергаются варварским пыткам, в то время как их родные понапрасну стучатся в двери разных министерств и ведомств, пытаясь хоть что-то узнать о судьбе узников. Продолжает действовать комендантский час; под его прикрытием лица в штатском врываются в дома, хватают людей, совершают налеты, подобные тому, во время которого был превращен в пепел цирк-шапито или, скажем, картинная галерея Паулины Во. По берегам рек, на безлюдных пляжах находят изуродованные трупы с несомненными следами пыток, с обезображенными лицами и отрезанными пальцами, чтобы по их отпечаткам нельзя было опознать убитого.

Но и это не помогает. Энергичные выступления прогрессивной общественности мира в защиту чилийских патриотов вынуждают хунту лавировать. Острие топора фашистского террора притупляется. Да и в самой стране растет сеть самых различных демократических организаций — их вдохновляет воля к сопротивлению и решимость нашего политического авангарда, который, несмотря на все потери, сумел уберечь руководящие звенья. Организации эти доказали свою жизнеспособность и умение находить все новые формы борьбы, одолеть которую фашизм не в состоянии. Диктатура сохраняет свое военное могущество, огромный полицейский аппарат, свою варварскую, палаческую сущность, но все больше утрачивает свою власть — власть страха. Даже террором ей уже не добиться прежнего оцепенения.

Протест, глухой или явный, стремление к сопротивлению, борьба, в которой раньше участвовали лишь рабочий класс и самые организованные слои крестьянства, ныне становятся позицией огромного большинства населения.

Художники, писатели, деятели культуры Чили вносят в этот процесс свой неоценимый вклад. В сознании каждого чилийца зарождается, крепнет и обретает реальные очертания идея широкого антифашистского фронта, который отвоюет для Чили демократические свободы, права человека и возможность вновь пойти дорогой социально-демократических преобразований, начатых правительством Народного единства во главе с Сальвадором Альенде.

Перевод с испанского Т. КОРОБКИНОЙ

◆

Мартин Вальзер

Д. ЗАТОНСКИЙ

МАРТИН ВАЛЬЗЕР. ШТРИХИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПОРТРЕТА

На сцене слева гигантских размеров пианино, рядом с которым настоящий автомобиль (марки «порш», кажется) выглядит игрушечным. Правее автомобиля, у задника — огромный диван, а над ним — такое же зеркало (время от времени актеры, прыгая по выступам, взбираются на спинку дивана, к самому зеркалу, и застывают на мгновение, будто пораженные видом собственных фигур). Далее — колоссальный стол и кресла.

Все это напоминает привычные декорации к балету «Щелкунчик», но цель другая. Не атмосфера сказки — героической, сентиментально-грациозной, вопреки мышиному королю,— а образ самой действительности: человек обескуражен, обманут, подавлен, отчужден вещами, навязываемыми ему «обществом потребления».

Такой увидел я в апреле 1971 года на премьере в Штутгарте пьесу Мартина Вальзера «Детская игра», пьесу о молодежи, которая бунтует, толком не зная, как и против кого, о капиталистической эксплуатации, о больном обществе, которому настоятельно требуются политические и социальные перемены.

Зал был полон. В основном собратья по перу, театральные деятели, театральные критики, так называемая окололитературная публика. Происходившее на сцене порой казалось им вызовом. И настороженный интерес сменялся открытым раздражением. Слышался нарочитый кашель, изредка даже саркастические возгласы или натужный,

«сатанинский» смех. Когда опустился занавес, раздались аплодисменты; но появление автора кое-кем было встречено криками «Бу!», выражающими в немецких театрах неодобрение. И это дало повод газетам, откликнувшимся на премьеру, говорить об успехе постановки, но не пьесы: аплодисменты относились якобы только к актерам, «бу» — касалось драматурга.

В ФРГ стало уже почти привычкой встречать каждую новую вещь Вальзера не то чтобы в штыки, а так — скорее легким вздохом разочарования, иронически-грустным пожатием плеч: как жаль, дескать, что этот очень, очень способный молодой человек, на которого все мы возлагаем столь большие надежды, опять не дотянул до уровня своего воистину импонирующего таланта... «Молодому человеку» исполнилось уже пятьдесят; он издал шесть романов, два сборника рассказов, немало пьес, эссе, публицистических работ и взошел на западногерманском литературном горизонте в качестве одной из признанных звезд. Но так вести себя с Вальзером — и отдавая ему должное, и одновременно как бы не принимая всерьез — удобнее, спокойнее, что ли.

«Когда эту новорожденную книгу вкладывали мне в руки — очень осторожно, с внушающими чуть ли не религиозный трепет комментариями,— клен еще стоял в полном своем наряде. Птицы еще не склевали ягоды на рябине, и каштаны лишь начинали желтеть. Сегодня, когда она прочитана, деревья стоят голые, а между кустами скапливается мертвая листва. Я с трудом одолел почти девятьсот страниц. Ибо то и дело терял нить повествования, позволяя увлечь себя мрачноватым шуткам автора, которому вся история в целом, казалось, не доставляла ни малейшей радости»,— так начал критик Ф. Зибург рецензию на вальзеровский роман «Половина игры» (1960).

Выходит, роман этот беспомощный, плохой? С точки зрения Зибурга, действительно в некотором роде беспомощный: громоздкий, многословный, в чем-то несообразный, внутренне непропорциональный, как «дохлый слон на тележке» (таково название рецензии). Но не плохой, не бесталанный. По той простой причине, что его автор «владеет языком лучше всех писателей своего поколения», что «человек этот — гений немецкого языка».

Старая рецензия Зибурга — своего рода эталон, модель той, я бы сказал, оценочной терапии, которая применяется к Вальзеру. Кто, не видя в глаза «Половины игры», познакомится с книгой только через такую рецензию, вправе подумать, будто речь идет о произведении новомодном, экспериментальном, может быть, даже формалистическом. И что вообще все вальзеровские проблемы ничего не стоят вне пределов литературного языка. Но ведь именно Вальзер (правда, не в 1960, а в 1973 году) сказал в статье «Как и о чем рассказывает литература», что «художественная деятельность сама по себе в высшей степени социальна; она — выражение ситуации классов». И осудил с этой позиции формалистическое экспериментаторство: «Авангардистом нарекает себя по большей части писатель аполитичный, чуждый тенденции, то есть тот, кто, сам этого не замечая, выступает на стороне существующего порядка; иначе говоря, авангардист — это консерватор».

Скорый на выводы читатель, возможно, решит, что все здесь ясно: отношение к Вальзеру — форма замалчивания, способ обезвреживания прогрессивного художника. Тем более, кто такой Зибург? Ведь это о нем писал Эренбург: «Я еще был в оккупированном Париже, когда туда вместе с Абецем приехал Зибург — ему было поручено присматривать за французскими журналистами».

В отношении Зибурга — все верно. А вот ситуация вокруг Вальзера не так однозначна, как могло бы показаться. Он — яркая, не укладывающаяся в «программу» индивидуальность; его путь — достаточно противоречив, необычен и в то же время знаменателен. Ибо в нем преломляются некоторые судьбы страны и особенности ее литературы.

Ожидалось, что крушение нацистского режима дарует чувство свободы. Однако оно породило и духовный вакуум. Ибо не было в западных зонах поверженной Германии общезначимой идеи, на которую чувство свободы могло бы опереться. Спору нет, вверх дном перевернутая жизнь — ситуация благоприятная для становления жизни новой. Однако ситуация эта способна стать мучительной, если ни один из проектов будущего не реализуется, тем более, если такого проекта не существует вовсе. В Бонне же, Мюнхене или Дюссельдорфе те, кто обладал властью, заботились не об обновлении, а о реставрации — возрождении «старых», «добрых» веймарских порядков. Тех самых, из несовершенства которых, в частности, вырос Гитлер.

Что же до духовного вакуума, то его пытались заполнить вещами, выдавая материальное благополучие за самоцель, идеал, фундамент свободы. Обывателя такая подмена либо удовлетворила, либо он вообще не заметил обмана. А левые интеллигенты — и в первую очередь писатели, деятели кино и театра — осознали себя обманутыми трижды и четырежды. Гнев и резиньяция, разочарование и надежды, чувство личной ответственности и прощение ко всему недоверие, ощущение, будто все можно, но не ясно, что должно,— все это, взятое разом, определяло их художественный поиск.

В ФРГ возникла литература социально заинтересованная, политически ангажированная, остро критическая, даже беспощадная к порокам господствующего строя. Однако, как правило, ей нечего было предложить взамен, кроме неуверенного реформизма или ни к чему не обязывающего свода левацких лозунгов. Сверх того, тоска по нереализованной свободе нередко вовлекала литературу эту в игру с формой.

В специфических условиях страны именно разоблачительный пафос оборачивал писателей лицом к преступному, постыдному

«непреодоленному прошлому», существующему посреди настоящего, в неразрывном с ним сращении. И то, что прошлое это никак не поддавалось преодолению, настраивало не только на боевой лад. Парадоксальным образом непримиримость сочеталась с насмешкой над собственным пристрастием к сражению с ветряными мельницами. И одних это постепенно приручало, а других, напротив, вновь и вновь побуждало искать решение, при котором активность не совпадала бы с донкихотством.

Вальзер не чужд всей этой двойственности. А все-таки он прежде всего из других, из ищущих. И даже среди них отличается смелостью, бескомпромиссностью. Ведь он решительнее многих своих собратьев шел на сближение с самым передовым мировоззрением эпохи.

Впрочем, и тут требуется оговорка. Опыт предшествующих десятилетий германской истории (включая и текущую историю ФРГ) внушал писателям особый страх перед приспособленчеством и приспособленцами. Однако, глядясь в кривое зеркало боннской государственности, писатели порою начинали путать приобщение к идее с приспособлением к ней. В этом смысле Вальзер не слишком отличается от литературных сотоварищей: сблизившись с коммунистами, он озабочен тем, чтобы не слиться с движением, как бы отстоять свою собственную, индивидуальную, порой расходящуюся с «линией» позицию. Это, как правило, не распространяется на принципиальные вопросы политической стратегии, а касается скорее нюансов тактики, будто специально для того существующих, чтобы оттенить черты вальзеровского интеллигентского индивидуализма.

Он — «сам по себе». Это сказывается и на внешности, и на характере. Худощавое, интересное, симпатичное лицо в очках, совсем молодое в обрамлении седеющих волос. Одет в голубую, даже не джинсовую, а скорее брезентовую куртку и брюки с пузырями на коленях. Тяжелые запыленные башмаки, на две пуговицы расстегнутый ворот рубахи. Таким он запомнился мне в Штутгарте, перед премьерой. Незадолго до нашего приезда Вальзеру предстояло встретиться с какой-то ему незнакомой и его в лицо не знающей женщиной. Местом встречи было фойе. Как потом выяснилось, женщина не подошла, приняв его за рабочего сцены. Он рассказывал об этом не без удовольствия, а я подумал, что дама не оказалась проницательной: лицо все же должно было его выдать.

Костюм он не сменил и когда выходил к публике после спектакля, и после, в каком-то трактире, где тесно уселись за круглым столом десятка полтора друзей и почитателей.

Вальзеру никак не хотелось идти спать. Поэтому после закрытия трактира мы еще посидели за бутылкой мозельского в большом полутемном зале заседаний гостиницы «Унгер», где остановились виновник торжества и его жена. Разумеется, в самом узком кругу. Я вступил в него на правах уж очень издалека прибывшего гостя. Но была там еще одна особа, в связи с которой я об этом и рассказываю: случайно присоединившаяся по дороге некрасивая, тощенькая, длинноносая девица в фуражечке, с белесыми, немытыми, прямыми космами и покрасневшим, распухшим от сильного насморка носом. Девица в то время нигде не работала, даже нигде постоянно не жила, но случайно у нее появились какие-то деньги, и она собралась в Испанию, поваляться на солнце (может статься, идея, подсказанная хроническим насморком). Одним словом, духовно больное дитя духовно больного общества — одно из тех, что несколько часов назад прыгали на сцене по выступам огромного дивана. И Вальзер не только изобразил ее, он принял ее в свою компанию, не высказывая при этом ни подчеркнутого внимания, ни открытого пренебрежения. И я понял: голубая роба — все-таки не просто униформа, приличествующая роли нонконформистского левого интеллигента. Вальзер, естественно, по натуре демократичен. И в самом изломанном жизнью существе способен уважать человека.

Надо думать, именно этим он завоевал доверие Урсулы Трауберг, современной Моль Флендерс[1], чья исповедь вышла в 1969 году с его послесловием. Собственно, Вальзер сначала сам хотел описать ее историю но «Урсула Трауберг,— признается он,— лучше пересказала двадцать четыре года своей жизни, чем это мог бы сделать любой профессионал».

Такое, легко уживающееся с неким формальным изыском, расположение к простоте, безыскусности, документальности — один из довольно распространенных парадоксов литературы ФРГ.

Да и в некоторых других отношениях Вальзер — вопреки своей неординарности, а может, и благодаря ей — для литературы этой характерен. Он не только ничего не написал до 1945 года, но и ничего (по молодости лет) не совершил. Он — из «поколения сыновей». То, что он не несет прямой ответственности за содеянное нацистами, не делает его ненависть к ним менее жгучей, менее личной, даже менее болезненной Однако это ненависть особая, именно ненависть «сына», пришедшего позже и потому не имевшего уже возможности вмешаться в причины, но полностью расплачивающегося за следствия. Такова проблематика его пьесы «Черный лебедь» (1964). А вот в его прозе (в отличие от прозы Бёля, Шаллюка, Андерша) темы из жизни новейшего «общества потребления» всегда преобладали над темами «непреодоленного прошлого». Опять-таки потому, что Вальзер — моложе.

И еще один момент оттеняет принадлежность этого писателя к литературе ФРГ: его волнуют вопросы, связанные с бытием всей

[1] Героиня известного романа Даниеля Дефо.

Д. ЗАТОНСКИЙ
МАРТИН ВАЛЬЗЕР.
ШТРИХИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПОРТРЕТА

страны, континента, мира; но он и в достаточной мере «регионален», «провинциален». На запад от Эльбы это типично: ведь там уже добрых три десятка лет не существует духовной столицы, единого культурного центра.

Вальзер родился 24 марта 1927 года в Вассербурге, на берегу Боденского озера. Отец его был трактирщиком, коренным — с деда-прадеда — жителем этих пограничных с Швейцарией мест. Лесистый и гористый, аграрный и патриархальный немецкий юг оказал на творчество писателя немалое влияние — он сам засвидетельствовал это в эссе «Краеведение» (1967). Вальзер и сегодня живет на берегу Боденского озера, в окрестностях Фридрихсхафена, в просторном, двухэтажном, не роскошно, но тщательно, со вкусом обставленном доме (который все же вступает в некое внешнее противоречие с брезентовой курткой и грубыми башмаками). Как и приличествует провинциалу, у него четверо детей. Многие его герои столь же провинциальны и столь же многодетны, и действие изображающих их книг не простирается севернее Штутгарта. Да и учился Вальзер на юге, в швабском Тюбингене, у профессора Фридриха Байснера, специалиста по Кафке.

Трудно сказать, что было здесь «курицей», а что «яйцом», то есть Байснер ли увлек Вальзера Кафкой или Вальзер пришел именно к Байснеру, потому что заинтересовался Кафкой. Как бы там ни было, Вальзер не только в качестве исследователя формы кафковского творчества, но и в качестве писателя на первых порах подражал автору «Приговора» и «Превращения».

Работать для газет, журналов, радио он начал еще будучи студентом. Однако литературный успех принесла ему тоненькая книжечка рассказов, озаглавленная — по первому из них — «Самолет над домом и другие истории» (1955). Рецензенты поспешили объявить автора учеником или даже, еще грубее, «эпигоном» Кафки. Сходство порой и правда разительное. Оно прежде всего в самой атмосфере рассказов — напряженной, угрожающей и в то же время какой-то странной, мглистой, многозначной и многозначительной. Есть сходство и в манере повествования: непонятное невероятное, из ряда вон выходящее подается как обыденное, само собой разумеющееся, иногда даже скучное; язык прост, точен, подчеркнуто неэмоционален, отдает бюрократической сухостью, приправлен канцеляризмами. «На фантастичнейшие картины ложится,— по удачному выражению критика В. Гайса,— искусственно созданная архивная пыль».

Наиболее близок Кафке заглавный рассказ сборника. Это, собственно, даже и не рассказ, а так — фрагмент, некое происшествие без истинного начала и существенного конца, преломляющий, искажающе-гротескный осколок жизни, осколок с острыми, рваными краями. Некий молодой человек приглашен в незнакомое семейство на именины дочери. Столы накрыты в саду. Родители удалились в дом, предоставив молодежь самой себе. И герой со страхом замечает, что юноши оказались в полной власти у девиц, более того, вот-вот превратятся в объект неприкрытого насилия. «Если бы подружки нас вдруг схватили, связали, поволокли к стене и там принялись казнить с помощью кинжалов или мясницких топоров, я бы не слишком изумился»,— сообщает он. В поисках помощи герой оборачивается в сторону дома и застывает в ужасе: «Двери и окна были теперь закрыты, железные жалюзи спущены, вилла выглядела так, будто ее владельцы либо вымерли, либо отправились в кругосветное путешествие. Лишь на чердачном этаже из окна мансарды подавал знаки какой-то человек. Очень старый человек, лет ста, наверное». Старик оказался дядей именинницы. Он спустился в сад и непонятно почему принялся умолять молодых людей не трогать девушек. И тут роли как назло действительно переменились: агрессивными стали юноши. Тень и шум самолета над домом (очевидно, символ военной угрозы, да и всякой агрессии вообще) послужил им сигналом к полному захвату власти.

Именно неопределенность, многозначность изображаемого зла делает этот рассказ столь кафкианским.

Но вот что любопытно: через девять лет после первого сборника — уже создав романы «Браки в Филиппсбурге» (1957) и «Половина игры» — Вальзер выпустил в свет еще один сборник коротких рассказов. Называется он «Лживые истории». Подражания Кафке нет уже и в помине, однако вещи, здесь собранные, по-прежнему странны. Обыденное происшествие вырывается из причинно-следственного ряда, лишается правдоподобия, доводится до абсурда, до состояния почти взрывчатого.

Взять хотя бы новеллу «Неслыханная возможность». Живя прежде в Гёттингене, некто заводил знакомства как придется. И когда его знакомые перезнакомились между собой, оказалось, что они друг другу совсем не подходят. Возникло столько осложнений, что пришлось спасаться бегством — благо подвернулась очередная война. Герой поселился в Штутгарте и начал подбирать знакомых сознательно, с оглядкой. Поскольку в этом деле требовался единый критерий, он решил исходить из того, подошел бы или нет новый знакомый его теперешнему шефу — человеку, мягко выражаясь, весьма консервативных взглядов. Подбираемым по чужой мерке знакомым не нравилась то профессия, то какая-нибудь привычка героя или черта его характера. И тому приходилось каждый раз выдавать себя за кого-то другого. Так что свести своих знакомых вместе он не мог — опасался, что откроются «невинные обманы». В довершение всего выяснилось, что эти люди не только подходят шефу, а и являются приятелями последнего. И герою снова приходится бежать, воспользовавшись замешательством по причине следующей войны. Теперь он квартирует у престарелой фрейлейн Хольц, которая пытается превратить его в своего исчезнувшего сына и пол-

ностью подчинить себе. Но жилец бунтует...

Эта, с юмором рассказанная, история в сущности довольно серьезна. И главное — по-своему достоверна. Причем дело даже не в «реалиях» (война в Корее, Гёттинген, Штуттарт и прочее), а в реальности западногерманской, европейской действительности, проглядывающей сквозь шутливый, маловероятный сюжет. Человек посреди этой действительности не может оставаться самим собой. Он от себя отчуждается. Вынужден надевать маски, играть роли, ловчить и лавировать. И все-таки не в состоянии установить равновесие между «я» и миром.

То, что Вальзер в своих рассказах строит социальные модели (или, если угодно, некие каркасы бытия), определяет и их характер, манеру, стиль. Романы этого писателя нередко длинны, громоздки, а рассказы — коротки. И не только коротки, а и внутренне, так сказать, экономны.

Правда, это вовсе не значит, будто Вальзер, пишущий новеллы, ничем не похож на Вальзера-романиста. Напротив, перед нами художник в чем-то очень цельный и последовательный, верный себе. Как и романы, рассказы его отличает ироническая игра словом, совершенное им владение, порождающее яркую образность. Хотя вальзеровские рассказы коротки, они не в меньшей мере, чем колоссальные вальзеровские романы, отмечены своеобразным пренебрежением к архитектонической симметрии, композиционной завершенности. Скажем, рассказ «Неслыханная возможность» — тоже своего рода «дохлый слон на ручной тележке». Линия, связанная с престарелой фрейлейн Хольц, вторгается в тело истории о знакомых героя, как бы повисает на ней, заставляя весь сюжет скособочиться.

Начинался Вальзер как художник, работающий с нетрадиционными, провоцирующими формами, и так же продолжался в «Лживых историях», в «Половине игры». Но в промежутке (через два года после сборника «Самолет над домом») он опубликовал первый роман, сделанный в иной, можно сказать бальзаковской, манере.

Бальзак видел свою писательскую миссию в том, чтобы дать разрез через в е с ь сложный организм эпохи Реставрации, провести по в с е м кругам ее ада. Естественно, что на этом пестром гобелене значительное место отводилось сценам из жизни верхов. Современные же писатели Запада предпочтительно изображают тех, кого принято именовать людьми «маленькими»: мастеровых, домохозяек, скромных служащих, неудачливых интеллигентов. Что такой герой вытесняет с авансцены «великих мира сего», по-своему симптоматично. И все же — поскольку «великие мира сего» пока еще существуют — вряд ли стоит вовсе отказываться от прямого их изображения: ведь закулисный источник зла всегда кажется более иррациональным, более неизбывным.

«Браки в Филиппсбурге» — в отличие от большинства романов Бёля, Ленца, Шаллюка, Носсака, Андерша — это критический реализм именно в бальзаковском значении слова. Вальзер попытался дать разрез через западногерманскую действительность. И даже композиционный прием, которым он для этого воспользовался, заставляет вспомнить о Бальзаке. Растиньяк в «Отце Горио», будучи кузеном виконтессы де Босеан, принят в высшем свете; но он беден и живет в пансионе Воке, рядом с неимущими студентами, разорившимися негоциантами и переодетыми разбойниками. То же и вальзеровский Гапс Бойман: он учился с девицей Фолькман в университете, и его приглашают на устраиваемые мамашей Фолькман «parties», где собираются «сливки общества»; но он внебрачный сын служанки и вынужден квартировать у семейства Фербер, среди простого люда. Как и Бальзак, Вальзер получает возможность нарисовать верхи и низы, изобразить отношения между ними.

Бойман не появляется на страницах романа вполне сложившимся — до положения зятя электротехнического магната и места шефа службы печати Союза промышленников поначалу еще довольно далеко. И герою присуща некая провинциальная наивность, угловатость, потешающая бывалых девиц из секретариата главного редактора «Вельтшау». Но автор умеет использовать и ее. Филиппсбург («образцовый» западногерманский город, реальным прототипом которого был, надо думать, Штутгарт) открывает остраняющему взгляду «простодушного» многие из своих скрытых пороков.

Борьба честолюбий и амбиций, столкновение замаскированных интересов, в конечном счете сходящихся к интересам денежным, демагогическое лицедейство — вот что наблюдает Бойман на фолькмановском горизонте романа.

И те, что «внизу», у Вальзера некоторым образом повторяют муравьиную суетность верхов: то же взаимное недоброжелательство, то же невежество, тот же слепой эгоцентризм. Писатель не берет народ, а только мещанство, высвечивая его с не меньшей долей саркастической злости.

Как и всюду, Вальзера не беспокоят проблемы архитектоники. В данном случае то, что роман превращается в ряд рассказов о супружеских и любовных парах с боймановским, так сказать, обрамлением. Да еще внутри последнего, как матрешка в матрешке, сидит история нонконформиста Клаффа — полной противоположности главному герою.

«Браки в Филиппсбурге» занимают в некотором роде промежуточное положение. Это — еще «маленький роман», и слог его, как и в рассказах, довольно афористичен, а герои представлены от третьего лица и, следовательно, без утомившей Зибурга психологической детализации. В то же время мир подан уже из их индивидуальной перспективы. И потому он не описывается — но и не трансформируется «сюрреалистически»...

Д. ЗАТОНСКИЙ
МАРТИН ВАЛЬЗЕР
ШТРИХИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПОРТРЕТА

«Половина игры» — книга, вероятно, центральная в творчестве Вальзера — не только много длиннее, она и много сложнее. Впрочем, сюжет ее довольно прост. Ансельм Кристляйн — мужчина средних лет, выходец с немецкого юга, ставший (ради эмансипации от клана) коммивояжером, а затем и владельцем небольшой конторы, посредничающей в продаже нагревательных приборов,— возвращается после длительного пребывания в больнице. На более чем трехстах страницах описан его первый день дома. С утра ему докучают трое детей, любимая жена Алиса. И он сбегает от них в парикмахерскую. Гуляет с младшей дочерью. Наносит визит бывшему компаньону и благодетелю Мозеру, который за это время предал его и занялся другим бизнесом. Навещает Ансельм и своих любовниц (у него их три — Габи, Анна и Софи), каждой из которых намерен объяснить, что от нее уходит, но вместо этого, как человек, не способный сказать «нет», послушно выполняет свои мужские функции. Встречается он и с приятелем Эдмундом, предлагающим перспективное дело — участие в рекламировании зубной пасты. А вечером Ансельм отправляется к другому приятелю, Йозефу-Гейнриху, празднующему свое одиннадцатое обручение. Новая невеста этого бывшего нацистского аса, а ныне торговца маргарином, именуется Сюзанной и производит большое впечатление на нашего героя. В последующих двух частях романа (их действие длится около года) Кристляйн ухаживает за Сюзанной, делает успехи на рекламном поприще, участвует в многочисленных совещаниях и разного рода банкетах, повышает квалификацию в Нью-Йорке на курсах фирмы «Паттерсон», снова лежит в больнице и наконец приручается собственной семьей.

Сюжет этот, как нетрудно догадаться, никакого существенного значения не имеет — даже в качестве повода для рассказывания историй. Потому что Вальзеру для этого вовсе не нужен повод. В 1965 году он дал интервью критику из ГДР Й.-Г. Заутеру, где, между прочим, сказал:

«Я думаю, мы в состоянии лишь изображать с помощью языка деталь за деталью. И если вообще обладаешь способностью что-либо выразить, то произведешь тем самым на свет некое значение, а может быть, даже смысл...»

Вряд ли сказанное Вальзером следует принимать дословно. Кроме того, когда он говорит «деталь», то имеет в виду не предмет, лицо или жест, а более сложный художественный фрагмент, обладающий внутренней содержательностью. Из таких фрагментов (набросков человеческих характеров, обрывков воспоминаний, завершенных в самих себе эпизодах или «открытых» сценических этюдов) слагается вальзеровский текст. «Несмотря на это и даже (как ни парадоксально) благодаря этому,— признает западногерманский литературовед Р. Баумгарт,— книгу, которая была бы богаче мыслями о нашем «процветающем обществе», в Германии еще никто не написал».

В первую очередь это зависит от смысла и качества составляющих «Половину игры» фрагментов. Вот, например, один из них. Ансельм и Эдмунд сидят на совещании с людьми из концерна Францке. Обсуждается вопрос об упаковке и названии пасты. Пока разглагольствует никому не нужный писатель Диков, присутствующий здесь по воле фрау Францке и получающий от нее по 500 марок за заседание, Эдмунд объясняет Ансельму «кто есть кто». Напротив них — доктор Фукс, бывший высокий чин в СД, а ныне начальник отдела сбыта; его мнение может оказаться решающим. Рядом — господин Неефф, начальник отдела кадров; раньше служил у Геббельса. Дальше — доктор фон Ратов, юрисконсульт, сын участника заговора 20 июля[1], расстрелянного людьми доктора Фукса. В концерне, где работают в основном бывшие нацисты, его держат как своего рода алиби. Мнение доктора фон Ратова особого значения не имеет.

Естественно, что Ансельм, предложивший для пасты оригинальную упаковку, смотрит на того, чье мнение может оказаться решающим. Это человек с неприятным птичьим лицом, узкой полоской рта, бегающими глазами. А сын «героя 20 июля» совсем иной — толстый, розовый, с безвольным ртом...

Францке приглашает высказаться доктора Фукса. Но почему-то встает доктор фон Ратов. Ансельм растерян. Оказывается, он ошибся: принял Фукса за фон Ратова, а фон Ратова — за Фукса. «Я должен был напрячь силы, чтобы их снова переиначить»,— сообщает герой. Ведь он уже построил целую концепцию, касающуюся доктора Фукса и доктора фон Ратова; на основании внешнего вида представил себе характеры. Теперь все рухнуло. И строить нужно заново — превращать жирный, безвольный рот в рот, привыкший изрыгать команды.

Ситуация смешная и одновременно жутковатая, отбрасывающая пронзительный сатирический свет и на нашего героя, и на объекты его наблюдения; образ большой емкости, вбирающий в себя «непреодоленное прошлое», «экономическое чудо», относительность буржуазной этики, мифичность интеллигентского представления о мире и еще тысячу разных вещей,— вот что такое этот фрагмент, эта вальзеровская «деталь».

Даже если их в самом деле лишь друг на друга нанизывать, и тогда может выйти книга, столь богатая мыслями о «процветающем обществе», что подобной в ФРГ еще никто не написал. Причем даже ее мозаичность совпадает по ритму с реальной неупорядоченностью, реальным «плюрализмом» безнадежно перепутанного, во все стороны расползающегося западногерманского бытия.

Однако сказанное Вальзером — я уже об этом упоминал — не стоит принимать дословно: он все-таки не просто рисует деталь за деталью. «Половина игры» — не авторский рассказ, а рассказ Ансельма Кристляйна, нечто вроде его записок или, если угодно, мемуаров. И порядок следования эпизо-

[1] Заговор ряда офицеров германского генерального штаба, имевший целью устранить Гитлера.

дов, реминисценций, даже картин воображаемых — не вальзеровский произвол, а нечто обусловленное личностью героя, ходом его мысли, жизненными его впечатлениями. Когда он, вместо того чтобы описать собственное пребывание в Америке, повествует о злоключениях дяди Пауля, эмигрировавшего туда еще перед первой мировой войной, или, гуляя с малышкой Лиссой, вдруг вспоминает другого дядю, Галлуса, мелкого попутчика нацизма,— это, может статься, и непоследовательно в плане романной композиции. Но вполне объяснимо с точки зрения Ансельма. Более того, очерчивает его как субъекта, пребывающего в сложных отношениях с южногерманской родней, со своими детством и юностью, а через них и с окружающей, современной действительностью. Правда, есть в книге и страницы экспериментальные, написанные, как всегда, языком удивительным по богатству оттенков, но трудным в чтении. Причудливые образы из сферы индивидуальной кристляйновской мифологии наплывают друг на друга, влекомые потоком нерасчлененного сознания; мир растворяется в неподдающейся дешифровке символике. Таково, например, начало романа, воссоздающее медленное, натужное пробуждение героя.

Критики указывают в этой связи на зависимость от джойсовского «Улисса». Но еще несомненнее родство с техникой романов из цикла «В поисках утраченного времени». Оно не только отмечено критиками, но и признано самим Вальзером — в эссе «Мой читательский опыт с Марселем Прустом» (1958).

«Колоссальная точность — вот что такое Пруст,— пишет Вальзер.— ...Он осознал, что действительность не может быть представлена в виде обобщающих сокращений и объективно пересказанных биографий...» В этом смысле Вальзер выводит Пруста из русской классической традиции, полагая, что Толстой и Достоевский тоже не выпускали своих персонажей на сцену в виде готовом и окончательном; на всем протяжении произведения они продолжали что-то добавлять к их характеристике.

Образ Ансельма Кристляйна построен именно по этим принципам: герой являет нам себя в перманентно незавершенном виде и пребывает в весьма не простых отношениях не только с миром, но и с самим собой.

И все же, как это на первый взгляд ни странно, «Половина игры» тоже в известной мере сохраняет связь с бальзаковской традицией. Перед нами первая часть трилогии об Ансельме Кристляйне, а может быть, даже вторая часть своеобразной тетралогии. Подобно переходящим из книги в книгу персонажам «Человеческой комедии» или, скажем, йокнапатофской эпопеи Фолкнера, писатель Диков и чета Фрацке, фигурировавшие еще в романе «Браки в Филиппсбурге», появляются и в «Половине игры». А на страницы «Единорога» (1966) вернется Ганс Бойман. Что же касается ряда лиц, с которыми мы, как и с самим Кристляйном, только сейчас познакомились, то многие из них будут сопровождать его вплоть до завершающего трилогию «Крушения» (1973). Тем самым возникает единая, широкая панорама жизни ФРГ за полтора примерно десятилетия. Причем в пределах «Половины игры» она еще шире, чем в романе «Браки в Филиппсбурге».

Композиционно Кристляйн занимает в своем окружении то же положение, что Бойман в своем. Благодаря крестьянскому происхождению и коммивояжерской профессии соприкасается с «простонародьем»; а сегодняшние деловые успехи сталкивают его с верхушкой концерна Францке, с элитой рекламного бизнеса, со всеми теми людьми «свободных профессий», которые вокруг них кормятся. Кроме того, конформистская всеядность героя — этого «гения мимикрии» — расширяет круг общения. Среди его приятелей и бывший эсэсовец, и кельнер, и парикмахер, и шофер.

На одной из стен вальзеровской гостиной рядышком висят три наброска пером, сделанные каким-то знакомым-художником. Они чуть искаженно, гротескно и все-таки очень похоже изображают Бальзака, Пруста и Кафку. Этот ряд — не случайность и не каприз. Для Вальзера все три писателя — наука, которую он прошел и которой многим обязан.

Впрочем, в «Единороге», где, казалось бы, вполне по Прусту исследуется механизм человеческого воспоминания, Кристляйн, превратившийся в профессионального писателя и получивший заказ на «документальный роман о любви», то и дело иронизирует над собственной техникой: «Да, благодаря этому ему все снова приходит на ум, говорит он, положение руки напоминает ему обо всем. Ах, мой милый Пруст».

Стоит еще коснуться одного любопытного образа этого романа — композитора Нейка Доминика Брутта (сокращенно именуемого НДБ), одного из модных идолов западного мира. Он обладатель скандальной и мифической биографии: отец — цыган, мать — незамужняя дочь органиста; сменил более семнадцати профессий, из которых наименее запоминающиеся — крупье игорного дома и альфонс в Касабланке. НДБ — властолюбец, тиран, самыми крутыми мерами поддерживающий свой непререкаемый авторитет, унижающий, растаптывающий даже потенциальных соперников. Впрочем, подогревать интерес публики к себе в условиях жесточайшей конкуренции приходится и изобретением шокирующих идей. Одна из них состоит в том, что зло в мире, к сожалению, сокращается; восстановить равновесие можно, лишь наращивая бесчеловечное, жестокое, отвратительное в искусстве. НДБ — это великолепный сатирический портрет неоавангардистского художника.

По поводу собственной прозы Вальзер вы-

Д. ЗАТОНСКИЙ
МАРТИН ВАЛЬЗЕР.
ШТРИХИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПОРТРЕТА

сказывался редко; а вот свою теорию театра изложил в ряде статей. Там содержится немало такого, что писатель уже более или менее преодолел, или того, что указывает на его чисто личные, вкусовые приверженности. Однако в целом суждения эти существенны. Ибо проливают свет на вальзеровскую концепцию реализма.

«Цель состоит в том,— пишет Вальзер,— чтобы ставшие неприметными конфликты сделать видимыми, чтобы выманить на поверхность затаившиеся в глубине трагедии... Поэтому сюжет должен быть активным, как активен магнит, катализатор или изотоп. Он должен вносить в реальную ситуацию элемент, который вынуждал бы действительность разоблачить себя».

Ту же цель, как мы помним, преследует этот автор и в своих романах. Там, однако, нет сквозных сюжетов, так что задача выманивать трагедии на поверхность дробится и реализуется в пределах отдельного фрагмента.

Применительно же к драме вальзеровская идея сюжета напоминает брехтовскую или дюрренматтовскую. Правда, эти художники предпочитают фабулу острую, подвижную, приключенческую, иногда почти детективную. Сделать неприметное видимым они стремятся не только за счет очуждения, но и с помощью «сюжетного шока». Что же до Вальзера, то такое решение вступило бы в противоречие с другой его идеей. «...В этой действительности,—утверждает он,— фактически не происходит ничего, что могло бы питать драматическую фабулу. И тот, кто ее выдумает, исказит таким образом современную общественную ситуацию — ситуацию летаргии — ради самой драмы».

Итак, сюжет нужен, но сюжет и невозможен. Это сдвигает Вальзера в сторону поиска ситуаций не столько действенных, сколько абсурдных, разоблачающих, так сказать, не изменчивостью, а именно немыслимостью своей неподвижности. Так и построена его пьеса «Господин Кротт в сверхнатуральную величину» (1963). Заглавный ее персонаж — символ ставшего анахроническим капитализма, который хочет умереть и не может, ибо не находится никого, кто имел бы смелость его убить. Пьеса эта и есть воплощение «летаргии», нескончаемого повторения жизни, утратившей смысл, превратившейся в церемониал.

Драматург не видел сил, способных уложить господина Кротта в могилу. И это в значительной мере обусловлено его человеческим опытом, в свою очередь тесно связанным с историческим опытом страны, в которой он живет. Вообще, размышляя о Вальзере, ни на минуту не следует забывать что мы имеем дело с писателем ФРГ, идущим к познанию истины специфическим путем: через осмысление национальной немецкой трагедии спроецированной на послевоенные судьбы Боннского государства.

В 1965 году Вальзер опубликовал статью «Наш Освенцим» — статью чисто политическую, не имеющую как будто никакого отношения ни к эстетике, ни к литературе. Речь в ней идет о процессе над мелкими чинами СС, рядовыми палачами из лагеря смерти, и о газетных откликах на этот процесс. Писатель резко выступил против попыток «демонизировать» подсудимых, выдать их за монстров, чудовищ, грубое отклонение от нормы. Ибо тем самым их превращали в некие олицетворения индивидуального порока, лишали типичности, отрывали от породившей их системы. Все же остальные, кто служил преступному строю — если они только не топили печи в Треблинке или Освенциме,— как бы освобождались от ответственности. И прежде всего освобождались от нее те, «кто просто зарабатывал много денег на убийстве, а сейчас снова мастерит концерны или управляет фабриками...» Здесь особенно примечателен подход к проблеме ответственности; причем подход не исключительно идеологический, но и эстетический.

Кто некогда топил печи крематориев, расстреливал военнопленных или делал матрацы из волос невинных жертв, сегодня — мирные обыватели, нежные отцы семейств и отнюдь не выглядят исчадиями ада, даже не являются ими на отрезке времени между 1945 годом и сегодняшним днем. Но они т е ж е люди, которые топили печи, расстреливали, делали матрацы из человеческих волос.

По-видимому, именно отсюда — от этой специфически западногерманской проблемы, а не от какой-нибудь абстрактно-философской доктрины — Вальзер пришел к выводу, будто человеческий характер не меняется. «...Как может господин такой-то, некогда многократный убийца, жить сейчас, как овечка, в своей семье и общине?»— спрашивает писатель. И отвечает: «...Это — один и тот же человек, но он поставлен в разные ситуации...» Тем самым определяется задача драматургии: «Раскрывать богатство характера, ставя его в различные ситуации или подвергая различным провокациям».

«Я полагаю,— развивает Вальзер свою мысль,— любое реалистическое изображение третьего рейха д о л ж н о простираться до наших дней, оно д о л ж н о подвергать характеры историческим провокациям того времени и показывать, как эти характеры действовали тогда и как они действуют сейчас». Именно так и построены обе антифашистские пьесы Вальзера — «Дуб и кролик» [1] (1962) и «Черный лебедь».

В последней из них Руди Гоотхайн, чтобы разоблачить врачей-убийц — собственного отца и его коллегу,— разыгрывает перед ними роль бывшего эсэсовца. Даже (как в шекспировском «Гамлете») устраивает для них спектакль, правда, силами не заезжих актеров, а пациентов лечебницы для умалишенных. Но смысл тот же, что в «Гамлете» (да и в «Дубе и кролике»): провокация, выводящая на чистую воду.

«Мартин Вальзер,— читаем о нем у Макса Фриша,— настойчиво говорит о «театре сознания», и это значит: изображение не

[1] Опубликована в «ИЛ» № 2, 1974.

мира, а нашего его осознания». Иными словами, изображение пристрастное, оценивающее, проникающее в суть.

Вальзер всегда был не только антифашистом, не только критиком «общества потребления», но и — что среди левых интеллигентов Запада встречается много реже — чувствовал себя вполне независимым от традиционных предрассудков и жупелов буржуазной цивилизации. «Как насмехаемся мы нынче над французофобией бравых вильгельмовских патриотов,— писал он, например,— и вовсе не думаем о том, что любезный нашему сердцу антикоммунизм превратит нас когда-нибудь в точно такие же карикатуры». Не жаловал Вальзер и тех художников, которые используют конконформизм как средство саморекламы; они, в его глазах, не что иное, как придворные шуты буржуазии: «Ангажированному полагалось лаять на те формы официального status quo, которые и без того уже утрачивали силу в глазах просвещенной публики... Так возникает «деятельность». Поскольку реально ничто не меняется, можно бы сказать, так возникает игра».

Вальзер — чуть ли не единственный из крупных западногерманских писателей — никогда не тешил себя иллюзиями касательно современной отечественной социал-демократии. В то время как Грасс, Шаллюк или Ленц агитировали за нее на выборах, он лишь пожимал плечами, ибо не усматривал между СДПГ и ХДС никакой практической разницы: «Обе партии застыли друг против друга, как две гигантские рептилии, соревнующиеся в неподвижности». Писатель сознательно сбрасывал со счетов все различия между этими партиями, ибо полагал, что следует вообще разорвать некий порочный круг, и делал в этом смысле ставку на внепарламентскую оппозицию.

Это и привело его к сотрудничеству с Германской коммунистической партией, то есть к шагу глубоко закономерному для прогрессивного писателя двадцатого века, твоящего в эпоху, осененную Великим Октябрем. Сначала Вальзер разделял позиции коммунистов главным образом лишь по тактическим вопросам: например, как разоблачать американскую политику во Вьетнаме или на какой основе строить вновь созданный Союз писателей. А потом появился роман «Болезнь Галлистля» (1972) [1].

Там рассказывается о человеке, пораженном каким-то странным недугом. Он даже не может сказать, чувствует ли головную боль или боль во всем теле, сильна ли она или едва ощутима. Ясно одно — ему очень плохо, он ничего не может и не хочет делать. Все безразлично; легче всего представить себя мертвым. У него есть жена, дети, друзья. Однако он от них отчужден, они кажутся ему раздражающе-лишними. Вероятнее всего, болезнь Галлистля не столько физического, сколько нравственного свойства. Он болен своим обществом, своей социальной системой, их отчаянной, непоправимой бесцельностью. И вот когда уже, казалось, нет Галлистлю спасения, он случайно знакомится с группой коммунистов. Они не очень понятны герою. Ведь они — люди из другого мира, почти с другой планеты. Это прослушивается и в их непривычно звучащих именах — Панкрац Пуденц, Квалисто Квериос, Сильвио Шмон, Таня Тишбайн. Но, странное дело, именно среди них Галлистль не чувствует себя одиноким; он на пути к выздоровлению.

Книга о Йозефе Георге Галлистле вышла несколько умозрительной, немного стерильной. Это — тоже «маленький роман», хоть и в несколько ином, чем «Браки в Филипсбурге», смысле: его слог не столько экономен, сколько схематичен. Оно и понятно. Писатель лишь ощупывал новый материал, осваивался с ним, еще не зная всех его возможностей. И все-таки решительный шаг был сделан. И шаг не случайный, а подготовленный предшествующей жизнью, прежним творчеством. Он так или иначе повлиял и на творчество последующее.

В «Крушении» Вальзер не просто расстался с Кристляйном. Как конформист, приспособленец, приверженец некоего среднего пути тот терпит полное крушение. В финале он попадает в автомобильную катастрофу, лежит в глубоком снегу и не желает быть спасенным. Впрочем, открытыми остаются обе возможности — смерть или возвращение домой. Однако обе они — перемена, конец прошлого, начало чего-то нового. Если не для Кристляйна, так для других людей.

Следующий (и пока последний) свой роман Вальзер опубликовал в 1976 году. Он называется «По ту сторону любви». Как и трилогия о Кристляйне или «Болезнь Галлистля» — это рассказ о немыслимости существования в современном буржуазном обществе, посреди сломанной системы его отношений. От «Половины игры» до «Крушения» чувство немыслимости все время нарастало. Впрочем, его апофеоз — как будто «Болезнь Галлистля». Но там перед нами случай исключительный, из ряда вон выходящий, именно б о л е з н ь. И потом она — только символ определенного социального состояния. Вероятно, писателю в тот момент было важнее нащупать пути избавления, чем конкретизировать причины и обстоятельства. В книге «По ту сторону любви» он берет среднего человека (без литературных и вообще интеллектуальных амбиций) и среднюю жизненную ситуацию.

Человека зовут Франц Хорн. Он — более или менее высокопоставленный служащий зубопротезной фирмы. И с ним ничего не происходит. По крайней мере, не происходит ничего необычайного, никаких явственных катастроф. Он стареет, толстеет от неумеренного употребления пива, опускается. Более молодой, знающий, способный колле-

[1] Рецензия Е. Книпович на этот роман опубликована в «ИЛ» № 1 за 1973 год. См. также статью Ц. Млечиной о творчестве Вальзера в «ИЛ» № 4 за 1974 год.

Д. ЗАТОНСКИЙ
МАРТИН ВАЛЬЗЕР.
ШТРИХИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПОРТРЕТА

га, доктор Лист, оттесняет его от руководства, и он теряет былое расположение директора фирмы и ее владельца Тиле. Служебные неудачи он вымещает на семье, пока, испугавшись и устыдившись побоев, которые нанес дочери, не уходит от жены и детей.

Поведанная от автора, так сказать, снаружи, подобная история вряд ли заставила бы кого-нибудь всерьез задуматься. Вероятно, и попытка Хорна покончить с постылой жизнью не показалась бы тогда художественно убедительной: всякое, дескать, бывает, но не любой же казус стоит превращать в сюжет для романа...

Однако «По ту сторону любви» — не рассказ от автора. Это — поток сознания самого героя.

Фирма «Хемницкие зубы» освоила новый вид продукции, и ей желательно навязать зарубежным партнерам покупку лицензий. Сам Тиле отправляется в Штаты, способный доктор Лист — в Париж и Милан, Хорна отправляют в Лондон. Командировка длится около трех суток; столько же тянется и то, что можно бы назвать основным действием романа. Но в мыслях своих Хорн сумбурно и отрывочно вновь переживает последние два десятка лет.

Такая форма довольно обычна для новейшего западного — да и не только западного — романа. Однако поводом для ретроспекций, как правило, оказывается некое событие, резкий поворот в жизни героя, ставящий его перед необходимостью принять решение. Вальзер, как мы знаем, исходит из того, что окружающий его мир застыл в летаргии, что там ничего не случается. Это сказывается и на характере мотивировки, и на свойствах воспоминаний: они не эмоциональны, не активны, не очищающи, а, напротив, вялы, горьки, самоуничижительны: «...Он впервые увидел себя по-настоящему со стороны. И то, что он увидел, привело его в ужас».

Все-таки командировка оказалась неким «событием» — переменой обстановки, нарушением привычного жизненного ритма. Хорн не одного себя увидел со стороны, но и Тиле, и Листа, и жену Листа, и собственную жену, и свои со всеми ними отношения. Потому что, находясь за границей, как бы вышел из-под власти работодателя. Хотя и это не более как иллюзия: ведь и в неопрятном номере второразрядной лондонской гостиницы Хорну снятся сны с устрашающим участием Тиле. Однако Хорн, по крайней мере, уловил свою позицию в мире, культивирующем тилей и листов.

«Он был типичным неудачником, которому недостает силы смотреть своим неудачам прямо в лицо». На то имеется немало причин — как субъективных, так и объективных. Хорн не слишком образован, слабо подготовлен профессионально (в частности, недостаточно владеет английским, не говоря уже о других иностранных языках). Есть, впрочем, вещи и похуже: он — слаб, мягок, деликатен; не умеет брать за горло, требовать, вымогать. Английский партнер, вызывая чувство жалости, обводит его вокруг пальца. Даже паук, поселившийся в ванной, для Хорна проблема. «Ты не пользовался все эти дни душем,— растолковывает он самому себе,— потому что тебе было бы больно смотреть, как поспешно спасается бегством такой большой паук. Или просто снова проявилось твое тщеславие? Да, да, господин Тиле,— вступает он в воображаемый диалог с шефом,— мне хотелось создать у паука хорошее о себе мнение. Вы снова совершенно точно меня разгадали».

Хорн не годится для этого мира, для царящих в нем законов. Однако трагедия его в том, что не годится он и ни для какого другого.

Еще в «Половине игры» одной из главных тем являлось человеческое отчуждение. Там оно выявлялось через противоречие между сущностью и ролью персонажа. Порой роль и ее исполнитель оказывались столь чуждыми друг другу, что последний начинал воспринимать себя действующего как постороннего. «В моем сизом костюме,— повествует Кристляйн о своем возвращении после визитов к любовницам,— он вылез из моей автомашины».

В «По ту сторону любви» — другое. На этот раз Вальзера интересуют не столько симптомы отчуждения, сколько общественный механизм его возникновения.

Человек, исторгнутый средой, не всегда бывает от нее отчужденным. Разобщение может означать и противостояние, конфликт, борьбу, в ходе которой правда отнюдь не на стороне среды. Мучительный разлад с самим собой, постоянно сопровождающий отчуждение (особенно отчуждение в сфере духовной), наступает лишь в том случае, если исторгающая человека среда продолжает оставаться для него с в о е й, может быть, даже единственной. Тот, кто мировоззренчески вышел, так сказать, из буржуазной системы, даже существуя внутри нее, лишен отчужденческих комплексов. Отягощен ими сполна лишь ее пасынок, над которым система безраздельно господствует.

Это и есть ситуация Франца Хорна. Он многое понял за семнадцать лет службы у Тиле, особенно с тех пор, как появился доктор Лист и началась полоса сопровождаемых ослепительными улыбками унижений. Но он готов все забыть, от всего отказаться: «...Если бы Тиле сейчас позвонил, чтобы сообщить тебе, как он все-таки к тебе расположен и что он все-таки немножко страдает по причине возрастающего охлаждения ваших отношений». И это худшее, что могло с ним, Хорном, случиться. Потому что речь ведь не идет об изгнании из фирмы, о безработице. Напротив, Тиле и Лист по-своему как бы нянчатся с Хорном. А он ненавидит их и, еще более, боится: «Тиле владеет всем. Тиле раздавит тебя. У Тиле есть характер. Энергия. Формат. Власть. У Тиле есть все. Поднимайся, беги к машине. Уезжай, пока он не велел тебя арестовать. Но куда же, простите, куда?»

С арестом — это, разумеется, мифотворческое преувеличение, если хотите, именно

фантомы, фетиши, порожденные отчуждением. Есть у них, правда, и конкретный, реальный повод: в пику Тиле наш герой помог сотруднику фирмы, коммунисту Гейнцу Мургу, выдвинувшему свою кандидатуру в магистрат, а теперь боится, что Тиле, патологический антикоммунист, узнает о его «проступке». Спору нет, с системой шутки плохи. Однако Тиле — громовержец карликовый. И видеть в нем что-то вроде Ханта или Флика мыслимо, лишь представляя себе систему неизбывной, тотальной. Не случайно Хорн не знает, куда же можно от нее бежать.

Система манипулирует Хорном и в ином смысле: поскольку он врос в нее и, вопреки своей с нею несовместимости, принял ее законы.

Слуга в лондонской гостинице, который нес чемоданы Хорна, сказал ему, что любит немецкую классическую музыку. И Хорн дал ему лишний фунт на чай, зная, что обижает, понимая, что превращает в деньги какой-то проблеск искреннего чувства. Ему жаль, но «он тоже не в состоянии выбирать свои поступки. Каждую секунду он испытывает давление новой необходимости...»

Порой Хорн уговаривает себя: «Достаточно уже того, чтобы знать, что ты не находишься в стане Тиле. Так, так, а в каком же?» Возникает нечто вроде заколдованного круга: «С тех пор как ты на предприятии поддерживаешь Гейнца Мурга, Тиле отказался от тебя. С тех пор как Тиле от меня отказался, я поддерживаю Гейнца Мурга».

Хорн — между двумя стульями; и это делает его щепкой в водовороте системы — особью мятущейся, раздвоенной, отчужденной, пребывающей во всех смыслах этого выражения «по ту сторону любви». И попытка самоубийства — воистину единственный для него выход.

Вальзер написал книгу приметную, честную, в некотором роде самокритичную. Ибо в последнее время его самого одолевали известные сомнения, колебания. Это, так сказать, субъективно. А объективно роман писателя утверждает, что существует только одна альтернатива и что не сделавший выбора оказывается между жерновами...

«По ту сторону любви» — снова «маленький роман», в нем нет и двухсот страниц. Может быть, вообще эра гигантских опусов для Вальзера закончилась, потому что была его собственным, колумбовым открытием мира и одновременно дерзостью, вызовом чему-то общепринятому и устоявшемуся?

Когда на следующий день после штутгартской премьеры мы с ним вели беспорядочный и неспешный разговор о литературе, он заметил, что не способен писать романы на самому себе заданную, так сказать, вне его стоящую тему. А умеет писать лишь о собственном переживании мира, да и то если оно вполне созреет. Поэтому между «Браками в Филиппсбурге» и «Половиной игры» промежуток в три примерно года; между «Половиной игры» и «Единорогом» — в шесть лет; а на последнюю часть трилогии уйдет, наверное, лет восемь. И если он после этого напишет еще какой-нибудь роман, так лет через десять, не раньше.

Вышло не совсем так: еще перед «Крушением» неожиданно созрел роман «Болезнь Галлистля», а через три года после него — «По ту сторону любви». Надо думать, это потому, что и мир меняется, и живущий в нем, его наблюдающий и переживающий Мартин Вальзер — писатель большого таланта, с обостренным чувством ответственности.

◆

Заметки на полях

«СВОБОДА, КОТОРУЮ ОНИ ИМЕЮТ В ВИДУ»

Так называется статья Гуннара Матиссена, опубликованная в первом номере 1977 г. западногерманского общественно-литературного журнала «Кюрбискерн». В свете лицемерной кампании в «защиту прав человека» в СССР и других социалистических странах, которая активно ведется сейчас на Западе, в частности в ФРГ, она представляется весьма любопытной. Вот ее первые строки:

> «Положительно, с какой точки зрения ни взглянуть — географической, политической или любой другой,— отчий дом у свободы на Западе: в Северной Америке и в Западной Европе. Свобода трансатлантична и обволакивающа, как аромат сигареты марки «Штювезант»... Свобода во всем — в обществе, политике, производстве и сбыте дамских поясов: «Ничто так нежно не облегает и не придает такую совершенную форму, как пояса «Нежные» нашей фирмы!»... ХДС несет свободу, свободу от социализма, паста «Колгате» избавляет от дурного запаха изо рта, СДПГ освобождает от коммунистов, а те в свою очередь — от капиталистов. Но пардон! Это уже из другой оперы. Здесь как бы не соскользнуть в царство несвободы, поскольку свобода как таковая и свобода от капитала — вещи несовместимые, между ними — непреодолимая пропасть!..»

Так Г. Матиссен сразу же вторгается в самую суть противоборства между социалистической и буржуазной концепциями демократии. По логике апологетов «западной демократии» получается, что

> «свобода концентрируется там, где концентрируется капитал. Гарантами свободы и наисвободнейшими из свободнейших становятся сами инициаторы концентрации, наднациональные, охватывающие весь мир концерны, эти, по словам одного из высших менеджеров всемирного треста «ИБМ», «вещие провозвестники лучшего мира», «создающие сегодня модели завтрашнего дня».

В ФРГ нет недостатка в упоенном восхвалении пресловутого «социального рыночного хозяйства», этой «наисвободнейшей и наигуманнейшей системы», «самой эф-

фективной» и «постоянно самореформирующейся». Автор статьи отмечает полное единство взглядов крупнейших монополистов, поддерживающих ХДС/ХСС, и правосоциалистических теоретиков. Последние вполне согласны с мнением А. Присла, одного из руководителей концерна «Сименс»: предприниматели занимаются бизнесом только потому, что «к этому их побуждает этика служения общему благу». Уж не создается ли при столь повальном бескорыстии в служении обществу, с иронией вопрошает Г. Матиссен, опасной уравниловки, равенства социальных прав всех людей, не пробиваются ли здесь опасные коллективистские тенденции? Быть может, недаром из христианско-демократического стана время от времени раздаются предостережения о том, что избыток равенства ведет к несвободе.

Для успокоения увлекшихся господ Г. Матиссен указывает на еще обширные «резервы» западногерманской свободы. Нищета, социальная пропасть между богатыми и бедными, безработица, нарастающие трудности молодежи в получении образования, свертывание обещанных и неотложных реформ. По официальным данным, в ФРГ в 1975 году было зарегистрировано более 2,2 млн. травм на производстве, свыше 4 тыс. из них — смертельных. Плохая постановка медицинского обслуживания, острая нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, переполненность школьных классов ведут к росту нервно-психических заболеваний, появлению все большего числа детей с физическими недостатками. Не хватает 15 тыс. учителей только в школах производственного обучения, свыше 42 тыс. учебных часов в неделю выпадает из-за отсутствия преподавателей в одной лишь земле Нижняя Саксония, в земле Гессен недодается по той же причине пятая часть уроков. И в то же время из-за режима «экономии» тысячам школьных преподавателей грозит безработица! Из статистического ежегодника можно почерпнуть массу поучительного о «резервах свободы на базе социального неравенства».

И инфляция, безработица, растущие налоги переносятся гражданами ФРГ легко и даже радостно — ведь они живут в «самой свободной, либеральной и демократической стране». Об этом им усердно и регулярно напоминает вся огромная пропагандистская машина. Животы могут быть и пустыми, были бы сердца исполнены веры!

Однако, оказывается, не только расширение социальных прав убийственно для западногерманской свободы — не менее губительны для нее и политические права. Свобода, поучает модный и плодовитый политолог Г. Шельский, если ее не ограничивать, вырождается в демократизм, несущий свободе гибель. Поэтому во имя сохранения демократических свобод необходимо... их ограничение!

Шельскому нечего волноваться! Монополистическая верхушка и без подсказок знает, что делать. Через свою основную политическую партию ХДС/ХСС она оказывает нарастающее давление на все стороны политической и социальной действительности ФРГ.

Под предлогом борьбы с анархизмом и терроризмом, в густом тумане антикоммунистических испарений принят обширный пакет законов: об «общественном порядке», о борьбе с террористическими группами, об изменениях в уголовном и процессуальном кодексах, о применении полицией гранат и огнестрельного оружия. Парламенты многих земель одобрили законы, в которых бундесбюргерам вменяется в обязанность «по собственной инициативе» сообщать в полицейское ведомство по охране конституции «о всех фактах и материалах относительно настроений и деятельности», направленных против свободного демократического строя. Отныне чиновники этого почтенного ведомства могут неограниченно и бесконтрольно требовать из вузов сведения о том, какие «левые» лекции и семинары посещал тот или иной студент.

Любые интересующие их данные они получат от

> «отделов кадров учреждений и предприятий государственного сектора и прежде всего из карточек личных дел учителей, из государственных и университетских библиотек, от коммунальных и земельных информационно-вычислительных центров, в которых уже содержится информация на 400 тыс. граждан».

У одного из видных западногерманских юристов были все основания заявить в журнале «Шпигель», что «ему неизвестна какая-либо другая демократическая стра-

на с подобной системой доносов и секретной слежки». Но самой позорной стороной западногерманской демократии являются так называемые «запреты на профессию». Направленные прежде всего против коммунистов, они затронули целые профессиональные группы (проверке лояльности подвергнуты уже свыше 800 тыс. учителей и выпускников педагогических учебных заведений). ХДС/ХСС поднимает вопрос о лояльности конституции примыкающего к СвДП студенческого «Либерального союза высшей школы», организаций «Молодых социалистов» в вузах, профсоюза работников просвещения и науки, молодежной организации «Друзья природы» и пр.

«И вот уже в организованном порядке проверяют работников различных социальных учреждений, вероятно опасаясь, не слишком ли они социальны. В гамбургском экспериментально-учебном центре по технике электросварки выявлен лаборант, который слишком экстремистски обращается с оборудованием. Выясняется, нет ли врагов конституции в водоснабжении, а среди кладбищенских сторожей,— ультрарадикальных элементов, которые своей отъявленной пропагандой нарушают заслуженный покой покойников».

Атмосферу в редакциях, издательствах, радио и телестудиях еженедельное приложение к боннскому официозу «Парламент» характеризует следующим образом: «Увольнение неудобных сотрудников и бойкот критически настроенных авторов, предупреждения редакторам столь многозначительные, что впредь они уже постараются обойти «опасные» темы и в сомнительных случаях пригладить формулировки; бегство в общие слова, расплывчатость, аполитичность, капитулянтство, растерянность и страх потерять свое место — такова ситуация в печати».

Подводя итог всему этому, Г. Матиссен констатирует:

«Речь уже давно не идет о моральной чистоте, белизне государственных жилеток и прочем пуризме, речь уже давно идет об установлении возможно более всеохватывающего контроля над возможно более обширными общественными сферами, о создании климата, в котором без осложнений можно было бы произвести трансформацию (разумеется, вправо.— В. И.) нынешнего государства».

Итак, что представляет собой, по мнению автора, западногерманская демократия 70-х годов? Натиск на жизненный уровень масс и права профсоюзов в сфере социально-классовых отношений, нарастание полицейских и авторитарных тенденций в политике. А что соответствует этому «расцвету демократии» в сфере общественных наук?

В «университетской» науке набирают силу реакционные настроения, отказ от крупных социальных, теоретических обобщений, поворот к позитивизму и еще чаще — прагматизму. Рудольф Кремер-Бадони, например, объявляет величайшей глупостью само стремление людей к осмыслению общества и его преобразованию. Пора уже перестать, поучает он, тратить попусту время на изобретение (из желания противостоять «социалистическим сказочкам») целостного взгляда на мир, «очередной системы». Его рецепт циничен и прост — безграничное манипулирование массами: дайте — «если им уж так необходима глупость» — «серию изощренных формул и паролей», «делайте вид, что у вас в кармане есть универсальный ответ», а на деле проводите чисто прагматическую политику. Это «самое возвышенное и интеллектуальное». Духовная растерянность, по мнению Г. Матиссена, ведет к застою и реакции.

«Страх перед критическим исследованием, перед марксистской теорией, которая, по признанию одного крайне консервативного профессора, «беспрепятственно просачивается в идейный вакуум», и сознание собственного бессилия — таковы мотивы усиленных попыток провозгласить «нулевой рост» духовной культуры программой капитализма. В итоге достигается единство взглядов на основе глобальной формулы Штрауса: «Свобода вместо социализма».

В. И.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО «МОНД»

Газета «Монд», видимо, никак не может примириться с последствиями отрыва некогда заморской территории Франции от тела метрополии. На ее публикациях о событиях общественной и политической жизни Алжира лежит печать предвзятости. В данном случае речь пойдет о двух статьях: «Интеллигенция хранит молчание» и «Замкнутое поле идеологической фразеологии», затрагивающих культурные аспекты недавно принятой в Алжире Национальной хартии. Хартия ставит перед алжирским народом наряду с социальными и серьезные культурные задачи, призывает деятелей литературы и искусства к сознательному служению общественным идеалам. Как же на все это реагирует «Монд»?

«...Если придерживаться более или менее классического понятия культуры, то надо признать, что в Алжире в этой области результаты пока «удручающие». На страницах печати состоялся широкий обмен мнениями по вопросам аграрной и промышленной политики в Алжире, но по вопросам культурной политики не было ничего подобного...»

В другом месте:

«Интеллигенция — в широком смысле, а не только писатели — хранила торжественное молчание. Конечно, узкопрофессиональные дебаты имели место (среди группы писателей, кинодеятелей, экономистов, университетских преподавателей и студентов). Но в прессе это не нашло отклика, и кажется, что, за небольшим исключением, эти дебаты велись на среднем или даже низком уровне. К тому же не видно было, чтобы маститые писатели выступали в национальной печати или по телевидению со своей точкой зрения».

Такое подталкивание интеллигенции к публичным дискуссиям и откровенное сожаление по поводу того, что ни писатели, ни художники «не решаются занять открыто какую-либо позицию» («какую-либо», естественно, должно означать оппозицию), диктуется далеко не бескорыстными усилиями доказать, что политика культурного строительства в Алжире зашла в тупик, что литература и искусство находятся в застое и что происходит это во многом по причинам «моральной напряженности», в которой находится общество, и «слишком большой дозы технологии, импортируемой и пересаживаемой на еще недостаточно подготовленную почву».

Что касается публичных выступлений алжирской интеллигенции «в широком смысле» и писателей в частности, то волнения газеты «Монд» совершенно напрасны. Как в алжирской, так и во французской печати велись широкие обсуждения проблем культуры в странах Магриба, и алжирские писатели принимали и принимают в них самое живое участие. Общеизвестны бурная дискуссия о билингвизме и о значении франкоязычной литературы, проходившая на страницах журнала «Конфлюан», а потом и на страницах «Жён Африк», посвященная проблемам арабизации; дискуссия в газете «Аль-Муджахид» по вопросам арабо-берберского двуязычия внутри страны и о необходимости использовать французский язык как компонент исторически сложившегося культурного «синтеза» в Алжире; книга алжирского ученого Мазуни, целиком посвященная культуре и образованию в Алжире... Таким образом, точка зрения алжирской интеллигенции находила свое «публичное выражение». А один из последних номеров французского журнала «Эроп» целиком посвящен алжирской литературе. На его страницах выступили многие ученые, писатели, критики литературы и кино, театроведы со статьями об арабоязычном и франкоязычном романах, о поэзии и кино, о национальном театре. В «Эроп» опубликованы также новеллы и рассказы, стихи, отрывки из новых романов. В журнале представлены обширная библиография и хроника культурной жизни, свидетельствующие об интенсивном росте духовной «продукции» нового Алжира. Следовательно, говорить о том, что за годы, прошедшие после завоевания независимости, «интеллигенция хранила молчание»,— значит закрывать глаза на реальное положение дел. В творчестве алжирских писателей, ученых, художников, артистов нашли

отражение все «больные вопросы» алжирской действительности: последствия политики культурной ассимиляции, проблема «духовной деколонизации», способы и методы проведения арабизации в стране. Плодами упорного и кропотливого труда алжирской интеллигенции явились и стремительный рост образования, и развитие арабоязычной литературы, и небывалый расцвет кинематографа, и создание национального театра.

Но эти достижения последних пятнадцати лет каким-то чудесным образом ускользают от внимания «Монд». Она, не утруждая себя доказательствами, пишет, что из-за политики властей алжирская культура неизбежно становится

> «замкнутым в себе полем идеологической фразеологии, закрытым для современной реальности. Кино, театр, телевидение, книги, составляющие понятие культуры, будут крутиться вокруг все того же постоянного круга тем и продолжать твердить о героизме и прошлом».

Обратимся к фактам. Только за последние пять лет в Алжире вышли десятки крупных произведений на французском и арабском языках, многочисленные сборники новелл, поэм, написанных мастерами разных поколений. Конечно, сам по себе количественный рост алжирской литературы не может служить опровержением разглагольствований о культурном застое. Но он сопровождается неоспоримыми качественными изменениями, выражающимися как в совершенствовании мастерства и расширении круга тем писателями старшего поколения, так и поисками новой стилистики, новых аспектов отражения действительности молодыми прозаиками и поэтами. «Новая волна» алжирской литературы, возникшая на рубеже 60—70-х годов вместе с появлением таких имен, как Набиль Фарес, Рашид Буджедра, Юсеф Себти, Ат Тахер Ваттар, Джамаль Иматндзен, Джамаль Али-Ходжа, и многих других зачерпнула глубокие пласты современности.

В поэзии последних лет в унисон с темой борьбы за свободу и счастье, о трудном и нелегком пути к нему по дороге жизни, где судьба поэта сливается с судьбой народа, раскованно и радостно звучит тема любви, воспеваемой как чувство «равных», как «бурный расцвет» человеческой души. Говорить о «кручении» вокруг постоянных тем — значит упорно не желать замечать непрерывно продолжающегося процесса качественных изменений.

Несомненно, доминантой творчества алжирских писателей остаются те вопросы, которые так или иначе связаны с борьбой за независимость,— было бы противоестественно так быстро забыть о том, за что были отданы сотни тысяч человеческих жизней в многолетней кровавой битве. И видимо, отголоски этой героической эпопеи будут еще долго звучать в искусстве и литературе нового Алжира.

Алжирская поэзия, расширяя свои поэтические границы, не забывает о том лозунге, который был с самого начала начертан на ее знамени: «От горизонта одного к горизонту всех». Эти слова П. Элюара всплывают сами собой, когда читаешь стихи алжирцев, посвященные борцам за свободу Вьетнама, Анголы, патриотам Чили и Палестины...

Писатели Алжира никогда не скрывали своей «завербованности», пафоса служения своему народу во имя братства и светлого будущего народов других стран. Но они и никогда не уклонялись от необходимости осознания того, что люди творят свою историю не на пустом месте, а наследуя, а иногда и расплачиваясь за то прошлое, которое досталось от предшествующих поколений. Особенно остро чувствует противоречия своей эпохи молодежь, она, по образному выражению Башира Хадж Али, «более чувствительна к этому медленно агонизирующему старому миру и медленно рождающемуся из его чрева миру новому». Но «Монд» не желает внимательно посмотреть на культурную жизнь современного Алжира:

> «Кризис охватил всю сферу культуры и надстройки. Этот культурный маразм хорошо осознается большинством художников, даже если некоторые ответственные лица продолжают подводить удовлетворяющие их самих итоги... Ясно, что выход из этого кризиса надо искать не в сфере теоретической, организационной или лингвистической, а на уровне официальных политических доктрин и идеологии».

Если полтора десятилетия самостоятельного развития Алжира поставили перед его художниками, поэтами, прозаиками не всегда посильные для «внутреннего» решения задачи и вопросы, это вполне естественно. Независимость не могла принести немедленные перемены, улучшение всего уклада жизни, и горячность, нетерпеливость ожиданий вступали в горькие противоречия с тяжелыми последствиями столетней колонизации и косностью традиционалистских взглядов и предрассудков. Но если Али Бумахди в романе «Деревня лилий» обращает взор к патриархальной старине, отыскивая в ней поэтические приметы национального уклада жизни, если обличительные интонации романа Мурада Бурбуна «Муэдзин» направлены против уродливых форм «власти технократов» в причудливой мешанине старых и новых порядков, а романы Рашида Буджедры звучат как бунт против пережитков прошлого в новой жизни и как грозное предупреждение о пагубности влияния технической цивилизации буржуазного Запада с ее антигуманной сущностью — то все это надо понимать как выступление не против нового Алжира, а во имя его будущего, во имя завоеванной им в упорной борьбе независимости и свободы.

Арабоязычная романистика, возникшая в Алжире только в последнее время и сейчас успешно развивающаяся, тоже, на первый взгляд, сосредоточена на событиях прошлых лет. Но сквозь эту ностальгию проглядывают как довольно суровая критика ошибок, так и образ будущего Алжира, вырастающий на почве современной действительности.

Как бы сквозь призму героического прошлого идет осмысление современности и в новеллистике. Произведения Мустафы Туми, Азизы Араба и многих других, посвященные послевоенному времени, свидетельствуют о том, с какой серьезностью и ответственностью относится писательская молодежь к изображению новой жизни, предъявляя к ней суровые требования и призывая своих соотечественников быть достойными принесенных во время войны жертв.

Поиски новых тем и форм характерны не только для молодежи. Не «молчат», продолжают вносить свой вклад в новую культуру Алжира и писатели старшего поколения. Блестящим, отточенным мастерством сверкают опубликованные недавно новеллы Мулуда Маммери, последние произведения Мохаммеда Диба не перестают удивлять богатством поэтических образов и какой-то особой внутренней собранностью и строгой сосредоточенностью. Новая пьеса Катеба Ясина «Двухтысячелетняя война» с огромным успехом идет не только в Алжире, но и в рабочих предместьях Парижа и других крупных городов Франции, где ее смотрят на родном языке многочисленные алжирцы, работающие вдали от своей родины...

Надо сказать, что пьесы Катеба Ясина — не единственное свидетельство роста нового алжирского театра. В стране, несмотря на репертуарные трудности, недостаток профессиональных актерских трупп, складывается особая форма искусства, так называемый театр «коллективного творчества», где актеры с помощью зрителей, исходя из выбранной темы, импровизируют диалоги, создают произведения, находящие живой отклик в народных массах. Такие театральные зрелища, имеющие цель способствовать воспитанию народа, поднимать его культурный уровень, возникали в Алжире уже с 1970 года. Наиболее известные группы перемещаются по всей стране, выступают в самых отдаленных уголках перед рабочими и крестьянами, студентами и школьниками, стремятся отразить в своих спектаклях жгучие проблемы современной действительности, заботы и чаяния алжирского народа. Их волнует тематика, связанная и с проведением аграрной реформы, с претворением в жизнь великого лозунга революции «Земля тем, кто ее обрабатывает», и с проблемой самоуправления, и с имеющей пока место детской беспризорностью и эмиграцией рабочей силы на Запад, и с положением женщины. Сейчас насчитывается около пятидесяти таких коллективов. Они создаются в лицеях, университетах, на заводах, в молодежных кружках, даже в сельских школах. И, несмотря на их пока еще профессиональную слабость и огрехи слишком уж прямолинейной социологизации представлений, на данном этапе культурного строительства Алжира такие коллективы — элементы естественные и важные в деле пробуждения у народа интереса к культуре, повышения его грамотности и расширения кругозора. Можно смело согласиться с утверждением французского журнала «Эроп», что этот театр «коллективного творчества» составляет «важное звено в цепи социальных изменений,

осуществляемых в Алжире благодаря аграрной реформе, возникновению кооперативов и коллективов сельскохозяйственных рабочих, а также благодаря социалистической форме самоуправления промышленных предприятий».

Можно добавить: необходимое звено. Так как со временем усилия коллективов подобного рода будут направлены и на повышение своего профессионального и эстетического уровня, и на создание необходимой «инфраструктуры» для превращения любительских групп в стабильные театральные труппы, которые вместе с уже существующими станут прочной опорой национального театра.

Если здание национального театра еще только вырисовывается, то об алжирском кинематографе можно говорить как об уже вполне развитой и профессиональной отрасли искусства. С его продукцией давно знакомятся не только жители Алжира, но и зрители многих других стран, и она не раз отмечена наградами и премиями международных смотров кино. Но «Монд» предостерегает своих читателей:

> «Присуждение Золотой пальмовой ветви на фестивале в Канне в 1975 году фильму Лахдара Хамины «Хроника пламенных лет» и отбор в 1976 году фильма С. Мазифа «Кочевники» для участия в двухнедельном конкурсе режиссеров этого же фестиваля заставляет думать о пробуждении алжирского кинематографа. На самом же деле эта награда, сколь бы значительной она ни была, отнюдь не является свидетельством подлинного облика алжирского кино. Его продукция и ее использование заставляют нас быть осторожными и критичными. Далекое от своей роли мобилизатора масс и носителя культуры, кинопроизводство сосредоточилось вокруг одной и той же тематики, постоянной, как наваждение...»

Рожденное в огне войны за независимость, алжирское кино, конечно, имеет ее главной темой. Внимание сегодняшнего кинематографа к этому великому взлету алжирской истории вызвано в немалой степени тем, что его создатели справедливо считают свое кино одной из форм борьбы с заполняющей экраны продукцией капиталистического Запада, со своего рода культурной экспансией неоколониализма. Высокий заряд духовности, который несут в себе алжирские фильмы о войне, направлен на воспитание публики, на укрепление ее самосознания и гордости. Недавняя экранизация таких крупных произведений алжирской литературы, как «Большой дом» Мохаммеда Диба и «Опиум и дубинка» Мулуда Маммери,— замечательный вклад в это благородное дело.

Строительство новой культуры на базе новых социально-экономических и политических отношений, складывающихся в Алжире,— дело трудоемкое и рассчитанное не на короткий срок. Но процесс освоения культурного наследия прошлого и создания новых ценностей идет своим чередом, не затихая и не останавливаясь. Искусство и литература Алжира представлены сегодня широко и полно; их отличают поиски и новых тем, и новых форм. Стилистика их подвижна и отражает стремление художников к адекватности своего мастерства и идейного звучания их произведений. А в этом — залог дальнейшего прогресса и расцвета культуры в народном Алжире.

С. ПРОЖОГИНА

◆

Публицистика

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Я ВИДЕЛ БУДУЩЕЕ

Зарубежные писатели
о Советском Союзе:
путевые очерки, дневники,
воспоминания, статьи.
1917—1977

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (род. в 1903 г.) — американский писатель. Автор многих романов, сборников рассказов, публицистических книг. На русский язык переведены его романы «Табачная дорога», «Любовь и деньги», повесть «Мальчик из Джорджии», а также «Повести и рассказы» и др.

«Иностранная литература» публиковала романы «Дженни» (№ 12, 1962), «У нас дома» (№ 10, 1963), главы из книги очерков «В поисках Биско» (№ 10, 1965), рассказы.

Летом 1941 г. Эрскин Колдуэлл был корреспондентом журнала «Лайф» в Москве, вел радиопередачи на США.

Соединенные Штаты Америки

Из книги
«По дороге в Смоленск»,
1942 г.

Когда началась война...

Когда началась война, мы были в Сухуми — курортном городе на Черном море. Сообщение по радио о том, что СССР находится в состоянии войны с Германией, поразило граждан Советского Союза как громом. В это солнечное утро 22 июня 1941 года повсюду на улицах я видел безмолвные толпы, собиравшиеся около громкоговорителей. Люди смотрели в темные раструбы рупоров, словно не веря своим ушам. На их лицах были растерянность и страх. Но страх быстро исчезал, уступая место выражению спокойной уверенности, желанию действовать. Все, кого я видел в эти первые сутки войны, думали только о том, где и как наилучшим образом выполнить свой долг. Мужчины призывного возраста, только-только приехавшие провести свой отпуск на черноморском побережье, сотнями садились в поезда,

[1] Продолжение. Начало см. в № 5 и 6.

стремясь скорее вернуться домой. В течение нескольких часов призывные пункты были буквально завалены заявлениями добровольцев, так что их подачу пришлось запретить.

С начала войны гражданские авиалинии перестали действовать, и мы через три дня отправились в Москву на поезде. Нам предстояло проехать 1500 миль через Ростов-на-Дону, Харьков и центральные районы Российской Федеративной Республики.

Железная дорога была забита военными эшелонами, но тем не менее пассажирские поезда задерживались относительно мало, и мы приехали в Москву всего лишь на день позже, чем полагалось по расписанию.

Москва уже жила в ритме военного времени. Замечательным было народное ополчение. Идея его восходит к войне с Наполеоном в 1812 году и к обороне Петрограда (теперь Ленинграда) во время гражданской войны. Народное ополчение состоит из мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, которые не были мобилизованы и не сумели добиться, чтобы их взяли в армию. Они разделены на полки и батальоны, проводят военные учения и работают на возведении оборонительных сооружений. Народное ополчение представляет собой вспомогательные силы, ему поручается охрана важных объектов, а при приближении фронта ополченцы вскидывают винтовки на плечо и занимают свое место в окопах. Военной формы они не носят.

В первые недели войны жившие в Москве иностранцы были настроены явно пессимистически. Москвичи же сохраняли поразительный оптимизм. Американцы говорили о падении Москвы как о чем-то предрешенном и были уверены, что Гитлер возьмет ее после двух-, трехнедельного наступления. Русские же даже мысли не допускали о том, чтобы сдать Москву.

Понаблюдав, как вели себя русские в первую неделю войны, я ни секунды не сомневался в том, что они сумеют остановить немцев. Было очевидно, что Красной Армии придется отойти довольно далеко в глубь страны, прежде чем фронт стабилизируется, но постепенно становилось все яснее, что ее отступление через Прибалтийские республики, Белоруссию и Украину осуществлялось по плану.

В эти первые недели войны иностранцы особенно поддавались воздействию немецкой пропаганды. В частности, заявления немецкого радио произвели на американцев столь сильное впечатление, что многие из них не сомневались в неминуемом и быстром поражении русских, а кое-кто уже упаковывал чемоданы, готовясь к поспешному бегству из Москвы. Других иностранцев немецкая пропаганда ввергла почти в такое же смятение.

Однако русские не слушали немецкого радио, их не подавляла мысль о несокрушимой мощи Германии. Они твердо верили в свою конечную победу и были полны непреклонной решимости выиграть войну.

В Москве, разумеется, было введено затемнение... Навсегда останется в моей памяти первая ночь, которую я провел на улицах погруженной в мрак столицы.

Ходить по улицам после комендантского часа можно было только с пропуском. Выдавались такие пропуска лишь тем, кому по служебным обязанностям требовалось ходить и ездить между полуночью и четырьмя часами утра.

За несколько минут до полуночи я вышел из отеля и пошел по улице Горького. По ту сторону площади в темное небо врезались башни Кремля, словно перенесенные сюда из какой-то средневековой сказки. Улица Горького — главная улица Москвы, и в мирное время она была запружена людьми до двух-трех часов ночи. Но теперь я увидел лишь нескольких человек, которые торопились вернуться домой до полуночи. Иногда в темноте медленно проезжали редкие автомобили.

Ровно в полночь улицы совершенно опустели. На перекрестке смутно светились зеленые и красные огни светофора. Машины шли с погашенными огнями, и лишь у некоторых чуть светились узкие прорези на фарах.

Я шел вперед почти ощупью. Потом из темноты передо мной возникли какие-то фигуры. Я прислонился к фонарному столбу. Они подошли ко мне — женщина и двое мужчин в гражданской одежде — и потребовали пропуск. Рассматривая его, они задали мне несколько вопросов по-русски. Я, запинаясь, попытался ответить на том же языке, и они спросили меня напрямик, англичанин я или немец. «Американец»,— ответил я. По-видимому, они были удовлетворены, потому что один из мужчин протянул мне пропуск, и все трое растворились в темноте так же бесшумно и таинственно, как возникли.

Я продолжал стоять на месте, а затем чиркнул спичкой, загородил ее ладонями и закурил. Я заметил, что руки у меня дрожат Первый раз я зажег спичку на улице во время затемнения, и мне казалось, что у меня над ухом вот-вот просвистит пуля. Некоторое время спустя я узнал, что курить и зажигать спички на улицах запрещалось только во время воздушной тревоги.

Я пошел дальше. Мои глаза уже привыкли к темноте, и я обнаружил, что избегать столкновения с фонарными столбами не так уж трудно. Потом я заметил, что почти в каждом подъезде стоит дежурный. На углах они стояли группами по три-четыре человека.

Через полчаса меня снова остановили. До конца комендантского часа мне в общей сложности пришлось предъявлять пропуск одиннадцать раз — милиционерам и дежурным.

Наконец я повернул обратно. Когда я проходил перекресток, меня вдруг оглушил пронзительный свисток. Взорвись рядом тысячекилограммовая бомба, я, наверное, был бы потрясен меньше. Тут же взвизгнули шины резко затормозившего автомобиля.

Из мрака появился милиционер и потребовал у шофера его пропуск и пропуск на машину...

Начинало светать, и мало-помалу по сторонам улицы встали дома, о существовании которых я даже не подозревал. Город приобретал реальные очертания. Я спускался к Красной площади, и вид знакомых зданий вернул меня к действительности. Нет, я был в Москве, а не на неведомой планете, где вдруг погасло солнце.

В шесть часов, когда я подходил к отелю, из подъездов начали выходить спешившие на работу люди. По мостовой катили грузовики, автобусы, мотоциклы, ярко вспыхивали огни светофоров, отдергивались занавески, подчимались темные шторы — жизнь в Москве входила в обычную дневную колею.

Улица Горького вливалась в Красную площадь, по которой, громыхая, двигалась на запад колонна грузовиков с солдатами, пулеметами и снарядами. Отсюда начиналась дорога на Смоленск...

■

Июльские ночи в Москве коротки — полная темнота наступает только на три часа, но во время затемнения это самые темные три часа на земле.

Каждую ночь я отправлялся на радиостанцию или просто гулял. Как-то около часа ночи я брел по улице неподалеку от Красной площади, вытянув перед собой руки. В черном мраке с ревом проносились военные грузовики, мчась на запад по дороге в Смоленск. Я уже успел наткнуться на трех милиционеров, заметив их только тогда, когда заключил их в нежные объятия. После довольно долгих переговоров мне удалось убедить милиционеров, что я не немецкий парашютист и не диверсант. Но через несколько минут мне в грудь уткнулся неведомо откуда взявшийся фонарный столб. Я-то был убежден, что иду посередине тротуара, но после этой встречи решил поскорее свернуть в переулок, подальше от столбов.

Нащупав угол, я обогнул его и пошел дальше вдоль стены дома. Через несколько шагов я заметил, что с трудом отрываю ноги от земли. Мне это показалось странным: я нисколько не чувствовал себя уставшим и был обут в легкие туфли. Я попробовал поднимать ноги повыше, но ничего не изменилось, и, нагнувшись, я обнаружил, что моя правая нога по щиколотку погружена в незастывший бетон.

В переулке царила непроницаемая тьма. Кое-как я побрел вперед, вновь нащупал угол и пошел дальше, спотыкаясь о мешки с песком, ноги дежурных и какие-то загородки. Мне пришло в голову, что бетон, пожалуй, сохранит отпечатки моих ног, и я задал себе вопрос, что предпримет руководитель работ, когда наутро обнаружит оставленные мною следы,— зальет он их бетоном или сохранит?

Тут кто-то посветил мне фонариком в лицо и втащил меня в темный подъезд. Я показал свой пропуск, и та же рука вытолкнула меня из подъезда.

Я дошел до следующего угла и начал переходить улицу. Вдруг, словно человек, оступившийся на темной лестнице, я провалился в пустоту. Казалось, прошла вечность. Потом я увидел на уровне глаз край тротуара и ощутил под ногами мягкую грязь. И тут же в меня вцепились две пары рук — одна скрутила мне локти за спиной, а вторая сдавила горло. Я попробовал вырваться, но чье-то запястье вжалось мне в подбородок и запрокинуло мою голову.

Я умудрился что-то пробормотать.

Запястье у меня под подбородком слегка отодвинулось.

— Товарищ! — крикнули мне в ухо.— Что вам тут надо?

— Где «тут»? — крикнул я.— Где я?

Мой нос уткнулся в холодное мокрое железо. Это был край канализационного колодца. Вспыхнула спичка, и я увидел тех, кто меня держал. Это были рабочие, которые сняли крышку колодца и чинили водопроводную трубу. Я достал свой пропуск, вспыхнула вторая спичка и осветила синий картонный квадратик.

— Кто же, кроме диверсанта, полезет сюда,— буркнул один из них, возвращая мне пропуск.

— Я не диверсант,— возразил я.— Я заблудился.

— Все равно надо будет проверить вашу личность,— объявил второй.— Пошли.

Мы вылезли наверх, и они повели меня к углу, крепко придерживая за локти. Там милиционер — кажется, тот самый, который уже проверял мой пропуск,— отошел с нами в подъезд и осветил мне лицо фонариком. Он задал несколько вопросов и отослал рабочих. Потом повернулся ко мне.

— Иди, куда шел, американец,— сказал он.— Что-то тебе сегодня не везет.

— Это все затемнение,— начал я.— Будь посветлее...

Милиционер щелкнул каблуками и вернулся на свой пост.

■

В целом в эти первые дни войны Москва жила обычной жизнью. Только на окнах были наклеены бумажные полосы, а витрины закрыты мешками с песком. Достраивались новые здания, без перерыва продолжались работы по передвижению домов для

расширения улиц — их передвигали на десять, двадцать, а иногда и на тридцать метров. Немцы приближались к Смоленску, но Москва сохраняла спокойствие.

Весь день напролет громкоговорители на улицах и в парках передавали последние известия и инструкции населению. Один такой громкоговоритель был установлен на фасаде достраивающегося многоквартирного дома, и под изложение правил о поведении граждан во время воздушной тревоги каменщик, невозмутимо стоя на лесах, украшал фризом новый подъезд.

■

Первая бомбежка Москвы произошла ровно через месяц после начала войны. Четыре миллиона москвичей благодаря учебным тревогам были готовы к ней, и за полчаса до того, как первая пятисоткилограммовая бомба была сброшена недалеко от Кремля, все жители столицы, кроме тех, кто так или иначе участвовал в противовоздушной обороне, уже сидели в убежищах.

В эту первую ночь я спустился в метро и прошел в глубину туннеля, где на путях разместилось несколько тысяч человек. Час спустя я решил выбраться наверх и посмотреть, что там происходит. Когда я поднялся на платформу, милиционер потребовал, чтобы я вернулся в туннель. Но я показал ему свой ночной пропуск, объясняя, что я — американец и должен выполнять свои обязанности даже во время налетов. Собственно, ночной пропуск во время воздушных тревог был недействителен, но я размахивал им с таким апломбом и говорил так быстро, что милиционер в конце концов пропустил меня, а на другой день я выхлопотал себе пропуск на время воздушных тревог и больше до конца моего пребывания в Москве в убежища не спускался.

В эту первую ночь немцы сбросили на Москву весь смертоносный груз двухсот бомбардировщиков, которые проходили над городом волнами с перерывом в полчаса. На здания и улицы сыпались тысячи зажигательных бомб величиной с рекордный оранжерейный огурец. Недели учений дали свои результаты: пожарным и просто московским гражданам, дежурившим на всех крышах, удалось отстоять свой город от огня. «Зажигалка» не успевала упасть, как ее засыпали песком или швыряли в бочки с водой, которые стояли на всех чердаках и крышах. Алые сполохи занимающихся пожаров, как правило, гасли почти сразу же — дежурные быстро справлялись с огнем.

А с неба, свистя, падали фугасные бомбы, врезались в здания, вырывали кратеры на мостовых.

Действия противовоздушной обороны все эти пять с половиной часов не утрачивали слаженности и четкости. Сотни прожекторных лучей вонзались в небо. Непрерывно били зенитные батареи, расположенные кольцом вокруг Москвы, а также зенитные пулеметы и легкие пушки, установленные на крышах.

За эту ночь зенитным огнем было сбито семнадцать «юнкерсов».

После полуночи мы с моим русским шофером Александром приготовились промчаться через весь город на радиостанцию. Машину мы вечером оставили в проулке и теперь обнаружили, что сорванная взрывом железная решетка застряла у нее между колес. Мы пробовали в темноте убрать решетку. Вокруг по земле стучали осколки зенитных снарядов. В половине второго я должен был вести передачу на Америку и прекрасно понимал, что не сумею добраться до радиостанции, если нам не удастся справиться с решеткой. Ни такси, ни автобусов, ни метро — а до радиостанции четыре мили. Во многих странах — и, в частности, в Германии — радиостанции прекращали работу во время воздушных налетов, поскольку они дают своего рода пеленг. В Москве, однако, радиопередатчики не отключались никогда — возможно, русские считали свои передачи чрезвычайно важными и шли на риск, но скорее всего они попросту не боялись того, что́ немцы могли обрушить на них с неба.

Мой шофер был настоящим силачом, да и я не слаб, однако мы почти полчаса возились с этой решеткой — тянули ее и дергали, но без малейшего результата. В конце концов к нам подошел милиционер, и втроем мы ухитрились приподнять машину и высвободить ее из ловушки.

Потом мы помчались по улицам, которые были темнее алабамских сосновых лесов в новолуние, хотя иногда и озарялись вспышками падающих вокруг зажигалок. То и дело впереди возникал смутный силуэт пустого трамвая, и я инстинктивно хватал рулевое колесо и поворачивал его. Александр сердито толкал меня локтем в ребро и требовал, чтобы я не мешал ему вести машину: он не слепой и трамваи видит не хуже всякого другого.

Позади нас в мостовую врезалась фугасная бомба, и воздушная волна швырнула машину в сторону. Мы чуть было не влетели в дом, но Александр в последний момент выкрутил руль и мы соскользнули в воронку. К нам бросились народные ополченцы посмотреть, живы ли мы, но Александр дал задний ход, машина выползла из воронки, и мы помчались дальше.

Чтобы хоть что-то различать в темноте, Александр прижался носом к ветровому стеклу и рванулся вперед со скоростью сорок пять миль в час. Я уперся ногами в пол, держась за дверцу и за спинку сиденья.

За четыре квартала до радиостанции впереди на мостовую упала пятисоткилограммовая фугаска. Александр впечатал тормозную педаль в пол, и мы встали у самой

воронки. В воздухе еще летали кирпичи и булыжники, но почему-то ни один не угодил в ветровое стекло. Зато они грохотали по крыше машины и по капоту.

Снова дав задний ход, мы объехали воронку и добрались до радиостанции, почти не опоздав. Радиостанция работала совсем так же, как в мирное время. Только сотрудники вместе с оборудованием перебрались в подвал, который несколько напоминал палату для буйнопомешанных — стены, полы и потолки были обиты толстыми матрасами. Подвал содрогался от рвущихся неподалеку фугасных бомб, но грохот взрывов сюда практически не доносился. Вряд ли кто-нибудь из тех, кто слушал мою передачу в Соединенных Штатах, мог заподозрить, какой ад бушевал совсем рядом: ведь радиостанция входила в число важнейших объектов бомбежки.

Земля задрожала, здание содрогнулось, и микрофон задребезжал на подставке. Я судорожно сглотнул, перевел дух и продолжил передачу. Взглянув на стеклянную контрольную кабинку, я увидел, что режиссер и звукооператор ухмыляются во весь рот и кивают мне. По выражению их лиц я понял, что передача идет в эфир, словно ничего не случилось. Тут я окончательно решил, что русские надежно контролируют ситуацию, и Гитлеру, чтобы нарушить нормальную жизнь Советского Союза, придется придумать уж совсем невесть что. А ведь гитлеровские молодчики в эту ночь сделали все, на что были способны.

■

Вести передачу в подвале, когда кругом рвутся фугасные бомбы,— это одно, но стоять на крыше с ведром песка в одной руке и ведром воды в другой, пока с неба сыплется град зажигательных бомб,— совсем другое.

В эту ночь мы с Маргарет [1], чтобы переменить обстановку, забрались на крышу английского посольства, которое находится на восточном берегу Москвы-реки, прямо напротив Кремля. По пути на посольскую крышу мы с женой встретили сэра Стаффорда Криппса, тогдашнего английского посла в СССР, который спускался в подвал с книгой о китайском земледелии, халатом и собакой.

На крыше моя жена сразу начала устанавливать камеры, а мы с моим шофером устроились на южном конце крыши и приготовились ждать. Темнота была — хоть глаз выколи, дорогу по крутому скату мы нащупывали ладонями.

На крыше находилось несколько военных и военно-морских атташе, однако хотя я слышал их голоса, но не мог различить на черном фоне неба ни единого силуэта.

Ровно в десять завыли сирены, и через несколько минут вокруг города взметнулись ввысь светящиеся столбы прожекторных лучей. Загремели зенитные батареи на северной окраине города, и почти сразу мы услышали ноющее жужжание «юнкерсов».

Я ждал грохота фугасных бомб, но вместо этого раздался странный звук, словно из окна второго этажа на пустую бочку высыпали мешок фасоли. Это падали с неба тысячи «зажигалок».

Я услышал, как Маргарет побежала укрыться в чердачном окне, а мой шофер начал что-то кричать мне по-русски. При обычных обстоятельствах Александр вполне сносно говорил по-английски, но на этот раз он предпочел родной язык.

— Паанглиски, паанглиски! — крикнул я.

Он что-то закричал в ответ — как мне показалось, объясняя, что ситуация сложилась чисто русская и сейчас не время упражняться в английском языке. Несколько часов спустя, когда обстановка стала более или менее нормальной, выяснилось, что он советовал мне окунать зажигалки в воду, а песок приберегать на крайний случай.

Начали бить зенитные орудия, расположенные вокруг Кремля, и по крыше, словно град, застучали осколки. На мне была каска, а Александра я заставил привязать к голове небольшой мешок с песком. Маргарет была в каске, но я опасался, что ей понадобится менять пластинки в камерах именно в тот момент, когда град осколков будет особенно силен. И действительно, она решила выскочить из своего окна и изменить фокусировку одной из камер как раз тогда, когда на город начали кидать зажигалки. Я завопил через всю крышу, чтобы она скорее возвращалась на чердак и чтобы не смела нагибаться — не то шальной осколок, вместо того чтобы удариться о каску, вопьется ей в спину.

На крышу шлепнулась первая зажигалка, но кто-то из англичан тут же ее загасил. А кругом творилось что-то невообразимое. На востоке взметнулось алое зарево, словно бомба попала в цистерну с бензином. Напротив посольства повсюду в Кремле вспыхивали шары белого пламени. Сотни зажигательных бомб падали среди его шпилей и куполов, но их тушили почти мгновенно, и после первой белой вспышки они исчезали в воде или под песком.

Вокруг, сотрясая дома, гремели зенитные орудия, и по мостовой светляками рассыпались искры от осколков, ударявших по асфальту.

Александр прогромыхал по крыше к окну, крича что-то невнятное, и сбежал вниз к нашей машине, возле которой растекалось ослепительно белое пламя. Он высыпал на бомбу ведро песка и вернулся на крышу, где бомб теперь хватало на всех. Кое у

[1] Маргарет Борк-Уайт — журналистка, фоторепортер. Фрагменты ее книги «С фотоаппаратом на войне в России» были опубликованы в «Иностранной литературе» № 5 за 1975 г.

кого были асбестовые рукавицы и железные щипцы, так что они могли хватать бомбы и опускать их в бочки с водой, а все прочие, и я в том числе, лили на бомбы воду, сыпали песок, а если они не гасли, сталкивали их ногами на землю, где они не могли причинить вреда.

Град осколков усилился. Все звуки тонули в грохоте орудий, а небо было исчерчено трассирующими пулями. Александр поправил мешок с песком у себя на голове, а я подвернул брюки. Маргарет выскочила из окна и сменила пластинки. Английский генерал полз по коньку крыши к тому месту, где вспыхнула зажигалка. У меня не осталось ни воды, ни песка, и очередную бомбу мне пришлось сбросить вниз. Она упала на цветочную клумбу.

Летчики рассчитывали на свет пожаров для прицельного бомбометания, теперь же, когда их расчеты не сбылись, они начали бросать осветительные ракеты, и пока те медленно опускались на своих парашютах, бомбардировщики обрушили на Кремль фугасные бомбы. Маргарет влезла в окно и прижалась к балке, мы с Александром изо всех сил уцепились за печную трубу. Если бы мы этого не сделали, воздушная волна от разорвавшейся поблизости пятисоткилограммовой фугаски смела бы нас на землю.

Внезапно над нами совсем низко пролетел самолет. Под крыльями у него вспыхивали и гасли зеленые и красные огни, показывавшие зенитчикам, что это — советский ночной истребитель. Мы с Александром спустились с крыши и поехали на радиостанцию. На полдороге нам пришлось остановиться, потому что с северо-запада приближалась новая волна бомбардировщиков. Они уже не тратили времени на поиски цели и швыряли бомбы куда попало. Одна упала совсем рядом с нами. Мы юркнули под машину и переждали, пока не упал последний обломок кирпича, а потом поехали дальше.

Окончив передачу, я вышел во двор радиостанции и чуть было не свалился в глубокую воронку, но Александр вовремя схватил меня за плечо. Оказалось, что все стекла в здании вылетели, но я узнал об этом только сейчас — передача прервана не была.

■

До последней минуты не было ясно, сумеем ли мы купить билеты на поезд до Архангельска, хотя накануне позвонила кассирша и заверила нас, что мы можем быть спокойны — девяносто девять шансов за и только один против.

Мы встали в шесть утра. Был обычный рассвет начала октября. Башни Кремля и высокие дома вокруг отеля плавали в густом тумане, а по стеклам стекали струйки воды.

В Москве не было и намека на панику — ничего, кроме суровой решимости научиться всему, что могло пригодиться для обороны города. Девушки, дети, старики и домашние хозяйки учились заряжать пулемет, бросать гранаты под гусеницы танков, носить винтовку и полдюжины молочных бутылок с горючей смесью. Никто на свете не мог бы сейчас сравниться с москвичами твердостью и целеустремленностью.

Накануне в течение нескольких часов я объезжал северные и западные окраины столицы. Немцы рвались к Кремлю, и население Москвы, сознавая всю меру опасности, готовилось встретить ее. Там, на окраинах и на подступах к городу, я понял одно: каков бы ни был исход, оборона Москвы войдет в анналы истории как самая героическая оборона нашего времени. Доказательства этого я встречал на каждом шагу. Отряды рабочих по пятьсот человек, если не больше, рыли противотанковые рвы невиданной глубины и строили другие укрепления. Не пять-шесть отрядов, а десятки, если не сотни. Большинство составляли народные ополченцы, но бок о бок с ними работали женщины, дети, продавцы, пекари, актеры, учителя, носильщики, журналисты, слесаря и стенографистки. Здания минировались, на улицах возводились противотанковые укрепления. Город был готов к угрожающей ему осаде.

Гитлер не сумел, как рассчитывал, разгромить Советский Союз в стремительной двухмесячной кампании, потому что гражданское население страны без паники выдерживало воздушные налеты, а солдаты не боялись его армий. Ему удавалось словно по часам сокрушать другие страны благодаря искусному использованию страха и пропаганды. Советские люди, однако, питали к немецкому фашизму глубочайшее презрение, преодолеть которое Гитлер был бессилен, и когда он обрушил на них всю свою ярость, то получил ответный удар, на какой способен только народ, единый в своем мужестве и гневе...

В начале восьмого позвонила кассирша и сообщила, что билеты для нас есть. Наш поезд отходил в 9.45, но мы на всякий случай отправились на вокзал в восемь.

Посадка началась за тридцать минут до отхода поезда, и мы шли к нашему вагону мимо густых толп красноармейцев и матросов, грузившихся в военные эшелоны, которые увозили их на север. Наш поезд состоял из четырнадцати пассажирских вагонов и двух почтовых.

До отхода поезда оставалось десять минут, и мы принялись устраиваться — в мирное время этот путь занимал двое суток, но нам предстояло ехать три дня и две ночи. В поезде не было вагона-ресторана — все такие вагоны, как и купейные, к поездам с начала войны не прицеплялись.

Поезд отошел точно по расписанию, и Москва довольно быстро осталась позади. Мы проехали фабричный район, где не было заметно никаких следов бомбежки, и за

окном замелькали одноэтажные деревянные домики пригородов. Эти бревенчатые некрашеные дома на одну семью с двумя—пятью комнатами типичны для России, и их можно увидеть повсюду от Украины до Белого моря.

Первые пятьдесят миль в северо-восточном направлении мы ехали со скоростью около тридцати миль в час. Вокруг расстилались зеленые холмы с разбросанными по ним березовыми и сосновыми перелесками, где можно было заметить группы детей, женщин, а иногда и солдат, собиравших грибы. Сельский пейзаж казался таким же мирным, как полгода назад, но в каждом большом селении можно было заметить те или иные признаки войны — артиллерийские или танковые позиции, марширующих солдат и обязательно военные грузовики.

Мы часто останавливались, пропуская эшелоны. Со стороны Ленинграда шли санитарные поезда, а навстречу им мчались составы товарных вагонов, в их открытых дверях толпились веселые, смеющиеся солдаты, и составы из платформ с танками — тяжелыми, средними и легкими. На крышах вагонов, на тормозных площадках платформ задирали вверх стволы зенитные пулеметы и пушки. Эти поезда шли на полной скорости к Ленинграду, и интервалы между ними порой не превышали десяти, а то и пяти минут.

Друзья в Москве уговорили нас запастись провизией на дорогу, и мы не раз с большой благодарностью вспоминали их советы. Мы взяли припасов на три дня; в трех корзинках кроме хлеба, масла, джема, сыра и ветчины лежали шесть бутылок минеральной воды, жареная курица, икра — паюсная и зернистая — и копченая колбаса. До отъезда мы побаивались, что набрали лишнего, но уже к концу первого дня стало очевидно, что мы должны экономить, если хотим растянуть наши запасы на все девятьсот миль, которые нам предстояло проехать в поезде, то и дело простаивающем на запасных путях от пяти минут до четырех часов.

Около половины шестого начало смеркаться, и проводница прошла по вагонам, опуская шторы затемнения на окнах. Потом она зажгла единственную синюю лампочку под потолком в середине вагона, и пассажиры начали устраиваться на ночь. Постели были только у нас с Маргарет, а все остальные просто завертывались в пальто и растягивались на своих полках.

Ночью мы повернули и теперь ехали прямо на север. К полудню второго дня мы проехали около трехсот миль и оказались на одной параллели с Ленинградом, который находился западнее. Мы пересекли ленинградскую ветку Транссибирской железной дороги и покатили дальше на север.

Погода оставалась туманной, но к вечеру второго дня заметно похолодало. По вагону гуляли ледяные сквозняки, и мы мерзли, хотя спали в одежде, укрывшись пальто и одеялом. По какой-то причине — возможно, в связи с войной — вагоны не отапливались.

На заре я отодвинул штору затемнения и увидел за окном крутящиеся снежные вихри. Земля была скрыта под сугробами. С крыш станционных зданий свисали длинные сосульки.

Около полудня поезд остановился в довольно большом городе на сорок минут, и Маргарет решила во что бы то ни стало раздобыть какой-нибудь горячей еды, а я остался в вагоне сторожить наши вещи. Мы заметили, что наши спутники спали, подложив под голову вместо подушек узлы и чемоданы, а те, у кого было несколько вещей, связывали их веревкой с хитрыми узлами. Итак, я остался в вагоне, а Маргарет побежала через пути к буфету. Там оказалась очередь человек из пятидесяти, и она простояла около получаса, поглядывая то на дымящуюся кашу, то на поезд. Добравшись, наконец, до прилавка, Маргарет узнала, что тут кашу дают по талонам, и ей пришлось бежать в другой буфет — коммерческий, где каша продавалась свободно, но по более дорогой цене. У нее не было времени стоять еще полчаса в другой очереди, а потому она начала громко объяснять, что ее поезд скоро уйдет.

Поднялась суматоха; по-видимому, мы были не только единственными иностранцами в поезде, но оказались первыми чужеземцами, ступившими на землю этого городка. Кто-то побежал звать милицию, чтобы арестовать «немецкую шпионку», но тут морской офицер, говоривший по-английски, в мгновение ока уладил недоразумение. Он помог Маргарет купить большой бачок ячменной каши с растопленным маслом, и она благополучно вернулась с ним в вагон.

Мы тут же уписали эту кашу до последнего зернышка. Нигде в мире я не едал ничего вкуснее. Потом говоривший по-английски моряк, который ехал в соседнем вагоне, принес нам банку рыбных консервов и сам вскрыл ее. После чего проводница внесла в вагон большой бак с кипятком, и мы налили себе полные чашки. Чая не было, а с собой мы его не захватили, но оказалось, что к северу от шестидесятой параллели горячая вода отлично заменяет и чай и кофе.

Мы стояли на этой станции очень долго, пережидая бесконечные составы с солдатами, танками, самоходными орудиями и всем прочим. Поезд тронулся почти в пять вечера, а до Белого моря оставалось еще больше четырехсот миль.

Утром мы съели последний хлеб и вскрыли банку с клубничным вареньем. Наши запасы совсем истощились, у нас осталось немного паюсной икры, кусок сыра и кольцо копченой колбасы, а в пути нам предстояло пробыть, по-видимому, и четвертые сутки. Поэтому мы решили разделить остатки еды — я выбрал сыр и икру, а Маргарет сказала, что ее вполне устроит колбаса. Мы припрятали свои порции и договорились, что пер-

вый, кто съест свою долю, не будет глядеть умоляющими глазами на второго. Мы ехали через глухие северные леса, и было ясно, что на станциях ничего съестного продаваться не будет.

Поезд шел по плоской равнине с легким уклоном к северу. По обеим сторонам железнодорожного полотна лепились лесопильни, но вокруг не было видно никаких следов человеческого жилья — лишь изредка за окном мелькали деревушки. На маленьких станциях, где мы останавливались, виднелся десяток домишек среди моря черной грязи. Тут лил дождь, и казалось, он льет, не прекращаясь, круглый год. Дома были бревенчатые, как и южнее, но более грубой постройки. Кое-где стояли стога сена, приподнятые на подпорках над мокрой землей — единственные признаки сельскохозяйственных занятий. Коров не было видно, но возле каждого дома на крылечке, под навесом или у стены жались две-три козы.

Среди рабочих, которых мы видели из окна, три четверти были женщины — они перекатывали бревна, грузили вагонетки, копали торф. Железная дорога тоже обслуживалась почти исключительно женщинами, а единственными мужчинами в поездной прислуге были машинист и кочегар.

В полдень на третий день я заметил, что поезд набирает скорость и мы все меньше времени стоим на запасных путях. Появилась надежда, что мы доберемся до устья Северной Двины — места нашего назначения — еще до полуночи. Маргарет, которая совершенно освоилась с жизнью в жестком вагоне, сказала, что с удовольствием готова провести на своей полке еще одну ночь: ей это нравится. Тем не менее она доела колбасу, а я на всякий случай решил не обедать — вдруг нас поставят на ночь на запасной путь.

Однако поезд все набирал и набирал скорость, и к пяти часам стало ясно, что мы приближаемся к большому городу. На холме высился лыжный трамплин. Дома были оштукатурены, выкрашены и окружены чистыми дворами.

В половине шестого, когда солнце заходило за горизонт, наш поезд остановился у вокзала на болотистом западном берегу Северной Двины. Здесь железнодорожный путь кончался. Напротив лежал Архангельск. Мы находились на два градуса южнее Полярного круга, и дальше путь в Америку лежал через зимнее арктическое море.

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

ФРИДРИХ ВОЛЬФ

Германская Демократическая Республика

Из книги «Он разбудил мир», 1954 г.

■

ФРИДРИХ ВОЛЬФ (1888—1953) — немецкий драматург. Автор пьес «Бедный Конрад» (1924), «Матросы из Катарро» (1930), «Профессор Мамлок» (1934), «Флоридсдорф» (1935), «Троянский конь» (1937), «Бургомистр Анна» (1950), «Томас Мюнцер» (1953), романов «Двое на границе» (1938), «Менетекел, или Летающие блюдца» (1952).

Многие пьесы Ф. Вольфа ставились на советской сцене.

Семнадцать буханок хлеба

Случай с семнадцатью буханками хлеба произошел зимой, в донской степи 21 января 1943 года. Сейчас станет ясно, почему я так точно запомнил дату.

Шестая гитлеровская армия, отвергнув предложенную советскими войсками капитуляцию, была отброшена назад, на еще более узкие рубежи. Железное кольцо окружения смыкалось все теснее. В огромных просторах зимней степи даже мелким группам немецких соединений не удавалось вырваться из жестких клещей и отойти на запад. Так, в предрассветном утреннем тумане мы наткнулись на группу штабных офицеров и их адъютантов во главе с полковником Э. Полковник был немало удивлен, увидев перед собой советских солдат; его люди и он тотчас же сдались в плен, при этом он не преминул подчеркнуть, что как лицо, близкое к «штаб-квартире фюрера», он рассчитывает на особое с ним обращение. По документам было видно, что он из Дрездена. С 1912 по 1914 год я работал в Дрездене ассистентом врача и спросил на всякий случай, как поживает его кузен Э., чья историческая драма шла тогда на королевской сцене. Полковник уставился на меня как на привидение. Оказалось, тот действительно был его кузеном! Кроме того — откуда чужой человек в русском полушубке, зимой, в степи на Дону, мог знать его кузена?! Я ответил господину полковнику, что в данный

момент это не существенно. Из дальнейшего разговора выяснилось, что полковник был страстным любителем роз и имел только одно «личное желание» — заняться разведением роз где-нибудь в более теплом климате, предпочтительно в Ташкенте.

«Для всех нас это было бы лучше»,— сказал он глубокомысленно.

Было 20 января.

Совсем по-другому вели себя сорок моих соотечественников — немцы, которых мы встретили на следующее утро. Они не выразили желания разводить розы в Ташкенте, они вообще не выражали никаких желаний. Обессиленные, апатичные ко всему, с серыми изможденными лицами, они лежали в снегу, на дне балки. Очевидно, уже много дней они не умывались и не ели. Это были отбившиеся от своих частей солдаты шестой армии.

Я заговорил с ними. Они были настолько истощены, что не находили сил для ответа. Один из них поднялся, я дал ему горячего чая и два сухаря. Я никогда не забуду, как он ел — с жадностью, не переводя дыхания, ни на кого не глядя. Мне стало ясно, что едва ли кто из этих сорока человек переживет хотя бы еще одну ночь. Я пошел к командиру дивизии, в распоряжении которой находился, и описал ему положение полуживых немецких солдат, ставших теперь уже, по существу, военнопленными.

Командир дивизии — молодой генерал-майор — задумался. Он знал меня как немецкого писателя, а сейчас увидел во мне врача и агитатора-антифашиста. Он сказал:

— Что я могу сделать? Моя дивизия на боевом марше. Вы же знаете, на колесах у нас только самое необходимое. Куда же я помещу сорок человек?

Я ответил, что, если дать им горячего питья и немного еды, то кое-кто из них поднимется и сможет дойти до ближайшего эвакуационного пункта, а остальные подождут, пока подойдут машины. Командир дивизии предложил мне пойти с его вторым адъютантом в штаб ближайшего полка и попытаться что-нибудь сделать.

Командиром полка оказался подполковник — сибиряк из Кузбасса,— необыкновенно крепкий плечистый мужчина, настоящий «сибирский медведь». Поначалу он вообще был не в восторге от нашего появления, потому что мы свалились ему как снег на голову, в самый разгар обсуждения тактики предстоящих боев. Адъютант командира дивизии представил меня, и я попросил на своем далеко не идеальном русском помощи для непригодных к маршу немецких военнопленных. Подполковник выслушал меня спокойно и молча посмотрел серыми внимательными глазами на развернутую на столе карту. Его молчание длилось для меня бесконечно. Может, он думал о выжженной земле под Сталинградом? Или о сожженных дотла городах и селах Украины и Донбасса? Я тоже посмотрел на стол, на листке календаря с множеством пометок дата — 21 января...

День смерти Ленина.

Первой моей мыслью было воззвать к интернациональной солидарности в духе Ленина. Но уже в следующий момент я понял, что делать это в подобной ситуации, да еще ради гитлеровских солдат было бы неуместным.

Наконец подполковник сказал:

— Видите ли, товарищ, я не могу приказать своим солдатам, готовящимся к наступлению, чтобы они отдали свой НЗ, но если они сами захотят поделиться с немцами...

Он не докончил фразы и выжидательно поглядел на меня. Я уже знал эту манеру советских офицеров, неохотно приказывавших мне и стремившихся скорее выяснить, как поведет себя немецкий коммунист в той или иной ситуации. Поэтому я ответил подполковнику:

— Если вы разрешите, я сам поговорю с вашими солдатами.

— Вот это я и имел в виду! — с живостью подхватил командир полка.— Вы говорите по-русски — ну, нет-нет, у вас получится,— это ваши соотечественники, вы стараетесь ради них. Поговорите в части, которая расположена к ним ближе всех. Найдите самые сердечные слова! Говорите в полный голос! Попытайте счастья! Я отправлю с вами одного из наших офицеров. Не возражаете?

— Не возражаю! Большое спасибо, товарищ подполковник!

Командир подозвал одного из штабных офицеров — высокого темноволосого молодого старшего лейтенанта с живыми глазами — и сказал:

— Толя, отправляйтесь вместе с товарищем. Вы все слышали. Действуйте от моего имени.

Поблагодарив еще раз, я взял свою ушанку и рукавицы. Командир пожал мне руку и сказал:

— Все ясно. Родину не так легко забыть. Между прочим,— добавил он,— сегодня 21 января. Вы же знаете... Ленин высоко ценил Карла Либкнехта и немецкий пролетариат и, собственно, в помощь им написал «Детскую болезнь»... Может, вам стоит сказать и об этом?

Неужели подполковник прочел мои мысли?

В трескучий мороз при ослепительном солнце мы ехали с Толей — старшим лейтенантом — по направлению к балке, к немецким солдатам. Мы быстро сдружились с ним — одесситом, бывшим студентом-германистом. У Толи был настоящий одесский темперамент, он так и брызжел шутками, жизнерадостностью, весельем. Вперемежку

он расспрашивал меня про Германию, рассказывал о своей учебе и никак не мог найти достаточно выразительных слов, расхваливая свою родную Одессу — самый красивый город на свете.

Степь звенела от мороза, а он пел во все горло о своей любимой Одессе, о Черном море, об одесситах...

Популярная в нашей дивизии песня задорно летела сквозь морозное утро. Ее тут же подхватил наш водитель, несмотря на то, что машина часто буксовала на снежных заносах, а вскоре уже вся часть, расположившаяся в разрушенной казачьей станице, пела про «Одессу-маму».

Толя остановил машину. Он повел меня в штаб батальона. Командир батальона — капитан, Толя его хорошо знал — как раз собирался идти на ленинский митинг, в котором должны были принять участие обе роты, стоявшие в станице. На руку мне это или нет? А Толя уже проинформировал капитана, и тот попросил меня сказать на митинге несколько слов. Я еще раз изложил свою просьбу и выразил сомнение, подойдет ли все это по теме к траурному митингу, к тому же мой русский...

На что он ответил, что мой русский просто превосходен! Только я должен говорить как можно убедительнее! А тема как раз очень подходящая к ленинским дням.

Сопротивляться было бесполезно.

Обе роты выстроились на краю сожженной станицы в две шеренги в открытом полукаре, все в длинных полушубках, подпоясанные ремнями, с примкнутыми штыками. Капитан говорил о Ленине, о ленинской стратегии и тактике во время интервенции 1918—1920 годов, о вере в русский народ, о ленинском патриотизме и непоколебимой уверенности в международной солидарности трудящихся. И тут капитан рассказал, как в декабре 1918 года Ленин отправил голодающим немецким рабочим эшелоны с зерном и мукой, но социал-демократическое правительство Эберта остановило их на границе и не пропустило в Германию. Да, Ленин как зеницу ока берег принцип международной солидарности.

Сознаюсь, у меня бешено забилось сердце, когда я услышал слова капитана, прокладывающие мне путь к сердцам советских бойцов. Меня захлестнула волна благодарности, стыда и собственной беспомощности. А капитан уже говорил о том, что немецкий врач и писатель на стороне справедливой борьбы — решительным жестом он вытащил меня вперед, поставил рядом с собой, положил мне руку на плечо — и что этот немецкий коммунист хочет сказать советским бойцам несколько слов.

Советские солдаты тепло приветствовали меня. Я не могу сейчас в точности воспроизвести, что я сказал им тогда или, точнее, беспомощно пролепетал. Я знаю одно: я был взволнован, и мои слова шли от самого сердца. Возможно, бойцы Красной Армии почувствовали это. Я коротко рассказал им, что в первую мировую войну тоже был солдатом и голосовал 8 ноября 1918 года в Саксонии в дрезденском Совете рабочих и солдат за солидарность с молодой республикой Советов и какую испытал горечь и боль, когда немцы подняли руку на первое государство рабочих и крестьян... и что именно Ленин говорил о том, что других можно и нужно убеждать не только силой оружия, но и словом, верой в свое дело и своей терпимостью к ним. Поэтому я здесь, на советском фронте, чтобы убедить своих соотечественников-немцев покончить с преступной гитлеровской войной! Но чтобы убедить, необходимо время и терпение. Русская пословица гласит — счастье, что она пришла мне в голову! — лежачего не бьют. Там, в пятистах метрах, в степной балке лежат на снегу сорок до смерти измученных немецких солдат, военнопленных, в основном наверняка рабочие и сыновья рабочих. Я спросил бойцов Красной Армии — не могут ли они и не хотят ли помочь этим уже «лежачим» немцам?

Капитан поддержал меня, дал команду «вольно» и предложил ротам посовещаться, а мы отошли в сторонку. Не прошло и десяти минут, как подошли оба командира рот и доложили, что солдаты готовы предоставить из своих запасов в распоряжение немецких военнопленных семнадцать буханок черного хлеба.

Что тут долго рассказывать?

Разъяснить полумертвым немецким солдатам эту форму пролетарской солидарности среди кошмаров ужаснейшей из всех войн было почти невозможно. Да сначала просто было и не до этого. Бойцы советского батальона принесли им горячий чай, водку и семнадцать буханок хлеба.

Немецкие солдаты ели и пили, сначала медленно, почти рефлекторно, с полузамутненным сознанием. Но когда горячий напиток побежал по их застывшим жилам, когда они почувствовали во рту вкус хлеба, они начали есть с неимоверной жадностью, в них вновь проснулась жажда жизни.

Капитану пора было возвращаться в батальон, он обещал мне послать связного в ближайший эвакопункт и забрать военнопленных до наступления ночи.

Прежде чем я ушел, я попробовал объяснить немецким солдатам, кому они обязаны семнадцатью буханками хлеба, а может быть и своей жизнью, и как бойцы Красной Армии отметили таким образом день смерти Ленина. Но я не уверен, поняли ли меня тогда, в донской степи, мои соотечественники и помнят ли они об этом сейчас.

Перевод с немецкого Г. КОСАРИК

ЖАН-РИШАР БЛОК

Франция

Из книги
«Москва — Париж»,
1946 г.

ЖАН-РИШАР БЛОК (1884—1947) — известный французский писатель, публицист и общественный деятель. В годы второй мировой войны жил в СССР, регулярно выступал по московскому радио.

На русский язык переведены его романы: «... и компания», «Сибилла», документальные повести «На грузовом пароходе», «Земляные орехи и бананы», публицистическая книга «Испания! Испания»! и др. Фрагменты книги «От Франции, которую предали, к Франции борющейся», за которую посмертно писатель был удостоен Золотой медали мира, напечатаны в «Иностранной литературе» (№ 5, 1975).

18 декабря 1944 года. Три с половиной года мы жили той суровой, напряженной жизнью, какою жил тогда этот великий народ.

И вот я уезжаю домой.

Сталинград

Мы пролетаем над местом, где развернулось самое грандиозное за всю историю человечества столкновение двух армий — Аустерлиц гигантов.

Внезапно поле битвы, все целиком, предстало перед нашими глазами. Вон та широкая, светлая, скованная льдом, извилистая лента — это Дон. А вот место, где Красная Армия с севера форсировала реку. На высоком, крутом южном берегу, который она атаковала, повсюду видны следы укреплений. Снег словно ощетинился бесчисленными колючими черными треугольниками воронок, которые кажутся еще глубже от залегшей в них тени.

По мере того как мы снижаемся, многое вырисовывается яснее и четче. Вон тот холм неясных очертаний оказывается кладбищем грузовиков и пушек. А эта гора — кучей сбитых «юнкерсов».

Далеко кругом, насколько хватает глаз, разбитые грузовики, витки колючей проволоки, наглядные свидетельства жестоких боев. Ведь это здесь были постепенно окружены, оттеснены, зажаты в кольцо побежденные Красной Армией, морозом, голодом дивизии фон Паулюса; здесь они бились в агонии. На этом клочке земли огромные транспортные «юнкерсы» пытались приземляться и взлетать. Их обломки валяются здесь, смешавшись с тем, что осталось от людей, которых ненасытная, алчная гитлеровская Германия послала сюда умирать.

Я шагаю по земле, взбугрившейся от трупов. Здесь чашу страданий испили до дна. И хотя фашисты узнали те муки, какие по их милости испытала Европа, все же они не понесли должного наказания за лагеря смерти, где сотни тысяч людей еще обречены на медленную гибель.

...Снова мы в воздухе. Самолет делает широкий вираж, и мы пролетаем над самим Сталинградом. Огромный город узкой полосой протянулся вдоль берега Волги. На первый взгляд, залитый щедрым южным солнцем, он кажется нетронутым войной. Величественно вздымаются многоэтажные дома. Но присмотритесь! Это не дома, а всего лишь стены. И каждая стена — лишь гигантская решетка с зияющими дырами окон, сквозь которые беспрепятственно проходят солнечные лучи.

Из восьмисот тысяч жителей города вернулись только шестьдесят тысяч, и они сразу взялись за восстановление заводов, порта, больниц, школ, всюду выросли леса строек...

...Но вот праздник света угасает. Яркие краски жизни уступают место пепельно-серым, мрачным тонам холодного мрамора. Мы погружаемся в ночь. Самолет продолжает свой путь в ледяной мгле.

Баку

Этому городу повезло. В нем, выгодно контрастируя, легко сочетаются и смешиваются русский и восточный стили. Живописные старинные кварталы окружены прекрасным современным городом с величественной архитектурой. Я полюбил Баку десять лет назад и сейчас вновь испытал то же восторженное чувство, ловя в конце каждой улицы и на обеих оконечностях широкой бухты дыхание близкой пустыни.

Она подходит к самому городу, к самому морю, придавая им цвет львиной шкуры и накладывая на них отпечаток сурового величия. Она-то, в конечном счете, и определяет неповторимость Баку.

Итак, мы покидаем страну, где каждый призван трудиться в общих интересах; страну, где каждый юноша, каждая девушка может выбрать свое место в жизни, взяться за любую роль в гигантском коллективном строительстве общества; страну, где всегда нужны инженеры, техники, артисты, производители любого вида продукции; страну, где такие понятия, как личная выгода, борьба за прибыли, конкуренция в торговле, мало-помалу растворяются в тумане прошлого и в конце концов неминуемо будут преданы забвению.

Молодое поколение советских людей теперь уже знает, что в мире существуют миллионы парней, которым далеко не просто зарабатывать на хлеб, расхваливая на всю улицу свой товар: одни продают шнурки, другие лезвия, третьи — газеты или почтовые открытки; и всю свою энергию, все душевные силы они вкладывают в то, чтобы переманить у соседа клиента, выгадать несколько су за счет веса, качества, количества товара, надуть покупателя, не забывая надуть поставщика и заимодавца,— короче говоря, их лихорадочная и бесплодная жизнь сводится к неустанной борьбе, полной всяческих уловок и темных махинаций, диктуемых бизнесом.

О Максиме Горьком

В конце июня 46-го общество «Франция—СССР» собрало парижан в зале Плейель на вечер памяти Горького. Вести собрание неожиданно пришлось Вильдраку вместо Дюамеля, который приехать не мог. Йоннель из «Комеди франсэз» великолепно прочел одну из сказок великого писателя, заслуженно встреченную взрывом аплодисментов. Затем Шарль Дюллен талантливо, как всегда, исполнил другую, не менее чудесную сказку. В конце вечера был показан фильм — первая (великолепная) часть трилогии, которую советские кинематографисты посвятили жизни Горького. Заметим кстати, что это блестящий пример подлинно просветительской роли кинематографа; правда, для этого необходим общественный строй, где капитал не является всемогущим и где прибыль не стоит во главе угла.

Меня попросили произнести небольшую речь. Вот она.

К X годовщине со дня смерти Горького

«Милые, умолкшие голоса...» Эта строка Верлена звучит в нашем сознании и наших сердцах как отзвук тех молчаний, что мы так остро ощущаем вокруг! Нам кажется, что мы в плену шума, пустых слов, треволнений... Но напрягите слух, вслушайтесь в бездны, взвесьте пустоты, осмыслите то, чего уже нет, и осознайте, что на самом деле мы идем через пустыню, населенную немыми призраками — призраками тех, кто покинул нас посредине пути.

Во время той войны, когда голос Ленина еще не дошел до нас, мы часто задавали себе вопрос: «А что сказал бы Пеги? А как поступил бы Жорес?» В отчаянии мы вызывали к жизни этих великих свидетелей событий своего времени, чьи голоса заглушала могильная плита.

Вот уже сорок лет ученые спрашивают себя: «А как бы Кюри объяснил этот феномен, продолжил этот опыт, развил эту гипотезу?»

То, что мы называем богатством,— всего лишь крохи, доставшиеся нам с праздничного стола. И среди всех умолкших голосов невосполнимее, тяжелее всего — молчание Горького. Из всех милых нашему сердцу, угаснувших людей он — самый великий. Ведь он столько мог бы еще нам сказать! Какие гениальные сказки мог бы еще сложить этот мудрый волшебник к нашей радости и наслаждению!

Русский народ льнул к Горькому, видя в нем свое возвышенное отражение, слыша эхо собственной совести, узнавая легенду о себе самом.

Горький с гневом и любовью, яростно и нежно выписывал образы тысяч и тысяч простых русских людей. Он показывал внутреннее духовное богатство русского человека, которое не могло раскрыться в те тяжелые времена, когда народ этот, не обретший еще свободы и силы, не ставший еще хозяином своей судьбы, грязный, невежественный, униженный, потерявший надежду, не осознавал, какие в нем скрыты сокровища.

И когда русский народ освободился, когда он разогнулся, встал во весь рост в порыве мучительного обновления, которое мы именуем революцией, Горький всегда оставался на его стороне, до конца разделяя его беды и тревоги.

Царизм, капитализм, буржуазная олигархия не знали более последовательного и безжалостного врага.

А теперь я хочу рассказать, как я видел Горького.

Двенадцать лет назад, летом 1934 года, пятьдесят иностранных писателей съехались в Москву, чтобы присутствовать в качестве гостей на съезде, где впервые собрались писатели — представители шестидесяти народностей Советского Союза.

Максим Горький открыл съезд большой речью и вел все заседания. На фоне гигантского красного полотнища, натянутого позади трибуны до самого потолка, рядом с портретами Ленина и Сталина висел огромный портрет писателя. Модель, сидевшая у ног собственного изображения, казалось, была специально уменьшена для удобства собравшихся. Они имели полную возможность в течение трех недель, пока на съезде шли прения, сравнивать живого человека с его изображением и пытаться постичь секрет его интеллектуальной и писательской мощи.

Как он мне близок! Немногие люди достойны своих портретов. Горький же принадлежит к той редкой, привилегированной породе людей, которые всегда верны себе: ни стеснительность, ни ложный стыд, ни преувеличенная скромность или церемонность, ни комплекс неполноценности или комплекс превосходства не меняют, не деформируют их.

Я только что употребил производное от «привилегии» и понял, что здесь это слово неуместно. Ни Горький, ни, скажем, Уитмен не обладали «привилегиями» от рождения. Скорее это можно назвать победой гордости над униженностью, свободы над рабством, могучего духа над нашим убожеством...

Я гляжу на него во все глаза. Этот худой человек уже не первой молодости, много лет подтачиваемый болезнью,— воплощение несгибаемой силы. Он словно сделан из сердцевины нестареющего дуба. Еще достаточно густые волосы; пышные, как у парижского рабочего, усы; насмешливо вздернутый нос, лукавые, с огоньком глаза; смуглолицый, ширококостый, высокий — неужели в этом человеке неумолимо работает разрушительная сила? И однако, он болен. Туберкулез.

Речь Горького осталась не только в собрании его произведений — она навсегда останется в нашей памяти как свод задач литературы социалистического общества. В тот день Горький скрепил новый союз между обществом и художником.

...Едва появившись на трибуне, Горький сразу покорил зал своим авторитетом и независимостью суждений. Стоило ему начать говорить, как вспыхнули прожекторы, защелкали фотоаппараты. Он прервал речь и с напускным возмущением, в котором проскальзывало озорство, но слышались и повелительные нотки, воскликнул: «Потушите эти свечи! Да потушите же эти свечи!»

В этом неожиданном возгласе вдруг проявился народный юмор; зал оживился, раздался смех. Горький тоже смеялся, продолжая что-то бурчать,— он возобновил речь, лишь когда несчастные фотографы ретировались.

Неожиданно выступление Горького было прервано приступом кашля. И он сразу сделался растерянным и больным. К нему подошел кто-то из президиума. Вместо полнозвучного, усиленного микрофоном голоса, единовластно царившего в огромном зале, теперь послышались перешептывания, точно в комнате больного. Собравшихся охватило волнение и беспокойство. Тогда кто-то громко объявил, что Горький просит, чтобы в зале не курили...

Необычный съезд

(Отрывки из стенограммы импровизированной конференции, состоявшейся в Советской России в августе 1934 г.)

Давайте перенесемся в Париж, в Латинский квартал или в Бельвиль, в среду французских рабочих или французской интеллигенции. Меня спросят о впечатлениях от поездки в СССР. Вот что я им отвечу:

«В мае или в июне я получил приглашение на съезд; составлено оно было крайне лаконично: «Вы приглашаетесь на съезд советских писателей...». Я понятия не имел, что это будет такое.

Наши товарищи в Советском Союзе и не подозревают, до какой степени незначительна информация о духовной жизни их революционной, обновляющейся страны, которая появляется в нашей французской прессе...

Атмосфера на съезде была чрезвычайно серьезная.

Советский Союз унаследовал от царизма огромную колониальную империю, населенную множеством угнетенных народов, часть которых насильно подвергали русификации. В этой связи одна из главных задач революции в области культуры состояла в том, чтобы вернуть многочисленным народностям России их духовную, языковую, литературную автономию — вернуть им их душу.

У некоторых народностей до революции не было даже алфавита. Им его дали. На съезде писателей присутствовали поэты — посланцы народа, у которого восемь лет назад вообще не было письменности.

Шестьсот писателей, приехавших на съезд, были не просто литераторами — нет, там собрались шестьсот революционеров, для которых оружием служит перо, а рабочим инструментом — слово; и они никогда не забывают о том, что перед ними стоят две задачи: общественно-политическая и эстетическая. И в этом — то новое, что бросается в глаза.

Это — одно из самых значительных явлений во внутренней эволюции Советского Союза после 1917 года.

При том, что Советский Союз с присущей ему спокойной уверенностью продолжает вооружать страну, стараясь как можно скорее сделать ее обороноспособной, чтобы она могла противостоять страшной опасности извне, советская власть находит время и силы для культурного строительства, самого грандиозного во все времена.

В Москве мы имели возможность убедиться в том, что перед нами социалистическое, по сути своей, общество, где качества человеческого духа ставятся превыше всего. Сто шестьдесят национальностей, многие из которых еще двадцать лет назад жили в ужасающей нищете, в самом примитивном, первобытном состоянии. И этим народам сказали: «Каждый из вас имеет право на поэзию, на красоту, на литературное самовыражение, самое искреннее, самое честное, самое полное». В этом признании человеческого достоинства, в этом возвеличивании ценности индивидуума нас восхищает интеллектуальная, гуманная, коммунистическая направленность нового общества.

Делегации из республик передавали в президиум наивные, иногда забавные подарки — съезд встречал их улыбками и аплодисментами; тут были гигантские дыни, крохотные машинки, снопы пшеницы, рулоны материи — наглядное свидетельство огромной симпатии всего народа...

Съезд этот будет иметь значение и для нас: он подтолкнет писателей Запада к установлению контактов с рабочими, к созданию литературных кружков на больших заводах, и тогда наши рабочие будут дарить нам то же тепло, давать такой же импульс нашему творчеству, какой получают советские писатели от своих рабочих и колхозников.

Для советского литератора-творца этот съезд был символом того, чего так остро недостает художнику в капиталистических странах,— единения с народом...

Однажды ночью, в холле одной из тбилисских гостиниц, в темноте — из-за аварии на электростанции — я вел необычный разговор с русской женщиной, которая сказала мне: «У Роже Мартен дю Гара в его «Тибо» оставался один лишь выход — сделать из Жака коммуниста. Но он никогда не узнает, что такое настоящие коммунисты, пока не приедет сюда и не увидит, как они умеют трудиться».

Умеют трудиться, чтобы переделать мир, который нельзя уже назвать чужим, нет, он — наш. Ибо все те частности и мелочи, которые составляют, в общем-то, основу моего столь краткого знакомства с Россией, отступают перед главным впечатлением — несмотря на все этнические различия, минуя их. Здесь рождается мир, стремящийся придать человеку новую ценность и создавший свою этическую концепцию на базе страстной, неугасимой веры в человека.

Государство, общество, коллективизм, коммунизм — все в этом мире служит лишь тому, чтобы вести индивидуум к высшему пониманию человеческого достоинства; даже в армии — и там всячески поддерживают, воодушевляют, возвеличивают индивидуальность. В каждом слове приказов, в каждой инструкции и даже в самой дисциплине — бывают, конечно, и ошибки, неизбежные при таких гигантских переменах,— чувствуется стремление возвысить сознание, умножить ответственность каждого, его духовное богатство, его вес в общественной жизни, расширить его кругозор, его право на собственное мировоззрение, придать его жизни значительность и дать ему возможность вырваться из прежнего рабского существования.

Один из ораторов, выступавших на I съезде писателей, произнес фразу, которую можно принять за формулу: «Это единственная страна, где разум и воля пребывают в согласии». Кто забудет эти слова, это самое точное определение идеального мира, в котором хотелось бы жить?

И я свидетельствую, что такой мир рождается.

Несколько слов о культуре народа

Благодаря доверию и дружбе моих товарищей, мне поручили открыть страницу, посвященную литературе, искусству и культуре, которую решили создать в «Юманите»;

я счел, что лучше всего оправдаю их ожидания, если попытаюсь вспомнить и описать, что же являет собой культура в республике, где власть принадлежит народу.

Недавно Ромен Роллан дал мне прочесть письмо, полученное им от работницы одного из уральских заводов. Она жаловалась Роллану на то, что в их заводскую библиотеку присылают недостаточное количество книг, и просила его обратиться к влиятельным лицам в Москве, чтобы положить конец такому нетерпимому положению.

«Вы только подумайте,— писала она,— в библиотеке литературного кружка при нашем заводе имеется всего три экземпляра русского издания вашего «Жан-Кристофа», пять экземпляров «Очарованной души», пять «Лилюли» и семь — «Кола Брюньона». Сами понимаете — они всегда на руках. Приходится записываться и долго ждать своей очереди, чтобы их получить. Как вы думаете, могут наши товарищи рабочие удовлетворить свои культурные запросы, располагая таким малым количеством книг?»

Читая это письмо, я пытался представить себе рабочего с одного из заводов Орана, который писал бы Горькому, жалуясь на то, что французские переводы его произведений имеются в заводской библиотеке всего в пяти-семи экземплярах.

Само это предположение, само это сравнение достаточно красноречиво и не нуждается в комментариях.

После Всесоюзного съезда писателей в Москве, где присутствовали Арагон, Мальро, Муссинак и я, Мальро возвращался с Кавказа самолетом, который ежедневно курсировал на этой линии. Машине пришлось совершить вынужденную посадку, прямо в открытом поле. Тут же на помощь потерпевшему аварию экипажу поспешили крестьяне из соседнего колхоза. Один из колхозников посмотрел на пассажира, подошел и сказал: «Товарищ Мальро, кажется?»

Простой крестьянин из деревни, затерянной где-то в глубинах гигантской России, с первого взгляда узнал молодого иностранного писателя, чью фотографию он видел в одной из бесчисленных газет, которые день за днем и во всех деталях помещали отчет о съезде. В тот же вечер в колхозе было устроено импровизированное собрание: выступал Мальро, выступал пилот самолета, представитель партийной организации колхоза и еще много, много людей.

Теперь перенесите это событие в наш западный мир, который так кичится своим культурным уровнем и так презирает советское варварство. Представьте себе молодого американского писателя, 30—35 лет, совершившего вынужденную посадку возле какой-нибудь фермы в Оверни или Лимузене через несколько недель после нашего международного конгресса писателей, проходившего в июне в Париже [1].

Сколько вы насчитаете у нас крестьян, которые слышали бы об этом конгрессе? И кто из них издалека следил бы за его ходом? И сколько запомнили бы по фотографии лица иностранных участников и сразу узнали бы, например, Мартина Андерсена-Нексе?

Главное, что характеризует советского человека,— это его высокий строй души, в самом широком смысле слова.

Однако не впадайте в заблуждение! Всякая попытка представить советского человека в образе святого, а Советский Союз как рай на земле будет полнейшей нелепостью.

Так же, как вы или я, советский человек сложен из достоинств и недостатков. Он несет на себе груз наследия далекого прошлого, значительно более тяжкий, чем наш, у нас на Западе. И двадцать пять лет — это ничтожный срок для многонационального народа, азиатская часть которого только-только сбросила феодализм и средневековое невежество.

(Кто осмелился бы утверждать, что ста пятидесяти лет, прошедших со времени нашей революции, оказалось достаточно, чтобы превратить французов в граждан, полностью понимающих свой долг и свою ответственность? А ведь Франция — небольшая по размерам страна, и к 1789 году воспитание и культура там уже имели давние традиции.)

Итак, Советский Союз нисколько не претендует на то, чтобы слыть раем на земле, а советский гражданин — на репутацию кристально чистого, святого. Советскому Союзу достаточно построить общество, призванное служить человеку, а советскому гражданину — быть человеком доброй воли в самом точном значении этого понятия.

Великодушие — одна из основных черт русского характера.

Я имею в виду великодушие во всех его оттенках, начиная с полнейшего бескорыстия и кончая преклонением перед благородством ближнего.

Вот качества, выделяющие советского человека. И рост образования в его стране все больше и больше эти качества развивает. Идея интернационализма, идея международного братства рабочих и крестьян, рождена тем великодушием, которое и делает советских людей истинными и надежными друзьями Франции.

Перевод с французского НИНЫ КУДРЯВЦЕВОЙ

[1] 1935 г. *(Прим. автора.)*

ПЬЕР КУРТАД

Франция

Из книги
«Эссе об антисоветизме»,
1956 г.

■

ПЬЕР КУРТАД (1915—1963) — французский писатель и журналист. Автор романов «Джимми» (переведен на русский язык в 1953 г.), «Черная река», сборников рассказов «Обстоятельства», «Высшие животные».

В «Иностранной литературе» напечатан его автобиографический роман «Красная площадь» (№ 6—8, 1962).

В 60-е годы был корреспондентом «Юманите» в Москве.

Мне помнится прекрасный летний день 1943 года, проведенный в одном из замков Гаскони — настоящем замке; из распахнутых балконных окон была видна просторная лужайка, а на лужайке четыре лошади — настоящие замковые лошади, в попонах и с заплетенными гривами.

В этом замке имелись Владелец и Владелица. Владелец замка был голлист. Он был голлист по темпераменту, по традиции — в его роду все всегда были противниками врагов Франции, тут уж ничего не скажешь,— а также и потому, что он не любил Петена. Поток тошнотворной «доблести», залившей нашу страну, был ему отвратителен. Я знаю, что порой, взирая на рушащийся вокруг него мир, он воображал себя вельможей XVIII века, скептичным лишенным иллюзий, но все понимающим. Революция была неизбежна. Напрасны все попытки повернуть вспять течение вод. Его предки никогда и не пытались это сделать: они стали на сторону Революции, потом на сторону Империи, потом монархии, потом Третьей республики,— они отдались на волю истории. В конце концов ведь замок оставался на месте, и прекрасные лошади тоже, и на землях, которые на протяжении четырех столетий не меняли хозяина, слышалось отдаленное гудение молотилки. Слуги носили настоящие ливреи, настоящие короткие штаны и настоящие белые чулки. И ни у кого не возникало желания над этим смеяться. В библиотеке, на книжных полках, стояли тома великой «Энциклопедии» и сочинения Вольтера в кейльском издании.

Странное положение либерального вельможи во времена Петена, вельможи, взявшего сторону народа против грошового маршала, по глупости воскресившего себе на потребу монархический листок «Мы»,— это положение стоило риска попасть в тюрьму или даже чего-нибудь похуже, потому что Владелец замка был человек храбрый. Под скатами крыши у него расположился наблюдательный пункт мятежников, и позднее на замковые лужайки падали белые ромашки парашютов, а на вековых соснах качались контейнеры. Так что это были не шутки. Ему помогали лакеи, помогал местный священник, и глава Легиона вопрошал себя, что это за странный мир, в котором все «порядочные люди» против новых порядков.

Когда мы пили ликеры, Владелец замка взглянул на свои часы, встал, затворил балконные окна, и мы с благоговейным вниманием прослушали сводку верховного командования Красной Армии. То была хорошая сводка, извещавшая о победах; слова «Смерть фашистским оккупантам!» звучали обещанием освобождения.

— Какая армия! — сказал Владелец замка.— Какая страна, какой дух самопожертвования!

На Западе почти невозможно было представить себе что-либо подобное. Может быть, большевизм — это современная форма героической судьбы? Теперь, после того как мы все это увидели, стало допустимо быть большевиком. Советская маршальская звезда — это нечто такое, к чему следует относиться с почтением. Радость и снисходительность носились в воздухе...

В это время бывшие подписчики «Ами дю Пепль» отмечали на карте России красными флажками изменение линии фронта, священники молились за победу генералов-безбожников, а бывшие муниципальные советники, радикал-социалисты грезили меховыми папахами и длинными шинелями, ниспадающими на мягкие сапоги; господин Черчилль приветствовал «своего друга, великого полководца маршала Сталина», с конвейеров британских заводов сходили танки, украшенные серпом и молотом и носящие славное имя «Сталинград».

Какие-нибудь наивные души могли в этот момент подумать, что победой в великой битве, которую ему пришлось вести против всего мира начиная с 1917 года, что упорством, гигантскими усилиями, пролитой кровью Советский Союз завоевал уважение даже у своих врагов.

Не тут-то было. Те же самые люди, которых нацистский гнет поставил на много лет в зависимость от новостей с Восточного фронта и для которых географическая карта, куда они втыкали красные флажки, сделалась поистине образом судьбы, уже через два года забыли, чем они обязаны народам Советского Союза. Как только

опасность миновала, они начали воротить нос в сторону, и тот, кто в 1942 году дрожал при известии о падении маленького города на Украине, теперь, в 1946 году упивается антисоветскими статьями, от каких не отказалась бы и гитлеровская пропаганда.

Политика — это не вопрос чувств. И подобный феномен не был бы столь поразителен и знаменателен, если бы в нем, как в капле воды, не отражалась позиция капиталистического мира по отношению к СССР на протяжении долгих лет: это позиция дружественная постольку, поскольку СССР рассматривается как необходимое вспомогательное орудие в борьбе западных наций против крайних форм империализма — итальянского фашизма, национал-социалистского пангерманизма, японского милитаризма. Как только угроза ослабевает, СССР опять становится врагом № 1 и как ни в чем не бывало возобновляется распространение лжи и начинается новая серия провокаций.

Действительно, целых 29 лет антисоветизм был двигателем всех дипломатических начинаний капиталистических держав, но он принимал различные формы, причем открытое военное вмешательство было отнюдь не самой опасной из них.

Вначале — потому что враждебность капиталистического мира к русской революции обнаружилась мгновенно — антисоветизм проявился попросту в вооруженной интервенции. Интервенция потерпела провал, и с тех пор намерения поборников военного вмешательства развивались обратно пропорционально могуществу молодой Советской республики. Крушение их планов и разгром белых привели к началу новой политики по отношению к СССР.

Существенная особенность этой политики состоит в признании факта существования Советского государства (ничего другого и не оставалось!) и установлении с ним деловых отношений, но в то же время все дипломатические усилия капиталистических стран были направлены на изоляцию молодого Советского государства от всего мира; это пресловутая политика «санитарного кордона».

Параллельно всячески способствовали подъему Германии, чтобы сделать ее противовесом советскому влиянию, повсюду преследовались компартии и при помощи ряда провокаций возбуждалось недоверие к Советскому Союзу; под продажными перьями буржуазных журналистов родился целый антисоветский фольклор. Это эпоха «человека с ножом в зубах» и «большевистского людоедства».

В следующий за этим период Советская Россия сумела постепенно выйти из изоляции; не потому, разумеется, что в каком-то смысле изменились чувства к ней капиталистического мира, а просто потому, что под давлением общественного мнения демократических масс и ввиду быстрого подъема Германии некоторые государства, как, например, Франция, вынуждены были вернуться к политике традиционных союзов. В те годы антисоветизм, по видимости, несколько поколебался. Говорю: по видимости, так как, желая использовать Россию против постоянной угрозы пробуждения пангерманизма, западные державы в то же время искали пути повернуть эту угрозу к Востоку и для этого изолировать Советский Союз. Локарнский договор гарантировал границы западных стран и самой Германии, но развязал ей руки в отношении Польши и Чехословакии. Разрыв солидарности Запада и Востока был официально освящен. Еще яснее это стало, когда, после прихода к власти в Германии национал-социализма, «Пакт четырех», заключенный между Францией, Великобританией, Италией и Германией (прообраз «Западного блока»), выбросил СССР из европейского сообщества.

Правда, западные политики рады были бы, чтобы и волки были сыты и овцы целы,— Россию приняли в Лигу Наций; но пока в Женеве перед ней разыгрывали комедию, которая, впрочем, ее не обманула, исподтишка готовились к осуществлению обширного плана, того, что чуть не удался в 1939 году.

Капиталистические государства поддерживали национал-социализм в Германии, потому что хотели иметь гарантию против революционных движений и надеялись, что конечный конфликт, который противопоставит Советское государство его естественному противнику, будет разрешен за счет одного лишь СССР. Теперь антисоветизм имел в своем распоряжении цельную доктрину «Майн кампф» и постоянную, готовую к вторжению вооруженную силу, соответствующую тем огромным силам, которые смог создать за двадцать лет Советский Союз.

СССР вовремя разгадал намерения своих скрытых врагов Германии в конечном счете пришлось сражаться на два фронта. На протяжении этой долгой борьбы Россия пролила потоки крови своих сыновей и не только ради собственной защиты, но также и ради свободы всего мира, который был поставлен на край гибели двадцатью годами коварной политики антисоветизма.

Историческая необходимость союза против Германии принудила тогда капиталистические страны приглушить проявление антисоветизма (именно в этот момент наш Владелец замка в Гаскони приветствовал армию пролетариата), но не следует думать, будто не готовился уже новый заговор, чтобы ограничить результаты советской победы, на которую смотрели как на неизбежное зло. Характер использования польского правительства в Лондоне и войск Андерса, затяжки с открытием второго фронта, двусмысленная позиция Америки по отношению к Финляндии — все это показывало, что определенные международные круги по-прежнему рассматривают СССР как потенциального противника.

Едва на полях сражений в Европе отгремел последний пушечный выстрел, как антисоветский заговор сбросил маску. Вначале действовали осторожно, а теперь — почти открыто. Речь Черчилля в Фултоне продолжила темы его лондонских речей, произнесенных двадцатью семью годами ранее, когда он был поборником политики вмешательства.

Все началось сначала: те же маневры, те же интриги, та же комедия. И вот уже у германских нацистов снова затеплилась надежда. Антисоветизм даже усовершенствовался: теперь он не только обвиняет СССР во всех революционных грехах, но и взваливает на него ответственность за пороки капитализма. Начались разговоры о «советском империализме». И вот Великобритания с ее империей и Соединенные Штаты с их атомной бомбой изображаются как бедные невинные маленькие нации, коим угрожает длань «Вечного Царя».

В апреле 1946 года английский писатель Артур Кестлер, недавно проливший воду на мельницу антисоветизма своей книгой «Нуль и бесконечность», которую залпом проглотила «революционная» интеллигенция с бульваров Сен-Жермен и Мэфэр, напечатал в социалистическом еженедельнике «Трибьюн» любопытную статью, где требует всемирного психологического разоружения.

Этот странный персонаж, еще вчера вечером искавший в зарослях своего сада агентов ГПУ, угрожающих его жизни, сегодня умоляет вмешаться и заставить Советский Союз по справедливости воздать должное западному миру.

Посмотрим, за что именно может воздать должное западному миру СССР: бесконечные заговоры и ложь на протяжении более чем трех десятков лет, всяческие козни, расторгнутые договоры, неизменная враждебность, мир, разрезанный пополам, как яблоко,— вот дело рук поборников антисоветизма.

Психологическое разоружение было бы как нельзя более кстати, но оно будет возможно только в том случае, если мировой капитализм откажется от некоторых методов, которые вызывают законное раздражение у советских людей.

Перевод с французского С. БРАХМАН

БРУНО ФРЕЙ

Австрия

Из книги
«Дневник одного путешествия», 1947 г.

■

БРУНО ФРЕЙ (род. в 1897 г.)—австрийский журналист и писатель. Автор книги о жизни и борьбе антифашистов концлагеря Верне во Франции, куда Б. Фрей был заключен в 1939 г.,— «Мужчины из Верне» (1950), сборника репортажей «Своими глазами» (1955) и др. На русский язык переведены его рассказы, исторические миниатюры «Эстафета».

Прибытие в Мурманск

2 февраля 1947

На перроне мы вели себя явно слишком нервозно. Митци оставила где-то две из своих многочисленных сумок; в последний момент мне пришлось протискиваться сквозь толпу ожидающих, чтобы взять забытый багаж. Для женщины шестидесяти пяти лет такая поездка утомительна; мне нужно быть к ней более внимательным. Прощаться с нами пришло больше друзей, чем я думал. Я пустил по кругу полевую фляжку, и все выпили за наше благополучие, за счастливое возвращение на родину.

Как странно, что именно эта тетрадь подвернулась мне под руку, когда я начал делать свои путевые заметки. На первых двадцати страницах я нашел записи, сделанные мной на «Виннипеге», когда мы плыли из Марселя на Мартинику в мае 1941 года. Превратности морской войны забросили нас на остров Тринидад, все мы попали из французского лагеря в британский. Тогда мы бежали из оккупированной Гитлером Европы, теперь мы возвращаемся в Европу, освобожденную от Гитлера. И между этими путешествиями — долгие годы эмиграции в гостеприимной Мексике.

В Веракрусе мы пересели на другой поезд. Южный экспресс мчал сквозь бесконечные первобытные леса к границе с Гватемалой. Вот и Буш-Травенс. Где-то по дороге к нам подсел пассажир, который рассказал о хищниках, не дающих покоя местным ле-

сорубам. Через две ночи и один день, то есть через полтора суток мы сделали пересадку в Хесус-Карранса. Сделать пересадку значит переночевать; наш поезд придет только на следующий день. Митци тем временем окончательно потеряла обе сумки, что несколько облегчило надзор за багажом нашей группы.

5 февраля

Коацакоалькос, или Пуэрто Мехико, банановая гавань. Пять бананов стоят один американский цент. За те же деньги можно, однако, получить целую связку, если взять зеленые. Город обязан своим существованием торговым маршрутам судов из Атлантического в Тихий океан. Здесь самая узкая часть континента, и железная дорога соединяет побережья двух морей. С тех пор как построили Панамский канал, значение Пуэрто Мехико упало. Железнодорожный паром через широкую реку доставляет поезд на другой берег, в Табаско. Крокодилам пришлось уступить место кранам, и из единственной птичьей лагуны получилась пристань, которой легко вверх по течению достигают грузовые суда из Канады и с Кубы. На складах лежат кофе из Чили, табак из Мексики и прежде всего бананы, горы бананов. Нефть государственного нефтяного треста «ПЕМЕКС» доставляется немного дальше, вверх по течению, в цистернах из Нанчиталя, там ее хранят и грузят в танкеры.

В этой первобытной гавани, откуда нет никакой связи с остальной территорией страны, мы должны ждать наш корабль. Когда он придет? Никто не знает этого точно.

7 февраля

Елене сделали укол против столбняка, какое-то подозрительное насекомое укусило ее в ногу. Испанская колония устроила праздник в нашу честь. Среди гостей были друзья из Верне. Поэт, написавший слова песни, которую пели заключенные концлагеря, работает бухгалтером в крупной виноторговой фирме. Он подарил мне томик своих стихов, размноженных на пишущей машинке. Испанцы завидуют нам, ведь мы возвращаемся на родину. Испанцы... Какая трагедия!

13 февраля

Вот уже два часа мы ждем на крыше отеля. Наш корабль входит в порт! Это особенный корабль. Белый, с широкими красными полосами. На полосах светятся золотом серп и молот. На мачте реет красный флаг. На борту большими буквами написано: «Маршал Говоров».

15 февраля

У нас есть еще два дня на погрузку. «Маршал Говоров» берет бананы для Советского Союза. Он идет из Колумбии. До этого он заходил в Соединенные Штаты, чтобы взять мощные грузовики и станки, заколоченные в громадные деревянные ящики. Грузовики и станки закреплены канатами на верхней палубе, чрево же корабля снабжено холодильным устройством и приспособлено для перевозки свежих бананов. Поскольку правительство Соединенных Штатов Америки отказало нам, антифашистам-возвращенцам, в проездной визе и поскольку его примеру последовали правительства Англии и Франции, то нам, чтобы осуществить свое намерение, не осталось ничего иного, как просить визы у Советского Союза. Советское правительство отнеслось к нашей просьбе с пониманием. Вот так и случилось, что мы, группа немецких, австрийских и итальянских возвращенцев, сейчас сидим в этой тропической гавани, ожидая разрешения подняться на борт «Маршала Говорова».

17 февраля

Как только здесь узнали, что мы отправляемся на «Маршале Говорове», мы стали знаменитостями. В ресторане в нашу честь исполняют «Из-за острова на стрежень». Жители приносят детям чужестранцев подарки. На рынке моей жене продали шесть булок вместо пяти — «потому что это для них». Мы очень горды. И очень счастливы.

18 февраля 6 часов утра

«Маршал Говоров» отдает швартовы.

19 февраля

Корабль — особенный. Он построен на верфях Гета в Гетеборге за счет финского правительства. То есть это репарационный корабль. Когда он был принят советским торговым флотом, его пришлось перестроить. Спальные места для матросов не соответствовали советским стандартам. На двери лучшей каюты все еще висит табличка

«Для владельца», но владельца больше нет. Вечером перед отплытием мы были молчаливыми зрителями танцев на палубе. Зазвучали оба рояля, имевшихся на корабле. Офицеры, матросы, гости, капитан и девушки с кухни танцевали. Танцевали товарищи. Кто-то привел меня в кают-компанию. Стенная газета, называется «Маршал Говоров». На доске объявлений — приглашение прослушать курс лекций по политэкономии. Курс будет читаться в салоне.

20 февраля

Мы все еще в заливе, на широте Кубы. Тропическая жара. Матросы сделали из огромного паруса плавательный бассейн. Пляжная жизнь на палубе.

21 февраля

Море неспокойно. Мы еще не сблизились, пассажиры и хозяева. Языковые трудности. Капитан предложил Людвигу Ренну спать в своей каюте. Все остальные расположились в просторном помещении для команды. Когда на море волнение, нам приходится нелегко. Ночь была тяжелой.

23 февраля

Что-то происходит. Деловая суета. В клубном помещении собрание матросов. За обедом появляется помощник капитана в сопровождении политического комиссара. Людвиг Ренн переводит. Офицеры и матросы «Маршала Говорова» решили отпраздновать День Красной Армии вместе с возвращенцами. Они знают, что гости — не только жертвы фашизма, но и борцы против фашизма. Команда единогласно приняла решение предоставить в распоряжение друзей офицерские каюты. Офицеры переселятся в помещение для матросов.

Вечером вместе с нашими хозяевами мы отмечали День Красной Армии. Я произнес тост за Красную Армию, освободительницу Вены. Потом все вместе — русские, немцы, австрийцы, итальянцы пели — «Мы — рабочие Вены».

25 февраля

Я спросил политического комиссара, в чем заключается его задача. Он подробно ответил. Большинство матросов — молодые люди, пришедшие в торговый флот сразу после войны. О них следует заботиться. На корабле многие учатся. Чему? Просто всему: повышение квалификации и политическое образование. Матросы, приходя в разные страны, хотят знать о них больше, чем сообщают вывески портовых пивных. Биография политрука: рабочий, рабфаковец, политработник на заводе Кирова. Потом война. Молчание. «А потом?» Его лицо помрачнело. «Потом три года блокады». Снова молчание. После паузы, тихо: «Пятьдесят граммов хлеба в день. Многие умерли». И опять молчание, перед которым слова бессильны.

26 февраля

Комиссар указывает на стюардессу, седую женщину, обратившую на себя наше внимание своей тихой пунктуальностью. Ее дочь умерла от голода в Ленинграде во время блокады.

Отдельные судьбы, сплетенные из обрывков случайных разговоров. Вот боцман. Он был командиром партизанского отряда. Он воевал в Эстонии, Латвии, Польше, Чехословакии и Югославии. У него пять орденов, в том числе орден Ленина. Он любит смеяться. В Нью-Йорке три матроса, в том числе и боцман, сложились и купили мотоцикл. Как они будут им пользоваться, я не знаю.

27 февраля

Судовой врач. Во время войны он работал в больнице в Ленинграде. Он ни за что не хочет об этом говорить. Я узнал от комиссара: его двенадцатилетняя дочь умерла от голода во время блокады.

У меня был длинный разговор с Тасей. Она была сотрудницей советского посольства в Мексике. Теперь она едет домой. Ее муж погиб на войне сразу же после того, как они поженились. Ляле пять лет. Она никогда не видела своего отца. «Иностранцы просто не могут этого понять». Тася говорит без робости, она нам доверяет: «Мы жили беззаботно. Дом был полная чаша. Мы, молодые советские граждане, были счастливыми людьми. Может быть, никогда прежде не было таких счастливых людей. Радость была чем-то само собой разумеющимся. Я училась в университете. Какими мы, девушки, были веселыми! Каждая из нас изучала то, что хотела, и мы мечтали о будущем как о чем-то светлом, радостном. Мы не сомневались, что наши мечты исполнятся. А потом разразилась война. Она разрушила все. Что наш народ, каждая семья принесла в жертву войне — кто из вас может это понять? Я готова на колени встать перед Красной Армией. Сколько героев, чьих имен никто и не знает! Не только на фронте. Женщины

в тылу... (Почему потемнели Тасины глаза?) Оставим это. Люди хотят жить. Они не могут говорить об этом чудовищном умирании. Может быть, лет через пятьдесят...»

28 февраля

Тася пригласила нас на свой день рождения. Мы сидели за круглым столом в кают-компании. Было как-то не по себе. Старший механик запел песню «Раскинулось море широко...». Комиссар шепнул мне: «Он потерял на войне всю семью». Катя, восемнадцатилетняя украинка с волосами соломенного цвета, убрала стаканы. В ее испуганных глазах отражалось воспоминание об ужасном. У нее на глазах нацисты убили ее родителей.

1 марта

Я не мог заснуть. Ведь это дом траура, траурный корабль. Россия, Польша, Германия, миллионы домов траура, траурных кораблей, городов в трауре. Мы едем на континент траура. Но ведь сказала же Тася: «Каждый день расцветают свежие цветы». Тася снова выйдет замуж. У маленькой Ляли будет новый отец. У домов появятся крыши. В городах появятся дома. Мы построим все заново и лучше. Как мы это сделаем? Мучительно думать о том неопределенном, что ожидает нас. Первые европейцы, которых мы встретили,— это советские люди. А как другие? Как те, что остались дома? Может быть, мы возвращаемся в чужую страну? Я читаю репортаж Джона Херси из Хиросимы. Это кончилось? Радиотелеграфистка Людмила вывешивает бюллетень новостей. Через несколько дней начинается конференция министров иностранных дел в Москве. Куда ведет этот путь?

2 марта

Ветер 12 баллов. Капот мощного генератора снесло бурей. Идет лихорадочная работа, чтобы устранить аварию. Скорость снижена с пятнадцати до шести узлов. Я зашел в матросский клуб. У них есть патефон и мексиканские пластинки. На пестрых досках висят портреты маршалов Советского Союза и фотографии исторического салюта победы. Вывешен новый номер ежедневной стенной газеты «Маршал Говоров». Вырезки из «Правды». Людмила отвечает за информацию. Между прочим она рассказывает нам, что участвовала в освобождении Вены. Ее часть первой вошла в город. Людмила была ранена, попала в госпиталь в Вене, а потом ее отправили на родину. У нее неплохие воспоминания о жителях Вены.

4 марта

Еще одна случайно подхваченная деталь. Один из офицеров, юноша с белым чубом и меланхолическими глазами, имеет звание Героя Советского Союза. Он почти всегда молчит.

6 марта

Перед нами английский берег. Перед нами берег Южной Англии. Теперь станет ясно, куда мы, собственно, едем. Портом назначения сначала был Росток. Но по радио сообщили, что Кильский канал и Скагеррак замерзли. Войти в Балтийское море невозможно. С Ростоком ничего не получится. Таллин исключается по той же причине. Христиансунд или Мурманск? После обеда нам сказали — Мурманск.

7 марта

Мне жадно хочется знать биографии людей на корабле: эта потребность превратилась у меня в настоящую страсть. Сегодня рассказал свою историю старпом. Ему около пятидесяти, совершенно седой. Он учил в школе немецкий, но по-немецки говорить не хочет. Мы беседуем по-французски. Когда произошла Октябрьская революция, он работал на Путиловском заводе. Советская власть дала ему возможность осуществить мечту своего детства. Он поступил в Морскую академию. Вот уже восемнадцать лет он бороздит моря. Четыре раза тонул, трижды на войне его корабль торпедировали. Два года был в экспедиции к Северному полюсу. Имеет четыре ордена. Он живет в Мурманске. Нет, никто его там не ждет. Сын учится в Москве. Впервые я узнаю, что Мурманск — импровизированная цель нашего путешествия — разрушен.

8 марта

Красота и грация альбатросов восхищают меня. Лиза стоит на палубе, всей душой устремляясь в страну французов. Там похоронена ее мать, погибшая при налете гитлеровской авиации. Английский берег так близко, что видно луга и замки. Мы входим в Ла-Манш.

Вечером в салоне были устроены танцы в честь Международного женского дня. На доске объявлений появился список ударниц. Начал падать легкий снег. Офицер в овчинном тулупе стоит на вахте, смотрит в бинокль как-то очень напряженно. Делая 17 узлов, мы поворачиваемся к востоку у входа в Скагеррак, а потом сразу круто

на северо-запад. Прошли минное поле. Мы, сухопутные крысы, облегченно вздохнули. Но я думаю, что не только мы.

9 марта

Мы находимся у южного берега Норвегии. На небосклоне появилась красновато-желтая полная луна. Но с неба идет и еще какой-то свет, чужеродный, беспокоящий. Бело-голубое свечение, словно образующее купол. Северное сияние. Мы прошли 5700 миль, осталось еще 1500.

10 марта

В Норвегии весна. На склонах скал лежит снег, но луга сверкают пестрым нарядом из цветов. В воде барахтаются морские львы. Все тот же офицер в овчинном тулупе снова стоит на вахте.

После обеда я опять в матросском клубе. Вышел «Вымпел» № 13, передовая посвящена Международному женскому дню. Пять подписных статей и заметок касаются вопросов судовой жизни. Стихотворение и рисунок, раздел юмора. Матрос II класса Александров — лучший вахтенный. Матросы, занимавшиеся покраской, перевыполнили дневное задание на 200 процентов. Электрик выполнил свое дневное задание на 120 процентов. Один из матросов проявил готовность прервать чтение газеты и проводить меня в машинное и грузовое отделения: капитан Иван Иванович Афанасьев, пятнадцать лет службы на торговом флоте, дал разрешение. Мы спускаемся вниз на четыре этажа. Послушные дизельные двигатели, они могут работать два месяца без передышки. В освещенном проходе виден гребной вал — сердце корабля.

11 марта

Идет снег. Дети играют в снежки. Горизонт кажется совсем близким. У чаек не видно на перьях узоров. Снежный поток превращается в снежную бурю. По радио передали: в Москве открылась конференция министров иностранных дел.

12 марта

Ночь была неприятной. Снежная буря изрядно потрепала наше судно. Тяжелые грузовики на палубе пришлось держать под неусыпным контролем, чтобы не порвался ни один трос. На верхней палубе лежит толстый слой снега. Мы идем курсом норд-ост в Баренцево море. Капитан, рассказывает за обедом Людвиг Ренн, три года назад спас свое судно, на котором уже начался пожар. Это было, когда корабль атаковали немецкие подлодки.

Ночью мы проходим Нордкап. Из-за опасности наскочить на мину мы сделали такой большой крюк, что даже не увидели маяка.

13 марта

Мы стоим у входа в порт Мурманск. От Пуэрто Мехико мы оставили позади 12 000 километров. Теперь, дойдя до цели, мы должны ждать ночь, пока получим разрешение войти в гавань и стать на якорь. Последняя ночь на «Маршале Говорове». Советские люди уже дома, но кто позаботится о нас, горстке заброшенных сюда возвращенцев из Австрии, Германии и Италии? В Мурманске?

14 марта

Зрелище малоутешительное. Видны портовые сооружения и краны. Никаких складов. Лихорадочно работают докеры, разгружающие суда, рядами стоящие у берега. Драгоценные грузы свалены прямо на снегу, пока их не перегрузят на автомашины. Минус 18 градусов — это сравнительно немного для Мурманска. Лабиринт деревянных домов и сараев, рассеченный рельсами и автодорогами, расчищенными от снега,— это порт. Нет необходимости выяснять кто виновник разрушений. На Мурманск было сброшено 8 000 бомб, город дважды подвергался нападению немецких войск (среди которых заметный процент составляли австрийцы). Мощные краны осторожно поднимают грузовики и затаренные станки и осторожно ставят на снег. Неожиданно наш милый корабль, дававший нам приют двадцать четыре дня, показался мне чужим. Советские граждане, пассажиры и команда, простились и ушли. Они дома. В дневном свете разверстый трюм выглядел словно склад с открытыми дверями. Деловая суета портовой жизни овладела «Маршалом Говоровым». Мы толпимся, не зная, куда себя деть, мешая портовым рабочим. Мы ждем. Наступает полдень. На «Маршале Говорове» больше не приглашают к обеду. Вдруг как-то неожиданно перед нами появляются два человека — мужчина и женщина. Длинные меховые шубы и высокие фетровые сапоги. Дружеские лица, раскрасневшиеся от мороза. Мы успели только понять — Мурманский комитет МОПРа сердечно приветствует друзей, возвращающихся из Мексики на родину.

Через десять минут мы оказываемся в просторной гостинице. В холле нас уже ждут члены комитета. Бородатый старик представляется: председатель. Понимать друг друга нам трудно, но это ничего. Их неотразимая сердечность вряд ли нуждается

в словах. Я испытываю гнетущее чувство вины. Неловкость усиливается, когда нас приглашают обедать. Таким обедом угощают почетных гостей. Мы же всего-навсего возвращающиеся домой беженцы.

За нашим столом сидела девушка лет двадцати — двадцати пяти, член комитета. Вы из Мурманска? Нет, я с Украины. Она была на фронте санитаркой, прошла боевой путь от Сталинграда до Бургенланда. Два раза была ранена. Когда она вернулась, то узнала, что вся ее семья пропала без вести. Теперь она работает в морском госпитале в Мурманске. На ее скромном ситцевом платье — орден. Я решаю больше ни о чем ее не расспрашивать.

После обеда — короткая прогулка по городу. Приятно слушать, как скрипит под подошвами снег. Как давно я не видел снега. На главной улице уцелело несколько каменных домов. Возвышаясь посреди бараков, они кажутся дворцами. Мурманск был одним из новых социалистических городов, плодом напряженной работы пятилеток. Многое надо начинать сначала.

Вечером в Интернациональном клубе моряков нам был устроен торжественный прием. Какое глупое слово — прием! Это был праздник международной солидарности, где говорили на разных языках. Люди, говорящие на разных языках, отмечали праздник солидарности. Как часто мы бездумно произносим это слово. А ведь солидарность существует. Перелистывая книгу посетителей, я обнаружил такую запись: «В этой стране я увидел осуществленным то, чему нас учили в воскресной школе: «Все люди — братья!» Тот, кто это написал, оставил свою корявую подпись: Джон Гарвей. Я представил себе американского моряка-негра. Дата записи: 4 марта 1944 г.

Вот уже четыре дня министры иностранных дел великих держав ведут переговоры о пути к миру. Это будет нелегкий путь — настолько-то дело ясно. Трумэн заявил, что границы Соединенных Штатов проходят в Греции и Турции. Правительство Соединенных Штатов, которое отнеслось к нам, антифашистам, как к чужакам, озабочено судьбой немецких генералов. Это делает трудным переход от войны к миру. Но жители этого города, сожженного немецкими солдатами, обнимают немецких антифашистов как братьев. Это пробуждает неизмеримые надежды. Прибытие в Мурманск придает силы и вливает веру в будущее.

Перевод с немецкого Э. ВЕНГЕРОВОЙ

(Продолжение следует)

Антирубрика

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ...

Перевод с английского М. ЛОРИЕ

ЭДМУНД ПИРСОН

По заслугам

И открылось мне, и увидел я великое множество девочек, стоявших рядами. Иные из них были с косичками и почти все жевали резинку.

— Кто это? — спросил я своего провожатого, и он ответил:

— Это девочки, которые писали на контртитулах библиотечных книг: «Ужасно интересно», или: «Прелесть», или: «Гадость». Иные изливали свои чувства еще и на полях, например: «Так ему и надо!» или: «Получила, старая ведьма?»

— И что им за это будет? — спросил я.

— Будут десять лет стоять по горло в озере из содовой воды с мороженым,— отвечал он.

— Это для них не такая уж строгая кара, — начал я робко.

— А вы бы сами попробовали, — возразил он, и я умолк. — Вон те, — продолжал он, указывая на группу девочек, особенно рьяно жующих, — осуждены на пятнадцать лет в озере из содовой с мороженым, да еще на них через равные промежутки времени будет капать черная патока. Это те, что писали:

Мое имя хочешь знать —
Открой страницу 45,—

а когда человек, называя себя последним идиотом, открывал страницу 45, там его встречало:

Мое имя посмотри
На обложке изнутри,—

и так далее, и так далее, пока он не доходил до полного изнеможения. Да ну их! — взорвался мой проводник.— Будь моя воля, я бы их заживо похоронил в кокосовой помадке, я и Хозяину так докладывал. И каждую третью зовут Герти,— добавил он, словно это еще усугубляло их виновность.

Потом он показал мне целую толпу взрослых, по большей части мужчин, хотя кое-где среди них мелькали и женщины.

— Это полемисты, — сказал он, — те, что используют форзацы и поля для увековечения своих дурацких мнений. Они спорят с автором, уличают его во лжи, всячески над ним измываются. Вон тот, что стоит с правого боку, собирал все биографии Шекспира, какие мог найти, и все

Подборка юмористических рассказов под названием «Дела библиотечные...» составлена из материалов одноименной книги, вышедшей в США в 1971 г. («Library Humor: A Bibliothecal Miscellany to 1970» The Scarecrow Press, Inc., Metuchen, N. J., 1971). Ее составитель Норман Стивенс, директор Молсвортского института. Рассказы и юморески, собранные в книге, взяты из разных органов печати: «Библиотечный журнал», «Бюллетень Библиотеки конгресса», изданий университетов и колледжей первой половины нашего века. Авторы — преимущественно сами библиотечные работники: библиографы, составители указателей и другие.

свободные места в них исписывал карандашом, а подписывался «Бэконианец». Начинал же обычно с утверждения: «Автор сей книги — непроходимый болван». Тот, что стоит рядом с ним, считал, что земля плоская, и так усердно насаждал эту теорию с помощью автоматической ручки, что перепортил книг на сумму около двухсот долларов. Его поймали, шесть месяцев продержали в тюрьме, но здесь ему все равно придется отвечать. А позади него стоят два религиозных фанатика — вернее сказать, они стали фанатиками на почве религии. Один был безбожник и на всех религиозных сочинениях писал кощунственные слова. Второй страдал избытком религиозности и в любую книгу норовил вписать благочестивое изречение или евангельский стих. Он вымарывал или выскребал из текста все ругательства и божбу; карандашом вычеркивал все упоминания о вине и более крепких напитках и посредством соответствующей надписи привлекал всеобщее внимание к любой фразе, показавшейся ему непристойной. Как видите, он накрепко прикован к безбожнику. Та женщина во втором ряду возле каждого понравившегося ей пассажа писала: «Как это верно!» Она получила всего шесть лет. Остальным почти всем предстоит заниматься этим восемь лет.

— Чем заниматься? — не понял я.

— Перелезанием через изгородь из колючей проволоки,— последовал ответ.— Торопить их не будут, но и останавливаться не разрешат. Они приступают завтра утром, с половины восьмого.

Мы стали спускаться с холма в сторону скопления каких-то неприглядных субъектов. Проводник мой остановился и указал на них:

— Это вырезатели, выдиратели, выстригатели и любители картинок, начиная от тех, что в читальном зале вырезают из газет объявления «Требуется», и кончая теми, что забираются в укромный уголок и извлекают из книги цветные вкладки методом смоченной бечевки. Они принадлежат ко всем слоям общества, и есть среди них мужчины и женщины, мальчики и девочки. Как вы можете заметить, все они немного сутулятся и подозрительно озираются по сторонам. Это потому, что они привыкли пригибаться на стуле, прячась за газетой, и проверять, не следят ли за ними. Есть тут один, он увлекался геральдикой. Он проделывал свои операции в пяти или шести библиотеках, как частных, так и общественных. Когда его арестовали и пришли к нему на дом, комната его напоминала Геральдическое управление. Он отсидел несколько лет, но теперь он все равно здесь. А рядом с ним... впрочем, не будем называть имен, вы ведь и так его узнали. Знаменитый политический деятель и миллионер. В библиотеке побывал всего раз в жизни. Ему нужно было посмотреть одну статью в лондонской газете, а посмотрев, он решил оставить ее себе и оторвал половину страницы. Сотрудник библиотеки увидел это, вызвал полисмена и просил его арестовать. Вы понимаете, он не знал, кто это такой.

— И что-нибудь из этого получилось? — спросил я.

— Да, получилось. Сотрудника уволили. Икс попросту заявил в Совет попечителей, что его оскорбил какой-то юнец, который, судя по всему, и досыта никогда не ел. Два члена Совета предложили расследовать это дело, но большинство готово было по одному слову Икса хоть через обруч прыгать. Сюда он помещен на пять лет, но ему еще начислено лет восемьсот по другим статьям. В конце очереди вы видите людей — не то пять, не то шесть десятков, — которые вырезали иллюстрации из журналов по искусству — очень распространенная привычка. Дальше стоит женщина — та воровала в библиотеках проповеди. Еще дальше — бывший священник. Он писал книгу о Святой Земле и вырезал карты из всех атласов, какие были в библиотеке. Уверял, что взял их ненадолго.

Эти люди меня заинтересовали, и я спросил, какая участь им уготована.

— Сейчас увидите, — сказал мой проводник. — Они как раз начинают работать.

Тут с холма спустились служащие с огромными охапками липкой бумаги для мух. Бумагу роздали вырезателям, выдирателям, выстригателям и любителям картинок, и те перочинными ножичками принялись отщипывать каждый от своего листа маленькие кусочки. Спустя несколько минут несчастные были с головы до ног облеплены этой мерзостью. Стоило им содрать кусочек с одной руки, как он прилипал к другой, кусочки застревали в волосах, на ресницах, не оставляли ни одного чистого места.

— Это не очень больно? — заметил я.

— Пожалуй, что нет, — отвечал мой спутник. — Но за четыре года может сильно приесться. Пошли, дойдем до конца той долины, я хочу показать вам одно пиршество.

В конце долины, там, где она расширялась, образуя большое ровное место, был в разгаре своеобразный пикник. За сотнями столиков люди сидели и ели, а некоторые танцевали и разгуливали по зеленой траве. Мы остановились.

— Это сборище,— сказал он,— составляет главный предмет гордости нашего Хозяина. Люди, устроившие его — адепты генеалогии, как можете заметить,— почти исключительно женщины. Это из-за них столько библиотечных работников впали в грех богохульства и до времени поседели. Одним из них предки требовались ради общественного положения, другим — из соображений исторических или финансовых, третьим — просто для удовлетворения собственной гордости или любопытства. Но так или иначе предки требовались всем, вынь да положь, и никаких отказов. Годами они штурмовали библиотеки, требуя

предков. Вон видите ту большую толпу? Это — двести пятьдесят тысяч прямых потомков Уильяма Брестера. Чуть левее — шесть тысяч законных лордов Балтимор [1]. А то скопище, что начинается от высокого дерева и тянется на шесть миль к северо-востоку, — это все потомки Покахонтас и Джона Смита [2]: одни произошли от нее, другие от него, мы их еще не рассортировали.

— Сколько же их всего? — спросил я.

— По последним нашим данным, в настоящее время — около восьми миллионов, но мы, разумеется, все время получаем еще и еще материал. В прошлом месяце поступило три с половиной тысячи. Только считать нет времени.

Я рассмеялся.

— Времени! Да у вас в распоряжении вечность!

Но он только махнул рукой и продолжал:

— Во всяком случае, это здесь самая многочисленная группа, сравниться с ней могут разве что потомки «отцов-пилигримов» [3]. У тех есть своя долина, за следующим холмом. Говорят, их двенадцать миллионов, но точно не знает никто. Недавно они подали прошение о дополнительном пространстве, их долина уже переполнена.

Понимаете, она вся засажена родословными деревьями, так что им приходится жить в густой тени, а там очень сыро и холодно. Да и вообще там повернуться негде — триста тысяч тонн громоздких антикварных часов, медных грелок для постелей, люлек, столов и стульев.

Мы стали прохаживаться среди участников пикника, мне хотелось выяснить, зачем они здесь собрались. Из всего виденного до сих пор это место показалось мне больше других похожим на райские кущи.

Однако вскоре я понял, что ошибся. Возле первых столиков стоял столб с дощечкой, надпись на дощечке гласила: «Кавалерши ордена Пекотской войны» [4], а за одним из столиков сидела миссис Корнелия Крампет. Я вспомнил, сколько мучительных часов посвятил розыскам двух предков миссис Крампет, которые позволили бы ей числиться кавалершей. В конце концов я их нашел, и она, по-видимому, тоже — те два гнусных субъекта, которых она угощала, несомненно и были ее утраченными и вновь обретенными предками. Один из них, на редкость неряшливый и грязный, что-то ел, не тратя драгоценного времени на вилки и прочие приспособления. Второй уже наелся и сидел развалясь в непринужденной позе, покуривая огромную трубку и задрав ноги на стол.

На лице миссис Крампет было ясно написано, что владевшее ею некогда желание обнаружить этих предков было лишь мимолетной прихотью по сравнению с ее теперешней неотступной заботой, как бы от них избавиться. Мне стало жаль бедняжку, но в своем горе она была не одинока. И справа и слева от нее сидели другие кавалерши ордена Пекотской войны, тоже угощавшие своих предков. Среди последних были и люди более приятные, чем гости миссис Крампет, но попадались и еще более отталкивающие. Ни про одну из дам нельзя было бы сказать, что она проводит время в свое удовольствие.

Мой провожатый вывел меня наконец из лабиринта столиков на открытое место.

— В этом отделении у нас бывает много японцев, — сказал он. — Они приезжают сюда перенять у американцев кое-какой опыт по части культа предков.

— И что потом говорят?

— Просто улыбаются и уходят.

Миновав адептов генеалогии, мы набрели на большую группу людей, которые, по словам моего спутника, брали почитать книги и не возвращали их. Истцами по их делам выступали не столько общественные библиотеки, сколько частные лица.

[1] Лорд Балтимор — наместник английской колонии Мэриленд в Америке в XVII веке. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

[2] Покахонтас — дочь индейского вождя, вышла замуж за англичанина. Ее история известна главным образом из сочинений Джона Смита, английского авантюриста и путешественника, который в 1607 году привез в Америку очередную партию колонистов и был спасен прекрасной Покахонтас от гнева ее соплеменников.

[3] «Отцы-пилигримы» — группа английских пуритан, прибывших с семьями в Америку в 1620 году на корабле «Боярышник» и основавших колонию Плимут

[4] Пекотская война — истребительная война, которую колонисты Новой Англии вели в 1637 г. против индейского племени пекот.

ЖАН ЭФФЕЛЬ.
Франция.
Любовь и мир.

С выставки «Сатира в борьбе за мир»

— Особенного интереса они не представляют, — сказал мой проводник, — но суть их наказания будет вам понятна.

Подойдя ближе, я с содроганием убедился, что все они заполняют карточки для алфавитного каталога.

— На сколько же они осуждены? — спросил я и ужаснулся, услышав, что срок их наказания — от двадцати до тридцати пяти лет.

— Ну, это уж никуда не годится,— возмутился я.— Липкая бумага и то лучше.

Он пожал плечами и ответил коротко:

— Таково правило.

Следующая группа, к которой мы подошли, состояла из людей, занятых какой-то непонятной работой. Вокруг них тянулись длинные книжные полки, и они только и делали, что снимали с одной из полок какую-нибудь книгу, а потом со вздохом ставили ее обратно. Подойдя к ним вплотную, я понял, почему у них такой усталый и разочарованный вид. Полки, казалось, были уставлены прекрасными книгами в богатых переплетах. На корешках золотыми буквами было вытиснено «Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса», «Сочинения Дюма, подарочное издание», «Сочинения Скотта» и т. п. Но когда я взял один из томов в руки, чтобы рассмотреть его, оказалось, что это вовсе не книга, а деревянный макет, раскрашенный по одной узкой грани, в остальном же девственно чистый. Такими макетами торговцы мебелью наполняют книжные шкафы, чтобы придать им естественный вид, такими же пользуются в театре, когда действие происходит в библиотеке. Дерева тут было предостаточно, настоящей же книги — ни одной.

Я спросил одного из страдальцев, за что ему выпала такая доля, и он, прервав на минуту свою гимнастику, обратил на меня скорбный взгляд.

— Все мы здесь такие,— сказал он, кивнув на своих соседей.— Мы, литературные мошенники, любили пускать пыль в глаза. Почти все мы были богаты. Я и сам был богат.— Тут он тяжко вздохнул.— Мы покупали книги на вес, притом обязательно дорогие — подарочные издания, роскошные нумерованные издания «десять тысяч экземпляров, из которых данный экземпляр — № 94»,— добавил он тупо, без выражения, точно отвечая урок.— Нас безбожно грабили торговцы и маклеры. Особенно мы гонялись за иллюстрированными изданиями, и чтобы копии гравюр были приложены в особой папке, и переплет чтобы был из белого сафьяна, и прочая такая чепуховина. И уж поверьте, они старались нам угодить. Стоило пустить слух, что такое-то издание Поль де Кока или Бальзака полное, без сокращений, и что если мы купим его за 125 долларов, нам подкинут дополнительный том, напечатанный нелегально и раздаваемый в виде подарка, поскольку продавать его запрещено,— и мы так и набрасывались на эту приманку. А теперь вот что с нами сталось!

И он вернулся к прерванному занятию — снова стал доставать с полок макет за макетом и с тяжким стоном водворять их обратно.

Долго смотреть на эту печальную картину не было сил, и мы поспешили дальше — туда, где множество людей сидели за столами, скрючившись в три погибели. Все они были бледные, изможденные, потому что, как сказал мой спутник, питались исключительно бумагой.

— Это библиоманы,— пояснил он,— собиратели неразрезанных книг, выискиватели опечаток, измерители формата до одного миллиметра. Здесь их заставляют читать подряд все романы серии «Взморье» в бумажных обложках. Чуть дальше сидят библиографы — составители списков и подсчитыватели чистых страниц. Они ценили списки книг больше, чем самые книги, они выславливали в книгах пустячные огрехи и ликовали, когда им удавалось такой огрех найти. Божеством их была точность, так вот теперь их заставляют бритвой расщеплять волос на пять равных частей и анатомировать блошиные ноги.

Немного подальше, среди целой оравы школьников, я увидел мальчика лет пятнадцати, чье лицо показалось мне знакомым. Когда он подбежал ко мне, я заметил, что на шее у него висят две книги. Их противные желтовато-коричневые обложки всколыхнули во мне давнишние воспоминания — то были учебник геометрии и учебник алгебры. Мальчик жалобно хлюпал носом, зловредные эти книги оттягивали ему шею — я не выдержал и громко зарыдал. Так с плачем я и проснулся.

ГАНС ИОАХИМ ЭГГШТАЙН.
ГДР.
Свободу...

С выставки «Сатира в борьбе за мир»

АНТИРУБРИКА

БАРБАРА ХАДЖИНС

Курс психологии для библиотечных работников

Библиотекарь, работающий с читателями, должен быть не только помощником, ученым специалистом и детективом — он должен быть еще и психологом. Он должен понимать, какие мотивы скрываются за туманной просьбой читателя дать ему книгу по «этойсамойнувыпонимаете». Он должен уметь проникнуть в глубины затемненного сознания, дабы установить точный смысл требуемой справки. А самое главное — он должен относиться с пониманием и сочувствием к некоторым странностям, часто наблюдаемым у читателей.

Ниже следует описание четырех наиболее распространенных моделей поведения, встречающихся у тех, кто пользуется услугами библиотек, а также рекомендации по лечению их. Мы надеемся, что этот краткий популярный курс психологии принесет некоторую пользу.

ВРЕМЕННОЙ ЗАСКОК. С временным заскоком сталкивается каждый библиотечный работник, которому приходится дежурить в отделе периодики. Вот типичный случай. К вам подходит читатель и просит мартовский номер «Атлантик мансли». В этом номере, говорит он, была статья по психиатрии Джона Фромквиста, которую ему необходимо перечитать, чтобы сделать кое-какие дополнительные выписки. Получив журнал, он удаляется, но через пять минут опять стоит перед вами. Что-то не в порядке? Да, не в порядке: статьи в номере нет! Вы прочитываете содержание, проверяете страницы. Страницы все на месте, а статьи нет. Неужели она подвержена временным заскокам?

Нет, временной заскок у читателя — это самое обычное проявление комплекса Ego supra omnes [1]. Поскольку для читателя эта статья имеет сейчас большое значение, она представляется ему ближе по времени, чем есть на самом деле. А значит, вам незачем бежать за апрельским или февральским номером «Атлантик». Скорее всего нужная статья окажется в январском номере журнала «Харперс».

Интересно отметить, что этот временной заскок возрастает прямо пропорционально отдаленности желаемого объекта. Наглядно это явствует из следующей таблицы:

Читатель уверяет, что видел статью

в воскресной газете
в «Тайм» на прошлой неделе
В «Атлантик» за март
в «Лайф» год назад

Статья напечатана

в той же газете за пятницу
в «Тайм» или «Ньюсуик»
две недели назад
в «Харперс» за январь
в «Лайф», «Лук» или
«Ридерс дайджест» от 2 до 3 лет назад

Как видите, заскок не ограничивается чувством времени. Оказывается, что и названия журналов больной помнит очень приблизительно. А все потому, что комплекс Ego supra omnes игнорирует те факты, которые полагает для себя незначительными.

Лучший метод лечения человека, страдающего временным заскоком,— немедленно подвести его к каталогу «Указатель периодической литературы» и заставить проверить свое требование либо по заглавию, либо по автору. И автора, и заглавие он узнает без труда, но далеко не сразу поймет, где же произошла осечка. Пока он размышляет над этой тайной, постарайтесь научить его пользоваться данным каталогом. Если вам повезет, то в следующий раз, как ему случится наведаться в отдел периодики, он начнет именно с каталога.

(Примечание. Единственный, кому временной заскок не грозит, это автор статьи. Авторы всегда точно помнят, в каком году и в каком номере их статьи напечатаны. Это — тоже проявление комплекса Ego supra omnes).

СИНДРОМ ПЕРЕПУТАННОГО АВТОРА. Вы сидите на выдаче, и вот к вам, пыхтя от волнения, приближается читатель, и в руках у него ящичек от каталога. «А еще библиотека называется! — восклицает он.— Битый час ищу «По ком звонит колокол» Стейнбека, а его нет! — Он сердито взмахивает ящичком на букву С.— У вас его, что же, вообще нет?!»

Тут самое время сделать надменное лицо и процедить сквозь зубы, что автор книги — Хемингуэй. И если бы он заглянул в ящичек на Х., то нашел бы там нужную карточку со всеми данными, вплоть до шифра. Однако не прибегайте к этому методу (разве что время уж очень поджимает). Читатель решит, что вы зазнались, возненавидит вас и ближайшие пять лет будет обходить ваш столик стороной, а кончит тем, что напишет кляузу в Совет попечителей.

Синдром перепутанного автора отражает притязания на культурность, столь типичные для нашего времени. Те же люди, которые путают писателей, требуют у многострадальных продавцов в магазинах грампластинок альбом с «Патетической симфонией» Бетховена и рассказывают знакомым

[1] Я выше всех (*лат.*).

о том, какая красивая опера «Чио-Чио-Сан» Верди. Ощущая изъяны в своем образовании, неуверенные в себе, они особенно охотно щеголяют именами писателей и композиторов К сожалению, имена-то часто оказываются не те. Но если их поправлять, это только разожжет их неприязнь к культурной надстройке общества. Итак, никогда не делайте замечаний читателям, которые путают авторов.

Лучше всего предложить пострадавшему проверить заказ по заглавию. Во-первых, это покажет ему, что каталогом можно пользоваться по-разному, а во-вторых, позволит самому обнаружить свою ошибку. Вполне возможно, что после этого он подойдет к вам, извинится и кротко сообщит, что «По ком звонит колокол» написал Хемингуэй, что он первый раз в жизни нашел нужную ему книгу и что иметь с вами дело очень приятно.

СИНДРОМ ПЕРЕПУТАННОГО ЗАГЛАВИЯ. Прочитав в требовании «На последнем берегу» Арнольда Мэтьюза или «Бабьи сказки» Бенедикта Арнольда, библиотечный работник понимает, что перед ним — один из труднейших случаев, возможных в библиотечной практике, а именно — читатель с синдромом перепутанного заглавия. В отличие от синдрома перепутанного автора, проблемы в первую очередь общекультурной, синдром перепутанного заглавия связан с проблемой личности и уходит корнями в детство данного читателя. Путать заглавия начинают порой уже в десять лет и, как правило, не перестают до конца жизни. Лечение для этого заболевания не найдено, но больные сами привыкают носить с собой блокнот, карандаш, чтобы успеть записать фамилию, номер телефона и пр. до того, как сознание их все перепутает.

Поскольку страдающий этим синдромом склонен забыть не только автора, но и название книги, отсылать его в каталог бесполезно. Если вам ясно, о каком авторе и о какой книге идет речь, вы так ему и скажите. Этот тип читателя не обижается, когда его поправляют. Ведь и жена поправляет его, когда он называет ее лучшую подругу Джин вместо Джоан, мать, вероятно, поправляла его с первых дней жизни, так что он привык. Возможно, он даже рассчитывает на то, что ему помогут разобраться с заглавиями — у него есть несомненные признаки инфантильности.

Если он просит «На последнем берегу» Арнольда Мэтьюза, помогите ему найти «На дуврском берегу» Мэтью Арнольда, и дело с концом. Если вы сразу не поймете, какая книга ему нужна, проверьте по любой библиографии и на имя и на фамилию автора. Если и это не поможет, попробуйте тематический каталог — бывает, что читатель вспомнит, что ему нужно, по теме. Других способов помочь путающему заглавия пока нет — медицинская наука еще мало знает о его заболевании.

ОТДЕЛ ПОЛНОГО СУМБУРА. Этот отдел населен студентами, старшими школьниками, любыми учащимися. Изредка туда забредает какая-нибудь старушка, пришедшая в библиотеку впервые, но это редкое, хоть и приятное исключение. Полнейший сумбур в голове — отличительный признак именно учащейся молодежи.

Все мы читали о некоммуникабельности между старшим и младшим поколениями, между учеником и учителем. Ни в чем эта некоммуникабельность не проявляется так ярко, как в тех заданиях, которые учащиеся, как им кажется, получают на дом. Я встречала студентов, которые уверяли меня, что к четвергу им задано прочесть все книги о первой мировой войне. Они знали, что это невозможно, и я это знала, но послушать их — получалось, что единственное назначение их преподавателя в том, чтобы давать им невозможные задания.

В основе этой проблемы лежит комплекс «Долой авторитеты». Учащаяся молодежь почти поголовно страдает этим комплексом, и проявляется он порой очень изощренно. Так, например, когда преподаватель диктует домашнее задание, он опирается на официальный авторитет. Учащийся слышит, что ему диктуют, но срабатывает антиавторитетный комплекс, и подсознание не оставляет от задания камня на камне. К тому времени, когда учащийся записывает его, оно превратилось в бессмыслицу. Сознанием учащийся, естественно, этого не улавливает, а библиотекарь улавливает только, что домашнее задание звучит как бессмыслица.

В моей практике самым поразительным примером полного сумбура была первокурсница, которая явилась в библиотеку одного американского колледжа чуть ли не в слезах.

— Мне нужно прочесть одну книжку по курсу английской литературы,— сказала она,— а я нигде не могу ее найти.

— Как называется книга? — спросила я.

— Называется «Рассказы» Харпера и Роу. Я просмотрела к каталоге всех Харперов и Роу,— всхлипнула она.— А под названием «Рассказы» там целые сотни книг!

Оказалось, что ей велено было прочесть «Счастье» Кэтрин Мэнсфилд Как она умудрилась принять издателей за автора, когда задание было черным по белому напечатано в программе ее курса,— этого я никогда не узнаю. Но и то сказать — перед проявлениями антиавторитетного комплекса любой ум пасует. Лучший совет, какой я могу дать библиотечному работнику, занятому с жертвой некоммуникабельности,— это забыть о психологии, выхватить у юного создания тетрадь и перевести записанное там на удобопонятный язык. Ведь в конце-то концов библиотечный работник — не только помощник, ученый специалист, детектив и психолог — он еще и переводчик.

АНТИРУБРИКА

ДОНАЛД РЕНЗ

Межпланетное авторское право

За последнее время Научный отдел Управления по охране авторских прав при Библиотеке конгресса неоднократно отмечал большое количество всевозможных публикаций как документального, так и беллетристического характера, относящихся к завоеванию космоса, и пришел к выводу, что концепция, которую Дж. Г. Уэллс назвал «прыжком в воздух», прочно вошла в сознание современного человека. Этот новый элемент умственной деятельности в сочетании с быстрым развитием техники неизбежно натолкнул Научный отдел на мысль, что люди, вероятнее всего американцы, еще до 1960 года совершат посадку на Луне, а не позднее 1975 года — также на Марсе и Венере. Со свойственной ему дальновидностью Научный отдел уже приступил к рассмотрению возможных последствий этих событий в той мере, в какой они затрагивают деятельность Управления по авторскому праву и закон об авторском праве.

Первым на очереди стоит вопрос об авторском праве на Луне. Почти все астрономы полагают, что Луна необитаема, поэтому заявки на нее, подобно тому как это сейчас происходит с Антарктидой, будут, видимо, делать разные государства, направляющие туда экспедиции. Использована она будет, по всей вероятности, лишь как промежуточный пункт на пути к более отдаленным районам космоса. Однако если среди персонала нашей станции окажется поэт, который напишет сборник стихов и распространит его среди членов американской колонии, то возникает вопрос: можно ли такую книгу зарегистрировать и по какому разряду? Большинство держится того мнения, что к такой книге следует применить правила, существующие для территорий и владений США; меньшинство же утверждает, что речь может идти только о временной регистрации, на четыре месяца, как для книг, изданных за границей, поскольку Луна бесспорно находится за пределами Соединенных Штатов. Несколько ученых выразили надежду, что еще до первой посадки на Луне уйдут на пенсию.

С Марсом и Венерой сопряжены вопросы куда более сложные, поскольку не исключено, что на этих планетах обитают неизвестные нам носители разумной жизни, изъясняющиеся как устно, так и письменно на различных языках. Если окажется, что они настроены дружественно и что они производят предметы, аналогичные тем, что подлежат регистрации, будем ли мы вступать с ними в конвенцию и регистрировать их продукцию? Если да, это вызовет необходимость включить в штат Управления по авторскому праву известное количество сотрудников с мест (для разбора заявок), хотя бы на то время, пока новые языки не будут основательно изучены на Земле. Обогатить сокровищницу Библиотеки конгресса новым материалом в высшей степени желательно. Однако уже известны случаи, когда нынешние сотрудники заявляли, что не желают работать бок о бок с существами зеленого цвета, с чешуйчатой кожей или выше пятнадцати футов ростом. Поскольку сегрегация никогда у нас не допускалась, проблема эта, видимо, относится к компетенции отдела кадров.

Далее, у некоторых марсиан и венериан может оказаться не по одной голове, а по нескольку. Как в таком случае регистрировать их произведения — как работу одного автора или же каждую голову записывать отдельно, в качестве соавтора? Эта дилемма должна быть четко разрешена по многим причинам.

Применительно к более отдаленным районам космоса мы сталкиваемся с проблемами иного порядка. Ясно, что 28-летний срок действия закона об авторском праве окажется очень невыгодным для тех авторов, что проживают на другом конце нашей галактики,— ведь во многих случаях за двадцать восемь лет оттуда до Земли не добраться. Книга, опубликованная на Альдебаране и тут же высланная в адрес Управления, была бы получена на тридцать шестой год — слишком поздно для регистрации. Отсюда следует, что срок действия авторского права следует удлинять пропорционально тому расстоянию, на которое мы удаляемся от

АЛЬФРЕД БАЙЕР-РЕД.
Италия.
Омерзительный спрут.

С выставки «Сатира в борьбе за мир»

Управления. Если не держаться этого правила, мы рискуем тем, что против нас будут приняты ответные меры, участятся случаи нарушения конвенции, и в результате произведения американских авторов откажутся регистрировать на Сириусе, Лебеде, Орионе и в других отдаленных местах. Едва ли американским издателям будет приятно сознание, что чуть ли не на всем протяжении Млечного Пути их бестселлеры не охраняются законом.

Возможно, что окончательно эти вопросы будут решаться на Первом Межгалактическом конгрессе по авторскому праву. Нам же пока не мешает подумать о реорганизации Управления в связи с поступлением необъятных количеств материала со всех этих планет и созвездий. Ввиду того что при нынешней постановке научной работы справиться с таким объемом материала явно невозможно, было выдвинуто предложение установить в Управлении гигантскую ЭВМ, даже если под нее пришлось бы отдать весь новый корпус, и заложить в ее память закон об авторском праве и все решения по нему, принятые как в самом Управлении, так и в судах. (Рассчитано, что для этого потребуется не более 20 000 000 000 000 000 000 электронных ламп). Запросы будут вводиться на перфокартах, которые машина будет либо принимать, либо тут же отбрасывать. Спорные случаи, сейчас отнимающие от пяти до шести недель рабочего времени, будут разрешаться за миллионную долю секунды, что позволит нам ликвидировать заторы и освободить послеобеденные часы по пятницам. Одно это уже даст ежегодную экономию в 27 375 549 человеко-часов.

Поскольку биржа труда, как правило, не может предложить специалистов по кибернетике, ядерной физике, общей семантике, неэвклидовой геометрии и электронике, нам, по-видимому, придется обходиться имеющимся персоналом. Вначале будут случаться ошибки, но это неизбежно при всякой сколько-нибудь серьезной реорганизации.

Для обработки грандиозной массы статистических данных, полученных в результате этих операций, предложено было также нанимать «считающих кудесников» — тех удивительных индивидуумов, что умеют производить в уме сложнейшие математические вычисления. То обстоятельство, что во всех других смыслах эти люди обычно круглые идиоты, не должно служить препятствием для зачисления их в штат, поскольку в прошлом Научный отдел никогда не проводил такой дискриминации.

Мы твердо убеждены, что, сообразуясь со славными традициями Управления по охране авторских прав, мы должны всеми силами постараться разрешить большую часть этих вопросов безотлагательно, чтобы пилот первой же ракеты, запущенной на Луну, мог совершить свой полет с легким сердцем и с сознанием, что о его интересах пекутся и Научный, и Справочный отделы, и отдел Каталогизации, и отдел Обслуживания и что в случае необходимости они окажут ему единодушную поддержку.

ПЕТЕР ХАКС

ИСТОРИЯ МОЕЙ ОПЕРЫ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФЕЛЬЕТОН

■

Перевод с немецкого ЭЛЛЫ ВЕНГЕРОВОЙ

1

Судьба заявила о себе не ударами литавр и не глухим рокотом труб: раздался просто звонок в дверь. Вошел Зигфрид Маттхуз. Он попросил меня просмотреть предложенное ему либретто. Я продолжал пить чай. Я взглянул на либретто. Я еще ничего не предчувствовал — ни тогда, ни долго потом. Я сказал: «Я запрещаю вам класть это на музыку».— «Отсюда следует,— живо возразил он,— что вы обещаете написать лучше».

2

Наша пьеса называлась «Ариадна на Наксосе». Была задумана забавная история о супружеской неверности, и, поскольку это зависело от нас, она такой и получилась. Теперь я должен изложить вам весь сюжет. Конечно, мне было бы приятней, если б вы могли просто купить в кассе билет и посмотреть спектакль, но когда вы прочтете мой рассказ, вы узнаете, почему сделать это не так-то легко. Фактически из всех способов узнать содержание оперы в наш век остался, кажется, один-единственный. Просят автора его пересказать.

3

Ариадна. Как известно, когда великая критская держава, где господствовал матриархат, воевала с патриархальной Грецией, Ариадна выступила на стороне мужчин. Она помогла Тезею пересечь лабиринт и убить ее брата, Минотавра. Так, ценой предательства она добилась от Тезея обещания жениться на ней. Я знал ответ на вопрос, почему эта женщина отреклась от женских прав: она была слишком инертна, чтобы притязать

АНТИРУБРИКА

на них. Она поняла, что женщины ее типа будут повелевать, предоставляя мужчине господство над миром и оставляя за собой господство над мужчиной. Она нашла, что патриархат — как раз подходящая форма правления для женщины, при условии, что она сохранит власть над мужем. По этой причине Ариадна предала варварам мать, дядю, брата и родину, а сама прилепилась к тому, кто обещал ей вечную признательность.

Что ж, открытие имело действительно эпохальное значение, и нельзя упрекать его виновницу, что вначале она поступала не совсем изящно. Метод откровенного преследования оказался несовершенным, герою скоро надоела навязчивая спасительница, и при первой же возможности во время краткого пребывания на пустынном острове Наксосе, всего в нескольких милях от Кносса, он ее оставил. Тогда-то среди скал она поразмыслила на досуге над усовершенствованием своей тактики. Через некоторое время на нее набрел бог Дионис, имевший несчастье найти ее формы прелестными, и тут она доказала, что не намерена повторять своих ошибок. Рыдая, Ариадна призналась ему, что любовь ее принадлежит единственному во всем мире мужчине, Тезею, а сердце Тезея принадлежит только ей, и, хотя неблагосклонность богов сулила им разлуку, сердца их навек останутся неразлучными. Привыкший к победам бог, весьма заинтригованный ее неприступностью, постепенно проникается любовью. А Ариадна, заливаясь слезами, снисходит к его мольбам, однако же при условии, что, когда за нею вернется Тезей, Дионис ее оставит и уступит честь и место первому и единственному претенденту.

Дионис попадает в ловушку. Он впадает в несчастнейшее из всех состояний, каковое определяется как фрустрационный невроз, а мужчины обычно так охотно и глупо путают со страстью. Чем настойчивее притязания Диониса, тем уклончивее бегут слезы Ариадны, а если ему изредка и удается вырвать у нее вздох нежного томления, в нем всегда слышится некий звук, напоминающий имя Тезея. Эта холодная и ленивая царская дочь заставляет бога усомниться в собственной непревзойденности: ее благосклонность представляется больному воображению Диониса единственно убедительным доказательством его божественного воскресения из мертвых; одним словом, она воспитала себе супруга.

4

Это пролог. После страстной арии Диониса, домогающегося любви Ариадны, исполняется в высшей степени драматический дуэт, в коем Ариадна демонстрирует все искусные приемы мелочного обольщения и лукавой уклончивости, а Дионис — все ступени восторга и самобичевания. Хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь смог это увидеть и услышать. Едва Дионис начинает верить, что близок к цели, Ариадна ускользает от него и, стоя на самом краю скалистого мыса и обращаясь к морю, изливает в песне тоску по Тезею. Бог корчится в муках. Тут появляется посланец с корабля, зашедшего на остров за водой. Он сообщает, что недалеко от берега стал на якорь какой-то чужестранец.

— Кто этот чужестранец?

— Сын Посейдона.

— О, ужас, о, страшные предчувствия!

Царь Аттики.

— Может быть, это Тезей?

Сцена завершается терцетом, в котором Ариадна делает вид, что надеется на то, чего больше всего боится. Дионис думает, что боится того, на что сильнее всего надеется, а посланец вообще ничего не думает. Появляется Тезей. Занавес.

Не хочу быть излишне подробным. Вы уже получили представление. Пьеса полна самых неожиданных перипетий. Конечно же, происходит путаница, в результате которой не только Дионис начинает верить в любовь Тезея к Ариадне, но и — вопреки всякому рассудку — даже она сама. Конечно же, происходит поединок с участием божественных сил и всякого рода чудес. Но, разумеется, до взаимного убийства дело не доходит, так как Тезей успевает сообщить противнику, что он, со своей стороны, использовал критянку (чье имя он едва помнит), чтобы устранить Минотавра, что соблазнил он ее без всякого удовольствия и поспешил отделаться от нее как можно скорее.

Пьеса представляет собой комическую оперу: мужчины смеются друг над другом и над этой женщиной. Излечившийся Дионис возвращается к своим виноградникам, Тезей продолжает поход против амазонок, а Ариадна лишает себя жизни, пытаясь разыграть самоубийство.

5

В работе над либретто мне мешало то обстоятельство, что имена героев звучали излишне благородно, классически-традиционно, но согласитесь: во всем остальном это была прелестная, изящная история и, несомненно, в присущем мне стиле. О музыке Маттхуза я ничего не скажу, потому что в музыке ничего не смыслю. Но думаю, что, если бы смыслил, она понравилась бы мне сверх всякой меры. Мы дерзнули совершить рывок к звездам и принесли наше сочинение в такой знаменитый театр, как «Настоящая опера».

6

«Настоящая»! Какой посвященный на каком из шести континентов (говоря о шестом континенте, я имею в виду Австралию, а не Антарктиду), где всегда найдется несколько русских ценителей — какой посвященный, повторяю я, не

испытывает священного трепета при упоминании о «Настоящей»? Я отлично понимаю, что воздать ей достойную хвалу, не впадая в банальность, не в моих силах. Этот театр отличается от обычных оперных театров не только тем, в частности, что располагает одаренными солистами, хорошо обученным оркестром и отличным дирижером. В конце концов такое встретишь и в других местах. Преимущество же «Настоящей» перед всеми прочими операми в мире заключается в том, что она опирается на теорию. Эта теория, как, впрочем, и всякое гениальное учение, может быть резюмирована в одном, столь же простом, сколь и ниспровергающем тезисе. Тезис гласит, что опера — это театральный спектакль, и, следовательно, то, что хорошо для театра, не может не быть достаточно похвальным для оперы. И вот на основании этого открытия «Настоящая» разработала солидный запас приемов, чтобы извинить наличие музыки — часто неизбежное в опере. Певцы научились петь так, что можно было почти поверить, что они говорят или бормочут про себя. Режиссеры изловчились в тех местах, где композитор становится особенно навязчивым, отвлекать публику от солистов, то есть от музыки, шутовскими прыжками или громким зубовным скрежетом второстепенных персонажей. И скоро в «Настоящей» были абсолютно искоренены безнравственные обычаи разлагающегося феодализма, когда случалось, что пресыщенные завсегдатаи ездили в оперу ради одной-единственной красивой арии.

7

По истечении срока, отведенного на бессмысленное ожидание, до меня начали доходить самые обнадеживающие слухи. Правда, «Настоящая» не приобрела права на постановку нашего сочинения, но она, как утверждали, с гордостью публично заявляла о нем как о своем детище. Поговаривали, что назначен день премьеры, более того, мне даже, наконец, донесли, что для разучивания оперы приглашен режиссер. О режиссере — о его качествах как сценариста, драматурга, педагога, директора театра, кинопродюсера и философа — я уже слышал, ибо он настойчиво лез вверх в разных жанрах со все более значительным неуспехом. Методом исключения неподобающего ему удалось занять приличествующее ему место в мире искусства. Теперь он был главным режиссером «Настоящей» и столь же знаменит, как сама «Настоящая». Но я никогда не мог избавиться от некоторого предубеждения против этого человека и, честно говоря, считал его посредственностью. Нижеследующие записки покажут, как далек я был от истины. Позвольте мне, прежде чем начать повествование, предпослать моим запискам сведения, каковыми я в то время еще не располагал. Только получив их, можно оценить всю пикантность событий. Дело в том, что режиссер, вдохновленный представлением Собачьего театра...

8

Знаете ли вы Собачий театр? Собачий театр — это одна из поэтических форм сценического искусства. Она состоит в том, что породистые собаки ловко перебегают через сцену на задних лапах из одной двери в другую. Собаки одеты в костюмы Пастора, Аптекарши или Потаскушки, а на дверях висят таблички: «Дом пастора», «Аптека», «Бордель». Чем более скупые средства предлагает театральный жанр, тем сильнее они возбуждают фантазию художника. Я всегда мечтал написать пьесу для Собачьего театра, пьесу, интрига которой исчерпывалась тем, кто, когда и куда входит и выходит. Было бы неразумно требовать большего от этих животных.

9

Итак, мы остановились на том, что режиссер, вдохновленный представлением Собачьего театра, увлекся замыслом использовать в опере собак. Подобно мне, он считал основным достоинством собак их неумение петь. Поэтому он начал сочинять либретто о полярном исследователе Грили, в котором упомянутый Грили на собачьей упряжке пересекает арктическую местность. Содержанием оперы должны были послужить душевные переживания одинокого человека, оказавшегося в мире льда. Впрочем, не знаю уж по каким причинам, либретто никогда не было дописано до конца. Вскоре после начала репетиций «Ариадны» режиссер пригласил меня к себе.

— Дорогой Хакс,— любезно обратился он ко мне,— я посвящу вас в мои самые тайные замыслы: я собираюсь занять в опере собак и хотел бы с вами обсудить необходимые изменения в либретто.

10

Позвольте дать вам полезный совет, терпеливый читатель: избегайте по возможности плохих аргументов для защиты добрых дел. Это непременно отомстит за себя. Согласен, ложный аргумент много эффективнее, чем истинный,— вы покинете арену победителем, вы достигнете своей цели. Но настанет день, когда благодаря вашему сомнительному аргументу вы окажетесь в яме, вырытой собственными руками. Кто из нас не лгал во имя истины, но скольким потом приходилось платить дорогой ценой за свою пущенную в обращение ложь? Накладные расходы часто приводят победителя к полному банкротству.

Итак, я возразил режиссеру:

— Видите ли, я, собственно, против собак.

— Против собак? — переспросил он недоуменно.— Почему?

— Видите ли,— осторожно произнес я,— я представлял себе Наксос необитаемым островом, чем-то вроде скалистого рифа. Откуда там быть собакам?

Я знал, что такой аргумент сработает. Он немного еще поразмыслил над географическими обстоятельствами, попросил ассистента принести ему том Брема, энергично перелистал «Историю домашних животных» и лишь тогда согласился со мной и обещал отказаться от своей идеи. Человек чести умеет с достоинством перенести поражение.

11

Поскольку в наказание за мое строптивое поведение меня не допустили на репетиции, к дальнейшей подготовке спектакля я не имел отношения, и мне довольно легко удалось забыть об этой истории. Однако спустя примерно месяца три у меня состоялась деловая беседа с одной балериной. Я встретился с этой дамой в ресторане «Настоящей» и только успел выяснить, что она, против моих ожиданий, вечером уже занята, как из динамика раздалось: «Прогон «Ариадны». Участников первой картины просят на сцену»

— Вы совершенно уверены,— сказал я своей собеседнице,— что сегодня не хотите отведать жареных перепелок?

— Совершенно уверена, — подтвердила она.

— Это почти невыносимо досадно, — заверил я.

Я откланялся, запечатлев на ее руке намек на поцелуй, и направился в центральную ложу, чтобы увидеть сочиненную мною оперу во всей полноте ее сценического воплощения.

12

Вы припоминаете начало? Дионис домогается Ариадны, которая снова спряталась в гроте, он считает ее хорошо рассчитанную застенчивость следствием недостаточной убедительности своей страсти. «Побори свою ты робость, — пылко взывает он, изнемогая от мук,— я молю, доверься мне!» Клянусь богами, он пел прекрасно: будь я женщина, я бы сам к нему вышел. Правда, к моему удивлению, Ариадна уже находилась на сцене. Она сидела на кубе из плексигласа, заложив ногу на ногу, и соблазнительно покачивала розовой туфелькой. «Пусть душа твоя воскреснет», — пел бог, боязливо удаляясь от нее, и Ариадна последовала этому призыву несколько неожиданным для меня образом: она начала раздеваться. Она бросилась на спину и стала вертеться на плексигласовом рифе: производя сложные телодвижения, она ловко избавлялась от одеяний, во всяком случае, от большей их части, ибо очаровательные черные трусики и бюстгальтер она все-таки не сбросила. Я видел бюстгальтеры уже на помпейских фресках, относительно критской формы этого элемента одежды я питал сомнения, но бюстгальтер Ариадны, несомненно, отвечал самой прогрессивной моде 70-х годов. Слов нет, она выглядела восхитительно. Зато бог Дионис, увидев ее полуобнаженной, ударился в неописуемую панику. Распевая нежную кантилену «Приди, о, приди!», он забился в самый дальний угол сцены, втиснув свою увенчанную лаврами голову в щель на полу, откуда он — правда, с некоторыми трудностями — испустил верхнее си-бемоль, которым, как я знал, Маттхуз надеялся произвести потрясающий эффект.

13

Зрительный зал, в некоторой степени заполненный людьми с телевидения, друзьями режиссера и просто случайными слушателями, проявил теплое участие к бедрам фрау Х. Но уже в этот миг я понял, что произошел один из достойных сожаления случаев, когда и текст и музыка имеют несчастье разминуться с замыслом режиссуры.

14

Об аналогичном случае мне рассказала как-то Эрика Пеликовски. В одном из крупных городов на Рейне она играла Иветту, солдатскую шлюху, которая благодаря неустанным трудам достигла статуса вдовы полковника.

Будучи на вершине своей карьеры, Иветта снова встречает полкового повара, некогда столкнувшего ее на дно. Она осыпает его бранью и приказывает: «Встать, когда я с тобой говорю».

Итак, репетировалась фраза, в которой эффектно противопоставлялось возвышение Иветты и падение повара, и тут фрау Пеликовски обнаружила, что во время произнесения ею этой реплики повар был на ногах. Она обратила внимание режиссера на некоторые трудности, которые могут возникнуть в связи с исполнением и пониманием этого места, когда требование встать обращено к человеку, который уже стоит.

Режиссер... Но я предпочел бы не называть здесь его имени. Меня побуждает к тому не страх и не ложно понятая порядочность, у меня просто язык не поворачивается называть имена плохих режиссеров. Так вот, режиссер с неприязнью взглянул на фрау Пеликовски и сказал: «Хорошо. Вычеркнем эту реплику». Я привожу этот пример, чтобы показать, как оно бывает, когда пьеса не вписывается в замысел постановщика. Разумеется мой режиссер, в отличие от того, чье имя я не в силах произнести, и не думал что-либо опускать, он не посягнул ни на единый слог текста, ни на

единую ноту партитуры. О нет, он шел своим путем, неустрашимый и неуязвимый.

15

После арии Диониса оркестр исполняет холодно-торжественную интерлюдию, задуманную первоначально для выхода Ариадны. Эту излишнюю, как оказалось, длинноту Ариадна теперь разумно использовала для того, чтобы снова одеться за прозрачным рифом, а Дионис — чтобы вытащить голову из щели. После чего у них нашлось время друг для друга. Дирижер поднял палочку. Раздались мощные и сложные ритмы — вступление к дуэту (этому обнажающему души объяснению), и тут из-за левой кулисы появилась упряжка... тюленей в зеленых тирольских шляпках на блестящих серых лбах.

16

Разумеется, я могу сообщить, о чем пели Ариадна и Дионис на этом отрезке фабулы. Он молит ее ответить на его страсть, она излагает вымышленную историю своей любви и напоминает Дионису о его олимпийской клятве отказаться от нее, когда вернется Тезей. Пылкая ревность Диониса бессильна перед убожеством ее чувств, на угрозу покинуть ее Ариадна отвечает насмешкой, но Дионис несмотря ни на что принимает эту любовь, которая в дальнейшем принесет ему только мучения. Унизительный договор порабощенной страсти скрепляется дуэтом противоестественной красоты. Мне, как автору, все это было известно. Я единственный, кроме Маттхуза, человек, которому это было известно,— правда, следя за дуэтом на сцене, я кое-что подзабыл. Тюлени были такие милые. Они шлепали по сцене своими ластами и с такой трогательной неуклюжестью поворачивались в такт музыке, что получался почти настоящий балет. Когда бог пропел:

Нет, без тебя не могу я жить,
Хочу ненавидеть, а жажду любить...

и снизошедшая к его мольбам девушка подтвердила: «Да, да, без меня ты не можешь жить», тюлени даже поднялись на хвостах и подбросили вверх большие пестрые мячи.

Публика пришла в восторг и разразилась аплодисментами, что, как известно, редко случается во время репетиций. Успех спектакля, собственно, уже был предрешен. И все же я чувствовал неудовлетворенность. Я твердил себе, что восприятию последующих событий существенно повредит тот факт, что зрители так никогда и не узнают ни имен, ни намерений действующих лиц. Впрочем, быть может, мое тщеславие было уязвлено тем, что не я вызвал восторг публики.

Покинув свою ложу, я проник в партер, пробрался к режиссерскому пульту и сказал режиссеру: «Вы обещали мне отказаться от животных».

17

Режиссер строго произнес: «Как вы сюда попали?» Я сказал: «Мне необходимо поговорить с вами об этих животных, именно здесь и немедленно». Увидев, что я настроен серьезно, режиссер уступил. Он поручил свите своих ассистентов выяснить, кто пропустил меня в зал. Уладив это, он повернулся ко мне и спросил: «Ну-с, в чем дело?»

— Я требую,— сказал я,— чтобы вы удалили зверей.

— Это же не собаки,— сказал он терпеливо.— Я изменил сюжет с вашего же разрешения.

— Но это тюлени!— воскликнул я.

— Господин доктор Хакс,— сказал он выразительно,— на Наксосе водятся тюлени или нет?

В тот момент я не представлял себе, водятся ли тюлени в восточной части Средиземного моря. Я был уверен, что не в этом дело и что, если я окажусь в состоянии доказать их географическую невероятность, он, не колеблясь ни минуты, заменит тюленей летающими собаками. Я неверно подошел к решению проблемы в целом. Поэтому, переменив тему, я довольно неуверенно произнес:

— Но вы же искажаете замысел.

— Дорогой доктор Хакс,— сказал он,— скажу вам без ложной скромности, мне было весьма нелегко ангажировать эту труппу. Это самая дорогая труппа, какую только можно найти. Каждое животное получает гонорар за вечер, и он в два раза превышает гонорар тенора. Битых два месяца я работал исключительно с тюленями. А вы являетесь сюда — кстати, как это вам удалось? — и не находите ничего лучшего, чем заявить, что тюлени вам мешают.

— Но...— сказал я.

— Позвольте мне объяснить вам,— возразил он.— Вы поэт. Вы можете сочинять все что вам вздумается. Ваша свобода для меня священна. Признаюсь—я люблю вашу пьесу, в конце концов это я принял ее к постановке, и вы не осмелитесь утверждать, что просили меня об этом. Уж не думаете ли вы, что режиссер, уважающий вашу свободу, сам не имеет права быть свободным?

— Но...— сказал я.

Теперь он рассердился.

— Хорошо,— сказал он весьма решительно.— Поговорим после репетиции. Будьте добры подождать меня в фойе. Я здесь три месяца тружусь до изнеможения. Я не допущу, чтобы ваше вопиющее невежество свело на нет мою работу.

Что мне было делать? Я ушел. Я прокрался через фойе, красивым полукру-

---

гом огибающее зрительный зал, и на противоположной стороне бесшумно приоткрыл некую дверь (я решился не утаивать от читателя ни одного, даже неблаговидного для меня, поступка). Через щель была видна сцена.

18

Тем временем репетиция продвинулась до арии на скале. Я имею в виду ту песнь, в которой Ариадна, чтобы довершить унижение Диониса, в его присутствии предается мечтам о мнимом возлюбленном:

О Тезей, как я страдаю,
Сердце рвется от тоски.
Без тебя изнемогаю
На скале средь волн морских.

Эту арию Ариадна исполняла с заметным саксонским акцентом. Но прежде чем успело сложиться мое мнение на этот счет, она снова начала раздеваться. Мой мозг почти отказался воспринимать весь объем нарастающих трудностей.

19

На самом деле мое знание античности отнюдь не так глубоко, как я стараюсь это продемонстрировать. Тем не менее я вспомнил об одном постановлении Ликурга, предписывавшем девственницам Спарты входить в театр обнаженными. Спартанские юноши должны были пресытиться зрелищем женских прелестей, потерять всякое влечение к противоположному полу и обратиться к наслаждениям однополой любви (чувству, якобы более высокому в духовном и нравственном отношении). Было ли здесь соответствие? Возможно ли предположить подобное намерение со стороны режиссера? Я не довел до конца своих соображений, ибо еще прежде чем я успел совершенно от них отказаться, новое событие на сцене привлекло мое внимание.

20

А именно: Дионис, проявив заметное недовольство затянувшейся арией, заснул от скуки, и теперь Ариадна накинулась на него, желая его подбодрить. Она теребила его одежды, несколько раз ущипнула за ногу и наконец уселась верхом ему на шею, распевая при этом с непередаваемым саксонским акцентом:

Ты мне мил, но как далек ты!
Ты далек, но как ты мил!

Должен признать, что сцена, хотя и весьма впечатляющая, не имела особого успеха. В зале послышался кашель. Музыка была слишком хрупкой для этого веселого происшествия, и, наверное, мы поступили дурно, растянув ее на три с половиной минуты. Ведь ни один трюк не становится лучше, если его растянуть.

21

Вошел гонец и принес известие о прибытии Тезея. Так или иначе сомнительная ситуация была преодолена. Ариадна снова привела в порядок свои одежды, а для Диониса режиссер придумал здесь весьма эффектное подражание жестам просыпающегося человека: бог громко сопел, расправлял члены, тер руками глаза и так далее. Однако за этим последовал терцет, которому не хватало столь же убедительного режиссерского решения. Певцы просто стояли на произвольном расстоянии друг от друга и пели каждый свое, а когда публика начала проявлять некоторый интерес (вероятно, потому, что ей наконец предоставили возможность разгадать, кто же, собственно, эти трое), персонажи в самой середине сцены удалились, словно испытывали неловкость от такого любопытства. У меня создалось впечатление, что за кулисами они допели все до конца. Но я бы не смог в этом присягнуть, я-то ведь знал мелодию. Во всяком случае, сцена оставалась совершенно пустой. Ничего не происходило. И внезапно я понял: главное действие акта — появление чужестранца,— которое мы пытались решить своими негодными музыкальными и драматическими средствами, было преподнесено режиссером в полном согласии с духом этого театра. Мастер сцены обнаружил несомненное превосходство. Пауза все еще продолжалась. Она длилась дольше, чем могла длиться какая-либо пауза в ходе какого-либо действия. Это была пауза-вечность, пауза-гигант, боже мой, а Маттхуз как раз здесь дерзнул предложить фермату. И вот наконец, когда терпение присутствующих готово было лопнуть, явился он, этот Священный царь, этот аттический Геракл... Грили. Я, конечно, имею в виду Тезея. Имею в виду Тезея... На нем была круглая шапка из оленьей шкуры и зеленые гамаши с отворотами, в правой руке он держал ледоруб, каковой он и вонзил с видом крайнего облегчения в ледяного цвета куб, назначение которого стало понятным только теперь.

22

Режиссер не забыл обо мне. Он вышел из зала измученный, но в прекрасном настроении и поманил меня пальцем.

— Что касается сцен с раздеванием... — начал я.

— Как? — спросил он.— Вы при этом присутствовали?

Я признался. Достаточно было одного его взгляда, чтобы все ассистенты стремительно испарились.

Впрочем, он пренебрег возможностью закатить мне скандал и вежливо дал понять, что готов меня выслушать.

— Эти сцены с раздеванием...— начал я снова.— Мне кажется, важно показать лукавство Ариадны — она отталкивает и одновременно соблазняет...

— Важно показать?— повторил он рассеянно. Он открыл партитуру, кото-

рую держал под мышкой, и указал на заголовок. — Здесь написано: «Комическая опера»,— сказал он.— Или этого здесь не написано?

— Это комическая опера,— согласился я.

— То-то,— сказал он.— Что еще?

— У Ариадны саксонский акцент,— сказал я.— Важно подчеркнуть ее высокое происхождение...

— Послушайте...— сказал он.— Под комической оперой я понимаю оперу, на которой зрители должны смеяться.

Я заметил, что до сих пор это было всегда одним из моих убеждений.

— То-то,— сказал он.— Еще что-нибудь?

— Костюм полярника на Тезее,— снова начал я. Но тут меня осенило.— Понимаю,— вскричал я,— поскольку это комическая опера...

— Мне эта мотивировка кажется не очень убедительной,— возразил режиссер.— Если наш театр столь блестяще укрепил свою школу, то лишь благодаря методу научного исследования произведений. Мы изучаем явные и скрытые замыслы их создателей. От нас ничто не ускользнет. Мы читаем наши пьесы.

Он перелистал партитуру и нашел это место. В самом деле, там было написано: «Герой великий с севера грядет».

23

Когда пробил час премьеры, я лежал на своей кушетке, предаваясь мыслям о том, как достичь славы, ничего не делая. И тут раздался звонок в дверь. На пороге стояла незнакомая дама. На ней было отливающее блеском шиншилловое манто, из-под которого виднелось шелковое платье очень красного цвета. Предчувствуя недоразумение, я обратился к ней довольно сурово:

— Чем могу быть полезен?

— Многим, миленький,— отвечала она дерзко.— Многим таким, о чем ты и мечтать-то не смел.

— А разве вы не собираетесь в оперу?— спросил я, ибо предположил это, глядя на ее платье. Вопрос развеселил ее.

— В оперу?— переспросила она.— Ха-ха. Ведь я и есть опера.

— Собственной персоной!— воскликнул я, провожая ее в гостиную.— Значит, вы и есть великая...

24

—...блудница,— закончила она.— Не стесняйся в выражениях, я не так обидчива, как ты. Я привыкла, что меня называют как угодно, и не сопротивляюсь. Во всяком случае, это я, Развратница-в-Алом, Царица Народов, Королева-Опера.

Она сбросила свое манто, скинула туфли, расположилась на подушках моей кушетки и только потом спросила:

— Я могу снять манто?

25

Все в ней было жирным: черные волосы, грудь, тело. Ее лицо и шея были покрыты бело-розовым слоем краски, а когда она смеялась, по ее гриму со скрипучим звуком разбегалась сеть трещин.

— Но что же вам все-таки угодно?— спросил я озадаченно.

— Ты мне подходишь,— заявила она развязно.— Сегодня вечером у нас назначено свидание. Ты не явился, и вот я пришла к тебе.

Снова раздался скрипучий смех. И так как я молчал, она бросила на меня многозначительный взгляд и сказала:

— А, может, тебе не по вкусу темпераментные женщины?

Я уклонился от ответа.

— Не хотели бы вы спеть мне что-нибудь?— предложил я. Но, кажется, я коснулся именно того вопроса, по которому она, в порядке исключения, не была готова идти мне навстречу.

— Я больше не пою,— заявила она со значением.— Мои клиенты совершенно отучили меня.

— Да, в том-то и состоит моя проблема,— сказал я возбужденно.— Ведь теперь все говорят, что оперу посещают не ради искусства. Но чего-то же люди у вас ищут; я полагал, что это музыка.

— Глупости,— сказала она.

— Как, простите?— переспросил я.

— Они ищут глупости,— повторила она.— Я удовлетворяю потребность в таком театре, обслуживать который из соображений престижности отказался бы самый жалкий ярмарочный балаган.

— Но все-таки,— вставил я,— своеобразие вашего искусства...

— Моего искусства!— воскликнула она пренебрежительно.— Иди ты со своим своеобразием. Где нынче возьмешь понимающего клиента?..

Она захихикала, словно нашла это весьма забавным.

— Вы назвали меня...— продолжала она, снова впадая в доверительный тон,— назвали меня блудницей.

(Неправда, она сама с этого начала.)

— Но чего ищет клиент в увеселительном заведении? Ведь не любви же. И уж не сантимента. Клиент ищет в увеселительном заведении отдохновения, отсутствия усилий. Ценится та дама, которая не прилагает стараний, ибо всякое старание с ее стороны только портит клиенту настроение. Говорят о любви и пускаются в разврат, притворство называют счастьем, безделье — делом; вот, сударь, и вся тайна моей профессии.

Ее цинизм возмутил меня.

— И вы никогда не стыдитесь?— выдохнул я.

— Стыжусь,— прошептала она, хихикая,— когда поют.

АНТИРУБРИКА

26

Вы заметили, читатель,— я спал. Даже я это заметил. Однако точности ради я подтверждаю: конец моего достоверного рассказа отражает не факт материального мира. Это был сон, привидевшийся мне на кушетке. Я заколол бы пятьдесят собак в честь Аполлона, если б мог сказать то же самое о начале этой истории.

27

Гостья вдруг сорвалась с кресла и бухнулась передо мной на колени.

— Спасите меня, маэстро!— вскричала она, ломая руки. Слезы душили ее.— Не отталкивайте меня. Я не имею права потерять вас, вы моя последняя надежда стать порядочной.

— Не фальшивьте,— сказал я.

— Пусть так,— покорно согласилась она.— Тогда я буду молчать.

— Мне нравится, что вы молчите,— произнес я после паузы,— но было бы еще лучше, если б вы ушли.

— Вы струсили из-за одного-единственного провала,— констатировала она с горьким упреком.

— Меня не так легко оскорбить,— сказал я.— Я стойко переносил провалы. Всякое бывало. Весь свет сидит у меня на шее, как вампир сосет меня и не платит. Но такая грандиозная неудача! Такое вопиющее убожество!

На ее лице появилось странное выражение, и она произнесла:

— Ты так сильно любишь меня?

Это ошарашило меня.

— Что вы имеете в виду?

— Ты так много ждал от меня?— спросила Блудница.

Я ничего не понимал, но она настойчиво продолжала:

— Разве разочарования не столь же велики, сколь велики иллюзии? И разве не делает мне чести, что я способна вызывать великое разочарование? Царство наслаждения, гармония духовного и чувственного... разве все это в нашем мире не... — Она оборвала себя на полуслове и заговорила совсем по-другому.— Я глубоко сожалею, сударь,— насмешливо произнесла она, приседая,— что вы, впервые посетив один из моих храмов, испытали такое потрясение, которого не забудете до конца своих дней.

— А если б и так,— ответил я угрюмо,— чем вы-то можете мне помочь?

— Сначала,— сказала она бодро,— я разденусь.

При этих простых словах меня пронзил такой ужас, что казалось, разорвется сердце.

— Что с вами? — спросила она участливо.— Вы побледнели, словно труп.

— Боже,— выдохнул я,— теперь этот режиссер стал хозяином моих снов!

Я почувствовал, что из всех разновидностей грубого разврата этот — самый гибельный. Есть от чего сойти с ума.

28

Но потом я заметил, что ничего особенного не произошло. Ее умение снимать одежду произвело приятное впечатление. Из своего ридикюля, тоже сшитого из шиншиллы, она извлекла множество бутылочек и коробочек с очищающими лосьонами, туалетной водой и ватой. Расставив их перед собой на столе, она начала спокойно разгримировываться. Я закрыл глаза, что мне, однако, ничуть не помогло, поскольку они уже были закрыты — ведь я же спал. Я видел великую Блудницу сквозь опущенные веки так же явственно, как и прежде, и я невольно наблюдал, как она совершает туалет.

К моему изумлению, я заметил, как из-под морщинистой краски выступила нежная и гладкая кожа. Моя гостья удаляла слой за слоем изборожденную трещинами кожу, и внешность ее становилась все безупречнее. И когда с нее окончательно спала бело-розовая маска, я увидел лицо, которое в старину непременно назвали бы божественно-прекрасным. В нем была именно та гармония очарования и иллюзорности, которую иначе не назовешь. Но я отклонился в сторону. Итак, я увидел ее прекрасный лик, а она попросила меня расстегнуть ей молнию.

Я не очень люблю, когда незнакомые дамы провоцируют меня на сомнительные действия, и потому отказался выполнить ее просьбу. Разумеется, мой отказ не остановил ее. Она прекрасно справилась и без меня. Несмотря на свои жирные плечи, она ловко расстегнула молнию и легким движением сбросила... нет, не платье, а все свое истасканное, видавшее виды тело — поверьте, что даже во сне эта операция подействовала на меня ошеломляюще. Мне показалось, что под своим телом она носила второе, девственное, вполне подходящее к ее новому лицу. Это был облик вечной юности, манящий и недосягаемый, как сама истина.

— О, как прекрасно!— воскликнул я восторженно.

— Ах!— произнесла она с улыбкой неописуемой притягательности.— Вы не пугаетесь, как другие?

— О нет! — закричал я.— Напротив, я мог бы любить вас!

— Согласна,— сказала она.

Но я почувствовал, что ее прелестный облик становится все более расплывчатым, как будто она все дальше удалялась от меня. Она стала лишь очертанием, отзвуком, который ускользал от меня, оставляя неизгладимый след в сердце.

— Можете меня любить,— услышал я из бесконечной дали ее нежный лепет.— Но вам меня не заполучить.

◆

Наши гости

Фернандо Намора

Мария Велью да Кошта

(ПОРТУГАЛИЯ)

Фернандо Намора давно и по праву считается одним из интереснейших представителей не только современной португальской, но и западноевропейской литературы. У советских читателей получили признание его автобиографические «Записки врача», роман «Живущие в подполье».

Гораздо меньше известен он нам как автор документальной прозы. Может быть, именно потому главной темой беседы с писателем, состоявшейся в редакции «Иностранной литературы», стала именно эта сторона его творчества. Следует подчеркнуть, что у себя на родине Ф. Намора — признанный мастер эссе, репортажей, путевых очерков; успехом пользуется и его полудокументальная книга биографий выдающихся деятелей медицины — «Боги и демоны медицины» (1952), большой интерес вызвала начатая им в португальской документалистике своеобразная линия — «Тетради писателя». Два произведения из этой серии — «Колокол на горе» (1968) и «Солнцепоклонники» (1971) — уже увидели свет.

С рассказа писателя об этой последней книге и начинается наш разговор.

— В основе книги — путевые заметки и размышления о поездке на север Европы — в Скандинавию и Советский Союз,— говорит Намора.— Речь идет о моем втором приезде в вашу страну. Первый визит был более продолжительным: я побывал в Ленинграде Узбекистане, увидел Сибирь, у меня накопилось много материалов, но хотелось еще раз обдумать их, глубже осмыслить. И вот теперь я решил написать об СССР новую книгу документального характера. Она будет называться «Возобновленное путешествие». Между прочим, одна глава уже готова и даже опубликована в португальской прессе.

Мы задаем Фернандо Наморе вопрос, который, пожалуй, больше других волнует наших читателей: как отразились в порту-

гальской литературе огромные и стремительные перемены, совершившиеся в стране после революции 25 апреля 1974 года, как отнеслись к ним писатели, творческая интеллигенция.

— Португальская действительность и в самом деле меняется с непривычной для португальцев быстротой,— отмечает писатель.— И нам, живущим внутри этого водоворота, в самой гуще событий, порой бывает очень трудно сразу в них разобраться. Иногда, как это ни парадоксально, иностранцам — с их взглядом «извне» — даже легче понять, что происходит.

Что касается интеллигенции, то в течение долгих лет она вела борьбу, чтобы изменить положение в Португалии. Я принадлежу к тому поколению интеллигентов, которое активно участвовало в сопротивлении салазаровскому режиму. Однако в настоящее время одного этого недостаточно, чтобы считать себя честным интеллигентом. Нельзя жить тем, что уже прошло... На мой взгляд, честный интеллигент — в силу своей природы — искренно верит в людей и стремится сохранить эту веру. Я бы сказал, что интеллигент, прежде всего писатель,— это человек надежды И надежду свою он старается передать другим людям. При всем этом нельзя не учитывать и того, что я, может быть субъективно, определил бы как своего рода «биологию» интеллектуала. Время от времени ему необходимо как бы отойти в сторону, выждать, поразмыслить, понять факты, которые он наблюдает изо дня в день. Возможно, этим и объясняется, что многие португальские писатели после революции почти не издают новых книг. Некоторые литераторы в начале революционного процесса интенсивно сотрудничали в прессе, выражали свою поддержку революции. Но позже, к сожалению, стали сближаться с оппортунистически настроенными элементами, с людьми, изменившими своим убеждениям.

Итак, в большинстве своем наши писатели хранят молчание — думается, временное. Это и понятно. Писателю нужно переварить события, набрать материал, затем дать ему отстояться — только тогда открываешь в нем источник вдохновения, то, из чего рождается подлинно художественное произведение.

Есть и еще одна причина писательского молчания. Дело в том, что ныне португальский литератор впервые получил возможность активно участвовать в общественно-политической жизни своей страны, занимать ответственные посты — даже в государственном аппарате. А это требует времени и времени. Я тоже оказался «жертвой» этого процесса — стал президентом Института португальской культуры — весьма почетный для меня пост. Работа в институте отнимает столько энергии и сил, что для литературы их почти не остается. Впрочем, помогает суровая закалка, которую мне дала жизнь: ведь я происхожу из крестьянской семьи. Стараюсь писать во что бы то ни стало, хотя, по правде говоря, мой литературный труд продвигается довольно медленно.

С особым интересом расспрашиваем мы Фернандо Намору о нынешнем состоянии документальной прозы.

— Как вы знаете, любая революция,— замечает писатель,— находит отражение прежде и раньше всего в документальных произведениях. По самой сути своей документ — идеальный материал для отклика на события текущего момента. Говоря о молчании мастеров литературы, я забыл сказать, что исключением служит как раз документальный жанр, активно вторгающийся в жизнь. Но если вы попросите меня назвать лучшее произведение этого жанра, я скажу, что оно еще не написано.

Опыт многих литератур свидетельствует о том, что раньше всех на события общественной жизни обычно отзываются поэты. А справедливо ли это для сегодняшней поэзии Португалии?

— Как откликаются наши поэты на то, что происходит в стране? Что ж, вопрос кажется мне вполне законным. Ведь Португалия богата поэтическими традициями. У нас и теперь немало хороших поэтов. И все же о расцвете поэзии, подобном, скажем, нынешнему подъему поэзии в Ирландии — на фоне бурных, драматических событий,— вряд ли можно говорить. Конечно, появилось довольно много стихотворений, так или иначе связанных с темой революции. К сожалению, их авторам порой недостает мастерства. Зато с полным правом можно говорить о расцвете театра. На сценах ставятся произведения классиков, современных драматургов, в том числе и те, которые во времена фашизма не могли пробиться к зрителю. Я имею в виду пьесы, которые смело и глубоко отразили то важное и значимое, что вызревало в португальской действительности.

По нашей просьбе Фернандо Намора делится своими ближайшими творческими планами.

— На моем рабочем столе сейчас одновременно две больших заготовки. Во-первых, книга о поездке, которую я несколько лет назад совершил в США и Канаду. В ней я хочу пересмотреть свои выводы о некоторых явлениях жизни Запада, в частности о движении протеста североамериканской и европейской молодежи. Поскольку разговор у нас шел о документалистике, скажу, что собираю материалы о важнейших процессах и явлениях, определявших судьбу моей родины в последние пятнадцать лет. О колониальной войне и вызванной ею массовой эмиграции португальцев в страны Западной Европы. Все это имеет прямое отношение к роману о португальской эмиграции, который я пишу. Чтобы накопить достаточно материала, я провел некоторое время во Франции, общался там с разными людьми из среды эмигрантов. Однако, приступив к работе над романом, я убедился, что проблему эмиграции можно осветить правильно только на фоне общей картины жизни португальского общества нашего времени. Как видите, документальное и художественное начало в прозе необходимо

дополняют друг друга. Пришлось снова обратиться к документу.

В отличие от своего собрата по перу Фернандо Наморы Мария Велью да Кошта пока неизвестна советскому читателю. На родине же ее ценят не только как романистку, но и как активную общественную деятельницу. В 1972 году она вместе с двумя другими молодыми писательницами — Марией Орта и Марией Изабел Баррену — выпустила смелую и поэтичную книгу «Новые португальские письма», раскрывающую правду о жизни португальской женщины, ее положении в обществе и в семье. «Письма» подвергались преследованиям со стороны фашистской цензуры, авторы были привлечены к суду — за оскорбление общественной морали. «Процесс трех Марий» сделал книгу широко известной и в Португалии, и за ее пределами. Ныне Мария Велью да Кошта — президент Ассоциации португальских писателей. В прошлом году она приняла участие в Ташкентской конференции молодых писателей Азии и Африки и на беседе в редакции «Иностранной литературы» особо выделила важную роль этого международного форума в сближении деятелей культуры разных стран и континентов.

— Ташкентская встреча много значит и лично для меня,— отметила Мария Велью да Кошта.— Она дала мне возможность установить непосредственные контакты с нашими коллегами из бывших португальских колоний До недавнего прошлого мы, португальские писатели, имели очень ограниченные представления о том, что происходит в литературах колоний, хотя в свое время, например, Ассоциация португальских писателей наградила премией ангольца Луандину Виейру. Фашизм препятствовал нашим связям и контактам. Теперь разобщенность между литераторами Португалии и ее прежних колоний постепенно ликвидируется. Этому способствуют и такие форумы, как ташкентский...

Наша гостья выражает удовлетворение развитием советско-португальских отношений и подчеркивает, что Ассоциация португальских писателей готова максимально содействовать крепнущему сотрудничеству между деятелями литературы СССР и Португалии.

Мария Велью да Кошта характеризует сегодняшнюю литературную ситуацию в своей стране:

— Говоря о поэзии, начну с имени Софии де Меллу Брейнер, представительницы старшего поколения наших поэтов. Вот уже более тридцати лет ее произведения вызывают горячий отклик читающей аудитории. В ее стихах сочетаются тонкая поэтическая образность и критика (порой с элементами сатиры) окружающей действительности. На другом полюсе — новейшая поэзия, поэзия так называемой «группы 71 года», сложная, подчас даже темная, насыщенная философским содержанием. Среди наиболее читаемых поэтов среднего поколения я бы выделила Карлуша де Оливейру. Кстати, его у вас переводили, как и Софию де Меллу Брейнер. И, наконец, назову Эрберту Элдера. На мой взгляд, это наш лучший поэт из поколения сорокалетних. Его стихи и проза (он пишет также и своеобразную поэтическую прозу) отмечены влиянием неореализма [1].

Представителем «второго неореализма» в нашей литературе считают Аугушту Абелайру. Это очень плодовитый прозаик, читателей привлекает в нем умение глубоко анализировать человеческие характеры, изящество стиля и вместе с тем гражданственное звучание его творчества. Из последних произведений Абелайры особо отмечу роман «Плесень» (1968) и сборник рассказов «Четыре голых стены» (1972). Видное место в прозе занимает Жоржи де Сена, известный у нас как мастер рассказа. И еще одно большое писательское имя — Агуштина Бесса Луиш, завоевавшая широкую популярность своим романом «Сибила» (1954). Последующие романы — «Неизлечимые» и «Огненная проповедь» — обеспечили ей особое место в португальской литературе. В своем творчестве она своеобразно сочетает традиции нашего классика XIX века Камилу Каштелу Бранку и вашего Достоевского. Она же, по моему мнению, является одним из самых ярких наших публицистов.

Вы спрашивали о юмористах. В Португалии их немало, и довольно разных. Вообще у нас сейчас благоприятная для юмора пора. Думаю, что хороший юмор рождается как раз тогда, когда нет причин для оптимизма. Именно такого рода юмором заряжен роман Нуно Брагансы «Ночь и смех» — очень сильная, кстати, книга...

Отвечая на вопрос о своей текущей работе, Мария Велью да Кошта рассказывает:

— Недавно у меня вышла книга, заглавие которой, пожалуй, требует разъяснений. Она называется «Гвоздика» (гвоздика — символ португальской революции 1974 года). Но это португальское слово может обозначать и «гвоздь» и «клавесин, клавикорды». Многозначность слова, вынесенного в заглавие, я и обыгрываю.

В книге собраны мои публичные выступления за последние два года — по характеру политические, но различные по стилю: стихотворные тексты, выступление на нашем съезде писателей, мои выступления по радио и те, с которыми я обращалась во время манифестаций Я считаю, что «Гвоздика» отражает мой скромный писательский вклад в революционный процесс, развивающийся в Португалии. Книга издана тиражом 5 тысяч экземпляров — максимальный в нашей стране тираж для такого рода публикаций. Приятно отметить, что весь он разошелся.

В планах у меня — возвращение к работе над романом. Правда, в настоящее время

[1] В Португалии термин «неореализм» употребляется в особом смысле: так называют реалистическое направление, появившееся в литературе в конце 30-х годов. *(Прим. авт.)*

условия в Португалии отнюдь не благоприятствуют такой работе. Тем не менее надеюсь, что к концу 1977 года мой роман будет закончен. План его уже готов. Книга будет как бы переплетением трех тем, их олицетворяют три женские фигуры — представительницы одного поколения, но разных социальных слоев. Одна героиня — студентка, в будущем собирается стать писательницей; вторая происходит из очень богатой буржуазной семьи, отмеченной печатью ущербности. Третья женщина — молодая крестьянка, приехавшая в Лиссабон из провинции в поисках заработка.

Мой замысел — показать этих столь различных женщин в одинаковых ситуациях — в труде, во время отдыха, в отношениях с другими людьми, с мужчинами, с детьми. Из последовательного чередования эпизодов жизни трех моих героинь возникает их сопоставление, противопоставление... Чтобы дать почувствовать читателю всю несхожесть этих персонажей и их судеб, я использую особый прием: повествование ведется от первого лица (я), когда речь заходит о крестьянке; во втором лице (ты) — всякий раз, когда на сцене появляется студентка; и в третьем лице (она) — когда действие переносится в высшее общество, к которому принадлежит моя третья героиня.

Должна признаться, что сейчас, приступая к работе над романом, я невольно ожидаю, что со мной произойдет то же, что и со всеми, кто составляет план будущей книги: в какой-то момент она как бы начнет жить собственной жизнью и получится совершенно иной, чем была задумана...

Г. ВЕРЖХОВСКАЯ

Антонина Майе

Мари-Клер Бле

(КАНАДА)

Писатели из франкоязычной Канады не частые гости в нашей редакции. Мари-Клер Бле, получившая в этом году премию Бельгия — Канада,— автор многочисленных прозаических произведений, стихов и пьес. Ее имя давно признано на родине. А в 1966 году она была удостоена во Франции премии Медичи за роман «Один сезон из жизни Эмманюэля». Антонина Майе, также лауреат многих литературных премий, известна как прозаик и драматург. Популярность ей принесла пьеса «Грязнуха», написанная в 1974 году, вслед за романом с тем же названием. Когда эту пьесу передают по телевидению, она собирает не меньше зрителей, чем хоккей, столь любимый в Канаде.

Франкоканадская литература в последние десятилетия переживает как бы новое рождение. Недаром канадский критик Жерар Бессет назвал ее «кипящей литературой». Однако советский читатель еще недостаточно знаком с творчеством писателей франкоязычной Канады. Воспользовавшись случаем, мы попросили Антонину Майе и Мари-Клер Бле рассказать о том, что им кажется наиболее интересным и значительным в литературной жизни их страны.

— Самое важное для нас,— сказала Антонина Майе,— то, что франкоязычная Канада обретает сегодня свою собственную культуру. Долгое время наша национальная культура развивалась под сильным влиянием Франции. Мы ощущали себя чем-то вроде литературного придатка французской культуры, но мирились с этим. Теперь такое положение нас не удовлетворяет. Мы создаем свою самостоятельную литературу, сохраняя при этом все то лучшее, что было воспринято от Франции.

Французы,— с улыбкой продолжала Антонина Майе,— очень удивляются, когда мы называем классиками некоторых совре-

менных канадских писателей. Часто классиками называют лишь тех, кто жил как минимум в прошлом веке. Но наша страна до недавнего времени вообще не имела настоящей литературной традиции, поэтому мы считаем классиками тех, кто эту традицию создает, хотя многие из таких писателей не только еще живы, но и находятся в расцвете творческих сил. Например, Жак Феррон, один из самых видных канадских писателей; Режан Дюшарм, знаменитый романист, или Андре Ланжевен, чье творчество («Сдержанное, но впечатляющее»,— вставляет Мари-Клер Бле) накладывает отпечаток на всю современную франкоканадскую прозу. Надо вспомнить и Габриель Руа, чей роман «Счастье по случаю» вышел не так давно в русском переводе. Эта книга, написанная в 1945 году, положила начало новому периоду в развитии жанра романа в Канаде.

Живыми классиками канадской поэзии М.-К. Бле и А. Майе назвали Анн Эбер и Гастона Мирона. А среди драматургов они выделили Марселя Дюбе и молодого автора Мишеля Трамбле, который впервые использовал в своих пьесах разговорный язык Квебека, во многом отличающийся от литературного французского языка.

Рассказывая о квебекской литературе, наши гости подчеркнули, что это еще не вся франкоязычная литература Канады. Квебек не единственная провинция, где говорят преимущественно по-французски. Существует еще одна территория — Акадия (или Новая Шотландия),— родина А. Майе. До последних десятилетий письменной акадийской литературы практически не существовало.

Мари-Клер Бле рассказывает, что Антонине Майе было суждено стать первым акадийским автором, известным за рубежом. Ее пьеса «Грязнуха» исполнялась в Париже, и французская критика тепло встретила это произведение.

По этому поводу Антонина Майе говорит:

— В представлении многих Канада выглядит единым целым и даже почти сливается с Соединенными Штатами. С другой стороны, часто думают, что наша страна такова, как ее изображают на рекламных проспектах. Но я и Мари-Клер пытаемся раскрыть для читателя другую Канаду, не столь монолитную и далеко не такую благополучную. Своей главной задачей я считаю рассказать о людях моего края, выброшенных в силу ряда социальных причин на задворки жизни.

Можно сказать, что героиня моей пьесы «Грязнуха» воплощает нищую, приниженную Акадию. Это старая женщина, уборщица в богатых домах и общественных местах. Она говорит как простые люди в Акадии, их язык сохранил в устной традиции многое от французского языка XVII века.

Моя героиня рассказывает за работой о себе, о том, что ее окружает, глядя при этом на свое отражение в ведре, где скопилась вся грязь чужой роскошной жизни.

В ближайшем будущем я собираюсь написать пьесу для актрисы Виолы Леже, блестяще сыгравшей роль Грязнухи. Есть у меня еще и замысел пьесы для театра Жана-Луи Барро, где он сам должен исполнять главную и единственную роль. Это будет история очень старого акадийского рыбака, который строит лодку, быть может последнюю в своей жизни, и сам с собой рассуждает за работой обо всем, что ему довелось повидать на своем веку, о политике, о религии. Жану-Луи Барро будет легко воспроизвести акадийский диалект, так как он бургундец, а большинство акадийцев — переселенцы из Бургундии.

Отвечая на вопрос о том, какое свое произведение ей хотелось бы увидеть переведенным на русский язык, А Майе назвала роман «Мария, дочь Желаса» Это книга о жизни акадийских рыбаков и контрабандистов во времена сухого закона в Канаде. «Грязнуху» Антонина Майе находит для перевода слишком сложной по языку. По ее мнению, перевод может значительно обеднить эту пьесу в восприятии иностранного читателя, в том числе и русского.

Мари-Клер Бле тоже рассказала нам о своей работе:

— Я пробовала свои силы в разных жанрах — в романе, в поэзии, в драматургии и радиодраматургии. Кстати, я вообще считаю, что в условиях нашей страны радио и телевидение особо благоприятствуют распространению культуры, дают писателю возможность приобщить к его творчеству самую широкую публику.

Если говорить о том, с каким произведением мне больше всего хотелось бы познакомить советского читателя я, пожалуй, выбрала бы «Один сезон из жизни Эммануэля». Это история одной очень бедной семьи, по нравам — канадской. Глава семьи — «бессмертная» подавляющая всех бабка, у нее дюжина детей и внуков. Среди них есть четырнадцатилетний мальчик, художественно очень одаренный, но смертельно больной Он сохраняет тонкость ума и души даже когда его систематически травят Мальчик умирает. Мне важно было показать не трагедию его смерти, а то, что в неблагоприятной среде может родиться писатель.

— Читая курс литературы в университете,— добавила Антонина Майе,— я говорила о творчестве Мари-Клер Бле. Она рано начала писать и считалась у нас чудо-ребенком квебекской литературы Мари-Клер пишет о действительной жизни, о жизни трудовой, суровой Но в ее книгах эта действительность предстает преображенной, приобретает характер грезы, мечты, не теряя при этом глубокой правдивости. В известном смысле эта поэтичность сообщает повествованию большую проникновенность. Мари-Клер пишет о трагедии человеческой жизни, об ее тяготах с огромным сочувствием и душевной щедростью. Главное в ее произведениях — это любовь к людям, поэтому они так глубоко трогают читателя.

И. КУЗНЕЦОВА

◆

К нашим иллюстрациям

К 500-ЛЕТИЮ ДЖОРДЖОНЕ[1]

Вазари — один из первых биографов великих живописцев Возрождения — называет Джорджоне мастером, «далеко превзошедшим живописцев семьи Беллини, да и любого другого, кто до той поры посвящал себя живописи Венеции». В этих словах — дань уважения современников искусству большого художника, одного из реформаторов итальянской живописи.

Джорджоне родился в городке Кастельфранко, расположенном неподалеку от Венеции. Некоторое время он работал в мастерской крупнейшего художника того времени — Джованни Беллини. Вазари называет и другого учителя Джорджоне — Леонардо да Винчи, творчество которого изучал венецианский художник.

Вся жизнь и творчество Джорджоне тесно связаны с Венецией, которая в XV — начале XVI века играла важную роль в экономической и культурной жизни Европы. «Венецианцы... всю землю хотят превратить в сад веселья»,— писал один иностранец, приезжавший в Венецию в 1484 году. «Это самый блестящий город, который я когда-либо видел»,— вторит ему французский дипломат Филипп де Комин, посетивший Венецию в конце XV века. Праздничное, радостное мировосприятие венецианцев наиболее яркое выражение получило в живописи. Художников-венецианцев той поры интересует не только человек, но и его окружение, пейзаж, связь человека с природой. Великолепный колорит венецианской живописи, праздничность и насыщенность цвета, многокрасочность и гармоничность тонов превращают картину в пиршество для глаз. Характерна в этом смысле знаменитая картина Джорджоне «Три философа» (Вена), созданная в 1505—1506 годы, в период расцвета творчества художника.

Прежде всего Джорджоне отказывается здесь от обращения к традиционным для искусства XV века библейским образам. Сюжет приобретает светский характер: мудрецы разных веков, ведущие философскую дискуссию. Искусствоведы до сих пор спорят о том, кто именно изображен на полотне — астрономы, астрологи, философы, поэты или адепты-орфики, представители трех степеней посвящения в мистический союз. Согласно одной из теорий здесь символически показаны три этапа в развитии философии...

Однако картина Джорджоне перерас-

[1] См. цветные иллюстрации на обложке.

тает узкие рамки символов и аллегорий, образы ее, содержащие лирический подтекст, исполненные настроения, созерцательности, подразумевают множество ассоциаций, не допускают схематического истолкования.

На небольшой каменистой площадке три фигуры: старец, сжимающий в руках астрологическую таблицу, человек средних лет в восточной одежде и сидящий юноша с циркулем, угольником и листом бумаги на коленях. В просвете, образуемом громадной скалой и темными стволами деревьев, видна приветливая долина и вечернее небо с плывущими по нему фиолетовыми облаками. Перед нами — трое людей различных характеров, возрастов и темпераментов. Внешне они не связаны друг с другом. Но настроение вечерней тишины заставляет каждого вслушиваться в голоса природы, и это объединяет их. Человек в картине Джорджоне наслаждается красотами окружающего его мира. Эту идею выражает поэтический образ сидящего юноши в белом хитоне и темно-зеленом гиматии. Образ настолько индивидуален, что заставляет многих видеть в нем автопортрет художника. Немалую роль в картине играют композиция и цвет. Несколько вытянутые вверх фигуры двух философов, мощные вертикальные складки их одеяний усиливают ощущение покоя, разлитое в картине. Темное, обобщенное пятно скалы уравновешивает сдвинутую в правый угол группу. По мере приближения к центру картины цвет постепенно светлеет. Ритмически чередуются контрасты темных и светлых масс.

Счастливый человек на лоне прекрасной природы — тема и другой известной поздней картины Джорджоне «Сельский концерт» (Лувр). Мерно колышется вода в мраморном водоеме, тонкая струя прозрачной влаги выливается из хрустального кувшина, который держит обнаженная женщина, словно прислушиваясь к этому плеску. Человек в ярко-алой одежде перебирает струны лютни, рядом с ним фигуры пастуха и женщины, на мгновение прекратившей игру на свирели, которую она держит в руке. Пастух со стадом скрыт в тени громадного дерева, широким живописным пятном выделяющегося на фоне вечереющего неба. Золотистые тела женщин, мрамор водоема, хрусталь кувшина, одеяния пастуха, освещенные заходящим солнцем поляны... По глубине выраженного в них чувства картины Джорджоне превосходят многие произведения его предшественников. Справедливы слова одного из его биографов XIX века· Джорджоне «больше всякого другого живописца воплощает в себе дух старой Венеции».

Л. ДЬЯКОВ

Среди книг

Издано в СССР

НАКАНУНЕ СОБЫТИЙ ВЕКА

Эуджен Барбу. Яма. Перевод с румынского К. Ковальджи и И. Огородниковой. Москва, «Прогресс», 1976.

Автор этого романа — сын своего века, но он спокойно чурается тех атрибутов стилистики, которые порою считаются «признаком современной манеры»: повышенной субъективности, ассоциативности Эуджен Барбу — реалист, но он не «подправляет» свой стиль внутренними монологами и другими «интенсивными» приемами, как это делают некоторые писатели его склада. Он знает, в чем его дарование — в изобразительности, в прямом и четком взгляде на мир.

Э. Барбу эпичен в старом смысле: «Яма»— это произведение объективно-нравоописательного жанра, в нем нет сквозной фабулы, нарастания, ретардаций и прочего; перед нами проходят в основном одни и те же герои, но писатель не скрывает, что главное тут — не «развитие характеров», а само изображение бытовой массовой жизни как она есть. Здесь не фон для героев, а герои для фона Они его символы, его конкретизации. В них сгущаются законы этого «фона», чтобы затем вновь уйти вширь, в пространство и атмосферу описываемой жизни.

В поле зрения Э. Барбу — бухарестская окраина старых дней. Роман «Яма» был первым крупным произведением писателя; изображаемая тут жизнь есть преддверие патетических социальных событий, которые связаны со второй мировой войной и последующими общественными переменами.

Барбу показывает среду, которая, кажется, чужда всех великих забот века — как бы существует вне общего времени и пространства, в одном лишь будничном, сером быте; мрачная бездуховность жизни порою отравляет нам мысль и душу при чтении; мы ищем проблеска светлого и высокого — и чаще всего не находим этого проблеска там, где ожидаем. Барбу изобразительно и сочно, этнически скрупулезно описывает румынскую свадьбу на этой окраине, но... невеста выходит за нелюбимого. А ведь все зависит от настроения, от угла зрения; если бы свадьба была счастливая, то и грубые, и жестокие подробности воспринялись бы иначе — их «втянула» бы в себя атмосфера веселья и счастья, любовь, как известно, все оправдывает, все концы сводит; здесь же, при таком сюжете, жестокость и грубость именно выпирают.

Барбу описывает красивых, любвеобильных женщин — но пафос красоты тает под натиском спокойно-жестоких бытовых сцен, измен, пьянства, бедности и спокойного, повседневного разврата; он описывает удалых воров, чьи похождения дали бы какому-нибудь прекраснодушному романтику середины XIX века пищу для возвышенных мифов; но под пером Барбу все эти Параскивы, Георге, Бозончи и Санду выглядят лишь несчастными людьми, которые сами не знают о своем несчастии и воспринимают жестокость жизни как закон самой жизни Даже наивных иллюзий юности не щадит Барбу: Вета полюбила романтического студента, но ее родители — зная, чем кончается такая любовь,— «вежливо» сгоняют его

с квартиры, и писатель не упускает момента добавить, что в будущем Вета забыла свою любовь и была вполне благополучна (насколько возможно благополучие в такой жизни) со своим мужем, более подходившим ей по всем статьям.

Барбу не чужд особой бытовой символики. Символика как бы духовно компенсирует дремучую гущу жизни. Красноречиво название романа; оно напоминает нам о горьковском «дне» — и напоминание это не случайно: традиция тут порой сознательна; по Куцариде (название места действия, тут расположена «яма» — свалка) в день чьей-либо предстоящей смерти ходит молчаливый дровосек с топором на плече, врубленным в полено; одни из стержневых, «пунктирных» персонажей—служители при «яме», Григоре и его жена Аглая, которые выполняют роль и устроителей, и мусорщиков жизни. В романе все время мелькают какие-то предвидения и предсказания, которые всегда сбываются; это мотивировано тем, что на втором плане тут есть герои — цыгане и цыганки, а сами жители Куцариды живут не умом, а инстинктом, предчувствием, тайным чувством жизни; основное, «центральное», конкретное место действия — трактир Стере и Лины (тех самых, чья свадьба описана в начале), к которому ведут все боковые линии и проулки; он стоит на краю «ямы» и является ее вторым, «бытовым» воплощением.

Наконец, сам фактор «окраины».

Здесь Барбу проявляет себя как зоркий социальный писатель века; по сути «окраина» еще как должно не исследована в мировой литературе; Барбу — один из первых.

Пристальное внимание социальных писателей нашего века было направлено на мощный индустриальный город, с его положительными и отрицательными силами, с его противоречиями и контрастами; или, наоборот, на деревню — с ее традициями, близостью природе, с ее этносом, духовной «прочностью» и внутренними проблемами, с ее социальной жизнью, спроецированной на внешний мир. Так военный писатель описывает или передовую, или тыл.

Но есть еще особая «полоса» войны и самой жизни: «окраина» в нашем веке дает обильную пищу для размышлений.

Трактирщик Стере — хороший хозяин и семьянин; он трудолюбив, справедлив в делах, которые не затрагивают его доходов; от него так и веет надежностью во всем, что касается устойчивого родового быта. Изобразительная сила Барбу тут как нельзя кстати: материальная мощь, зримость, твердость Стере и его жизни напирают на нас: «У него свой закон: посетитель должен быть доволен! Когда наступали холода, он готовил цуйку с сахаром и перцем, чтоб пронимала... Закупив молодого, цвета лепестков розы вина, трактирщик сел за стол вместе с возчиками, им подали жареных цыплят под чесночным соусом, горячую мамалыгу и красное вино. Ели так, что за ушами трещало...»

Но, конечно, что-то неверное есть во всей жизни Стере — что-то, чего он не знает: достаток его и прочность—от винного трактира, который губит слабых и не таких уж слабых людей, загоняет их в преисподнюю, в «яму»; женитьба его — уже известно какая; правда, жена смирилась и даже «полюбила» мужа, но есть во всем этом семейном быте исходная трещина; соседи, по сути выведшие его в люди (женившие на богатой),— мусорщики; в общем, все смутно внутри этой прочности. Недаром автор показывает второе ее порождение — воров-отщепенцев вроде кровавого Бозончи и не менее кровавого его преемника, из молодых да раннего Параскива; кстати, они тоже не лишены каких-то благих качеств — мужества, неизбывной биологической энергии; и все они со Стере прекрасно понимают друг друга.

Окраина — не деревня, не город, не природа, не цивилизация, не культура, не стихия, не устойчивость и не динамизм! — давала в буржуазном XX веке и то и это, и свет, и тьму, и сумерки; Барбу детально и пристально исследует разные силы, действующие и сталкивающиеся в этом особом мире...

Он, писатель, видит, что в людях есть разное; и для того, чтобы очиститься, им надо устранить «фактор окраины» в старом значении этого слова; им надо выйти к природному и духовному, высокосоциальному и большому — к «стремнине» жизни.

Люди не могут этого сделать, живя в «яме» — значит, яма должна быть зарыта.

Сила Э Барбу в том, что он не морализует, не пугает, не вводит риторических персонажей; символы его естественны, а изобразительность органична; то, что здесь говорилось, это лишь выводы из того, что он написал, а не заведомые тезисы самого автора.

Видя жизнь бухарестской окраины накануне мощных событий века, мы вновь ясно ощущаем: что-то д о л ж н о б ы л о п р о и з о й т и, и в этом «что-то» — неумолимость истории.

ВЛАДИМИР ГУСЕВ

ФЛАННЕРИ О'КОННОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ф л а н н е р и О' К о н н о р. Хорошего человека найти не легко. Рассказы. Составитель А. Зверев. Предисловие М. Тугушевой. Редакторы Е. Калашникова и М. Лорие. Москва, «Прогресс», 1974.

О динадцать рассказов Фланнери О'Коннор, вошедшие в эту книгу, взяты из двух сборников — «Хорошего человека найти не легко» (Нью-Йорк, 1958) и «На вершине все тропы сходятся» (Нью-Йорк, 1964). Таким образом, в

русское издание включено чуть больше половины из девятнадцати рассказов, входящих в эти сборники. Читателю, конечно, интересно, какими критериями руководствовался составитель при отборе и почему он расположил рассказы именно в таком порядке. Например, почему русское издание открывает рассказ «Перемещенное лицо», заключающий американский сборник 1958 года; а рассказ «Хорошего человека найти не легко», давший название русскому сборнику, не открывает его, как американское издание.

Фланнери О'Коннор — выдающаяся писательница, и издательство «Прогресс», решив познакомить читателя с ее творчеством, сделало правильный выбор и проявило истинный вкус. Разумеется, в ее произведениях ставятся проблемы, которые могут показаться странными, если не вовсе непонятными советским читателям, воспитанным на литературе совершенно иного рода. Мне хотелось бы коснуться некоторых вопросов, которые, возможно, возникали у читателей этого сборника.

Действие всех рассказов развертывается на американском Юге, в так называемом «библейском» или «солнечном поясе» (на это указала и М. Тугушева в своем очень содержательном предисловии). Это край резких контрастов, где уважение и любовь к традициям и культуре противостоят самому темному невежеству и ханжеской религиозности. Это край, где состоятельные люди живут бок о бок с теми, кого называют «белой дрянью» — бедняками-арендаторами, обрабатывающими чужую землю, и с неграми, которые обычно еще беднее. На американском Юге много глухих углов, особенно в Аппалачских горах и на побережье, и там же процветают старые города, гордящиеся своими давними традициями,— Чарлстон в Южной Каролине, Саванна в Джорджии, Новый Орлеан в Луизиане. Юг дал Америке немало крупных писателей — среди наиболее известных можно назвать Уильяма Фолкнера, Теннесси Уильямса, Роберта Пенна Уоррена, Аллена Тейта и других. За последние двадцать лет в этот круг вошла и Фланнери О'Коннор.

В своих произведениях она не изображает ни очень богатых, ни очень бедных. Зато она отлично знает южан среднего достатка, живущих в маленьких городках и на фермах,—людей, которые экономически вполне обеспечены, но часто не знают ничего, кроме своего узкого мирка, и придерживаются крайне консервативных взглядов. Это южное самодовольство и незыблемая убежденность в своей правоте были сильно расшатаны за последние тридцать лет в результате различных мер, которые принимали федеральное правительство и суды в области расовых отношений, а также развития промышленности, вызванного массированными капиталовложениями северных штатов. Старая сущность Юга, его духовная основа оказались подорванными, и начался процесс его преображения, продолжающийся и по сей день. Юг был вынужден переоценить свои былые идеалы; именно художественное воплощение, истолкование и раскрытие этого процесса придают силу и значимость творчеству Фланнери О'Коннор.

Действие пяти рассказов происходит на сельском Юге — это «Перемещенное лицо», «Соль земли» (русский перевод заглавия в целом соответствует английскому «Gold Country People», но не передает его иронии), «Озноб», «Откровение» и «Весной». Во всех них на фоне пейзажного Юга кто-то из действующих лиц претерпевает «перемещение» — крушение своей жизни, своей личности, причем происходит это вовсе не обязательно с центральным персонажем (однако в произведениях Фланнери О'Коннор не всегда легко определить, кто именно — центральный персонаж) И в этом смысле выбор «Перемещенного лица» в качестве рассказа, открывающего сборник, очень удачен. Персонаж, чья судьба отражена в заглавии, претерпел «перемещение» в буквальном смысле слова — сначала из Польши в Германию, а затем в Соединенные Штаты, куда он эмигрировал.

Герой рассказа, мистер Гизак (по-видимому, искажение фамилии Гржешак, для американцев непроизносимой), работает на ферме миссис Макинтайр очень добросовестно и старательно, чего нельзя сказать ни о мистере Шортли, ее белом батраке, ни о ее неграх. Однако он остается чужим своему новому миру, и это его губит. Миссис Макинтайр с ужасом узнает, что он задумал устроить брак между своей шестнадцатилетней родственницей, все еще томящейся в лагере для перемещенных лиц в Европе, и одним из батраков-негров. Побуждения мистера Гизака, возможно, были самыми лучшими: он хотел помочь своей родственнице выбраться в Америку, но план выдать ее замуж за батрака-негра на сельском Юге был нереален и нелеп. Двадцать пять лет назад на сельском Юге не потерпели бы смешанного брака, как не потерпят и теперь. Девяносто девять процентов белых южан отнеслись бы к этой идее совершенно так же, как миссис Макинтайр, да и большинство негров тоже. Попав на ферму миссис Макинтайр, мистер Гизак вновь оказывается «перемещенным» — он не может обрести здесь второй родины. Его считают «лишним», но миссис Макинтайр никак не соберется с духом, чтобы его уволить, и он погибает под колесами трактора — несчастный случай, который подстроил мистер Шортли.

В этом рассказе нет ни отпетых злодеев, ни по-настоящему хороших людей, и тем не менее всех их ждет кара. Совершенно очевидно, что тупое равнодушие к добру и злу оправданием служить не может. Шортли и негр Салк, заведомые лентяи, вдруг проявляют необычную энергию. После несчастного случая оба сразу же покидают ферму, опасаясь полицейского расследования. Карой им служит нечистая совесть — им до конца жизни предстоит помнить о содеянном. Не минует воздаяние и миссис Макинтайр, поступившую с Гизаком не так, как требует благородство. И взгляд, которым она обменялась с Шортли и Салком в

тот миг, когда колеса трактора переехали Гизака, выдает ее, открывает ей самой, что она — их сообщница. Ведь она хотела от него избавиться — пусть и не таким способом. Позже она становится беспомощным инвалидом и доживает жизнь в угрюмом одиночестве.

«Перемещение», неприкаянность — это тема и рассказа «Соль земли», в котором Джой (по-английски: радость) Хоупвел, переименовавшая себя в Хулгу, потому что жизнь для нее меньше всего радость (переводчик довольно удачно назвал ее Анжелой), становится жертвой бессердечного негодяя: он уговаривает ее снять протез, а добившись своего, издевается над ней. Образованная молодая женщина, имеющая степень доктора философии, чужда душному мирку, в котором она живет. Положение ее особенно невыносимо потому, что она калека — после несчастного случая на охоте ей ампутировали ногу. Постоянно сталкиваясь с окружающей ее глупостью и злобой, не находя понимания у недалекой матери, как может Хулга вести плодотворную, приносящую удовлетворение жизнь? И вновь — тема воздаяния, на этот раз не столько в социологическом, сколько в психологическом плане. Люди в большинстве слишком ограниченны, чтобы различать истинные ценности, и сосредоточиваются на пустых мелочах. Вонючий луковый росток, который выдергивает миссис Фримен, и ее слова, заключающие рассказ («Этакая простота не всем дается,— сказала она.— Мне так нипочем бы не далась»), в какой-то мере очерчивают круг интересов и нравственных ценностей людей, среди которых Хулга — исключение. Гоголь хорошо знал суть подобного существования — достаточно вспомнить «Старосветских помещиков» и «Ивана Федоровича Шпоньку и его тетушку».

«Перемещение», как мы уже видели, возможно не только в физическом, но и в духовном плане. Это удивительно хорошо показано в рассказе «Озноб», повествующем о том, как Эсбери Фокс, совсем еще юноша, возвращается в родной дом, чтобы умереть. В затхлом мирке тупого самодовольства (Фланнери О'Коннор умеет расставлять нужные акценты и достигает требуемого эффекта — заставив врача, который лечит Эсбери, напевать: «Бог правду видит, да не скоро скажет», она подчеркивает ироническое звучание этих слов и бездушие самого врача) умирающий Эсбери пытается найти опору в мысли, что не все в мире бессмысленно. Во многом он напоминает толстовского Ивана Ильича («Смерть Ивана Ильича»), который перед лицом близкой смерти обдумывает свою жизнь и приходит к выводу, что она была бесполезной. В ней не было любви — ничего, кроме честолюбия и расчета. Лживость и пошлость всего, что его окружает, внушает теперь Эсбери ненависть, как это было и с Иваном Ильичом. Его гнетет отчаяние, потому что, умирая, он не находит опоры, которую надеялся обрести. Священник обещает, что к нему снизойдет святой дух, но это вызывает у него протест. Он, несомненно, хочет уверовать, но не может, а процесс умирания все продолжается.

В предисловии Тугушева говорит об «евангелическом» аспекте некоторых персонажей Фланнери О'Коннор, что, конечно, не означает, что писательница выступает с прямыми проповедями. Однако она создает ситуации, подвергающие ее персонажей критическому испытанию, ставящие их перед лицом некоей высшей духовной реальности, которая не замечалась ими в мелочной суете будничного мира. Этот миг истины, как его часто называют, лежит за пределами обычного восприятия, но когда он наступает, человеку открываются и его собственное ничтожество, и одновременно путь к благодати и милосердию. Согласно христианской доктрине, смирение есть первый шаг к познанию бога и истины, гордыня же и самодовольство исходят от дьявола.

Все персонажи Фланнери О'Коннор в конечном счете ничего так страстно не жаждут, как познания этой божественной истины — пусть пророчества миссис Шортли нелепы, но стремится она к той же цели. И порой истина открывается им на пороге смерти или в какой-то иной крайней ситуации («На вершине все тропы сходятся», «Весной»). Самоубийство сына открывает Шепарду («Хромые внидут первыми») самодовольную фальшь его стараний обласкать Руфуса Джонсона, в то время как к страданиям собственного сына он слеп, а миссис Терпин («Откровение») утрачивает ощущение своего морального превосходства, когда в приемной врача молоденькая девушка (студентка Уэллслейского колледжа, пользующегося в Америке большим престижем) говорит ей: «Старая рогатая свинья, исчадие ада, убирайся, откуда пришла». Гордость и самоуверенность караются, физические же недостатки нередко становятся средством разоблачения лжи и глупости. Фланнери О'Коннор не соглашалась с критиками, называвшими ее произведения «гротескными» или «готическими», и считала, что ее творческая манера—это «рациональное использование иррационального». Отсюда следует, что в своих произведениях, опирающихся на логику и реальность, она ищет иррациональность, выходящую за пределы реальности. Это «добавочное измерение», как выразился один критик, рассматривая ее творчество, призывает читателя напрячь воображение и вслед за писательницей исследовать глубины человеческих побуждений и стремлений, которые она показывала тонко и ненавязчиво.

Одиннадцать рассказов в сборнике, изданном «Прогрессом», переведены одиннадцатью переводчиками. Для стиля Фланнери О'Коннор характерно сочетание простоты повествования со сложной и причудливой системой образов, нередко исполненных пронзительной силы и скрытого значения. В этом стиле наблюдения и фантазия сливаются воедино, рождая новую, своеобраз-

ную трактовку нас самих и нашего мира. Рассмотрим всего три примера, начав с образа леса, встречающегося в рассказе «Хорошего человека найти не легко»:

«Прямо за овражком тоже стоял лес, черный, высокий, непроглядный».

«Позади черной пастью зияли леса».

«В небе не было ни облачка, но и солнца не было. Вокруг чернел лес».

Леса эти говорят о смерти, которая уже подстерегает ничего не подозревающих персонажей. Леса совершенно реальны и в то же время воплощают в себе темную, неведомую тайну, которая скрывается за пустяковостью и бездумностью нашей жизни.

В «Перемещенном лице» мы читаем: «Взгляд ее сначала скользнул по макушкам Перемешенных, а потом медленно по спирали пошел вниз — так ястреб-стервятник кружит в воздухе, прежде чем опуститься на падаль».

Этот образ уже пророчит беду, которая ждет Гизаков, беду, на которую их обрекают такие, как Шортли. Женщина вроде миссис Шортли остается слепа к красоте павлина, птицы, которая на этой ферме — тоже своего рода «перемещенное лицо»:

«Она... постояла еще немного, погрузившись в раздумье и глядя невидящим взором на висящий перед нею хвост павлина, который тем временем успел взлететь на дерево. На хвосте нестерпимым блеском искрились бесчисленные планеты, и с каждой смотрел обведенный зеленым ободком глаз на фоне яркого солнца, переливающегося всеми оттенками, от золотисто-зеленого до розовато-оранжевого. Однако миссис Шортли не замечала этой развернутой перед ней карты вселенной, как не замечала синевы неба, проглядывавшего сквозь матово-зеленую листву».

Чем больше вчитываешься в этот стиль, тем больше замечаешь богатство образов и необыкновенную точность деталей. Щедрость образов в метафорах и сравнениях придает прозе Фланнери О'Коннор особое качество, близкое магии и снам. Так писательница передает свою философию жизни и, вырываясь за пределы серого будничного мира, видит «бесчисленные планеты» и «карту вселенной» на хвосте павлина. Только чуткий творческий ум способен вознестись над собой, серость же прикована к земле.

Перевод рассказов верен и адекватен. Разумеется, ни один переводчик не в состоянии воспроизвести весь колорит неправильной, простонародной речи таких людей, как Шортли, и уже тем более негритянского диалекта. Всякий, кому доводилось слышать, как говорят подобные люди, сразу же узнает их голоса в рассказах Фланнери О'Коннор. Она в совершенстве улавливает и воспроизводит их речевые обороты и своеобразные отступления от грамматических канонов. Но даже если подобные художественные тонкости неизбежно утрачиваются в переводе, писательница, будь она жива, несомненно, была бы очень рада узнать, что ее творчество стало известно русским читателям. Ведь она хотела, чтобы ее творчество помогало — а этой же цели должно стремиться служить всякое искусство — обрести свободу, дать волю воображению, освободить его, как орла из клетки, и «кружить, взмывая к небесам» (Йетс).

ИОАКИМ БЭР

г. Гринсборо

СНОВА О СТРУКТУРАЛИЗМЕ

Структурализм: «за» и «против». Сборник статей. Составление М. Я. Полякова. Предисловие В. П. Крутоуса. Комментарии и словарь терминов И. П. Ильина. Москва, «Прогресс», 1975.

Стоит ли снова говорить о структурализме, когда он, по мнению многих критиков и у нас и за рубежом, явно сходит на нет и становится вчерашним днем в развитии гуманитарных наук? Но так ли это на самом деле? И действительно ли структурализм, прежде всего структурализм в литературоведении, не заслуживает больше внимания?

Спору нет, влияние структурализма и мода на него явно отходят в прошлое. Утихли яростные споры между «новой критикой» и критикой традиционной, глава французского семиотического структурализма Ролан Барт и его единомышленники уже не выступают в роли «звезд», чьи портреты и интервью печатались широкой прессой чуть ли не в разделе светской хроники. Все это пройденный этап. Для сегодняшнего дня характерны попытки подвести итоги и оценить результаты; процесс этот идет в двух направлениях: осмысление изнутри и извне. В последних работах самих структуралистов, прежде всего Р. Барта, явно ощущается неудовлетворенность возможностями структурального метода анализа, стремление расширить и дополнить его. В исследованиях ученых, не разделяющих структуралистских доктрин, чувствуется желание понять взгляды оппонентов, ранее решительно отвергавшиеся как нечто совершенно непонятное, а потому и неприемлемое. Примечательный факт: в прошлом году Ролан Барт стал профессором Коллеж де Франс, этой цитадели французской буржуазной науки — таким образом, структурализм и семиотика получили во Франции официальное признание.

В советской критике о структурализме, в частности о французском литературоведческом структурализме, написано за последние годы немало. И не случайно. Явление это интересное и весьма симптоматичное для развития современной гуманитарной мысли, пытающейся поставить гуманитарные науки на прочный теоретический фундамент, приблизив их к точным наукам. В структурализме, особенно на первых порах, было немало броской полемичности, стремления эпатировать традиционно мыслящего читателя, которому казалось, что структурализм отрицает все и вся. На самом же деле декларации о беспримерном новатор-

стве спокойно сосуществуют в нем с твердым желанием опереться на прочную национальную и интернациональную традицию, а чисто «академический» и подчас абстрактный характер научных штудий уживается с претензией на революционизацию всей системы мышления современного человека и освобождение его от стандартов мышления буржуазного. Так в чем же сущность этого направления?

Среди работ о структурализме, появившихся у нас в последние годы, особое место принадлежит книге «Структурализм: «за» и «против». Эта книга составлена из работ самих участников спора о структурализме, но это не простая антология: материал здесь организован таким образом, что создается достаточно полное представление о сути этого направления, о его сильных и слабых сторонах. Вступительная статья В. П. Крутоуса, подробный предметно-библиографический комментарий и терминологический словарь помогают знакомству с явлением сложным и далеко не однозначным.

Задача сборника — дать читателю представление о современном зарубежном структурализме. Поэтому в основном здесь помещены работы, написанные в 60—70-е годы. Исключение составляет статья «К чешскому переводу «Теории прозы» Шкловского» (1934) ведущего чешского структуралиста Я. Мукаржовского, к трудам которого постоянно обращаются современные исследователи, и две статьи чехословацкого марксиста К. Конрада «Диалектика содержания и формы. Марксистские заметки о новом формализме» (1934) и «Еще раз о диалектике содержания и формы» (1934), включающие критику взглядов Мукаржовского. Этот спор, имевший место в 30-е годы, проливает свет на проблему традиции современного структурализма и его связей с формализмом 20-х годов, которые на Западе порой чрезмерно преувеличиваются.

Весь материал книги разбит на два раздела: первый — «Проблемы и методы», второй — «Споры вокруг структурализма». В «Проблемах и методах» опубликованы работы наиболее видных западных структуралистов: это статья Р. Якобсона «Лингвистика и поэтика», своего рода программный документ литературоведческого структурализма, обосновывающий лингвистический подход к литературному произведению; разбор Р. Якобсона и Кл. Леви-Стросса бодлеровского сонета «Кошки» — своего рода «классический» образец применения принципов структурального анализа; это отрывки из «Основ семиологии» Р. Барта — свода его теоретических взглядов в области семиотики. В первой части опубликована также очень показательная для состояния французской структуралистской школы работа Ц. Тодорова «Поэтика» — часть коллективного труда «Что такое структурализм?», выпущенного группой французских ученых-гуманитариев Статья Ц. Тодорова показательна потому, что в ней отчетливо видны попытки представителей «второй волны» французского структурализма развить, а в чем-то и преодолеть бартовские концепции, попытки установления контактов структурализма с другими методами исследования литературы.

В первый раздел книги входят также статьи польского ученого Я. Славиньского «К теории поэтического языка» и чешского исследователя И. Левого «Теория информации и литературный процесс».

В целом весь этот раздел дает возможность читателю представить себе, как сторонники структурно-семиотического подхода к литературе теоретически обосновывают принципы изучения литературного текста и как эти принципы реализуются ими на практике.

Второй раздел книги вступает в своеобразный диалог с первым, в нем ставится вопрос о правомерности и результативности структурно-семиотического подхода к искусству. Порой это почти прямой диалог: такова статья «Бодлер в свете критики структуралистов» известного французского марксиста, занимающегося специально проблемами семиотики,— Жоржа Мунена, который полемизирует с Р. Якобсоном и Кл. Леви-Строссом, полагая, что предпринятый ими анализ сонета «Кошки» Шарля Бодлера, во-первых, явно тенденциозно избирателен, а во-вторых, неубедителен.

Иногда эта полемика затрагивает всю систему взглядов определенного ученого: например, статья болгарского исследователя Хр. Тодорова «Критика литературоведческих взглядов Ролана Барта».

В других случаях спор ведется на более обширном материале. Шарль Парэн в статье «Структурализм и история» касается одного из наиболее уязвимых мест структурального метода: невозможности сочетания в нем двух диаметрально противоположных подходов к изучаемому явлению — подходов диахронического и синхронического. Антиисторизм как специфическая черта структурализма является одним из основных моментов, который подчеркивает в своей критике литературоведческого структурализма ученый из ГДР Р. Вейман. В книге опубликованы отрывки из его работы «Литературоведение и структурализм», являющейся главой его очень основательного исследования «История литературы и мифология», также переведенного на русский язык [1]. В этой главе Р Вейман не только рассматривает взгляды отдельных представителей структурно-семиотической школы (Л. Гольдман, Р Барт), но и обращается к анализу одной из основополагающих концепций этой школы — концепции языка искусства как специфической системы в ряду других языков.

Об очень острой проблеме — об исчезновении из структуралистского анализа творческой индивидуальности художника, что порой сводит на нет все наблюдения над

[1] Р. Вейман. История литературы и мифология. М., «Прогресс». 1975.

спецификой художественной структуры произведения, говорит в своей статье «От обобщения к дегуманизации эстетики» чешский ученый Л. Штолл.

Структуралистская литература сейчас достаточно обширна. И составитель был совершенно прав, задавшись целью познакомить читателя с основными работами наиболее крупных ученых в этой области. Жаль только, что в книге никак не представлены труды А. Ж. Греймаса, возглавляющего во Франции одно из направлений структурно-семиотического изучения литературы. Правда, в последнее время сам Греймас почти исключительно занят проблемами семиотики, но это не должно было смущать составителя книги — тем более что Ролан Барт представлен именно семиологической работой. Этот выбор объясним, но для Барта «Основы семиологии» — все-таки работа наименее показательная, не дающая представления о его подходе к изучению литературного произведения, а ведь это в исследованиях Барта интереснее всего.

Несколько слов о переводах. К переводу научной литературы должны, очевидно, предъявляться свои требования. И первое из них — точность, недопустимость каких-либо догадок; особенно эта точность нужна в переводе терминов или понятий, имеющих для автора концептуальное значение. Поэтому нельзя не удивиться, когда в переводе статьи Хр. Тодорова о Барте вдруг появляется слово «почерк». Тому, кто читал Барта по-французски, ясно, что речь здесь идет о écriture — письме излюбленном, хотя, признаемся, и недостаточно проясненном понятии, которым пользуются многие структуралисты вслед за Бартом для обозначения характерных принципов литературного творчества. К слову сказать, все цитаты из Барта, приводимые в статье Хр. Тодорова, выглядят как пересказ, а не перевод: очевидно, они не сличались с французским текстом, а давались прямо с болгарского. Отсюда возникают приблизительность, а иногда и просто ошибки.

Достаточно произволен перевод заглавия статьи Ладислава Штолла «От обобщения к дегуманизации эстетики». Говоря «Odosobnění (в оригинале слитно!) к odlidštění estetiky», Л. Штолл указывает тот путь, который ведет к утрате индивидуальности в эстетике, а не отмечает его начальный и конечный пункты, так же, кстати говоря, не точно обозначенные в переводе.

С другой стороны, существует определенная традиция в переводе заглавий произведений западной классики. Так, роман Э. Бронте «Wutheung Heights» переводится у нас как «Грозовой перевал». Почему же вдруг в переводе статьи Р. Якобсона «Лингвистика и поэтика» появляются «Гремящие высоты»?

Знакомство с книгой, конечно, не приводит к каким-то окончательным решениям. Да вряд ли это сейчас и возможно. Задача книги — показать, какие проблемы ставит структурализм перед критикой и литературоведением, как в то же время противоречив и непоследователен этот метод, заслуживающий и самого внимательного изучения, и самого серьезного критического осмысления. Материалы, собранные в книге, дают для этого все основания.

Н. РЖЕВСКАЯ

Издано за рубежом

КНИГА О ГЕНРИХЕ МАННЕ

Joachim Seyppel. Abschied von Europa. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag. 1975.

«Прощание с Европой» — книга пока еще мало известного у нас прозаика И. Зайппеля.

Будущему писателю было двадцать три года, когда гитлеровцы развязали войну в Европе. После разгрома нацистского рейха Зайппель, вернувшись в западную часть Берлина, в места, с которыми были связаны его детство и отрочество, пытается серьезно заняться литературной деятельностью. Первый его роман «Сыпучие пески дней» (1974) прошел почти незамеченным. Вскоре Зайппель получает приглашение в Гарвардский университет в Америке. Он проводит в США более десяти лет, читая лекции по германской филологии, а также публикуя статьи о творчестве Рильке, Кафки, Томаса Манна и других немецких писателей. Атмосфера «холодной войны», царившая в стране, заставила Зайппеля покинуть Америку и поселиться с 1960 года в Западном Берлине. Но свое подлинное возвращение на родину Зайппель относит лишь к осени 1973 года, когда он переехал на жительство в Германскую Демократическую Республику, после того как в связи с появлением остросатирических сочинений — «Колумб—синие джинсы» (1965), «Когда фюрер выиграл войну, или Мы говорим «да» Федеративной Республике» (1965), «Торс Конни Великого» (1969),— отмеченных оригинальностью мастерства и резкой антиимпериалистической и антифашистской направленностью, реакционные газеты ФРГ начали травлю писателя. Ему запретили выступать с публичными чтениями своих произведений, кое-кто даже пытался поджечь его квартиру.

«Прощание с Европой» Зайппель сумел опубликовать лишь после переезда в ГДР. В подзаголовке значится: «История Генриха и Нелли Маннов, изображенная Петером Ашенбаком и Георгиевой Мюленхаупт».

Сразу возникает вопрос: к какому жанру отнести книгу? Что это — биография выдающегося немецкого прозаика и общественного деятеля, автора таких классических образцов мировой словесности, как «Верноподданный» и дилогия о короле Генрихе IV? Или же это художественное произведение, роман о любви стареющего писателя, потомка любекских негоциантов, к простой женщине из народа — Нелли Крёгер?

Жанр книги Зайппеля в нескольких словах, пожалуй, не определить. Это и беллетризированная биография Манна и его жены, созданная на прочной документальной основе, вмонтированная в повествование о судьбах двух вымышленных героев, наших современников — Ашенбака и Мюленхаупт. А по композиции «Прощание с Европой» можно назвать романом в романе, в котором причудливо сочетаются реальность и фантазия, документальность и вымысел. Зайппель выступает перед нами и как художник, и как исследователь литературы.

Возможно, замысел книги сложился у Зайппеля еще в начале 1971 года, когда в ГДР ему довелось принять участие в международной научной конференции, посвященной столетию Генриха Манна.

Приглядимся поначалу к фигурам «рассказчиков», созданных воображением писателя, Петеру Ашенбаку и Георгиевой Мюленхаупт (Георгиева — у Зайппеля не фамилия, а имя героини), от лица которых ведется повествование. Весь роман почти целиком состоит из их переписки. У филолога Ашенбака, за плечами которого немалый жизненный опыт, и молоденькой сотрудницы литературного архива в ГДР Мюленхаупт, влюбленных друг в друга, много общего: нетерпимость к социальному злу, к жажде накопительства, к фальши, царящим в буржуазном обществе. Роднит их и горячий интерес к творчеству и личности Генриха Манна, желание заполнить белые пятна в его биографии. Герои отправляются по следам писателя в разные страны, разыскивают людей, встречавшихся с ним и хорошо его знавших. На страницах романа возникают многие пусть всего лишь эпизодические, но запоминающиеся фигуры современников Генриха Манна. И каждый из них по-своему воспринимает его личность. Так перед глазами читателя постепенно вырисовывается многогранный, объемный образ центрального героя «Прощания с Европой».

Петер и Георгиева нередко страстно полемизируют, отстаивая собственные взгляды на Генриха Манна, на его окружение, на события того времени. Споры во многом объясняются различиями в жизненном пути персонажей. Георгиева — дочь немецкого коммуниста, жившего во время антифашистской эмиграции в Советском Союзе (здесь она и родилась спустя три года после войны). А выросла Георгиева в ГДР.

Судьба Петера сложилась иначе. Когда ему было два года, его родители сразу же после захвата власти гитлеровцами эмигрировали в Америку. Ашенбак стал американским гражданином и получил за океаном университетское образование. В стране «безграничных возможностей» Петеру довелось быть и преподавателем немецкой литературы в колледжах, и сочинителем рекламных текстов, и участником позорной войны в Корее. В поисках заработка он развозил и белье из прачечной. Этому герою присущи подчас то либеральные, то анархические настроения. Мюленхаупт не без оснований упрекает Ашенбака в идейной нестойкости. Но он, в свою очередь, ставит в вину Георгиевой чрезмерную категоричность суждений, игнорирование сложностей реальной жизни. Многое из того, что пережил и передумал сам Зайппель, его духовные поиски нашли отражение в идейной полемике этих персонажей.

В «Прощании с Европой» читатель постоянно ощущает пересечение прошлого и настоящего. «Рассказчики», изучая жизнь Г. Манна, невольно сопоставляют явления минувшего со многими фактами и проблемами современности. Так Ашенбак, отправляющийся по следам Генриха Манна в те кварталы Берлина (ныне это территория Берлина Западного), где писатель проживал в последние годы Веймарской республики, убеждается, сколь крепки и поныне на этой «свободной» земле силы реакции. На Курфюрстендамме, самой фешенебельной улице города, герой Зайппеля становится свидетелем расправы полиции с молодежью, протестующей против радушного приема, оказанного властями некоему зарубежному фашисту. Он видит на стеклах книжных витрин гитлеровскую свастику, а на колонках для афиш — плакаты с призывом бороться за восстановление довоенных границ Германии. В доме, где некогда жил Генрих Манн, обосновалась радиостанция «Свободная Европа», загрязняющая эфир пропагандой антикоммунизма.

Да и в США, куда в 1940 году автор «Верноподданного» вынужден был эмигрировать, Петер видит, что характерные для капиталистического мира явления, с которыми в свое время приходилось сталкиваться и Генриху Манну, приняли еще более уродливые формы.

Но каким же все-таки предстает в «Прощании с Европой» этот художник, публицист и борец против фашизма? Зайппель избегает какой-либо идеализации образа Генриха Манна. Он менее всего намеревался водрузить фигуру писателя на «постамент из веймарского мрамора» и не стремился исследовать секреты манновского искусства. Его привлекала иная задача. Он хотел уяснить, в какой мере пример Генриха Манна как личности, его воззрения, его образ действий в критические моменты истории могут быть полезны людям, живущим в последней четверти XX века.

Романист знакомит нас с Генрихом Манном в тот полный драматизма период его жизни, когда ему — уже на склоне лет — угрожали страшные гонения в Германии, ставшей фашистской. Не мог он оставаться и во Франции, захваченной гитлеровцами.

Суровые испытания ждали его также в Америке, куда ему пришлось переехать, чтобы не попасть в руки нацистов.

Мы остро ощущаем, какой трагедией оказался для Генриха Манна переезд за океан, в США, эту, по выражению Зайппеля, «беспощадную страну», где уделом и его и Нелли стало ужасающее одиночество. Художник, пользовавшийся репутацией коммуниста, не мог там печататься, не имел и возможности заработать достаточно на жизнь. Когда же — после разгрома гитлеровских полчищ — Г. Манн готовился вернуться в Европу (он был заочно избран президентом Немецкой академии искусств), его постигла внезапная смерть. И это помешало ему принять участие в строительстве новой, социалистической немецкой культуры.

В книге «Прощание с Европой» выдающийся немецкий прозаик предстает человеком, хотя и изведавшим много горестного, но до конца дней своих сохранившим несгибаемое гражданское мужество и духовное величие, художником, черпавшим силы в убежденности, что в конечном итоге на земле победит социализм. Зайппелю удалось образ Генриха Манна сделать еще ближе читателю, дать яркое представление о том, как этот «отпрыск патрицианской семьи, интеллигент эстет» перешел в противоположный лагерь, встал «на сторону обездоленных и эксплуатируемых».

Г. ЗНАМЕНСКАЯ

САМАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Jean Cayrol. Histoire d'une maison. Paris, Seuil, 1976.

Построить собственный дом — маленький домик в деревне — мечта всех французов, особенно тех, кто живет в тесных городских квартирах, в зданиях, зажатых между более высокими корпусами, с жалким видом на крыши, дворы или узкие палисадники с чахлой травой.

Мечта эта родилась не сегодня, когда загрязнение среды, все более интенсивное движение и ужасающая скученность вызывают потребность в чистом воздухе, заставляют людей устремляться на пляжи, в леса и луга, заросшие клевером, васильками и маками.

Думаю, что мечта эта объясняется и ностальгией, которую продолжают испытывать горожане, в большинстве своем выходцы из деревни, и тоской по тому исконно крестьянскому, что живет почти во всех французах, и присущим им чувством собственности. Обладание клочком земли и своим домом внушает моим соотечественникам чувство уверенности и сознание, что будет что оставить в наследство детям.

Такова мечта и героя нового романа Жана Кейроля «История дома». Творчество Жана Кейроля, члена Гонкуровской академии, занимает особое место в современной французской литературе. Оно отражает одновременно мир реального и мир чудесного. Его последние романы — «История луга», «История пустыни», «История моря», «История леса» — посвящены встречам человека с природой. Они вмещают в себя и черты реальности, и легенды, прошлое в них сливается с настоящим, а человек спорит и борется с природой.

Иногда, возможно, для того, чтобы не оторваться совсем от современности, Жан Кейроль пишет романы, действие которых происходит на более ограниченном жизненном пространстве, я имею в виду прекрасную историю любви, рассказанную в романе «Не забывайте, что мы любим друг друга», или странную и причудливую книгу «Какемоно-отель».

Мне кажется, что роман «История дома» находится где-то на полпути между этими двумя жанрами, в которых работает писатель, потому что здесь перед нами и вполне реальная история героя — Симеона и его семьи, протекающая в трагические для Франции и всего мира годы (1938—1942),—и мечта о собственном мирном доме, приобретающая особое символическое звучание.

Маленький тихий уголок в парижском предместье Бретини, расположенный близ аэродрома, оказывается средоточием драматических событий, перевернувших жизнь миллионов мужчин и женщин и превративших в навязчивый кошмар самую непритязательную мечту. И герой — скромный счетовод, вместе со многими вовлеченный в адское пекло войны,— говорит об этом простыми и потому особенно страшными словами: «Издалека я увидел наш дом Мерзавцы! Они сделали из него бункер. Ты слышишь, он служит прикрытием для мощной огневой точки Они нарисовали на нем окна, ставни, балконы, а за его стенами спрятали пулеметы и пушки... Ты слышишь?»

Действие романа начинается в 1938 году. Симеон с женой Одеттой и двумя детьми, сыном и дочкой, являют собой самое типичное французское семейство. У Симеона мечта — построить дом на принадлежащем ему участке земли, который он окрестил «Чары».

1938 год — это год Мюнхена и иллюзий, когда многие не замечали или не хотели замечать черные тучи сгущавшиеся над Европой. Симеон одержим своей мечтой построить дом — «четыре стены и крышу». «Когда с домом все в порядке, то и все остальное в порядке». Однако иллюзиям вскоре приходит конец. Разражается война. Симеона призывают во флот, в мае 1940-го он попадает в плен, бежит, находит в Суассоне разыскивающую его Одетту, затем возвращается в Париж, принимает участие в Сопротивлении, подвергается аресту и умирает в Маутхаузене, так и не расставшись со своей мечтой о доме.

Мечта эта, постоянно сталкивающаяся с реальностью, становится смыслом и стимулом жизни. Чем меньше остается надежд, что дом когда-нибудь будет закончен, тем более символическое значение он приобретает. И не случайно в одной из передач Лондонского радио, которые так ждет Симеон, звучит следующая фраза: «Нужно заново построить дом». Не случаен и последний разговор Симеона с узником Маутхаузена (напоминающим своими чертами самого Жана Кейроля) о доме, все более перерастающем в миф: «Я подумал, что нужно пристроить гараж, а над ним — комнату для тебя, чтобы ты смог жить с нами...»

Вроде бы самая обыкновенная история, но это история человека, его дома и его мечты, которую не смогла убить война.

АНДРЕ РЕМАКЛЬ

г. Марсель

АРГЕНТИНА: ЛУЧШИЙ РОМАН ГОДА?

Silvina Bullrich. Te acordarás de Taormina. Buenos Aires, Emecé Editores, 1975.

В начале 1976 года выходящая в Буэнос-Айресе газета «Ла насьон» провела опрос среди директоров крупнейших аргентинских издательств, показавший, что дело с опубликованием произведений аргентинских писателей по-прежнему обстоит из рук вон плохо Такие книги обходятся дорого, а государство не оказывает необходимой поддержки. В результате издательства выпускают в основном книги иностранных авторов, и в первую очередь американских, коммерческий успех которых обеспечен широкой рекламой.

Литературный консультант одного из издательств сообщил, например. «В 1975 году мы выпустили 135 названий книг, из них 105 переизданий и лишь 30 новинок». А директор другого солидного издательства рассказал: «В прошлом году нам удалось распродать наши книги, и в этом году, несмотря на высокие цены, они продолжают хорошо расходиться... Правда, в основном мы публикуем книги, содержание которых исчерпывается эротикой и насилием, но ведь они пользуются спросом и их можно выпускать большими тиражами. Не то что поэтические сборники, которые за редким исключением интересуют лишь ограниченный круг читателей. Не разойдется и тысяча экземпляров, а такой маленький тираж убыточен Стихи можно издавать, если часть расходов берет на себя автор или какая-нибудь организация. Иначе для издательства это слишком невыгодно».

Можно не соглашаться с таким взглядом на поэзию, но, как ни печально, в этих словах содержится некоторая доля истины — у молодых поэтов нет средств, чтобы оплачивать публикацию своих произведений, а литературные журналы в Аргентине, за двумя-тремя исключениями, недолговечны.

Сравнивая такое положение вещей с тем, что было полвека назад, сразу убеждаешься, насколько сравнение это не в пользу современности.

В 1926 году вышло немало книг, вошедших в золотой фонд аргентинской литературы: поэтические сборники «Скрипки дьявола» Рауля Гонсалеса Туньона, ставший классическим роман «Дон Сегундо Сомбра» Рикардо Гуиральдеса, «Бумажные кораблики» Альваро Юнке, «Взбесившаяся игрушка» Роберто Арльта, «Потерянные жизни» Леонидаса Барлетты и другие. Не все из названных книг равноценны в художественном отношении, но каждая из них сыграла сьою роль в развитии аргентинской литературы.

А в 1975 году? Новых названий очень мало, тиражи незначительные. Особенный успех выпал на долю романа Сильвины Бульрич «Не забывай Таормины». Первое издание — 20 тысяч экземпляров — разошлось почти сразу, и тут же был выпущен второй тираж в 82 тысячи экземпляров. Таким образом, «Не забывай Таормины» можно считать аргентинским бестселлером 1975 года. Хотя сейчас этот роман уже не назовешь литературной новинкой, на нем стоит остановиться, так как интерес к нему до сих пор сохраняется.

По мнению критиков, Сильвина Бульрич, «тонкий знаток души современной женщины, всех нюансов ее психологии», достигла здесь вершины своего писательского мастерства.

Издательство «Эмесе», выпустившее роман, оценивает его чрезвычайно высоко: «Это исповедь; как золотая карусель, перед нашими глазами, сверкая, проносится все, из чего слагается человеческая жизнь: рождение, любовь, разлука, дети, разные судьбы. У каждого читателя и читательницы есть своя Таормина, и они помнят ее иллюзии, ее разочарования, горечь утраченной любви. Вот почему в конечном счете Таормина — своего рода символ, символ любви»

Таормина — это городок в Сицилии, но то же название носит фамильный дом, принадлежавший семье писательницы. «Ты родилась,— говорит в романе ее мать,— в квартале Бельграно, в доме, который по прихоти его владельцев был назван Таормина». Но дом, где проходят детство и юность, пока не настает час выйти замуж и обрести свой собственный семейный очаг,— это дом, в котором лелеют надежды и стремления, иллюзии и мечты, как лелеяли их женщины, родившиеся на пороге четвертого десятилетия нашего века в семье крупных землевладельцев, живших среди утонченной парижской роскоши и строго блюдущих правила католической морали.

Главная тема книги Сильвины Бульрич — патриархальные семейные устои, социальные предрассудки, все еще обрекающие женщину на неравноправное положение в

обществе. Вот почему эпиграфом для своего романа писательница избрала строки аргентинского поэта Альмафуэрте, точно это положение характеризующие:

Женщины, бедные женщины,
Вечно чувственны и вторичны.

Сильвина Бульрич была пятой дочерью в семье. Ее родители надеялись, что у них наконец-то родится сын, и были вновь обмануты в своих ожиданиях. Возможно, именно тут скрыта одна из причин той страстности, с какой писательница восстает против власти патриархальных предрассудков,— недаром заглавием первой книги, принесшей ей известность, стало имя Жорж Санд, ее давней предшественницы.

Роман «Не забывай Таормины» был воспринят как автобиографический. Это роман-исповедь: дочь рассказывает матери о своей жизни в длинном письме, но мы узнаем обо всем только через восприятие матери. Подобная форма привлекает читателя, так как вводит его в атмосферу откровенных признаний. Но она же нередко создает и ощущение недостоверности Большое место в романе занимают любовные эпизоды, и трудно поверить, что строгая старуха мать стала бы подробно их описывать, да еще таким образом: «Высокий, смуглый и веселый, как цыган, Конрадо подошел к тебе неслышным кошачьим шагом. Ты обвила руками его шею...» Однако подобный прием необходим для замысла писательницы — таким способом она бросает вызов обществу, отстаивая право женщины на свободу в любви, на независимость. Это бунт против суровой католической морали, которую символизирует патриархальная Таормина. Сама писательница освободилась от ее ига благодаря успеху, о чем часто упоминается в романе. Но она чувствует себя исключением — другие женщины лишены такой независимости и, как она считает, никогда не сумеют ее добиться.

Неполноценность женщины — вот лейтмотив романа. «Женщины неспособны добиться ничего по-настоящему важного». «Когда они ждали своего первенца, твой дядя Альфредо сказал жене: «Если родишь девочку, я тебя убью»... И так далее. Правда, все это говорится от лица матери, но писательница нигде прямо ей не возражает. Ее позиция — это позиция женщины исключительной: «Я понимаю, как ужасно верить в свою исключительность и при этом сознавать, что это лишь вопрос времени, что через несколько лет десятки и сотни женщин добьются такой же известности, таких же рукоплесканий». Впрочем, этот вывод сразу же сводится на нет новыми утверждениями о неспособности женщин участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами.

Это противоборство двух концепций — исключительности и неполноценности,— казалось бы, требовало более глубокого социального анализа — ведь Сильвина Бульрич считает свои романы в определенной степени социологическими исследованиями. Однако писательница совершенно игнорирует факт полного равноправия женщин в социалистических странах и прежде всего в Советском Союзе, где они добиваются огромных успехов даже в традиционно «мужских» профессиях, и это лишает убедительности ее рассуждения и выводы.

Создавая литературное произведение, автор выносит на суд читателя свои чувства, свои мысли. Вот почему мне хотелось бы противопоставить идеям романа о женщине и ее неполноценности слова Фиделя Кастро: «Если в нашем обществе есть какие-то привилегии, если в нашем обществе есть какое-то неравенство, то эти привилегии, это неравенство должны быть в пользу женщины. Буржуазной и феодальной галантности мы должны противопоставить пролетарскую галантность, пролетарскую рыцарственность, пролетарскую учтивость».

Роман Сильвины Бульрич «Не забывай Таормины» снискал наибольшую популярность из всех книг аргентинских писателей, вышедших в последнее время. Но отсюда вовсе не следует, что он достоин считаться лучшим образчиком современной аргентинской литературы.

ХУАН АНТОНИО САЛЬСЕДА

г. Тавиль

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«ЛЕОПАРД СРЕДИ ЖЕНЩИН»

Журнал английских востоковедов «Буллетин оф зе скул оф ориентал энд африкэн стадиз» опубликовал рецензию на вышедшую в Лондоне пьесу современного сомалийского драматурга и поэта Хасана Шейха Мумина «Леопард среди женщин». Кроме оригинального сомалийского текста, лондонское издание пьесы содержит перевод, вступительную статью и комментарии, написанные известным английским африканистом, долгие годы занимающимся исследованием сомалийского языка и литературы, Б. В. Анджеевским.

Как пишет автор рецензии Рут Финнеган, в настоящее время из всех африканских устных литератур сомалийская лучше всего известна и наиболее полно изучена. На различных языках опубликованы исследования и переводы сомалийской народной поэзии и прозы.

Иначе обстоит дело, однако, с изучением молодой сомалийской письменной литературы, в частности драматургии, получившей в последние годы особенно большое развитие. Театральные представления стали в настоящее время одной из главных форм массового воспитания и развлечения в сомалийских городах, а благодаря радио и грамзаписям все шире проникают также в деревни и на стойбища кочевников.

По словам рецензента, книга «Леопард среди женщин» дополняет наши знания о сомалийской литературе, дает возможность познакомиться с оригинальным текстом и переводом легко читаемой, остроумной и временами трогательной пьесы.

Автор пьесы «Леопард среди женщин», как и другие сомалийские драматурги, еще следует во многом традиционным образцам устной поэзии. Большая часть пьесы написана аллитерационными стихами. Во время исполнения на сцене многие стихи поются соло или хором в сопровождении оркестра. Прозаические части пьесы связывают стихотворные фрагменты в единое целое и в отличие от стихов могут импровизироваться актерами по ходу действия.

В пьесе рассказывается о том, как злой и бездушный Леопард соблазняет, а затем бросает невинную девушку по имени Шаллайо. Трогательно звучат образные поэтические монологи покинутой Шаллайо.

В Лондоне поставлена пьеса Стива Уилмера под названием «Веселый зеленый солдат», повествующая о борьбе народа Анголы за свободу. Первое представление по времени совпало с принятием освобожденной Анголы в члены Организации Объединенных Наций. Пьеса разоблачает наемников империализма, которые воевали в Анголе за чуждые им интересы. Получившая высокую оценку критика газеты «Морнинг стар» Колина Чеймберса пьеса поставлена коллективом «Блэк тиэтр» Брикстона.

На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Морнинг стар»)

Пьеса не лишена социального звучания. Используя традиционный сюжет, автор показывает взаимоотношения современных сомалийских мужчин и женщин и высмеивает унаследованные от старого общества предрассудки.

«СОМЕРСЕТ МОЭМ И ЕГО МИР»

Так называется книга Фредерика Рафаэля, выпущенная издательством «Тэмз энд Хадсон». Критики до сих пор не могут прийти к единодушному мнению относительно оценки творчества Моэма, пишет обозреватель «Таймс литерари саплмент» Т. Уорсли. Одни относят его к классикам, другие, в числе которых, например, был американский критик и писатель Эдмунд Уилсон, считают его второразрядным прозаиком.

Ф. Рафаэль, по словам Т. Уорсли, не ставил перед собой литературоведческих задач: его книга скорее небольшой (в ней всего 114 страниц) биографический очерк, нежели исследование творчества Моэма. Автор пытается воссоздать достоверный портрет его — прежде всего как человека и уж потом как писателя.

Первые романы и новеллы не принесли Моэму успеха, и он долгое время оставался «молодым многообещающим талантом», признание пришло внезапно, когда в одном из лондонских театров поставили его пьесу «Леди Фредерик». «На следующий день после премьеры,— пишет Ф. Рафаэль,— он стал знаменитостью». Слава писателя росла с каждым годом и достигла апогея с выходом романов, которые и по сей день считаются лучшими его произведениями,— «Луна и грош» и «Бремя страстей человеческих». По мнению Ф. Рафаэля, эта слава способствовала тому, что Моэм постепенно превращался в «коммерческого писателя».

«Он не был великим писателем, но его произведения отмечены печатью незаурядного таланта. Он стал коммерческим писателем, хотя знал, что великая литература бесценна»,— делает вывод Ф. Рафаэль.

«С оценкой, которую дает автор Моэму, человеку и писателю, можно полностью согласиться», — заключает Т. Уорсли.

АРГЕНТИНА

НОВЫЙ РОМАН МАНУЭЛЯ ПУИГА

Молодой аргентинский писатель Мануэль Пуиг (род. в 1932 году) завоевал признание читателей не только у себя на родине, но и в Европе, когда в 1968 году вышел первый его роман «Предательство Риты Хейворт». В прессе, вспоминает литературный обозреватель испанского журнала «Триумфо», сообщалось тогда об открытии нового имени в латиноамериканской прозе. Пуига называли последователем таких признанных мастеров, как Кортасар и Варгас Льоса. Прогнозы эти вскоре подтвердились: второй роман Пуига, «Накрашенные губки», имел большой успех. Писатель переселился в США, и там в 1973 году был издан его третий роман «Буэнос-айресское дело». К этому моменту литературная критика уже не сомневалась, продолжает «Триумфо», что речь идет о значительном явлении в аргентинской литературе.

«Талантливый писатель,— отмечает журнал, — Пуиг улавливает все оттенки влияния «поп-культуры» на мышление своих современников». Эта особенность творческой манеры нашла свое отражение и в новой его книге «Поцелуй женщины-паука», выпущенной недавно в Испании издательством «Сейс Барраль».

Действие романа развивается в одной из тюрем Буэнос-Айреса: в камеру к молодому аргентинскому революционеру подсажен заключенный, которому вменяется в обязанность шпионить за напарником. Опустившийся, жалкий человек, чей образ мыслей и жизненные представления целиком сформировались под воздействием деклассированного окружения, коммерческого кино и бульварной литературы, шпик переживает как бы второе рождение, знакомясь со своим невольным соседом. Хотя он так до конца и не понимает, почему этот юноша, рискуя жизнью, выступал против диктатуры, его благородство, убежденность в правоте своего дела и человечность разрушают «кодекс поведения», предписанный провокатору. Он отказывается доносить на нового друга тюремным властям...

Роман строится на рассказах заключенных об их жизни на свободе, на их воспоминаниях и внутренних монологах. Рецензент «Триумфо» расценивает эту книгу как важное событие в мире современной испаноязычной литературы.

БОЛГАРИЯ

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКА КИРИЛЛА ЦОНЕВА

«Кирилл Цонев, — пишет газета «Работническо дело»,—сложная и многогранная фигура в нашем изобразительном искусстве. Художник и теоретик, он жил и творил в то время, когда болгарские художники создавали свой национальный стиль, а «новый» (по терминологии той эпохи), социалистический реализм соединял родные традиции с самыми прогрессивными идеями и взглядами в искусстве.

Вклад Кирилла Цонева в передовое искусство наглядно показала большая юбилейная выставка, посвященная 80-летию художника. Его творчеству присуще многообразие стилей и традиций. Уроженец Кюстендила, он учился у мастеров

На снимке: картина Кирилла Цонева «Девушки из Санта-Клары».

(Журнал «Септември»)

болгарской реалистической школы, затем в 20-е годы изучал живопись в Германии, не раз бывал во Франции, Италии, Испании и других европейских странах, прозел два года в Мексике и на Кубе. Пребывание в Латинской Америке, знакомство и совместная работа с замечательными мексиканскими художниками Диего Риверой, Ороско, Сикейросом, природа и люди «экзотического» континента обогатили творчество Кирилла Цонева не только новыми сюжетами, но и новыми красками, монументальностью, которая сочетается в его полотнах с пластичностью и классической строгостью линий.

Вернувшись в 1933 г. в Болгарию, он принимает активное участие в движении «Новых художников». Воспринимая все лучшее в мировой культуре, Кирилл Цонев до конца своих дней оставался горячим поклонником искусства старинной болгарской иконописи, творений болгарских народных мастеров. Много сил отдает он реставрации Боянской церкви — замечательного памятника средневековой болгарской культуры.

Юбилейная выставка Кирилла Цонева, подчеркивает «Работническо дело», еще раз доказывает, что его «творчество принадлежит столько же истории, сколько и настоящему болгарского изобразительного искусства».

ВЕНГРИЯ

ДЮЛА ЧАК О СВОЕЙ ПЬЕСЕ

Венгерский Национальный театр осуществил постановку пьесы известного венгерского писателя Дюлы Чака.

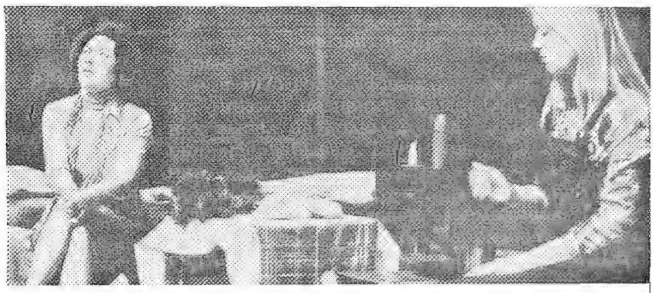
Вот что рассказал о своем произведении сам автор: «Людей на протяжении всей истории человечества всегда интересовал вопрос о природе их взаимоотношений, о том, что дает ощущение счастья. Много думал над этим и я. По-моему, человек может быть счастливым, если уверен в добром отношении к нему окружающих, а оно в свою очередь зиждется на общих интересах, понимании друг друга, терпимости, чувстве локтя. В нашем обществе человек человеку друг. Но не лишено наше общество и конфликтов. В конфликтной ситуации всегда легче обидеть, задеть человека, но гораздо полезней проявить понимание. Вот об этих вещах и рассуждают герои пьесы — фабричные девушки, только начинающие свой самостоятельный жизненный путь.

Поначалу пьеса называлась «Женское общежитие». Но во время работы над ней в театре родилось название, глубже выражающее ее идейную сущность: «Один за всех — все за одного».

ВЕНЕСУЭЛА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР ТЕАТРА

Крупнейшим событием культурной жизни Венесуэлы явился Международный театральный фестиваль, проходивший в Каракасе под эгидой ЮНЕСКО. Фе-



На снимке: сцена из спектакля «Один за всех — все за одного». В ролях: актрисы Маргит Лукач и Марианн Моор.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

стиваль, как отметила местная печать, еще раз подтвердил, что театральное искусство живо, что оно успешно развивается и «способно не только конкурировать с кино и телевидением, но и побеждать их». Международный смотр театра вновь привлек внимание общественности к серьезным проблемам латиноамериканского театра, страдающего от нехватки пьес национальных авторов, суровой цензуры, отсутствия постоянных сценических площадок, финансовой помощи и поддержки властей, слабой профессиональной подготовки актеров. В фестивале участвовало 29 театральных трупп из Латинской Америки, Азии, Африки и Европы. Интерес зрителей к спектаклям был огромен: лишь за первые шесть дней на фестивале побывало более 10 тысяч человек.

Венесуэла представила на фестиваль постановку трагедии Федерико Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы» и пьесу национального драматурга Хосе Игнасио Кабрухаса «Человек есть человек». Тепло были встречены экспериментальная постановка «Гуадалупе, годы без счета» колумбийской труппы «Ла Канделария», получившая премию международного жюри «Каса де лас Американас» за 1976 год, пьеса Эдуардо Павловски «Сеньор Галиндес» в исполнении аргентинского театра «Пайро», романтическая поэма Лешека Мочульского «Исход», показанная артистами из Кракова (ПНР), музыкальная пантомима из жизни эскимосов «Инук — человек», привезенная на фестиваль актерами Национального театра Исландии, фольклорный спектакль «Храбрый воин» театральной труппы «Абафуми» из Уганды, выступления группы «Огун» из Дании, дававшей представления на площади в рабочем квартале Каракаса Петаре.

Параллельно с фестивалем в венесуэльской столице была проведена международная конференция театра «третьего мира», в которой участвовало 150 делегатов из 44 стран.

ВЬЕТНАМ

«БОЛЬШЕ ХОРОШИХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Под таким заголовком в еженедельнике «Ван нге» напечатано сообщение о деятельности издательства детской литературы «Ким Донг».

В 1976 году издательство выпустило 80 названий книг тиражом 40 тысяч экземпляров. Многие из них получили высокую оценку читателей. В планах текущего года значится тоже 80 названий книг, но тиражи их увеличатся в полтора раза. Издательство «Ким Донг» публикует также книги, рассказывающие о деятельности пионерской организации имени Хо Ши Мина, книги о воспитании ребенка в семье и произведения зарубежной детской литературы, переведенные на вьетнамский язык.

ГДР

«ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ВИКТОРИИ»

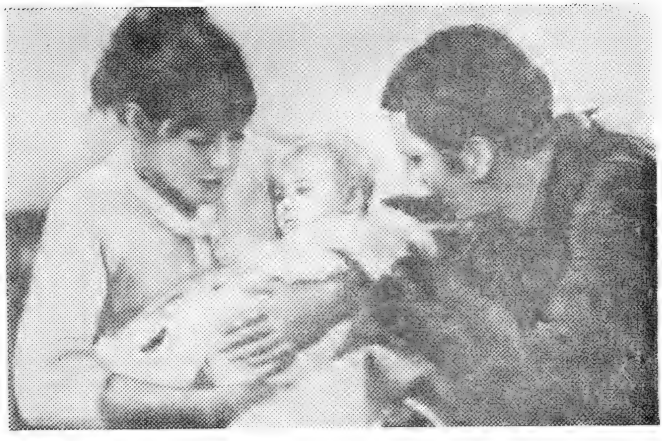
Так называется новый телевизионный фильм по рассказу Эберхарда Паница. Как и в других фильмах, в основу которых положены произведения Паница, центральным персонажем «Отречения от Виктории» является женщина. Но на этот раз героиня, молодой архитектор Виктория, не вызывает симпатии. Страстное стремление сделать свою жизнь легкой и беззаботной, нежелание считаться с другими людьми, неумение справляться с трудностями, эгоизм постепенно приводят Викторию к измене. Она оставляет любимого человека и их общего ребенка и, в сущности, предает страну, где выросла и получила образование. Спустя некоторое время она пытается вернуть себе ребенка, но бывший муж отказывает ей в этом.

«Это своего рода «Развод по-немецки»,— сказал в интервью еженедельнику «Зоннтаг» режиссер фильма Целино Бляйвайс.— Мы хотели рассказать о молодой женщине, которая бежит от сложностей жизни... История потерянной любви тесно связана, с одной стороны, с проблемой любви к родине, верности родине, а с другой стороны — с историей потери родины».

Рецензенты отмечают тонкую лиричность фильма «Отречение от Виктории», которой немало способствовали сопровождающие фильм стихи Гейне и песни на его стихи.

На снимке: кадр из фильма «Отречение от Виктории». В главных ролях Моника Войтович и Ганс-Йорн Вебер.

(Еженедельник «Зоннтаг»)



КНИГИ НА ЛЕЙПЦИГСКОЙ ВЕСЕННЕЙ ЯРМАРКЕ

750 издательств из 24 государств представили свою продукцию на традиционной весенней ярмарке в Лейпциге. Как отмечает пресса Германской Демократической Республики, самое большое место на ярмарке 1977 года занимают публикации, посвященные 60-летию Октябрьской социалистической революции. Широко представлены книги, изданные в Советском Союзе (3000 названий более 100 издательств). Среди них произведения Маркса, Энгельса, Ленина, научная литература, документы, художественная литература. Юбилейный год отражен и в книгах, представленных Польшей, Чехословакией и другими социалистическими странами.

Издательства Германской Демократической Республики выпустили ряд сборников произведений советских писателей, собрание сочинений Максима Горького, поэму Александра Блока «Двенадцать», произведения Валентина Катаева, Даниила Гранина, молодых прозаиков и поэтов, воспоминания Раисы Островской о Николае Островском.

Интересен раздел путевых очерков немецких писателей, побывавших в Советском Союзе. Среди них «Путешествие в Советскую Россию 1934» Оскара Марии Графа, «Оренбургский дневник» Маргареты Нойман, репортаж Уве Канта «Красная площадь и вокруг нее».

Много внимания уделено на ярмарке книгам, вышедшим в последнее время. Литературные обозреватели газет «Нойес Дойчланд» и «Берлинер цайтунг» называют том рассказов Анны Зегерс, куда входят «Каменный век» и «Новая встреча», рассказы Эрвина Штриттматтера «Моя подруга Тина Бабе» и «Суламифь Мингедё», стихи Эвы Штриттматтер, новый роман Вернера Хайдучека «Смерть на море», произведения немецких классиков Гёте, Гофмана, Клейста, Фонтане.

На ярмарке состоялись встречи писателей с читателями, где отрывки из нового романа «Местопребывание» прочел Герман Кант, отрывки из нового романа «Романс с Амелией»—Бенито Вогацкий. Как обычно, эти чтения сопровождались оживленными дискуссиями.

Внимание гостей ярмарки привлекли интересная выставка живописи, работы художников-графиков, экспозиция, посвященная творчеству композитора Арнольда Шёнберга.

ПРЕМИЯ ПИСАТЕЛЬНИЦЕ

Литературная премия Демократического женского союза Германии за 1977 год присуждена писательнице Маргарете Нойман (рассказы ее были опубликованы в «Иностранной литературе» № 1, 1977) за ее прозаическое и поэтическое творчество.

ИЗРАИЛЬ

ФИЛЬМ «ДЕРЕВЯННЫЙ КОНЬ»

По сообщениям израильской прессы, на экраны страны вышел фильм «Деревянный конь», снятый по одноименному роману прогрессивного писателя Иорама Каплюка.

Действие фильма происходит в Израиле в наши дни. Главный герой его — художник, пытающийся сохранить свою творческую самостоятельность в неравной борьбе с бизнесменами от искусства. В картине заняты ведущие израильские киноактеры.

ИНДИЯ

«ОГОНЬ НА ОБРЫВЕ»

Газета «Джан юг» поместила рецензию на повесть под таким названием, опубликованную одним из ведущих издательств индийской столицы. Автор повести — молодой писатель хинди Химаншу Джоши. Выходец из горных районов Северной Индии, автор посвятил свое произведение изображению жизни деревни, затерявшейся среди гималайских теснин. В центре повести образ Гомти — женщины, которой пришлось испытать тяжелые бедствия: гибель мужа, потеря последнего клочка земли, долговое рабство. Оказавшись в отчаянном положении, будучи не в силах терпеть ежечасные унижения, Гомти глухой ночью с ребенком на руках тайком покидает деревню. Она бежит куда глаза глядят, лишь бы не оставаться там, где на ее долю выпало столько несчастий.

«Образ Гомти получился у автора настолько выразительным, что как живой встает перед нашим мысленным взором, — пишет рецензент.— Это исполненный жизненной правды, проникновенный рассказ о женщине, каких немало можно встретить в сотнях и тысячах деревень страны».

Высоко оценивая произведение в целом, рецензент вместе с тем упрекает автора в некоторой односторонности в изображении реальной жизни. «Почему в повести не нашел отражения другой аспект действительности? — спрашивает рецензент и сам отвечает:— Ведь жизнь — это не только горе, несчастье и страдания — все то, что с такой впечатляющей силой изображено в повести. Почему же в ней отсутствует рассказ о борьбе, которую ведет деревня, — той борьбе, которой посвящен, например, роман Гопала Упадхьяя «Кусочек истории»?»

ИТАЛИЯ

УЖИН ПРИЗРАКОВ

Так озаглавлена в газете «Унита» статья о выставке последних графических и живописных работ Альбер-

На снимке картина Альберто Суги из цикла «Ужин».

(Газета «Унита»)

то Суги, которая прошла в начале нынешнего года в Галерее современного искусства г. Болоньи.

Все творчество Суги состоит из циклов рисунков, эскизов и крупноформатных картин, объединенных по тематическому принципу.

Последний цикл носит название «Ужин». Группки буржуа изображены за ритуалом поглощения пищи. Они едят стоя и своей неподвижностью, холодностью, многозначительностью процесса жевания и глотания наводят даже страх, который усиливается серым цветом, доминирующим как в изображении обстановки, так и в костюмах персонажей. «У них лица как у страдающих галлюцинациями,— пишет рецензент «Униты» и добавляет: — ...это фигуры смертников в комнатах-гробницах».

К выставке Суги коммунистическое издательство «Эдитори риунити» выпустило каталог, в который вошли фотографии всех экспонируемых произведений, статьи о них, написанные Джузеппе Раймонди и Джорджо Амендолой, а также заметки самого художника о своих работах.

«Оледенение чувств» видит Раймонди у изображенных на картинах представителей общества потребления. «Это люди, ставшие почти статуями, манекенами, которые лишь притворяются живыми»,— пишет он. Амендола в своей статье подчеркивает, что цикл «Ужин» порожден явлением так называемого «экономического чуда», конец которого художник остро почувствовал — он увидел зависимость между этим чудом и экономическим, социальным и моральным кризисом, в который низвергается страна. «Пробудился старый итальянский партикуляризм,— пишет Амендола.— Наступили конец солидарности, отрицание чувств... ужин этот становится последним ужином. Пространство оказалось беспредельным, фигуры людей — изолированными. Они не говорят друг с другом. Остается лишь акт еды, последний кусок — символ собственности. Необходимо, чтобы кто-нибудь положил конец этому жуткому ритуалу, чтобы кто-нибудь открыл окно — и сюда проник бы луч солнца. Новые большие надежды придут и к Суги. Сцена должна повториться, чтобы наполниться живыми людьми».

КАНАДА

«ПЕРВАЯ АНТОЛОГИЯ ЧЕРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КАНАДЕ»

Строго говоря, название этого сборника не совсем точно, не все писатели и поэты, чьи произведения вошли в антологию,— негры, среди них и коренные жители бывших британских колоний: Тринидада, Гайаны, Карибских островов. Но суть не в названии. Издатель и составитель сборника Гарольд Хид пишет в предисловии, что «хочет прорубить для читателя окно в третий мир». Это, по мнению рецензента газеты «Глоб энд мейл», отчасти ему удается.

Рецензент газеты выделяет общую тему, объединяющую почти все произведения антологии: искания людей, пытающихся обрести себя в столь чуждом им мире. От своей национальной культуры они по большей части оторвались, их раскидало по свету, а к англоязычной культуре, хотя зачастую английский стал уже для них родным языком, они не примкнули — все это рождает поиски своих корней, попытки сказать свое слово в современной литературе, утверждает критик.

Наиболее удачны, на его взгляд, прозаические произведения сборника. Они более оригинальны и самобытны, чем представленная в антологии поэзия, часто носящая подражательный характер. Все же рецензент выделяет некоторых поэтов: Артура Нортье из Южной Африки, с его напряженной философской лирикой, Чарльза Роуча из Тринидада, опирающегося в своем творчестве на народную песенную традицию, Дэвида Кембелла из Гайаны. В про-

зе же его внимание привлекли рассказы Гарольда Сонни Ладу из Тринидада, ныне уже покойного, и Остина Кларка.

Не свободная от отдельных просчетов, заключает рецензент, антология прежде всего важна как первое в Канаде издание подобного рода.

КУБА

НОВЫЙ ФИЛЬМ СЕРХИО ХИРАЛЯ

На тему колониальной истории Кубы выпущена картина режиссера Серхио Хираля «Ранчеадор», рассказывающая о борьбе негров-рабов на острове в конце XIX века.

Серхио Хираль начинал свою кинематографическую карьеру как документалист. Широкую известность среди кубинских зрителей приобрела его документальная лента «Анатомия несчастного случая». В 1975 году на экраны вышел первый его полнометражный художественный фильм — «Другой Франсиско» (как известно, удостоенный премии VI Московского кинофестиваля, а также ряда премий на фестивалях в Латинской Америке — в Колумбии и на Ямайке).

«Ранчеадор» является как бы продолжением уже исследовавшейся Серхио Хиралем темы рабства на Кубе. Но если в фильме «Другой Франсиско» режиссер основной акцент делает на показе взаимоотношений буржуазии и рабов, то в «Ранчеадоре» он исследует психологию посредников между этими двумя классами. В центре картины — «ранчеадор» Эстевес, наемник, надсмотрщик на сахарной «централи». Выходец из низов общества — сын безземельного крестьянина, но лишенный классовой, социальной сознательности,— он становится врагом своего класса.

— Касаясь темы рабства,— заметил режиссер в интервью кубинскому журналу «Боэмия»,— я стремился отразить два момента: исторический и классовый. С точки зрения истории я рассказываю о нашем прошлом, которое в течение длительного времени фальсифицировалось буржуазными историками. С точки же зрения классовой провожу мысль о том, что, несмотря на всю специфику прошлой эпохи в сравнении с нынешней, отношения классов всегда имели и имеют антагонистический характер, что эксплуататорские приемы буржуазии весьма сходны во все времена — и на рубеже XIX—XX веков, как это показано в нашей картине, и в наши дни.

В сюжете картины Серхио Хираля использован доподлинный дневник капитана «ранчеадорес», некоего Эстевеса. В свое время дневник этот попал в руки известного кубинского писателя-классика Сирило Вильяверде, который на основе его создал драму под тем же названием.

На снимке: кадр из фильма «Ранчеадор» режиссера Серхио Хираля.

(Газета «Гранма»)

КУВЕЙТ

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АРАБСКОЙ КНИГИ

Журнал «Аль-Баян» опубликовал статью, посвященную второй международной выставке арабской книги, которую организовал в Кувейте Национальный совет по делам культуры, искусства и литературы. В ней приняло участие около 150 издательств из четырнадцати арабских государств, представивших свыше 700 тысяч книг по всем областям знаний.

ЛИВАН

«ДНЕВНИК ВОЙНЫ В ГОРАХ»

Объединенный информационный центр Организации освобождения Палестины выпустил недавно книгу прогрессивного сирийского поэта Селима Бараката «Церковь Аль-Мухариб. Краткий дневник войны в горах».

Книга, по свидетельству газеты «Аль-Иттихад», представляет собой написанные по горячим следам заметки о трагической междоусобной войне в Ливане, о героизме бойцов национально-патриотических сил.

Селим Баракат в настоящее время живет в Ливане. Ранее им были опубликованы два сборника стихов, тепло встреченных прогрессивной арабской общественностью.

МАЛАЙЗИЯ

ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО В «ДЕВАН САСТРА»

Седьмой год пошел ежемесячнику «Деван састра», единственному в Малайзии литературно-художественному журналу, издающемуся Государственным институтом языка и литературы. За время своего существования журнал существенно пополнил список малайских переводов из русской классики и впервые познакомил своих читателей с произведениями советских поэтов.

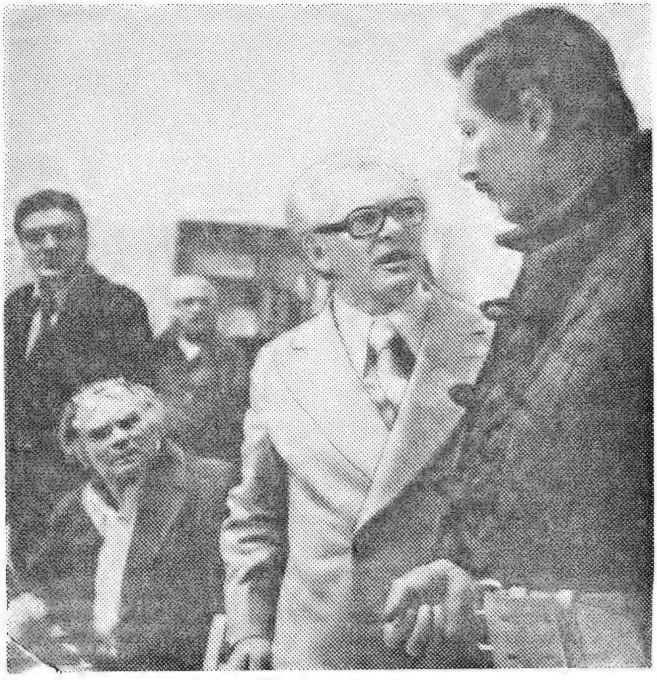
Благодаря усилиям молодого переводчика Дахлана А. Вахаба в журнале впервые на малайском языке были представлены повести Пушкина «Выстрел» и «Метель», «Четыре дня» В. М. Гаршина, впервые опубликованные в «Отечественных записках» ровно сто лет тому назад, в переводе Дауда Бахарума, «Песня о Соколе», переведенная выдающимся писателем Усманом Авангом.

Поездки советских поэтов М. Матусовского, Р. Рождественского, Е. Евтушенко в Малайзию послужили толчком к публикации подборок стихотворений. В самое последнее время на страницах журнала появилось стихотворение Олжаса Сулейменова «Девушка в желтом сари» в переводе одного из крупных малазийских писателей Шахнона Ахмада.

ПОЛЬША

УСПЕХ СОВЕТСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Многие польские театры ставят ряд спектаклей по пьесам советских драматургов, которые пользуются успехом у зрителей.



На снимке: сцена из спектакля «Протокол одного заседания».

(Журнал «Театр»)

Тепло был принят зрителями спектакль «Сталевары», поставленный по пьесе Геннадия Бокарева в Шлёнском театре им. Выспянского. В Старом театре им. Моджеевской в Кракове был поставлен спектакль «Человек со стороны» по пьесе Игнатия Дворецкого, который нашел широкий отклик в печати и вызвал широкую дискуссию среди зрителей.

Но особенный успех выпал на долю спектакля «Протокол одного заседания» по пьесе Александра Гельмана, по которой было поставлено шестнадцать спектаклей в разных городах страны. Об одном из них пишет в журнале «Театр» Хенрик Бенёвский. Речь идет о спектакле, поставленном в недавно открытом в Варшаве театре в рабочем районе на Воле. Этот театр уже успел приобрести популярность среди зрителей. Руководит им известный польский актер и режиссер Тадеуш Ломницкий, который играет в спектакле роль Батарцева.

«Интерес к спектаклю,— отмечает Бенёвский,— энтузиазм, с которым он принимается, свидетельствуют о том, что зрители нуждаются в таких пьесах. Миллионы польских зрителей испытывают потребность в осмыслении широкого круга проблем общественных, политических и гражданских. Но эта потребность еще не нашла должного отражения в пьесах польских драматургов».

«ТЕНИ ПРОШЛОГО»

Так называется рецензия Януша Термера, опубликованная в газете «Трибуна люду», на новую книгу Северины Шмаглевской «Волчья ягода».

Северина Шмаглевская вошла в польскую литературу книгой «Дым над Биркенау», которая явилась обвинительным актом гитлеровскому фашизму. Будучи уз-

ницей лагеря смерти, Северина Шмаглевская описала все ужасы гитлеровского ада, надругательства над человеком. После войны писательница выступала в качестве свидетельницы против военных преступников на Нюрнбергском процессе.

Весь свой страшный опыт времен заключения писательница воплотила в книгах «Хлеб и надежда», «Пустое место за столом», «Крик ветра», «Невинные в Нюрнберге». В них она не только изобличает фашизм, но и показывает, как человек в условиях послевоенной Польши находит в себе силы строить будущее.

Новая книга С. Шмаглевской «Волчья ягода» посвящена современности. Героиня книги отдыхает на Мазурских озерах среди прекрасной природы, но в памяти ее возникают мысли о страшном прошлом. Можно ли их предать забвению? — спрашивает писательница и отвечает: нет, все, что несет с собой война, забыть невозможно.

«Волчья ягода»,— пишет Януш Термер,— отличается удивительной лаконичностью повествования, которая несет в себе огромный эмоциональный заряд и устрашающую правду фактов, поданных без каких-либо комментариев. Это, без сомнения, одна из лучших книг Северины Шмаглевской».

США

ПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ НАСИЛИЯ

«Национальная ассоциация родителей и учителей» (НАРУ) — одна из крупнейших в стране общественных организаций — развернула в этом году широкую кампанию протеста против пропаганды насилия в телевидении США. Объявляя о начале кампании, президент НАРУ Кейрол Киммел, по сообщению газеты «Дейли уорлд», заявил: «Мы убеждены, что между пропагандой насилия, которая ведется по телевидению, и агрессивным поведением детей имеется определенная связь».

По инициативе НАРУ в различных городах страны проводятся совместные собрания родителей и учителей. На собрании в Чикаго многие ораторы с возмущением протестовали против передачи по местному телевидению кинофильма «Суматоха», главный «герой» которого — главарь банды убийц Менсон. Демонстрация этого фильма, по словам председателя ассоциации школьных советов штата Мичиган Джона Доджа, привела к тому, что в ряде школ штата были отмечены случаи погромов и поджогов зданий.

ПИСЬМА УИЛЬЯМА ФОЛКНЕРА

Фолкнер был скуп на интервью, избегал публичных выступлений, а друзьям не раз говорил, что ему не хотелось бы, чтобы его письма когда-нибудь увидели свет. Тем не менее дочь писателя Джилл дала согласие на издание его «Избранных писем», считая, что интерес для широкого читателя представляет все, что связано с жизнью и творчеством выдающегося художника. Книга, вышедшая под редакцией биографа Фолкнера Дж. Блотнера, сразу же привлекла особое внимание американских критиков.

В книгу включены письма за сорок лет — от первых шагов Фолкнера в литературе (начало 20-х гг.) до конца его жизни. Большей частью это деловая переписка с редакторами, издателями и литературными агентами. Фолкнер, уже завоевавший широкую известность в Европе, не пользовался признанием у себя на родине вплоть до появления тома «Избранное», подготовленного и изданного в 1946 году критиком Малькольмом Каули, письма к которому представляют наибольший интерес, поскольку Фолкнер делится здесь многими секретами своего творчества (эти письма уже публиковались в 1966 году в сборнике «Дело Каули — Фолкнера»). В 20-е и 30-е годы, когда были написаны «Шум и ярость» («ИЛ» за 1973 г., № 1, 2), «Свет в августе», «Деревушка» и другие прославленные произведения, Фолкнер был вынужден много работать лишь ради заработка, добиваясь опубликования своих новелл в многотиражных и хорошо плативших журналах, доказывать их редакторам, как и хозяевам Голливуда, где он работал с 1935 года, что он — профессиональный литератор достаточно высокого класса.

В письмах он нередко жалуется на то, что у него нет времени осуществить свои серьезные замыслы и что борьба за существование, которую он вынужден вести, подрывает его творческие силы. «Кто это сказал, что для художника только хорошо, что он живет в тисках нищеты, не зная, как расплатиться с булочником и мясником и как отсрочить очередной взнос по страховке? — пишет он в 1935 году одному из знакомых.— Уж непременно какой-нибудь безмозглый идиот».

Лишь к старости у Фолкнера появилась уверенность, что его след в литературе не затеряется. В 1953 году он писал одной начинающей романистке: «Я теперь впервые ощутил, какой огромный дар был в меня вложен. Ведь, строго говоря, я не получил никакого образования, я не так уж часто общался просто с грамотными людьми, а о писателях и не говорю, и все-таки как много мне удалось сделать. Не знаю, откуда у меня взялись силы. Не знаю, почему именно меня избрали своим орудием боги или кто там еще... Меня все это просто изумляет».

Рецензируя книгу в журнале «Нью-Йорк таймс бук ревью», известная писательница Юдора Уэлти отмечает: «Письма Фолкнера — не письма о литературе, но они имеют, как правило, самое прямое отношение к ремеслу писателя. Это письма человека, живущего в гуще такого ему привычного общества... и страстно стремящегося, рассчитывая только

на себя самого, делать то, что он и призван был делать, и при этом своим трудом кормить семью». Личность Фолкнера и его писательское своеобразие раскрываются на страницах тома, по мнению Уэлти, с необыкновенной яркостью, и в этом немалое значение — и оправдание — инициативы Джилл Фолкнер и Дж. Блотнера, издавших письма вопреки воле человека, их писавшего.

ШВЕЦИЯ

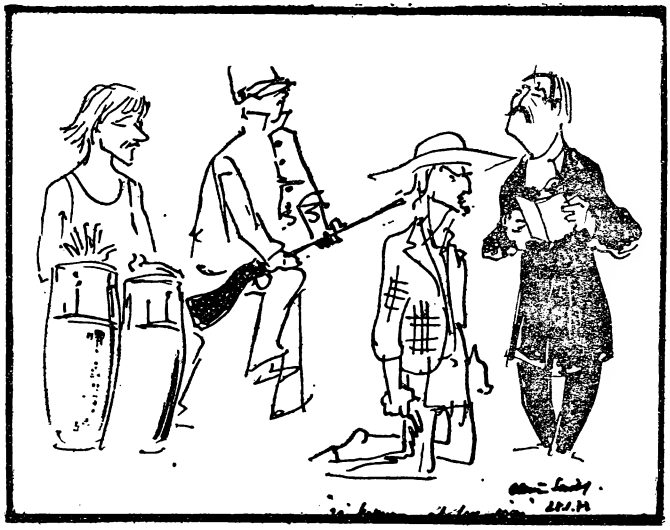
«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»

Так называется спектакль, поставленный в Швеции группой актеров гётеборгского Национального театра и музыкальным коллективом «Напевы». Спектакль представляет собой злую и веселую сатиру на Соединенные Штаты Америки, история которых есть история насилия и подавления прав и свобод как отдельных граждан, так и целых национальных групп, в частности индейцев, о судьбе которых рассказывается в этом представлении. Название спектакля «Мы будем жить!», выражающее надежды притесняемых и обреченных на вымирание индейцев США, как бы символизирует несломленную волю всех угнетенных людей самой Америки — жертв расовых и иных преследований прежде и теперь, а также тех, кто живет за пределами США и кого американский империализм пытается ныне подчинить себе с помощью военной силы, политических, экономических и идеологических средств давления.

Недавно спектакль «Мы будем жить!» был показан в Копенгагене. Как отмечала газета датских коммунистов «Ланд ог фольк», он дал датчанам богатую пищу для размышлений на тему о зависимом положении их собственной страны.

Спектакль начинается со следующей сцены: ярко разодетый американский ковбой не без издевки в голосе обращается к публике: «Приветствую вас, датских американцев!.. Вы что? Думаете, что вы датчане?» И ковбой тут же доказывает публике, насколько слепо датчане во всем следуют за США, копируя хотя бы худшие образцы американской культуры и насаждая их у себя дома.

Символична заключительная сцена спектакля: в осажденном лагере индейцев «Вундед Ни» в момент, когда вокруг неистовствует полиция, когда индейцы проводят свое бурное собрание, рождается ребенок, как бы олицетворяющий право индейцев на жизнь, на будущее, на сохранение национальных культурных традиций.



На снимке: рисунок художника Клауса Сейделя, сделанный для газеты «Ланд ог фольк», на котором воспроизведена сцена из спектакля «Мы будем жить!», изображающая обращение индейцев в христианскую веру.

(Газета «Ланд ог фольк»)

ЯПОНИЯ

ПРЕМИЯ АКУТАГАВА

Одна из крупнейших литературных премий Японии — премия Акутагава присуждалась в минувшем году в семьдесят пятый раз. На соискание ее было выдвинуто семь произведений, среди них «Зимнее небо» Куниэда Ивахаси, «Брошенная лодка» Томоя Торакубо, «Плоды лозы» Ицуко Умэбара.

Как сообщает журнал «Бунгэй сюндзю», семь произведений были отобраны членами Комитета по присуждению премии Акутагава — в числе их известные писатели Ясуси Иноуэ и Дзюнноскэ Ёсиюки, литературный критик Мицуо Накамура — из более чем трех тысяч, вышедших за шесть месяцев (премия Акутагава присуждается дважды в год).

На этот раз лауреатом стал 35-летний Рю Мураками, студент четвертого курса института искусств «Мусасино». Его повесть «Бескрайняя, почти прозрачная голубизна» (она получила также премию журнала «Гундзо»), рисующая будни компании молодых людей, привыкших к употреблению наркотиков,—страшное свидетельство эпидемии наркомании, «белой смерти», которая приобретает в настоящее время в Японии масштаб социальной проблемы.

Мураками свойственна бесстрастная манера повествования, автор скорее регистрирует события, чем комментирует их. Собственно, событийность как таковая отсутствует. Мы наблюдаем повседневность, в которой морфий, героин, гашиш — обыденные атрибуты человеческого существования. Отдавая должное литературному дару автора, один из членов Комитета, Косаку Такии, назвал жизнь, разворачивающуюся на страницах повести, «никчемной, словно пузыри на воде». Однако жуткие сцены массового наркотического опьянения заставляют говорить уже не просто о никчемности, но о растленности и деградации. Члены комитета отметили несомненное мастерство автора, впервые выступившего в литературе, а также колоритность его писательской манеры. По их мнению, «Бескрайняя, почти прозрачная голубизна» не производит впечатления дебюта в литературе.

«ПРЕДУСМОТРИТЕЛЕН КАК САТАНА! ДЕРЗОК КАК АНГЕЛ!»

«Эту книгу я посвящаю вам, молодым людям, любящим киноискусство и решившим посвятить себя служению ему»,— так известный японский кинорежиссер Акира Куросава начинает доверительную беседу с молодежью в недавно вышедшей из печати книге, названной им «Предусмотрителен как сатана! Дерзок как ангел!»

«В настоящее время,— пишет Куросава,— молодые люди, ищущие свой творческий путь в киноискусстве, находятся в очень трудном положении. Потому что путь этот почти закрыт: в Японии нет ни киноинститутов, ни киношкол; киностудии Японии хиреют и запирают свои ворота перед молодежью. Конечно, изменить что-либо не в моих силах, поскольку правительство игнорирует киноискусство. Пусть это будет на его совести. В сущности, достаточно было бы средств, отпускаемых на приобретение двух военных самолетов или даже одного, чтобы открыть для этих молодых людей киноинститут и дать им возможность пробовать свои творческие силы в киноискусстве.

Если правительство искренне заботится о сохранении японской культуры, оно должно позаботиться и о киноискусстве, не дать ему захиреть окончательно.

Говорю это не потому, что побывал в Советском Союзе. С самого начала переговоров о съемках картины на «Мосфильме» и до полного завершения работ над фильмом «Дерсу Узала» прошло четыре года. За это время я, конечно, имел возможность побывать во Всесоюзном Государственном институте кинематографии, где готовят специалистов различных профилей. И был потрясен. Вот на какой замечательной почве вырастают многочисленные молодые таланты, подобные Андрею Тарковскому. Подумать только, говорят, что фильм «Иваново детство» он сделал как дипломную работу! Разумеется, это свидетельствует о его удивительных способностях, но говорит и о том, что государство предоставляет молодым художникам все возможности для проявления их способностей. Преклоняюсь перед этой гуманной и щедрой политикой.

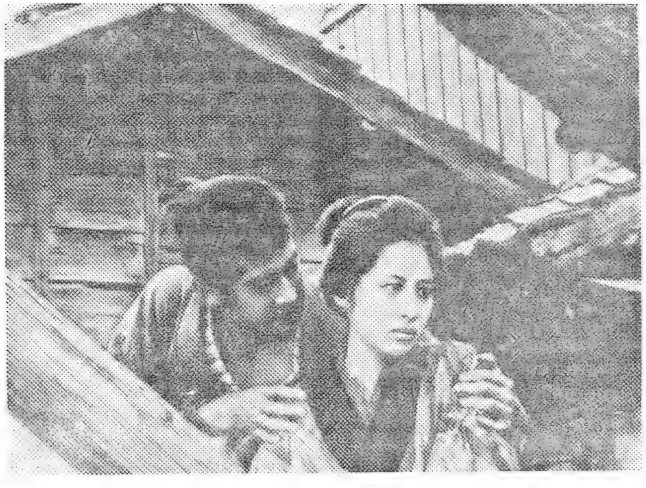
«Почему вы не передаете свои знания и опыт молодежи?» — часто спрашивают меня. Желание такое у меня есть, и ученики у меня были. Почти все они стали режиссерами, но почти все делают на скорую руку дешевенькие, ни о чем не говорящие телефильмы. Иного выхода у них нет».

Книга А. Куросава снабжена многочисленными фотографиями, дающими представление о его творчестве. Обложка ее оформлена самим автором.

Но почему же так названа его книга?

— Не помню, чье изречение, но оно мне очень нравится,— поясняет режиссер.— Сатана существо коварное и плетет свои козни тщательно, предусматривая все до мелочей. Ангелу же бояться нечего, и он всегда действует смело, прямолинейно, дерзко. Вот и я стараюсь придерживаться этих принципов, когда работаю над фильмами...

На снимке: кадр из фильма «На дне» режиссера Акира Куросава, в основу сценария которого легла одноименная пьеса М. Горького.



Авторы этого номера

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ — VERONICA PORUMBACU (1921—1977).

Румынская поэтесса, лауреат Государственной премии СРР, автор многих поэтических сборников: «Эти годы» («Anii aceştia», 1950), «Признания» («Mărturii», 1951), «Мое поколение» («Generaţia mea», 1955), «Лирика» («Lirice», 1957) и др. Писала прозу, переводила на румынский язык стихи Рафаэля Альберти, Назыма Хикмета, Степана Щипачева. Погибла во время землетрясения 4 марта 1977 г.

Публикуемые стихи взяты из еженедельника «Ромыния литерарэ» («România literară», 1977).

Произведения Вероники Порумбаку много раз печатались в советской периодике, в том числе в «Иностранной литературе», на русском языке вышел также ее поэтический сборник «Мелодии света».

ВАСИЛЕ НИКОЛЕСКУ — VASILE NICOLESCU (род. в 1929 г.).

Румынский поэт. Его стихи составили несколько сборников, в том числе «Черные литургии» («Liturghii negre», 1946), «Парабола огня» («Parabola focului», 1968), а также «Золотое сечение» («Secţiunea de aur», 1973) и «Преображение» («Transfigurare». Bucureşti, Editura Eminescu, 1976), в которых были напечатаны предлагаемые стихи.

ШТЕФАН БЭНУЛЕСКУ — STEFAN BĂNULESCU (род. в 1929 г.).

Румынский поэт и прозаик. Дебютировал в 1960 г. книгой очерков «Степная дорога» («Drum în cîmpie»). В 1965 г. писатель выпустил книгу рассказов «Зима мужественных», за которую был удостоен премии Союза писателей СРР. Рассказы из этой книги публиковались в «Иностранной литературе» (№ 2, 1967).

Затем вышла книга стихов, написанных в духе народных баллад,— «Песни о равнине» («Cîntece de cîmpie», 1968), откуда взяты публикуемые стихи.

ГРИГОРЕ ХАДЖИУ — GRIGORE HAGIU (род. в 1933 г.).

Румынский поэт. Начал печататься в 1955 г. Автор многих книг стихов, в том числе «Портрет в августе» («Portret în august», 1962), «О любви, о стране» («De dragoste de ţară», премия Союза писателей СРР за 1967 г.), «Пространства сна» («Spaţiile somnului», 1969), «Ностальгическая триада» («Nostalgica triadă», 1970).

Стихотворения Г. Хаджиу, вошедшие в подборку, взяты из еженедельника «Ромыния литерарэ» («România literară», 1976).

ТОМА ДЖОРДЖЕ МАЙОРЕСКУ — TOMA GEORGE MAIORESCU (род. в 1928 г.).

Румынский поэт и публицист. Автор нескольких книг лирических стихов: «Современные ритмы» («Ritmuri contemporane», 1959), «Глаза Даниэли» («Ochii Danielei», 1963), «Распятое время» («Timp răstignit», 1969) и др. В 1962 г. вышла книга репортажей о Советском Союзе «Куда возвращаются космонавты» («Unde se întorc cosmonauţii»).

Публикуемые стихи были напечатаны в книге «Голубой всадник» («Călăreţul albastru». Bucureşti, Editura Eminescu, 1975).

КОВАЛЬДЖИ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1930 г.).

Советский поэт и прозаик. Автор восьми сборников стихов, повести «Пять точек на карте» (1965), романа «Лиманские истории» (1970). Переводит румынских поэтов и прозаиков.

(Сведения о Беринском Л. С. помещены в № 5, 1977).

СРЕТЕН АСАНОВИЧ (род. в 1931 г.).

Югославский черногорский писатель. Вице-председатель Союза писателей Югославии, главный редактор журнала «Стваранье». Печатается с 1953 г. Автор сборников рассказов «Долгие мгновенья» («Дуги тренуци», 1956), «Не смотри на солнце» («Не гледај у сунце», 1960), «Игра с огнем» («Игра ватром», 1966). Отдельные рассказы из этих сборников переведены на многие иностранные языки. С. Асанович выступает также как литературный критик и автор радиопьес. Его книги отмечены литературными премиями Югославии.

Публикуемые рассказы были напечатаны в сборнике «Прекрасная смерть» («Лијепа смрт». Титоград, 1971).

ГОР ВИДАЛ — GORE VIDAL (род. в 1925 г.).

Американский писатель и драматург. Автор нескольких романов, в том числе «Уил-

ливо» («Williwaw», 1946), «Юлиан» («Julian», 1964), пьес: «Визит на крошечную планету» («Visit to a Small Planet», 1957), «Самый достойный» («The Best Man», 1960), «Уикэнд» («Week-end», 1968) и др.

Романы Гора Видала «Вашингтон, округ Колумбия», с которым «Иностранная литература» познакомила читателей в 1968 г. (№ 11, 12), «1876», вышедший в 1976 г., и «Бэрр» («Burr», New York, Random House, 1973), публикуемый нами в журнальном варианте, составляют трилогию, посвященную политической жизни США. Полностью роман «Бэрр» выйдет в издательстве «Прогресс». В № 8 журнала «Иностранная литература» в разделе «Критика» будет напечатана статья Н. Яковлева «Гор Видал и Аарон Бэрр».

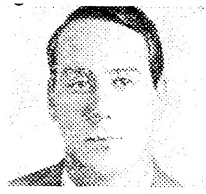
■

ФАЙНГАР АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(род. в 1931 г.).

Советский переводчик и журналист. В его переводах с английского печатались романы «Вашингтон, округ Колумбия» Гора Видала, «В точке покоя» Мэри Бенсон и другие произведения.

■



БРУК МИХАИЛ ИЛЬИЧ

(род. в 1929 г.).

Советскии переводчик и журналист. В его переводах печатались роман «Праздник, который всегда с тобой» и «Африканский дневник» Э. Хемингуэя, книга «Майами и осада Чикаго» Н. Мейлера, «Портрет Хемингуэя» Лилиан Росс и другие произведения. Автор статей по советско-американским отношениям.

■

ДАМДИНЦООГИЙН СОДНОМДОРЖ
(род. в 1928 г.).

Монгольский поэт, прозаик, драматург. Более сорока произведений писателя вышли в свет отдельными книгами. Автор поэм «Биография Норова», «Вина Балдана», «Сережа и Сэрдж», «Герои, вставшие на заре», пьесы «Твердое желание», рассказов для детей и других произведений.

Подробнее о нем и его творчестве — во вступлении Г. Ярославцева.

■

ЯРОСЛАВЦЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ

(род. в 1930 г.).

Советский поэт-переводчик, литературовед. Переводит классическую и современную поэзию Китая, Кореи, Вьетнама, Монголии, Индии, а также поэзию народов СССР, выступает со статьями по вопросам восточной филологии. Его переводческая деятельность дважды отмечена правительственными наградами МНР (в 1969 и 1974 гг.). Переводы и статьи Г. Ярославцева неоднократно печатала «Иностранная литература».

■

САРУХАНЯН АЛЛА ПАВЛОВНА.

Советский литературовед и критик, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького. Автор книг «Творчество Шона О'Кейси» (1965), «Современная ирландская литература» (1973) и многих статей об английской и ирландской литературах.

■

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС — JOSÉ MIGUEL VARAS

(род. в 1928 г.).

Чилийский писатель и журналист. В настоящее время живет в эмиграции. Автор сборников рассказов «Кауин» («Cahuín», 1946), «Общие места» («Lugares comunes», 1969), повести «Случается» («Sucede», 1950), биографической повести о чилийском коммунисте «Чакон» («Chacón», 1968). На русский язык переведена его повесть «Бывалый», в «Иностранной литературе» (№ 11, 1970) напечатаны рассказы «Жалоба», «Летопись».

Статья «Культура в борьбе за право существовать» получена в рукописи.

ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.).

Советский критик и литературовед, член-корреспондент Академии наук УССР, доктор филологических наук, член Международной ассоциации литературных критиков. Автор книг «Век XX. Заметки о литературной форме на Западе» (1961), «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965), «В поисках смысла жизни. Взгляд на современную литературу на Западе» (1966), «Искусство романа и XX век» (1973), «Зеркала искусства» (1975) и многих статей. Работы Д. Затонского неоднократно печатала «Иностранная литература».

ПЕТЕР ХАКС — PETER HACKS (род. в 1928 г.).

Немецкий драматург, эссеист. В 1951 г. защитил в Мюнхене диссертацию по истории немецкой драматургии. В 1955 г. переехал в ГДР. Пьесы П. Хакса с успехом идут на сценах ГДР, ФРГ, Швейцарии, Австрии. П. Хакс—лауреат премий имени Лессинга и Вайскопфа, член Академии искусств ГДР. Эссе «История моей оперы» автор предпослал сборнику «Опера», в который вошли либретто трех комических опер («Еще ложку яда, дорогой», «Птицы», «Омфала»). Мы печатаем это эссе по тексту сборника («Oper», Berlin, Aufbau Verlag, 1975).

ИОАКИМ БЭР — JOACHIM T. BAER.

Американский критик, преподаватель славянских языков и литератур университета штата Северная Каролина.

Статья «Фланнери О'Коннор на русском языке» получена от автора в рукописи.

АНДРЕ РЕМАКЛЬ — ANDRE REMACLE.

Французский писатель, поэт и романист. На русский язык переведен его роман «Время жить», отмеченный во Франции премией «Попюлист» за 1966 г.

Рецензия «Самая обыкновенная история» получена редакцией в рукописи.

ХУАН АНТОНИО САЛЬСЕДА — JUAN ANTONIO SALCEDA.

Аргентинский литературовед, философ, историк. Автор многих книг, в том числе «Майская революция и идеи аргентинцев» («La Revolución de Mayo y las ideas argentinas», 1941), «Прометей или Гуманизм мифа» («Prometeo o el humanismo del mito», 1953), «Анибал Понсе» («Aníbal Ponce», 1957), «Актуальность догмы Мая», («Actualidad del dogma de Mayo», 1963).

Статья «Аргентина: лучший роман года?» получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/V 1977 г. А 10549. Подписано к печати 8/VI 1977 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. Уч.-изд. л. 27,75.

Тираж 595 000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.). Зак. 1500.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394